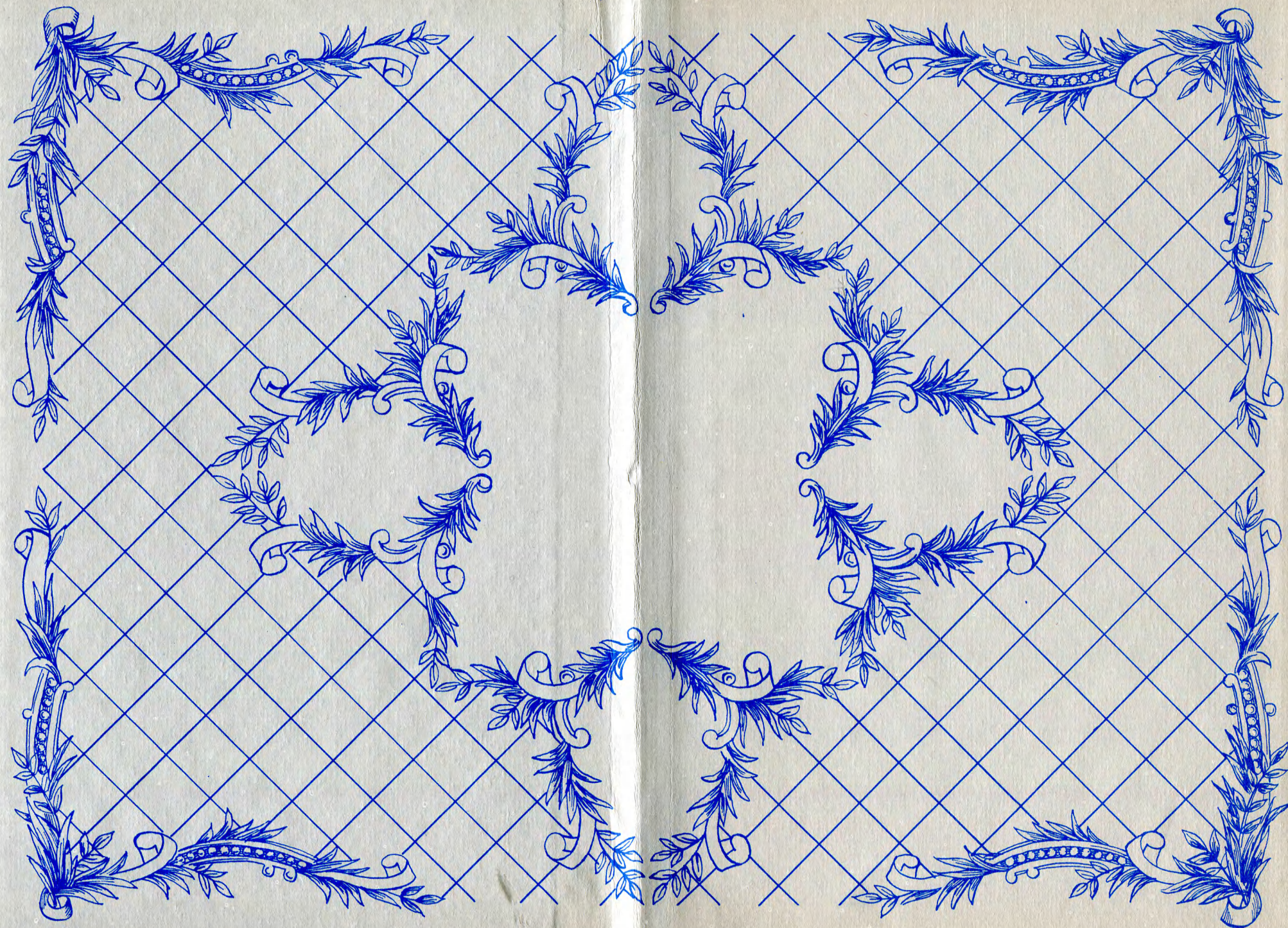




ОНОРЕ
БАЛЬЗАК

Озорные
рассказы







ОНОРЕ БАЛЬЗАК

Озорные рассказы



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
„ХИМИЯ”
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1993



ББК 84.7 Фр.
Б 211

Текст печатается по изданию:
Оноре Бальзак. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 14.
М.: Гослитиздат, 1955.

Бальзак Оноре

Б 211 Озорные рассказы: Пер. с французского. — СПб:
Химия, 1993. — 240 с.
ISBN 5-7245-0931-8.

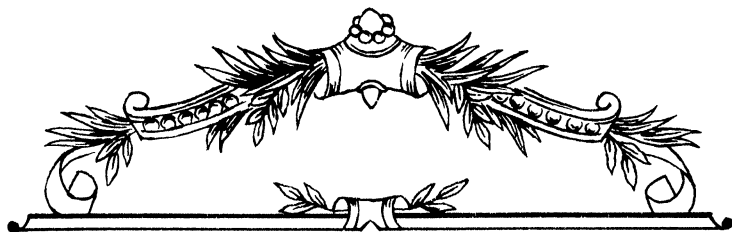
„Озорные рассказы” — это искрометная стилизация в духе любовных новелл эпохи Возрождения. Сам Бальзак так оценивал этот цикл: „... если и останется что-нибудь после меня, так это „Рассказы”. ... они — лучший залог моей будущей славы”. В то же время на русском языке рассказы редко публиковались и сравнительно мало известны нашему читателю, что можно расценить как явное недоразумение.

Б 4703010100-010
(050) 01-93 Без объявл.

ББК 84.7 Фр.

ISBN 5-7245-0931-8

© Оформление,
Б. Н. Осенчаков, 1993



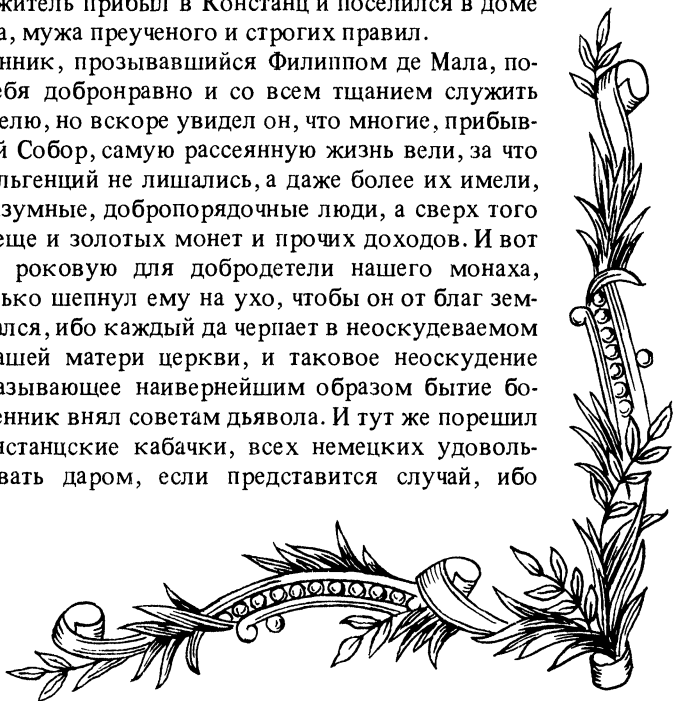
КРАСАВИЦА ИМПЕРИА



справляясь на Констанцкий собор*, архиепископ города Бордо принял в свиту своего турского священника — прелестного обхождением и речами юношу, который считался сыном куртизанки некоего губернатора. Епископ Турский с охотою уступил юношу своему другу, когда тот через город Тур следовал, ибо архипастыри привыкли оказывать друг другу подобные услуги, ведая, как досадить может богословский зуд. Итак, молодой священнослужитель прибыл в Констанц и поселился в доме

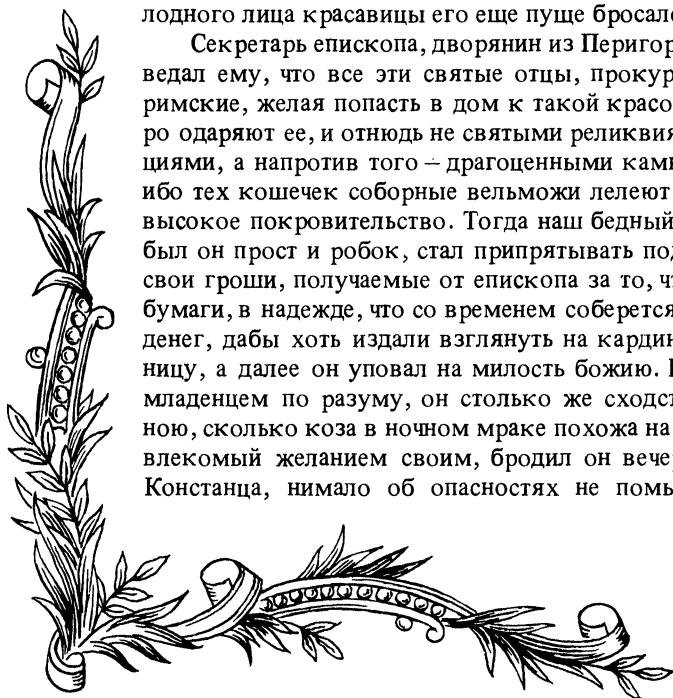
у своего прелата, мужа преученного и строгих правил.

Наш священник, прозывавшийся Филиппом де Мала, положил вести себя добронравно и со всем тщанием служить своему попечителю, но вскоре увидел он, что многие, прибывшие на славный Собор, самую рассеянную жизнь вели, за что не только индульгенций не лишались, а даже более их имели, нежели иные разумные, добропорядочные люди, а сверх того удостоивались еще и золотых монет и прочих доходов. И вот как-то в ночь, роковую для добродетели нашего монаха, дьявол тихохонько шепнул ему на ухо, чтобы он от благ земных не отвращался, ибо каждый да черпает в неоскудеваемом лоне святой нашей матери церкви, и таковое неоскудение есть чудо, доказывающее наивернейшим образом бытие божие. Наш священник внял советам дьявола. И тут же порешил обойти все констанцские кабаčky, всех немецких удовольствий испробовать даром, если представится случай, ибо



у него за душой не было ни гроша. А так как до той поры Филипп был поведения скромного, во всем следуя престарелому своему пастырю, который — не по доброй воле, а по немощи своей — плотского греха чурался и даже через это прослыл святым, наш юноша часто терзался жгучим вожделением и впадал в великое уныние. Причиной тому было множество прелестных полнотелых красоток, весьма, впрочем, к бедному люду суровых и обитавших в Констанце ради просветления умов святых отцов, участников Собора. И тем сильнее распалялся Филипп, что не знал, как подступиться к сим роскошным павам, кои помыкали кардиналами, аббатами, аудиторами, римскими легатами, епископами, гарцогами и маркграфами разными, словно самой последней церковной братией. Прочитав вечернюю молитву, юноша твердил мысленно разные нежные слова, предназначенные для прелестниц, упражняясь в пресладостном молитвословии любви. Тем самым подготовлялся он ко всем возможным случаям. А на следующий день, если он, направляясь ко всенощной, встречал какую-либо из этих принцесс, прекрасную собою, надменно возлежащую на подушках в своих носилках, в сопровождении горделивых пажей при оружии, он останавливался, разиня рот, словно пес, нацелившийся на муху. И от созерцания холодного лица красавицы его еще пуще бросало в жар.

Секретарь епископа, дворянин из Перигора, как-то раз поведал ему, что все эти святые отцы, прокуроры и аудиторы римские, желая попасть в дом к такой красотке, весьма щедро одаряют ее, и отнюдь не святыми реликвиями и индульгенциями, а напротив того — драгоценными камнями и золотом, ибо тех кошечек соборные вельможи лелеют и оказывают им высокое покровительство. Тогда наш бедный туренец, как ни был он прост и робок, стал припрятывать под матрац жалкие свои гроши, получаемые от епископа за то, что перебелял его бумаги, в надежде, что со временем соберется у него довольно денег, дабы хоть издали взглянуть на кардинальскую наложницу, а далее он уповал на милость божью. И будучи сущим младенцем по разуму, он столько же сходствовал с мужчиною, сколько коза в ночном мраке похожа на девицу. Однако, влекомый желанием своим, бродил он вечерами по улицам Констанца, нимало об опасностях не помышляя, ни даже

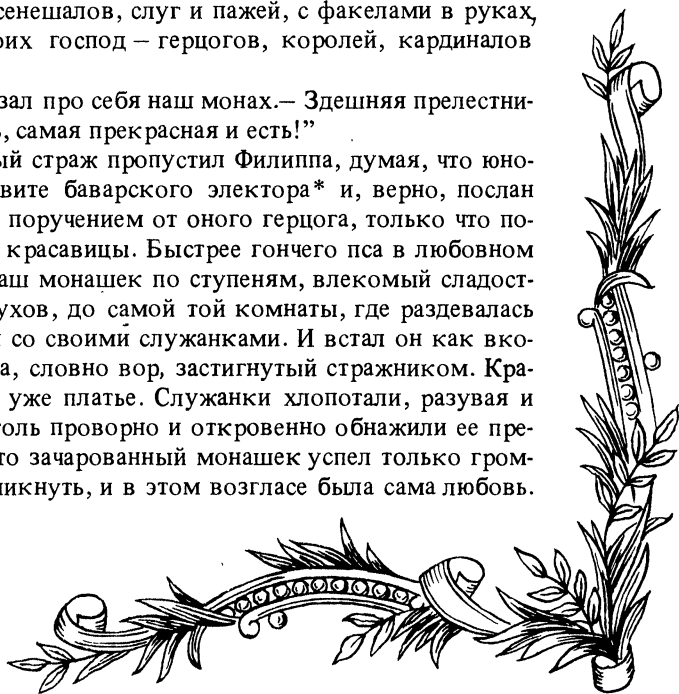


о мечах грозной стражи, и дерзко выслеживал святых отцов, когда они к любовницам своим пробирались. И тут он видел, как зажигались в доме огни, как освещались окна и двери. Потом внимал он веселью блаженных аббатов и других прочих, когда те, отведав роскошных вин и яств, затягивали тайную аллилуйю, рассеянным ухом внимая музыке, которой их угощали. Повара на кухне совершали поистине чудеса, как бы творя Обедни наваристых супов, Утрени окорочков, Вечерни лакомых паштетов и вознося Славословие сладостей; а уж после возлияний пресвятые отцы умолкали. Младые их пажи играли в кости у порога, ретивые мулы брыкались на улице. Все шло отменно. И вера и страх божий всему сопутствовали. А вот беднягу Гуса предали огню. За какую вину? За то, что полез рукою без спроса в блюдо. Зачем было соваться в гугеноты до времени, раньше других?

Премиленький наш монашек частенько получал затрещины или хватал тумаки, но дьявол поддерживал и укреплял в нем надежду, что рано или поздно настанет и его черед и выйдет он сам в кардиналы у какой-нибудь кардинальской наложницы. Возгоревшись желанием, стал он смел, словно олень по осени, и даже настолько, что как-то вечером пробрался в красивейший из домов Констанца, на лестнице коего он часто видел офицеров, сенешалов, слуг и пажей, с факелами в руках, ожидающих своих господ — герцогов, королей, кардиналов и епископов.

„Ага! — сказал про себя наш монах. — Здешняя прелестница, должно быть, самая прекрасная и есть!”

Вооруженный страж пропустил Филиппа, думая, что юноша состоит в свите баварского электора* и, верно, послан с каким-нибудь поручением от одного герцога, только что покинувшего дом красавицы. Быстрее гончего пса в любовном раже взбежал наш монашек по ступеням, влекомый сладостным запахом духов, до самой той комнаты, где раздевалась хозяйка, болтая со своими служанками. И встал он как вкопанный, трепеща, словно вор, застигнутый стражником. Красавица скинула уже платье. Служанки хлопотали, разувая и раздевая ее и столь проворно и откровенно обнажили ее прекрасный стан, что зачарованный монашек успел только громкое „ах!” воскликнуть, и в этом возгласе была сама любовь.



— Что нужно вам, мой мальчик? — спросила дама.

— Душу мою вам предать,— ответил тот, пожирая ее взором.

— Можете прийти завтра,— промолвила она, желая потешиться над юношей. На что Филипп, весь зардевшись, отвечал:

— Долгом своим почту!

Хозяйка громко засмеялась. А Филипп, в блаженном смятении не трогаясь с места, взором ласкал ее прелести, зовущие любовь: волосы, ниспадающие вдоль спины, слоновой кости глаже, а сквозь кудри, рассыпавшиеся по плечам, кожу белее снега, отливавшую атласом. На чистом челе красавицы горел рубиновый подвесок, но огненными своими переливами он уступал блеску ее черных очей, увлажненных слезами, кои вызваны были неудержимым смехом. Играючи, она даже подкинула остроносную туфельку, всю раззолоченную, словно дароносица, и, от хохота изогнувшись, показала свою босую ножку величиной с лебязий клювик. К счастью для юного попа, красавица была в тот вечер весела, а то вылететь бы ему прямо из окна, ибо и знатнейшего епископа могла при случае постичь та же участь.

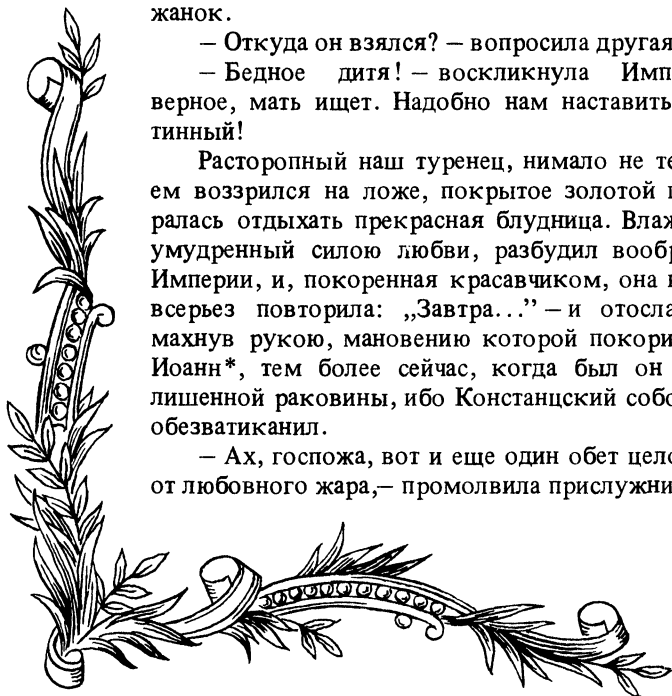
— У него красивые глаза,— промолвила одна из служанок.

— Откуда он взялся? — спросила другая.

— Бедное дитя! — воскликнула Империя.— Его, наверное, мать ищет. Надобно нам наставить его на путь истинный!

Расторопный наш туренец, нимало не теряясь, с упоением воззрелся на ложе, покрытое золотой парчой, где собиралась отдыхать прекрасная блудница. Влажный его взгляд, умудренный силою любви, разбудил воображение госпожи Империи, и, покоренная красавчиком, она не то шутя, не то всерьез повторила: „Завтра...“ — и отослала его, властно махнув рукою, мановению которой покорился бы сам папа Иоанн*, тем более сейчас, когда был он подобен улитке, лишенной раковины, ибо Констанцкий собор только что его обезвaticanил.

— Ах, госпожа, вот и еще один обет целомудрия полинял от любовного жара,— промолвила прислужница.



Смех возобновился, шутки посыпались градом. Филипп ушел, стукнувшись головой о косяк, и долго не мог опомниться, как напуганная ворона,— столь пленительна, подобно сирене, выходящей из вод, была госпожа Империа. И, запомнив зверей, искусно вырезанных на дверных наличниках, Филипп вернулся к своему добродушному пастырю с дьявольским вожделением в сердце и ошеломленный виденным до самой глубины своего естества. Поднявшись в отведенную ему каморку, он всю ночь напролет считал и пересчитывал свои гроши, но больше четырех монет, называемых „ангелами”, ничего не обнаружил, и так как не было у бедняги иного состояния, понадеялся он убогатворить красавицу, отдав ей все, чем владел в этом мире.

— Что с тобою, сын мой? — спросил его добрый архиепископ, обеспокоившись возней и вздохами монашка.

— Ах, монсеньер, — отвечивал бедный, — я дивлюсь, как сие возможно, чтобы столь легковесная и красивая дама таким непереносимым грузом лежала на сердце!

— Какая же? — спросил архиепископ, отложивший требник, который читал он для виду.

— Господи Иисусе, вы станете укорять меня, отец мой и покровитель, за то, что я посмел улицезреть возлюбленную кардинала, а может, и того знатнее. И я возрыдал, увидя как мало имею я этих треклятых монет, дабы с благословения вашего наставить грешницу на путь добра.

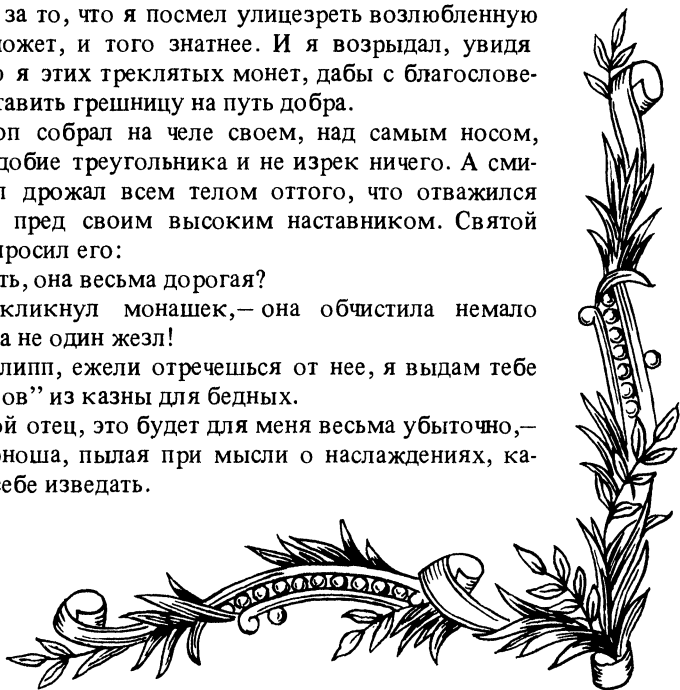
Архиепископ собрал на челе своем, над самым носом, морщины наподобие треугольника и не изрек ничего. А смиренный Филипп дрожал всем телом оттого, что отважился исповедоваться пред своим высоким наставником. Святой отец только спросил его:

— Стало быть, она весьма дорогая?

— Ах, — воскликнул монашек, — она обчистила немало митр и облупила не один жезл!

— Итак, Филипп, ежели отречешься от нее, я выдам тебе тридцать „ангелов” из казны для бедных.

— Ах, святой отец, это будет для меня весьма убыточно, — отвечивал юноша, пылая при мысли о наслаждениях, каковые обещал себе изведать.



— О, Филипп,— промолвил добрый пастырь,— неужели ты решился предать себя в лапы дьявола и прогневать господа, уподобившись всем нашим кардиналам?

И учитель, сокрушенный скорбью, стал молить святого Гатьена, покровителя девственников, дабы тот оградил смиренного слугу своего. А молодому грешнику приказал коленопреклоненно молить заступника своего Филиппа; но окаянный монах просил у небесного своего предстателя совсем иного: помочь ему не оплошать, когда отдаст он себя на милость и волю прелестницы. Добрый архиепископ, видя прилежное моление юноши, воскликнул:

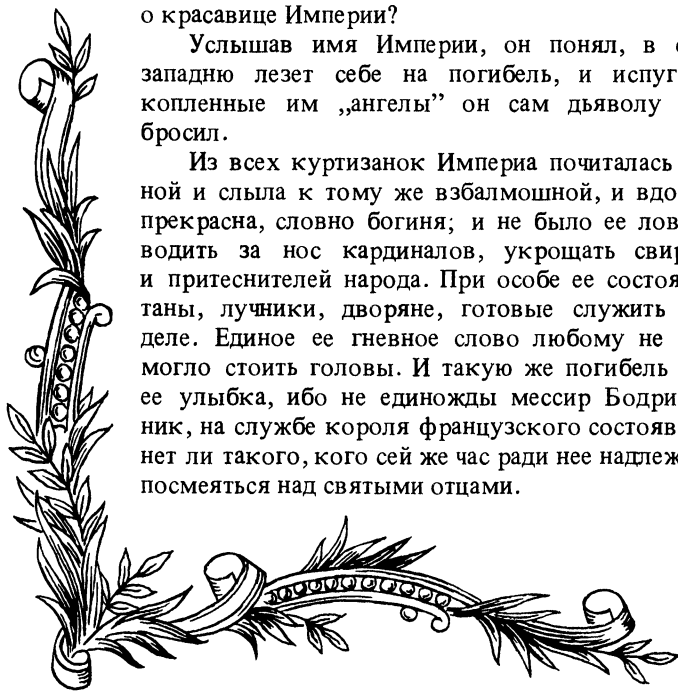
— Крепись, сын мой! Небо тебя услышит.

Наутро, пока старец, покровитель Филиппа, изобличал на Соборе распутство христианских апостолов, юноша истратил свои тяжким трудом добытые денежки на благовоения, притирания, паровую баню и на иные суеты и стал до того хорош, что можно было его принять за любовника какой-нибудь куртизанки. Через весь город Констанц направился он отыскивать дом королевы своего сердца, и когда спросил у прохожих, кому принадлежит названное жилище, те засмеялись ему в лицо, говоря:

— Откуда такой сопляк взялся, что никогда не слышал о красавице Империи?

Услышав имя Империи, он понял, в сколь ужасную западню лезет себе на погибель, и испугался, что прикопленные им „ангелы” он сам дьяволу под хвост выбросил.

Из всех куртизанок Империя почиталась самой роскошной и слыла к тому же взбалмошной, и вдобавок была она прекрасна, словно богиня; и не было ее ловчее в искусстве водить за нос кардиналов, укрощать свирепейших вояк и притеснителей народа. При особе ее состояли лихие капитаны, лучники, дворяне, готовые служить ей во всяком деле. Единое ее гневное слово любому не угодившему ей могло стоять головы. И такую же погибель несла любезная ее улыбка, ибо не единожды мессир Бодрикур, военачальник, на службе короля французского состоявший, вопрошал, нет ли такого, кого сей же час ради нее надлежит убить, чтобы посмеяться над святыми отцами.



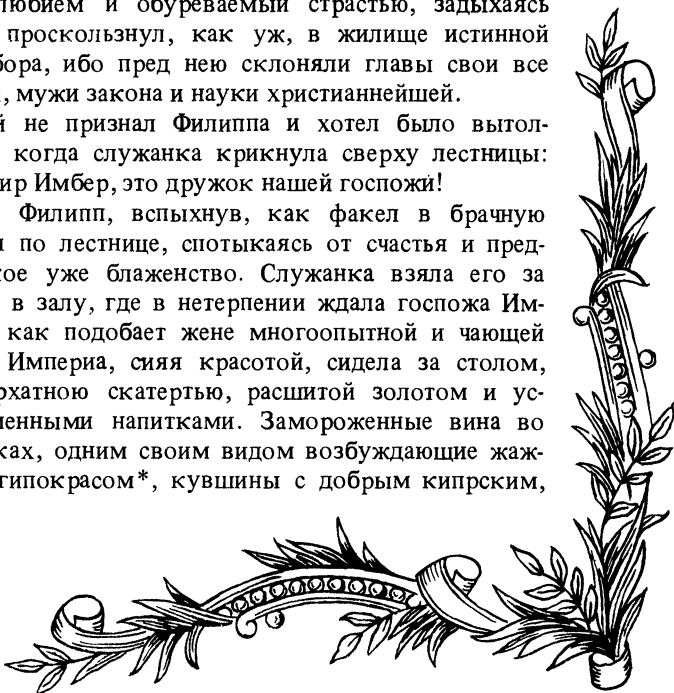
Важнейшим особам духовного звания госпожа Империа вове́рема умела ласково улыбнуться и вертела всеми, как хотела, будучи бойка на язык и искусна в любви, так что и самые добродетельные, самые холодные сердцем попадались, как птица в тенета. И потому она жила любима и уважаема, не хуже родовитых дам и принцесс, и, обращаясь к ней, называли ее госпожа Империа. Одной знатной и строгого поведения даме, которая посетовала на это, сам император Сигизмунд отвечивал, что они-де, благородные дамы, суть блюстительницы мудрых правил святейшей добродетели, а госпожа Империа хранит сладостные заблуждения богини Венеры. Слова, доброго христианина достойные, и благородные дамы несправедливо ими возмущались.

Итак, Филипп, вспоминая прелести, кои он с восторгом лицезрел накануне, опасался, что этим дело и кончится, и тяжко огорчился. Он бродил по улицам, не пил, не ел, ожидая своего часа, хотя был достаточно привлекателен собою, весьма обходителен и мог найти себе красавиц, менее жестокосердых и более доступных, нежели госпожа Империа.

С наступлением ночи молодой наш туренец, подстрекаемый самолюбием и обуреваемый страстью, задыхаясь от волнения, проскользнул, как уж, в жилище истинной королевы Собора, ибо пред нею склоняли главы свои все столпы церкви, мужи закона и науки христианнейшей.

Дворецкий не признал Филиппа и хотел было вытолкать его вон, когда служанка крикнула сверху лестницы: — Эй, мессир Имбер, это дружок нашей госпожи!

И бедняга Филипп, вспыхнув, как факел в брачную ночь, поднялся по лестнице, спотыкаясь от счастья и предвкушая близкое уже блаженство. Служанка взяла его за руку и повела в залу, где в нетерпении ждала госпожа Империа, одетая, как подобает жене многоопытной и чающей удовольствий. Империа, сияя красотой, сидела за столом, покрытым бархатною скатертью, расшитой золотом и уставленной отменными напитками. Замороженные вина во флягах и кубках, одним своим видом возбуждающие жажду, бутылки с гипокрасом*, кувшины с добрым кипрским,



коробочки с пряностями, зажаренные павлины, приправы из зелени, посланные окорочка — все это восхитило бы взор влюбленного монашка, если бы не так сильно любил он красавицу Империю. А она сразу же заметила, что юноша очей от нее не может оторвать. Хоть и не в диковинку были ей поклонения бесстыжих попов, терявших голову от ее красоты, все же она возрадовалась, ибо за ночь совсем влюбилась в злосчастного юнца, и весь день он не давал покоя ее сердцу. Все ставни были закрыты. Хозяйка дома была в наилучшем расположении духа и в таком наряде, словно готовилась принять имперского принца. И наш хитрый монашек восхищенный райскою красотою Империи, понял, что ни императору, ни бургграфу, ни даже кардиналу, накануне избрания в папы, не одолеть его в тот вечер, его, бедного служку, у коего за душой нет ничего, кроме дьявола и любви. Он поспешил поклониться с изяществом, которому мог позавидовать любой кавалер. И за то дама сказала, одарив его жгучим взором:

— Садитесь рядом со мною, я хочу видеть, переменились ли вы со вчерашнего дня.

— О да, — отвечивал Филипп.

— А чем же?

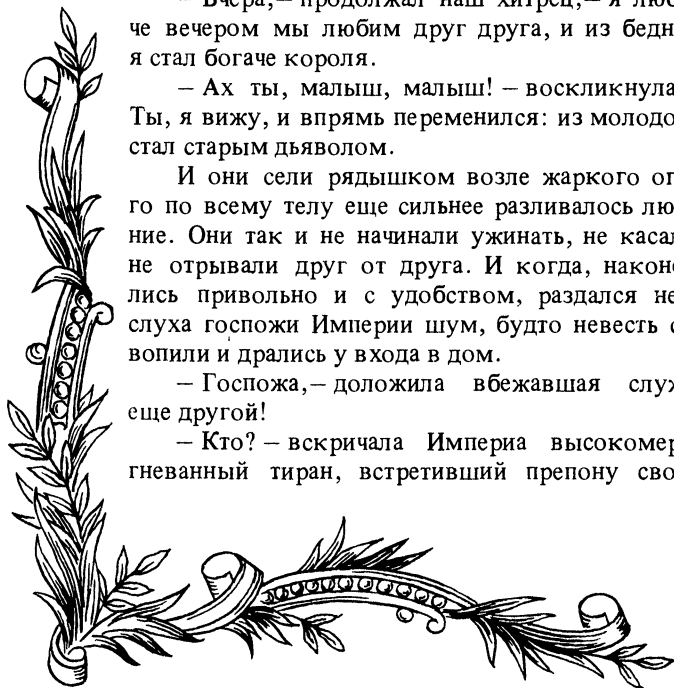
— Вчера, — продолжал наш хитрец, — я любил вас а нынче вечером мы любим друг друга, и из бедного страдальца я стал богаче короля.

— Ах ты, малыш, малыш! — воскликнула она весело. — Ты, я вижу, и впрямь переменился: из молодого священника стал старым дьяволом.

И они сели рядышком возле жаркого огня, от которого по всему телу еще сильнее разливалось любовное опьянение. Они так и не начинали ужинать, не касались яств, глаз не отрывали друг от друга. И когда, наконец, расположились привольно и с удовольствием, раздался неприятный для слуха госпожи Империи шум, будто невесть сколько людей вопили и дрались у входа в дом.

— Госпожа, — доложила вбежавшая служанка, — а вот еще другой!

— Кто? — вскричала Империя высокомерно, как разгневанный тиран, встретивший препону своим желаниям.



— Куарский епископ хочет поговорить с вами.

— Чтоб его черти побрали! — ответствовала Империа, взглянув умильно на Филиппа.

— Госпожа, он заметил сквозь ставни свет и расшумелся.

— Скажи ему, что я в лихорадке, и ты не солжешь, ибо я больна этим милым монашком, так он мне вскружил голову.

Но не успела она произнести эти слова, пожимая с чувством Филиппу руку, пылавшую от любовного жара, как тучный епископ Куарский ввалился в залу, пыхтя от гнева. Слуги его, следовавшие за ним, внесли на золотом блюде приготовленную по монастырскому уставу форель, только что выловленную из Рейна, затем пряности в великолепных коробочках и тысячу лакомств, как-то: ликеры и компоты, сваренные святыми монахинями из аббатства Куарского.

— Ага! — громогласно возопил епископ. — Почто вы душенька, торопите меня на вертел к дьяволу, я и сам сумею к нему отправиться во благовремение.

— Из вашего брюха когда-нибудь сделают изрядные ножны для шпаги, — ответствовала Империа, нахмуря брови, и всякого, кто узрел бы грозное ее чело, еще недавно ясное и приветливое, пробрала бы дрожь.

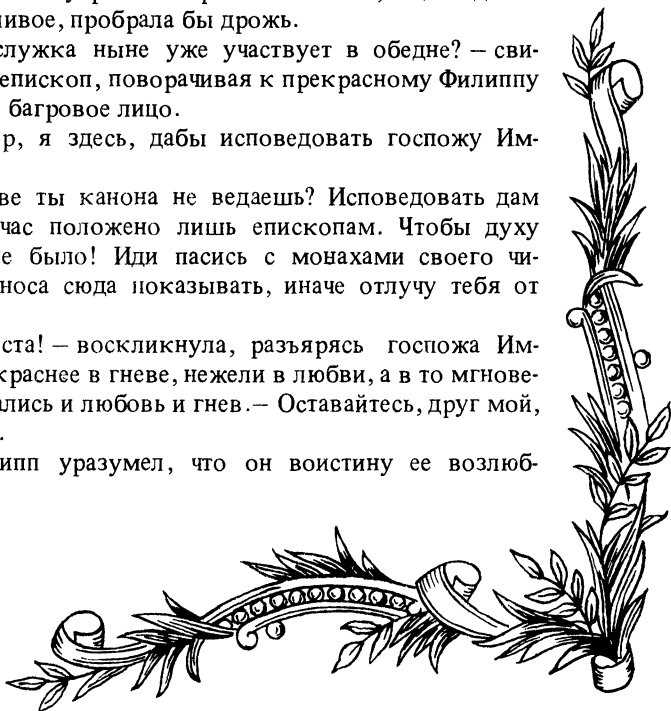
— А этот служка ныне уже участвует в обедне? — свирепо спросил епископ, поворачивая к прекрасному Филиппу свое широкое и багровое лицо.

— Монсеньер, я здесь, дабы исповедовать госпожу Империю.

— Как, разве ты канона не ведаешь? Исповедовать дам в сей ночной час положено лишь епископам. Чтобы духу твоего здесь не было! Иди пасись с монахами своего чина и не смей носа сюда показывать, иначе отлучу тебя от церкви.

— Ни с места! — воскликнула, разъярясь госпожа Империа, еще прекраснее в гнев, нежели в любви, а в то мгновение в ней сочетались и любовь и гнев. — Оставайтесь, друг мой, вы здесь у себя.

Тогда Филипп уразумел, что он воистину ее возлюбленный.



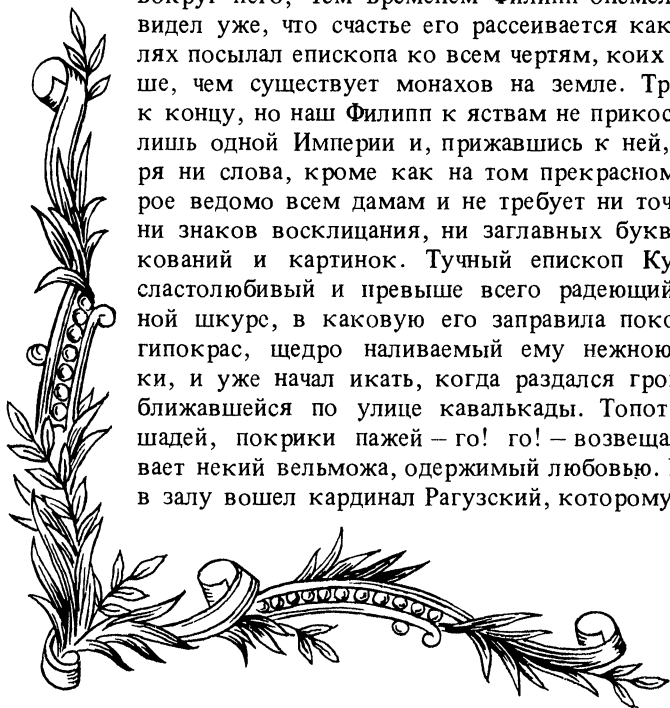
— Разве не поучает нас писание и премудрость евангельская, что вы оба равны будете перед ликом господним в долине Иосафатской? — спросила госпожа Империя у епископа.

— Сие есть измышление дьявола, каковой своих адских выдумок к библии подмешал, но так и впрямь написано, — отвечал тупоумный толстяк, епископ Куарский, поспешая к столу.

— Ну, так будьте же равны передо мною, истинной вашей богиней на земле, — промолвила Империя, — а то я прикажу вас превежливо задушить чрез несколько дней, сдавив хорошенько то место, где голова к плечам приделана. Клянусь в том всемогуществом моей тонсуры, которая ничуть не хуже папской! — И, желая присовокупить к трапезе форель, принесенную епископом, равно как и пряности и сласти, она сказала: — Садитесь и пейте.

Но хитрой девке не впервой было проказничать, и она подмигнула милому своему, как бы говоря ему: пренебреги этим тевтоном, чем больше он отведаёт разных вин, тем скорее придет наш час.

Прислужница усадила епископа за стол и захлопотала вокруг него; тем временем Филипп онемел от ярости, ибо видел уже, что счастье его рассеивается как дым, и в мыслях посылал епископа ко всем чертям, коих сулил ему больше, чем существует монахов на земле. Трапеза близилась к концу, но наш Филипп к яствам не прикоснулся, он алкал лишь одной Империи и, прижавшись к ней, сидел, не говоря ни слова, кроме как на том прекрасном наречии, которое ведомо всем дамам и не требует ни точек, ни запятых, ни знаков восклицания, ни заглавных букв, заставок, толкований и картинок. Тучный епископ Куарский, весьма сластолюбивый и превыше всего радеющий о своей брэнной шкуре, в каковую его заправила покойная мать, пил гипокрас, щедро наливаемый ему нежною рукою хозяйки, и уже начал икать, когда раздался громкий шум приближавшейся по улице кавалькады. Топот множества лошадей, покрики пажей — го! го! — возвещали, что прибывает некий вельможа, одержимый любовью. И точно. Вскоре в залу вошел кардинал Рагузский, которому слуги Империи



не посмели не открыть дверей. Злосчастная куртизанка и ее любовник стояли в смущении и расстройстве, словно пораженные проказой, ибо лучше было бы искусить самого дьявола, нежели отринуть кардинала, тем паче в тот час, когда никто не ведал, кому быть папой, ибо три притязателя на папский престол* уже отказались от тиары к вящему благу христианского мира.

Кардинал, хитроумный и весьма бородастый итальянец, слышавший ловким спорщиком в богословских вопросах и первым запевалой на всем Соборе, разгадал, долго не раздумывая, альфу и омегу этой истории. Поразмыслив с минуту, он уже придумал, как действовать, чтобы ублажить себя без излишних хлопот. Он примчался, гонимый монашеским сластолюбием, и, чтобы заполучить свою добычу, не дрогнув, заколол бы двух монахов и продал бы свою часть святого креста господня, что, конечно, достойно всяческого осуждения.

— Эй, дружок,— обратился он к Филиппу, подзывая его к себе.

Бедный туренец, ни жив ни мертв от страха, решив, что сам дьявол вмешался в его дела, встал и отвечал грозному кардиналу:

— К вашим услугам!

Последний взял его под руку, увел на ступени лестницы и, поглядев ему прямо в глаза, начал, не мешкая:

— Черт возьми, ты славный малый, так не вынуждай же меня извещать твоего пастыря, сколько весят твои потроха. Могу же я потешить себя на старости лет, а за содеянное расквитаться благочестивыми делами. Посему выбирай: или сочетаться тебе крепкими узами до окончания дней своих с неким аббатством, или с госпожой Империей на единый вечер и за то принять наутро смерть.

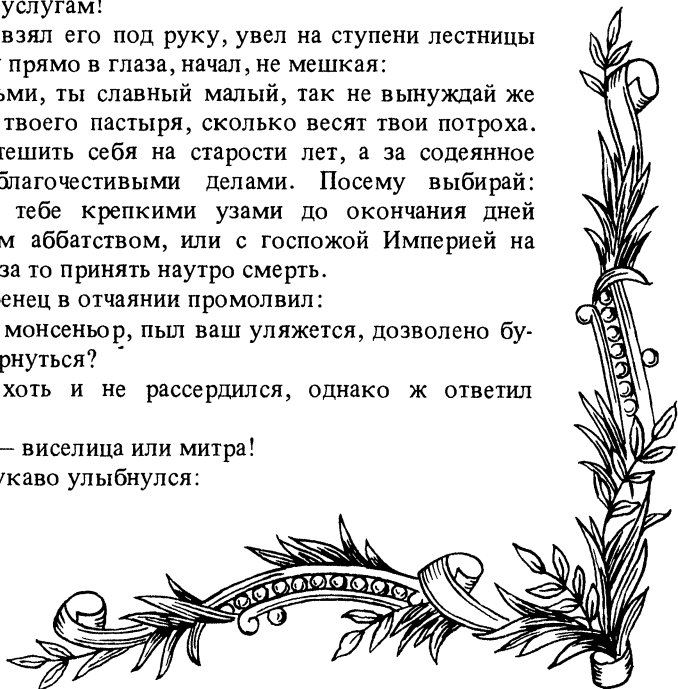
Бедный туренец в отчаянии промолвил:

— А когда, монсеньор, пыл ваш уляжется, дозволено будет мне сюда вернуться?

Кардинал, хоть и не рассердился, однако ж ответил сурово:

— Выбирай — виселица или митра!

Монашек лукаво улыбнулся:



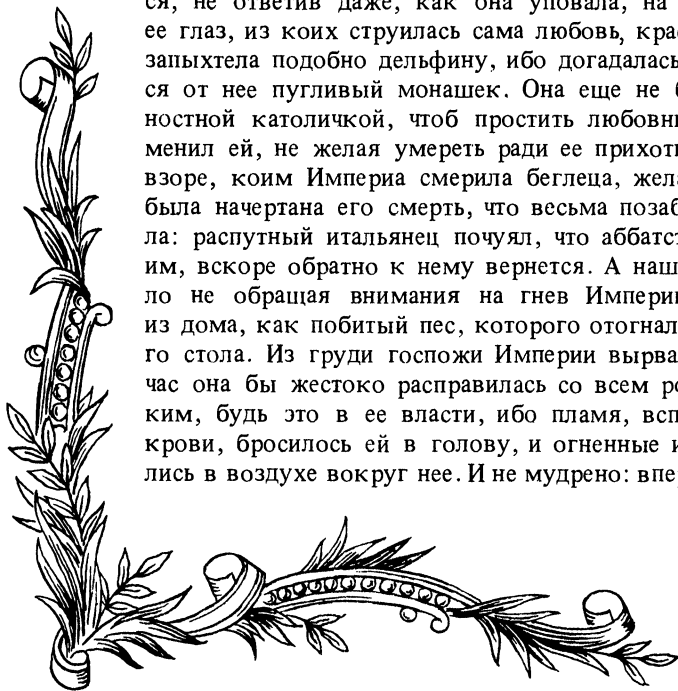
— Дайте аббатство покрупнее да посытнее.

Услышав это, кардинал вернулся в залу, взял перо и царапал на обрывке пергамента грамоту французскому представителю.

— Монсеньер,— сказал наш туренец кардиналу, пока тот выводил наименование аббатства.— Куарский епископ не уйдет отсюда так быстро, как я, ибо у него самого аббатств не менее, нежели в граде Констанце найдется солдатских кабачков; вдобавок он уже вкусил от лозы виноградной. Посему, думается мне, дабы возблагодарить вас за столь славное аббатство, должен я дать вам благой совет. Вам, конечно, известно, как зловреден и прилипчив проклятый коклюш*, от которого град Париж жестоко претерпел; итак, скажите епископу, что вы сейчас напутствовали умирающего старца, вашего друга — бордосского архиепископа. И вашего соперника выметет отсюда, как пучок соломы ветром.

— Ты достоин большей награды, нежели аббатство! — воскликнул кардинал.— Черт возьми, мой милый, вот тебе сто экю на дорогу в аббатство Турпенэй, я их вчера выиграл в карты, прими от меня их в дар.

Услыхав эти слова и видя, что Филипп де Мала удаляется, не ответив даже, как она уповала, на нежный взгляд ее глаз, из коих струилась сама любовь, красавица Империя запыхтела подобно дельфину, ибо догадалась, почему отрекся от нее пугливый монашек. Она еще не была столь ревностной католичкой, чтоб простить любовнику, раз он изменил ей, не желая умереть ради ее прихоти. И в змеином взоре, коим Империя смерила беглеца, желая его унизить, была начертана его смерть, что весьма позабавило кардинала: распутный итальянец почувал, что аббатство, подаренное им, вскоре обратно к нему вернется. А наш туренец, нисколько не обращая внимания на гнев Империи, выскользнул из дома, как побитый пес, которого отогнали от господского стола. Из груди госпожи Империи вырвался стон: в тот час она бы жестоко расправилась со всем родом человеческим, будь это в ее власти, ибо пламя, вспыхнувшее в ее крови, бросилось ей в голову, и огненные искры закружились в воздухе вокруг нее. И не мудрено: впервые случилось,



что ее обманул какой-то жалкий монах. А кардинал улыбался, видя, что теперь дело пойдет на лад. Ну и хитер был кардинал Рагузский, недаром заслужил он красную шляпу*.

— Ах, дражайший мой собрат,— обратился он к епископу Куарскому,— я не нарадуюсь, что нахожусь в столь прекрасной компании, и паче рад, что прогнал отсюда семинариста, недостойного быть в обществе госпожи Империи,— особенно потому, что, коснувшись его, моя красавица, бесценная моя овечка, вы могли бы умереть самым недостойным образом по вине простого монаха.

— Но как это возможно?

— Он писец у архиепископа Бордоского, а наш старичок нынче утром заразился...

Епископ Куарский разинул рот, словно собираясь проглотить круглый сыр целиком.

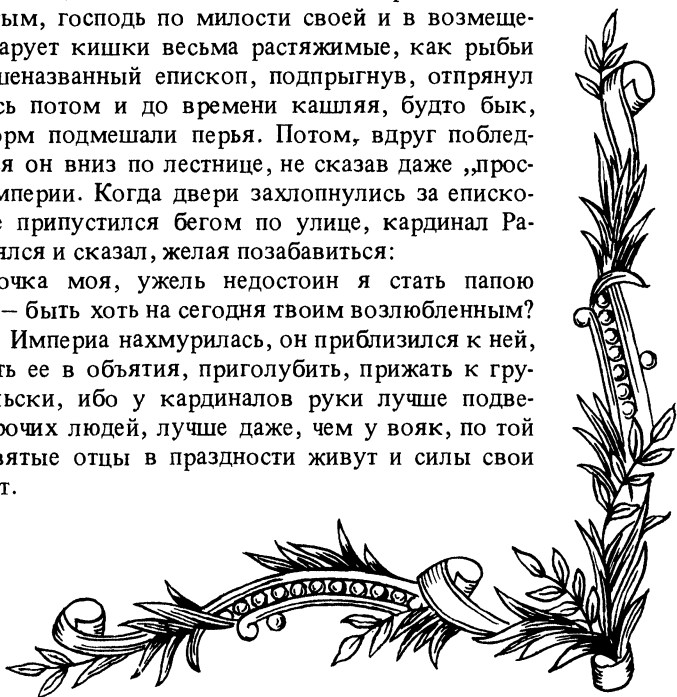
— Откуда вы это знаете? — спросил он.

— Мне ли то не знать,— ответил кардинал, взяв за руку простодушного немца,— я только что исповедал его и напутствовал. И в сей час наш безгрешный старец готовится прямым путем лететь в рай.

Тут епископ Куарский доказал, сколь люди тучные легки на подъем. Доподлинно известно, что праведникам, особливо пузатым, господь по милости своей и в возмещение их тягот дарует кишки весьма растяжимые, как рыбы пузыри. И вышеназванный епископ, подпрыгнув, отпрынул назад, обливаясь потом и до времени кашляя, будто бык, которому в корм подмешали перья. Потом, вдруг побледневши, бросился он вниз по лестнице, не сказав даже „прости“ госпоже Империи. Когда двери захлопнулись за епископом, и он уже припустился бегом по улице, кардинал Рагузский рассмеялся и сказал, желая позабавиться:

— Ах, милочка моя, ужель недостойн я стать папою и — того лучше — быть хоть на сегодня твоим возлюбленным?

Увидев, что Империя нахмурилась, он приблизился к ней, желая заключить ее в объятия, приголубить, прижать к груди по-кардинальски, ибо у кардиналов руки лучше подвешены, чем у прочих людей, лучше даже, чем у вояк, по той причине, что святые отцы в праздности живут и силы свои зря не расточают.



— Ах,— воскликнула Империя, отшатнувшись,— ты ищешь моей смерти, митроносец безумный! Для вас превыше всего ваше распутство, бессердечный грубиян! Что я тебе? Игрушка, служанка твоей похоти? Ежели страсть твоя меня убьет, вы причислите меня к лику святых, только и всего. Ты заразился коклюшем и смеешь еще домогаться меня! Ступай прочь, поворачивай отсюда, безмозглый монах, а меня и перстом коснуться не смей,— кричала она, видя, что он к ней приближается,— не то попотчую тебя этим кинжалом!

И лукавая девка выхватила из кошелька свой тонкий стилет, коим она при надобности умела владеть.

— Но, птичка райская, душечка моя,— молил кардинал,— ужели ты не поняла шутки? Надобно же было мне выпроводить прочь престарелого Куарского быка.

— Да, да, сейчас я увижу, любите вы меня или нет. Уйдите немедленно. Ежели вас уже взял недуг, погибель моя вас немало не тревожит. Мне достаточно знаком ваш нрав, знаю я, какую цену вы готовы заплатить ради единого мига улады; в тот час, когда вам придет пора помирать, вы всю землю без жалости затопите. Недаром во хмелю вы сами тем похвалялись. А я люблю только себя, свои драгоценности и свое здоровье. Ступайте! Придите завтра, если только до утра не протухнете. Сегодня я тебя ненавижу, добрый мой кардинал,— добавила она, улыбаясь.

— Империя! — возопил кардинал, падая на колени.— Святая Империя, не играй моими чувствами!

— Да что вы! — отвечала куртизанка.— Никогда я не играю предметами священными.

— Ах ты, тварь! Завтра же я отлучу тебя от церкви!

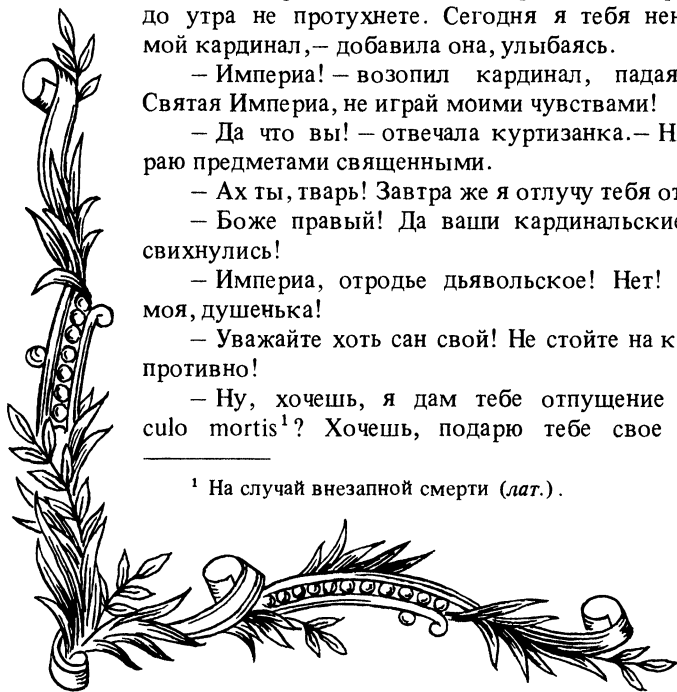
— Боже правый! Да ваши кардинальские мозги совсем свихнулись!

— Империя, отродье дьявольское! Нет! Нет! Красавица моя, душенька!

— Уважайте хоть сан свой! Не стойте на коленях. Глядеть противно!

— Ну, хочешь, я дам тебе отпущение грехов *in articulo mortis*¹? Хочешь, подарю тебе свое состояние или,

¹ На случай внезапной смерти (*лат.*).



того лучше, частицу животворящего креста господня? Хочешь?

— Нынче вечером мое сердце не купить никакими богатствами, ни земными, ни небесными,— смеясь, отвечала Империя.— Я была бы последней из грешниц, недостойной приобщаться святых тайн, не будь у меня своих прихотей.

— Я сожгу твой дом! Ведьма! Ты приворожила меня и за то сгоришь на костре... Выслушай меня, любовь моя, моя душенька, обещаю тебе лучшее место на небесах. Ну скажи? Не хочешь? Так смерть тебе, смерть, колдунья!

— Вот как? Я убью вас, монсеньер!

Кардинал даже задохнулся от ярости.

— Да вы безумны,— сказала Империя.— Ступайте прочь, вы последних сил лишитесь.

— Погоди, вот буду папою, ты за все заплатишь!

— Все равно и тогда из моей воли не выйдешь!

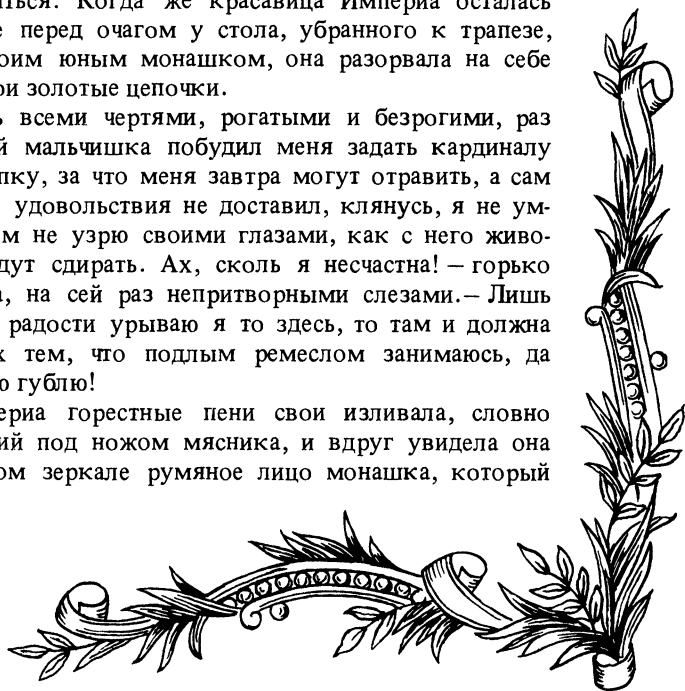
— Скажи, чем могу я угодить тебе сегодня?

— Уйди.

Она вскочила, проворная, словно трясогузка, порхнула в свою спальню и заперлась на замок, предоставив кардиналу бушевать одному, так что пришлось ему в конце концов удалиться. Когда же красавица Империя осталась в одиночестве перед очагом у стола, убранного к трапезе, покинутая своим юным монашком, она разорвала на себе в гневе все свои золотые цепочки.

— Клянусь всеми чертями, рогатыми и безрогими, раз этот негодный мальчишка побудил меня задать кардиналу подобную трепку, за что меня завтра могут отравить, а сам мне никакого удовольствия не доставил, клянусь, я не умру прежде, чем не узрю своими глазами, как с него живого шкуру будут сдирать. Ах, сколь я несчастна! — горько плакалась она, на сей раз непритворными слезами.— Лишь краткие часы радости урываю я то здесь, то там и должна оплачивать их тем, что подлым ремеслом занимаюсь, да еще душу свою гублю!

Так Империя горестные пени свои изливала, словно телок, ревуший под ножом мясника, и вдруг увидела она в венецианском зеркале румяное лицо монашка, который



ловко проскользнул в комнату и тихонько встал за ее спиной. И тогда воскликнула она:

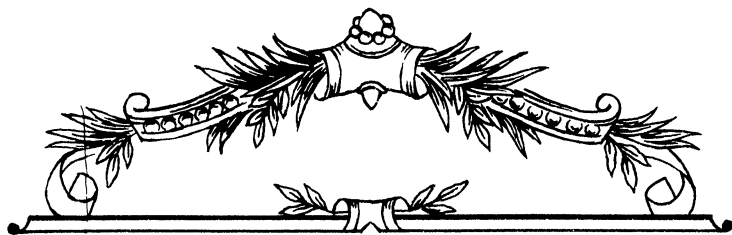
— Ты самый распрекрасный из монахов, самый миденький монашек на свете, который когда-либо монашничал, монашил, монашулил в сем священном любвеобильном городе Констанце! Поди ко мне, мой любезный друг, любимый мой сынок, яблочко мое, услада моя райская. Хочу выпить влагу очей твоих, съест тебя хочу, убить тебя любовью. О мой цветущий, благоуханный мой, лучезарный бог Тебя, простого монаха, я сделаю королем, императором, папой римским, и будешь ты счастливее всех! Твори тогда твою волю, рази мечом, пали огнем! Я твоя и докажу тебе это, ибо станешь ты вскорости кардиналом хоть бы пришлось мне отдать всю кровь сердца, чтобы в алый цвет окрасить твою черную шапочку! ..

Дрожащими руками наполнила она греческим вином золотую чашу, принесенную толстяком епископом Куарским, и поднесла, счастливая, своему дружку; желая услужить ему, опустилась перед ним на колени, она, чью туфельку принцы находили куда слаще для уст своих, чем папскую туфлю.

Но туренец молча смотрел на красавицу взором, столь алчущим любви, что она сказала ему, трепеща от блаженства:

— Ни слова, милый. Приступим к ужину!





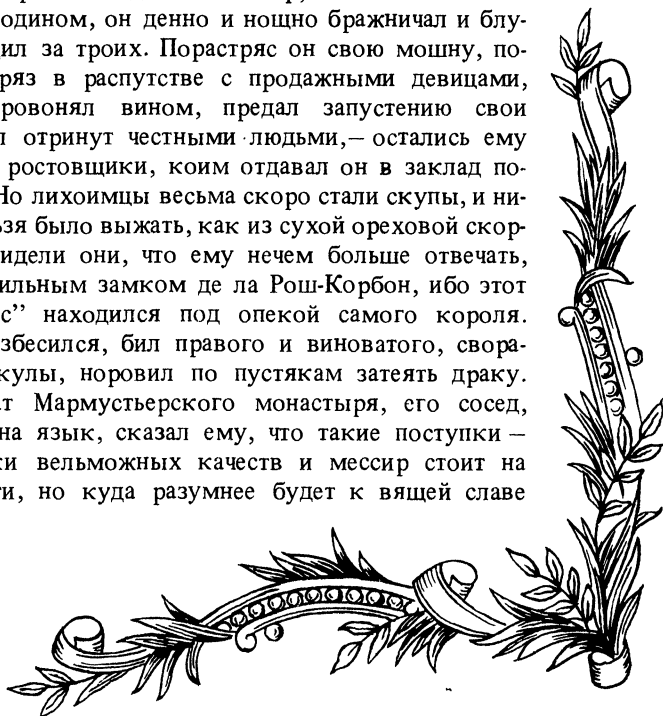
НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК СТАРЫЙ БРЮИН ВЫБРАЛ СЕБЕ ЖЕНУ

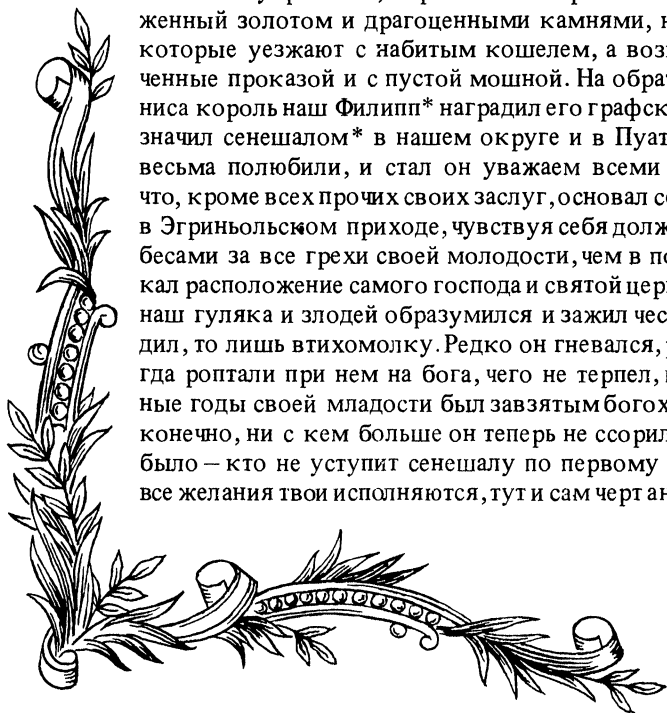


ессир Брюин, тот самый, что достроил замок Рош-Корбон ле Вувре на Луаре, был в молодости отчаянным повесой. Еще юнцом он портил девчонок, пустил по ветру родительское достояние и дошел в своем негодяйстве до того, что родного отца барона де ла Рош-Корбон засадил под замок; став сам себе господином, он денно и ночью бражничал и блудил за троих. Порастряс он свою мошну, погряз в распутстве с продажными девицами, провонял вином, предал запустению свои поместья и был отринут честными людьми, — остались ему друзьями лишь ростовщики, коим отдавал он в заклад последнее добро. Но лихоимцы весьма скоро стали скупы, и ничего из них нельзя было выжать, как из сухой ореховой скорлупы, когда увидели они, что ему нечем больше отвечать, кроме как фамильным замком де ла Рош-Корбон, ибо этот „Рюпес-Корбонис” находился под опекой самого короля. Тогда Брюин взбесился, бил правого и виноватого, сворачивая людям скулы, норовил по пустякам затеять драку. Видя это, аббат Мармустьерского монастыря, его сосед, весьма острый на язык, сказал ему, что такие поступки — верные признаки вельможных качеств и мессир стоит на правильном пути, но куда разумнее будет к вящей славе



господней бить мусульман, погнящих святую землю; без сомнения, он вернется в Турень, нагруженный сокровищами и индульгенциями, или же проследует прямо в рай, откуда и ведут свое происхождение все бароны.

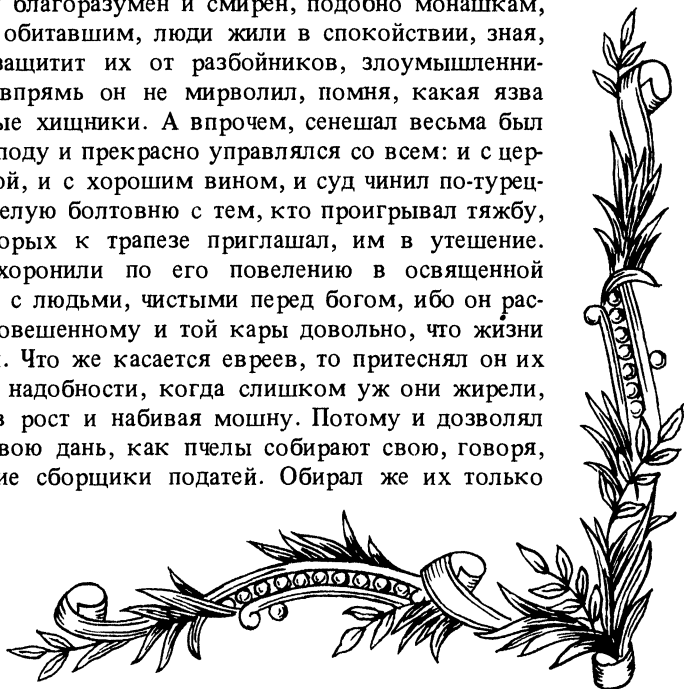
Названный барон, восхищаясь великим умом аббата, отбыл, снаряженный в дорогу попечением монахов, благословляемый аббатом и при громком ликовании своих соседей и друзей. Тогда пустился он грабить многие города Азии и Африки, избивать нехристей, без зазрения совести резать сарацин, греков, англичан и прочих, не заботясь о том, друзья они или нет и откуда они берутся, ибо, к чести своей, мессир Брюин не страдал излишним любопытством и спрашивал, с кем бился, лишь после того, как уже сразил противника. В этих трудах, весьма приятных господу, королю и ему самому, Брюин заслужил славу доброго христианина, верного рыцаря и немало развлекся в заморских странах, поскольку охотнее он давал эку девкам, нежели медный грош беднякам, хотя чаще встречал честных бедняков, чем заманчивых девиц. Но как истый туренец, не брезгал он никакой похлебкой. Наконец, пресытившись турками, священными реликвиями и прочей добычей, захваченной в святой земле, Брюин, к великому изумлению жителей Вуврильона, воротился из крестового похода, нагруженный золотом и драгоценными камнями, не в пример тем, которые уезжают с набитым кошельком, а возвращаются отягченные проказой и с пустой мошной. На обратном пути из Туниса король наш Филипп* наградил его графским титулом и назначил сенешалом* в нашем округе и в Пуату. С тех пор его весьма полюбили, и стал он уважаем всеми по той причине, что, кроме всех прочих своих заслуг, основал собор Карм-Дешо в Эгриньольском приходе, чувствуя себя должником перед небесами за все грехи своей молодости, чем в полной мере снискал расположение самого господа и святой церкви. Оплешивев, наш гуляка и злодей образумился и зажил честно, а если и блудил, то лишь втихомолку. Редко он гневался, разве только когда роптали при нем на бога, чего не терпел, ибо сам в безумные годы своей младости был завзятым богохульником. И уж, конечно, ни с кем больше он теперь не ссорился, да и не с кем было — кто не уступит сенешалу по первому его слову? А раз все желания твои исполняются, тут и сам черт ангелом делается.



Был у графа замок сверху донизу в живописных надстройках, подобный испанскому камзолу. Замок сей был расположен на вершине холма, откуда смотрелся он в воды Луары. Внутри все покои разукрашены были роскошными шпалерами, мебелью разной, драгоценными занавесями, всякими сарацинскими диковинками, на которые не могли налюбоваться турецкие жители и сам архиепископ с монахами обители святого Мартина, коим граф подарил стяг с бахромой из чистого золота. Вокруг того замка жались разного рода постройки, мельницы, амбары с зерном и всевозможные службы. Это был военный склад всей провинции, и Брюин мог выставить тысячу копий в распоряжение нашего короля. Если случалось местному балы*, склонному к короткой расправе, приводить к старому графу бедного крестьянина, заподозренного в каком-либо проступке, то старик говорил, улыбаясь:

— Отпусти этого, Бредиф, за него уже поплатились те, коих я в свое время по легкомыслию обидел...

Нередко, правда, и сам он приказывал вздернуть кого-нибудь без долгих слов на ближайшем дубовом суку или же на виселице. Но происходило это лишь во славу правосудия, чтоб добрый обычай не забывался в его владениях. Посему народ там был благоразумен и смирен, подобно монашкам, некогда здесь обитавшим, люди жили в спокойствии, зная, что сенешал защитит их от разбойников, злоумышленников, коим и впрямь он не мирволил, помня, какая язва оные проклятые хищники. А впрочем, сенешал весьма был привержен госуду и прекрасно управлялся со всем: и с церковной службой, и с хорошим вином, и суд чинил по-турецки, заводя веселую болтовню с тем, кто проигрывал тяжбу, и даже некоторых к трапезе приглашал, им в утешение. Повешенных хоронили по его повелению в освященной земле, наравне с людьми, чистыми перед богом, ибо он рассуждал так: повешенному и той кары довольно, что жизни своей лишился. Что же касается евреев, то притеснял он их лишь по мере надобности, когда слишком уж они жирели, давая деньги в рост и набивая мошну. Потому и позволял им собирать свою дань, как пчелы собирают свою, говоря, что они лучшие сборщики податей. Обирал же их только



на благо и пользу служителей церкви, короля, провинции или себя самого.

Такое добродушие привлекало к нему все сердца от мала до велика. Когда барон, отсидев положенное время на своем судейском кресле, с улыбкой возвращался домой, то аббат мармустьерский, тоже глубокий старец, говорил:

— Что-то вы нынче веселы, мессир, наверно, вздернули кого-нибудь.

А когда барон проезжал верхом по дороге из Рош-Корбона в Тур, через предместье святого Симфориона, люди промеж себя говорили:

— Вот едет наш добрый барон вершить суд!

И без страха смотрели на него, как он трусил рысцой на статной белой кобыле, которую вывез с Востока. На мосту мальчишки прерывали игру в камушки и кричали:

— День добрый, господин сенешал!

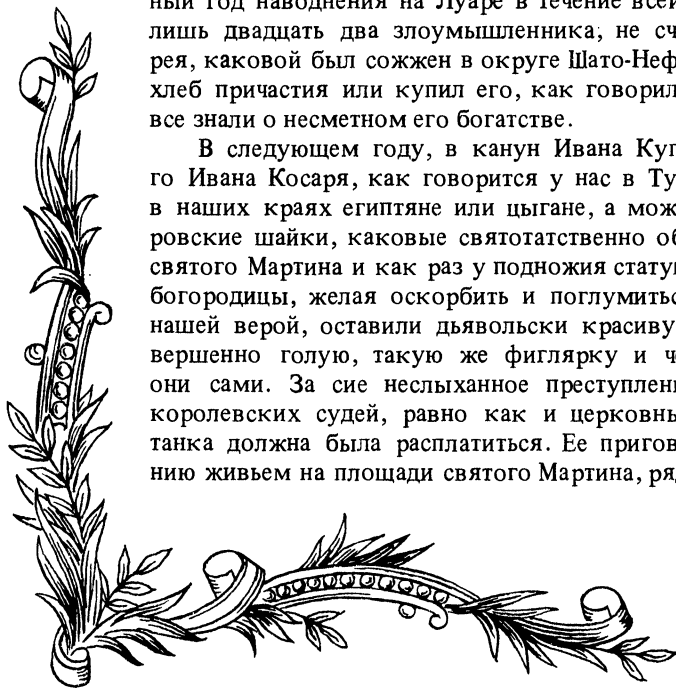
И он отвечал шутя:

— Играйте себе на здоровье, детки, пока вас не высекли.

— Слушаем, господин сенешал!

Так по милости его весь наш край был весьма доволен и забыл, какие такие бывают воры, и даже в приснопамятный год наводнения на Луаре в течение всей зимы повесили лишь двадцать два злоумышленника; не считая одного еврея, каковой был сожжен в округе Шато-Неф за то, что украл хлеб причастия или купил его, как говорили в народе, ибо все знали о несметном его богатстве.

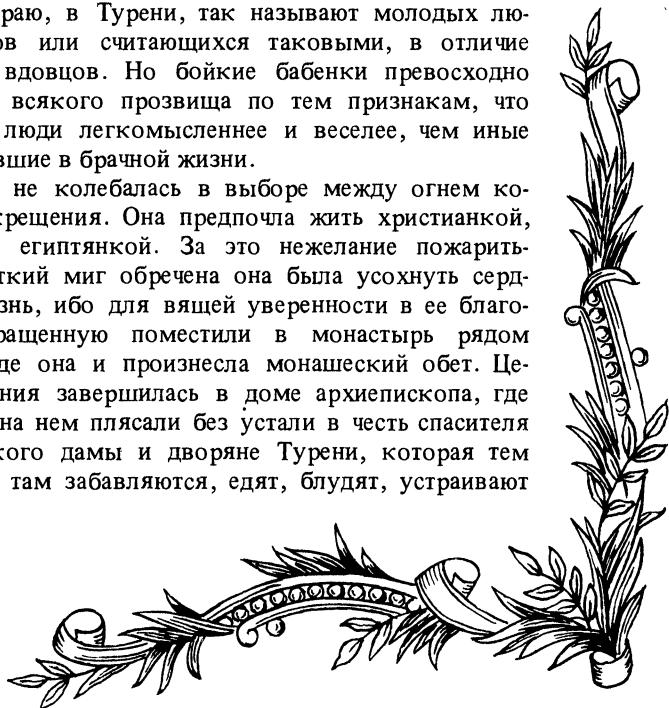
В следующем году, в канун Ивана Купалы, или святого Ивана Косаря, как говорится у нас в Турени, появились в наших краях египтяне или цыгане, а может, и другие воровские шайки, каковые святотатственно обокрали обитель святого Мартина и как раз у подножия статуи госпожи нашей богородицы, желая оскорбить и поглумиться над истинной нашей верой, оставили дьявольски красивую девчонку, совершенно голую, такую же фиговку и черномазую, как они сами. За сие неслыханное преступление, по решению королевских судей, равно как и церковных, юная мавританка должна была расплатиться. Ее приговорили к сожжению живьем на площади святого Мартина, рядом с колодцем,



что на зеленом рынке. Тогда добряк Брюин наперекор прочим искусно доказал, что было бы весьма угодно господа разумно и выгодно эту африканскую душу приобщить к истинной религии. Ибо если дьявол уже вошел в оное женское тело и упорно гнездится в нем, то ни на каких кострах его не сожжешь. Архиепископ признал сие соображение весьма мудрым и канонически правильным, полностью согласным с христианским милосердием и евангелием. Однако ж городские дамы и иные влиятельные особы громко выражали свое неудовольствие, сетуя, что их лишают торжественной церемонии, ибо мавританка, говорили они, так горько оплакивает в тюрьме свою участь, кричит, как связанная коза, и, не раздумывая, согласится принять христианство, лишь бы остаться в живых, и, дай ей волю, проживет с вороний век. На это сенешал ответствовал, что если чужеземка пожелала бы, как это и должно, принять христианскую веру, то по установленному обряду состоится куда более торжественная церемония, и он обещал устроить все с королевским великолепием, сказав, что сам будет восприемником на крестинах, кумой же должна быть девственница, чтобы в полной мере угодить господа, так как он, Брюин, „непосвященный”.

В нашем краю, в Турени, так называют молодых людей — холостяков или считающихся таковыми, в отличие от женатых и вдовцов. Но бойкие бабенки превосходно узнают их без всякого прозвища по тем признакам, что оные молодые люди легкомысленнее и веселее, чем иные прочие, закосневшие в брачной жизни.

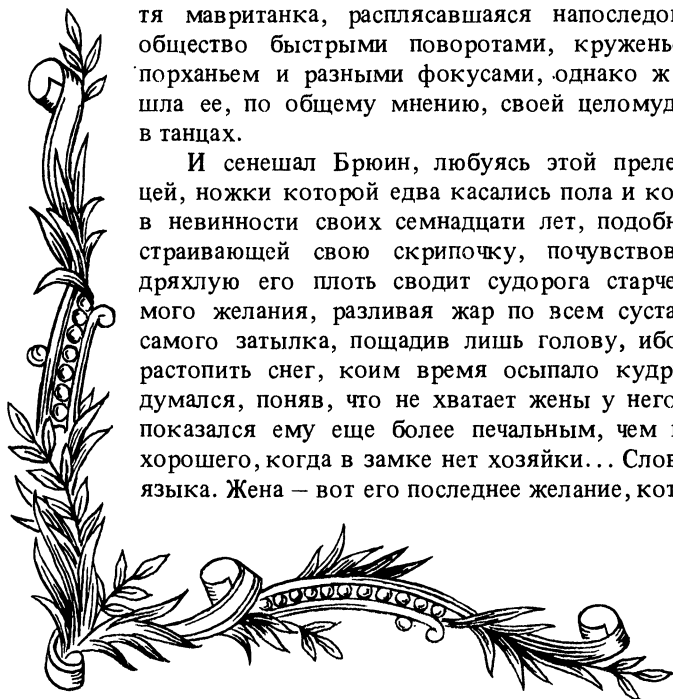
Мавританка не колебалась в выборе между огнем костра и водой крещения. Она предпочла жить христианкой, нежели сгореть египтянкой. За это нежелание пожариться единый краткий миг обречена она была усохнуть сердцем на всю жизнь, ибо для вящей уверенности в ее благочестии новообращенную поместили в монастырь рядом с Шардонере, где она и произнесла монашеский обет. Церемония крещения завершилась в доме архиепископа, где был задан бал, на нем плясали без усталости в честь спасителя рода человеческого дамы и дворяне Турени, которая тем и славится, что там забавляются, едят, блудят, устраивают



шумные игры и всякие увеселения чаще, чем где-либо на свете. Добрый сенешал захотел покумиться с дочкой мессира д'Азе-ле-Ридель, коего в ту пору просто называли Азе-сгоревший. Рыцарь этот участвовал в битве под Акром*, городом весьма отдаленным, и попал в руки сарацина, потребовавшего за него королевский выкуп по той причине, что названный рыцарь отличался важностью осанки.

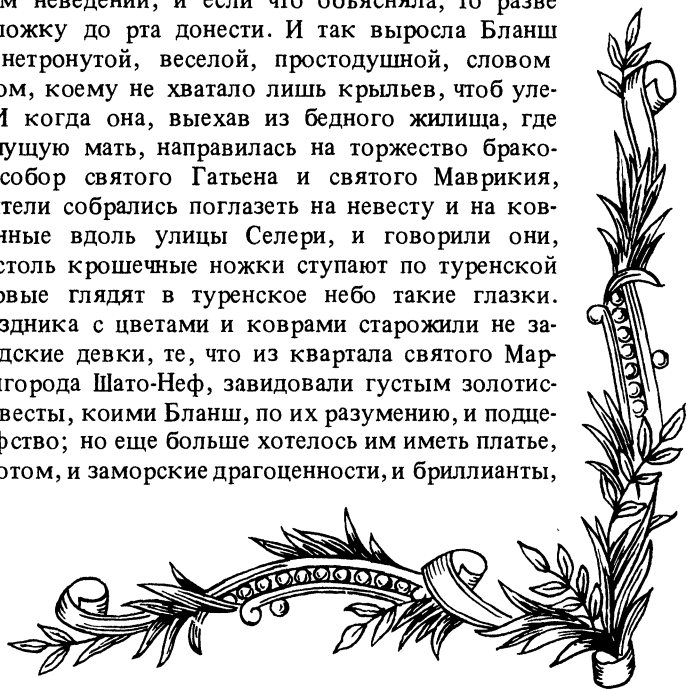
Супруга мессира Азе заложила родовое свое поместье ломбардщикам и ростовщикам, чтоб собрать нужные деньги, осталась без единого гроша и в ожидании своего господина ютилась в жалком городском жилище, где даже коврика не имелось, но была горда, как царица Савская, и смела, как борзая, защищающая добро своего хозяина. Узнав о великой ее нужде, сенешал поспешил весьма деликатно пригласить мадмуазель д'Азе в крестные матери к названной египтянке и тем приобрести право помочь г-же д'Азе. Он приберег тяжелую золотую цепь, доставшуюся ему при взятии Кипра, которую и собирался надеть на шейку миленькой своей куме; но вместе с цепью отдал он ей все свои поместья, седовласую голову, свою казну и белых кобылиц — одним словом, отдал все, как только увидел Бланш д'Азе танцующей павану среди турецких дам. И хотя мавританка, расплясавшаяся напоследок, удивила все общество быстрыми поворотами, круженьем, прыжками, порханьем и разными фокусами, однако ж Бланш превзошла ее, по общему мнению, своей целомудренной грацией в танцах.

И сенешал Брюин, любуясь этой прелестнейшей девицей, ножки которой едва касались пола и которая резвилась в невинности своих семнадцати лет, подобно стрекозе, настраивающей свою скрипочку, почувствовал вдруг, как дряхлую его плоть сводит судорога старческого неодолимого желания, разливая жар по всем суставам, от пят до самого затылка, пощадив лишь голову, ибо трудно любви растопить снег, коим время осыпало кудри. И Брюин задумался, поняв, что не хватает жены у него в доме, и дом показался ему еще более печальным, чем когда-либо. Что хорошего, когда в замке нет хозяйки... Словно колокол без языка. Жена — вот его последнее желание, которое оставалось



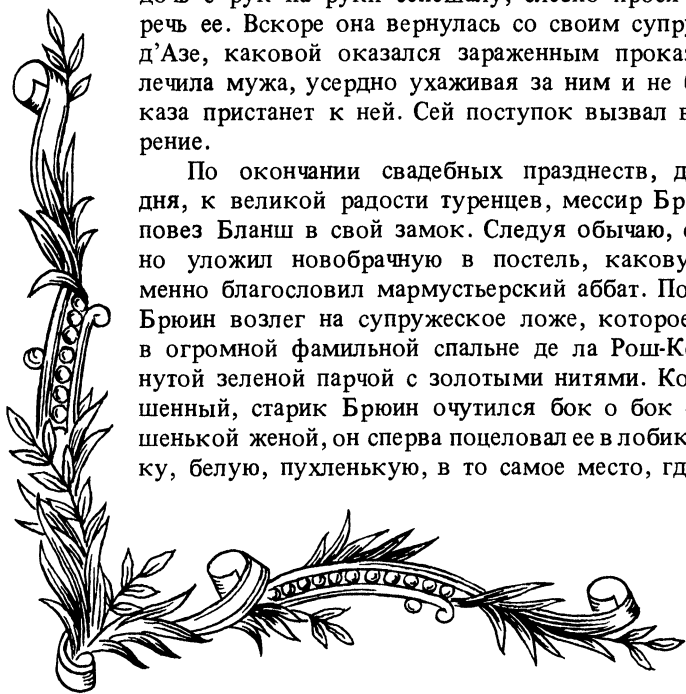
неисполненным. А последнее желание надо исполнить не мешкая: ведь если г-жа д'Азе станет откладывать да тянуть, ему не миновать стать перебраться из здешнего мира в иной. И пока шумели гости на крестинах, он забыл, что изувечен в битвах и что уже перешагнул восьмой десяток, отчего реже стали его седые кудри. Мессир Брюин думал, что все еще достаточно зорки его глаза, коли он видит ясно свою куму, которая, следуя приказу матери, привечала его улыбкой и ласковым взглядом, полагая, что такой старый кум — соседство неопасное. Вследствие чего Бланш, невинная простушка в отличие от всех туренских девушек, шаловливых, как майское утро, позволила старцу поцеловать сначала ручку, а потом и шейку, ниже дозволенного, по свидетельству архиепископа, обвенчавшего их неделю спустя. И до чего же прекрасную сыграли свадьбу, но прекраснее всего была сама невеста.

Названная Бланш была тонка и свежа несравненно, и лучше того — девственна, как сама девственность! До того девственная, что не имела понятия, что такое любовь и зачем и как она творится. До того была она невинна, что удивлялась, зачем это супруги нежатся в постели, и думала, что младенца находят в кочне капусты. Мать ее воспитала в полном неведении, и если что объясняла, то разве только как ложку до рта донести. И так выросла Бланш цветущей и нетронутой, веселой, простодушной, словом чистым ангелом, коему не хватало лишь крыльев, чтоб улететь в рай. И когда она, выехав из бедного жилища, где оставила плачущую мать, направилась на торжество бракосочетания в собор святого Гатьена и святого Маврикия, окрестные жители собрались поглазеть на невесту и на ковры, разостланные вдоль улицы Селери, и говорили они, что впервые столь крошечные ножки ступают по туренской земле и впервые глядят в туренское небо такие глазки. А такого праздника с цветами и коврами старожилы не запомнят. Городские девки, те, что из квартала святого Мартина и из пригорода Шато-Неф, завидовали густым золотистым косам невесты, коими Бланш, по их разумению, и подцепила себе графство; но еще больше хотелось им иметь платье, затканное золотом, и заморские драгоценности, и бриллианты,



и цепи, коими Бланш поигрывала и кои навсегда приковали ее к названному сенешалу. Старый вояка подбодрился, стоя рядом с невестой, весь сиял, счастье так и сквозило сквозь все его морщины, так и светилось во взгляде его и в каждом движении. Хотя мессир Брюин и походил фигурой на кривой тесак, он все же старался вытянуться во фронт перед Бланш, не хуже ландскнехта, отдающего честь на параде; и все прикладывал к груди руку, будто от счастья у него спирало дыхание. Внимая перезвону колоколов, любуясь процессией и пышным свадебным поездом, о котором начали говорить уже на следующий день после праздника в архиепископском доме, вышеназванные девки размечтались — подавай им охапками мавританские души да уйму старых сенешалов, и чтобы градом сыпались крестины египтянок; но тот случай так и остался единственным в Турени, ибо наш край далеко от Египта и от Богемии. Г-же д'Азе после церемонии была вручена немалая сумма денег, с которой она и отправилась незамедлительно навстречу своему супругу по направлению к городу Акру, сопровождаемая начальником стражи и алебардщиками, которых граф де ла Рош-Корбон снарядил на свой счет. Благородная дама тронулась в путь сразу же после свадьбы, передав свою дочь с рук на руки сенешалу, слезно прося при том побереечь ее. Вскоре она вернулась со своим супругом, рыцарем д'Азе, каковой оказался зараженным проказой, и она излечила мужа, усердно ухаживая за ним и не боясь, что проказа пристанет к ней. Сей поступок вызвал всеобщее одобрение.

По окончании свадебных празднеств, длившихся три дня, к великой радости туренцев, мессир Брюин с почетом повез Бланш в свой замок. Следуя обычаю, он торжественно уложил новобрачную в постель, каковую заблаговременно благословил мармустьерский аббат. После чего и сам Брюин возлег на супружеское ложе, которое возвышалось в огромной семейной спальне де ла Рош-Корбонов, обтянутой зеленой парчой с золотыми нитями. Когда, весь надушенный, старик Брюин очутился бок о бок со своей хорошенькой женой, он сперва поцеловал ее в лобик, потом в грудь, белую, пухленькую, в то самое место, где недавно с ее

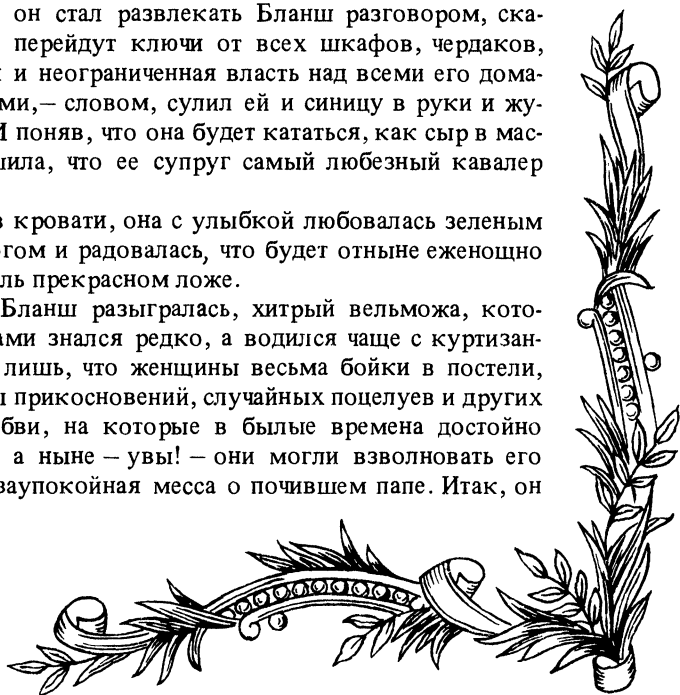


разрешения застегнул пряжку тяжелой золотой цепи, и тем дело и кончилось. Старый распутник, слишком много о себе возомнив, надеялся довершить остальное, но, увы, пришлось отпустить амура на все четыре стороны. Напрасно из нижних зал, где все еще продолжались танцы, доносились веселые свадебные песни, эпиталамы и шутки. Брюин пожелал подкрепиться и хлебнул свадебного напитка из золотого кубка, тоже получившего по обычаю соответствующее благословение, однако же оное питье согрело ему лишь желудок, но отнюдь не воскресило того, что почило навеки. Бланш даже и не заметила такого обмана со стороны супруга, ибо она была девственна душою и в супружестве видела лишь то, что зримо глазам молоденькой девушки, как-то: наряды, празднества, коней, а также то, что тебя называют дамой, госпожой, что ты графиня, что можешь веселиться и приказывать. Наивное дитя, она перебирала пальчиками золотую бахрому полога и восхищалась пышностью усыпальницы, где предстояло увянуть цветущей ее молодости.

Слишком поздно осознав свою вину, но, не теряя надежды на будущее, хотя оно день за днем должно было разрушиться и то малое, чем мог он еще располагать для утешения жены, сенешал решил попробовать заменить действие словом. И вот он стал развлекать Бланш разговором, сказал, что к ней перейдут ключи от всех шкафов, чердаков, баулов, полная и неограниченная власть над всеми его домами и поместьями, — словом, сулил ей и синицу в руки и журавля в небо. И поняв, что она будет кататься, как сыр в масле, Бланш решила, что ее супруг самый любезный кавалер на всем свете.

Усевшись в кровати, она с улыбкой любовалась зеленым парчовым пологом и радовалась, что будет отныне ежедневно почивать на столь прекрасном ложе.

Видя, что Бланш разыгралась, хитрый вельможа, который с девушками знался редко, а водился чаще с куртизанками, помнил лишь, что женщины весьма бойки в постели, и убоился игры прикосновений, случайных поцелуев и других выражений любви, на которые в былые времена достойно умел ответить, а ныне — увы! — они могли взволновать его не более, чем заупокойная месса о почившем папе. Итак, он



отодвинулся к самому краю постели, опасаясь даров любви, и сказал своей слишком пленительной супруге.

— Ну, что ж, моя милочка, вот вы теперь и супруга сенешала и, в сущности, неплохо осенешалены.

— О нет! — ответила она.

— Как нет! — возразил Брюин в испуге. — Разве вы не дама?

— Нет, — повторила она. — Я буду дама, только когда у меня родится ребенок.

— Видели вы поля по дороге сюда? — заговорил старичок.

— Да, — сказала она.

— Ну, так они теперь ваши.

— Вот как! — ответила Бланш со смехом. — Я там буду бабочек ловить, резвиться.

— Вот и умница! — промолвил граф. — А как же лес?

— Ах, я туда одна не пойду, вы меня будете сопровождать. Но, — прибавила она, — дайте мне немножечко того ликера, который варили для нас с таким старанием.

— А к чему он вам, душенька? От него внутренности жжет.

— Пусть жжет, — воскликнула она в раздражении, — ведь я хочу подарить вам как можно скорее ребеночка, а питье тому поможет.

— О моя малютка! — сказал сенешал, поняв, что Бланш была девственна до кончиков ногтей. — Для сего дела прежде всего необходимо соизволение господ, и жена должна быть готова к принятию своего сеятеля.

— А когда же это будет? — спросила она улыбаясь.

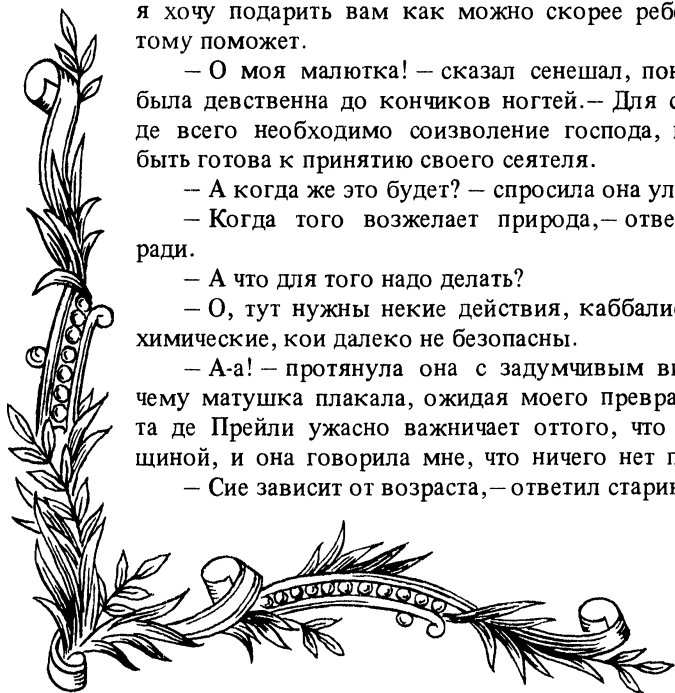
— Когда того возжелает природа, — ответил он шутки ради.

— А что для того надо делать?

— О, тут нужны некие действия, каббалистические и алхимические, кои далеко не безопасны.

— А-а! — протянула она с задумчивым видом. — Вот почему матушка плакала, ожидая моего превращения, но Берта де Прейли ужасно важничает оттого, что сделалась женщиной, и она говорила мне, что ничего нет проще на свете.

— Сие зависит от возраста, — ответил старик. — Но скажите,



видели вы на конюшне белую кобылицу, о коей так много говорят по всей Турени?

— Да, видела. Очень смиренная и статная лошадка.

— Так я вам дарю ее, и вы на ней будете скакать, когда вам захочется и сколько вам угодно.

— О, вы очень добры. Я вижу, что мне не солгали, когда так говорили о вас.

— Здесь, моя милочка,— продолжал он,— у меня есть эконо́м, капеллан, казначей, начальник конюшни, начальник кухни, бальи и даже кавалер Монсоро, молодой слуга по имени Готье, мой знаменосец, и он сам и его люди, командиры, солдаты и кони — все вам подвластны и будут исполнять ваши желания беспрекословно, под страхом виселицы.

— Но,— возразила она,— что касается того алхимического действия, разве нельзя его произвести немедленно?

— О нет,— сказал сенешал.— Для сего требуется, чтобы сначала на нас обоих снизошла благодать, иначе у нас родится злосчастный ребенок, отягченный грехами, что воспрещается законами церкви. Потому-то на свете и расплодилось такое множество неисправимых, негодных мальчишек. Неблагоразумные родители, видно, не стали дожидаться, пока очистятся их души, и чадам своим передали дурные наклонности. Прекрасные и добродетельные дети рождаются лишь от безупречных отцов. Вот почему мы и попросили мармутьерского аббата благословить наше ложе. Не нарушали ли вы в чем-либо предписаний святой церкви?

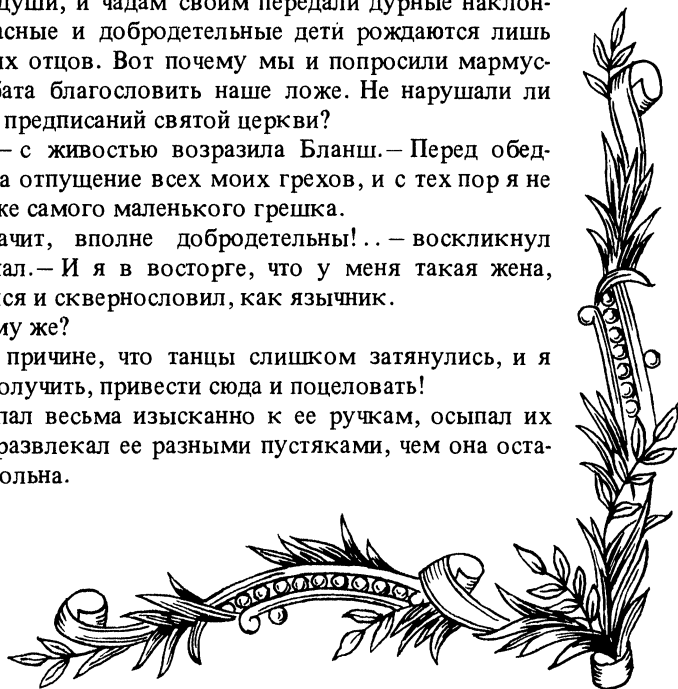
— О нет! — с живостью возразила Бланш.— Перед обедней я получила отпущение всех моих грехов, и с тех пор я не совершила даже самого маленького грешка.

— Вы, значит, вполне добродетельны!.. — воскликнул хитрый сенешал.— И я в восторге, что у меня такая жена, но я-то бранился и сквернословил, как язычник.

— О, почему же?

— По той причине, что танцы слишком затянулись, и я не мог вас заполучить, привести сюда и поцеловать!

И он припал весьма изысканно к ее ручкам, осыпал их поцелуями и развлекал ее разными пустяками, чем она осталась очень довольна.



Так как Бланш чувствовала себя утомленной от танцев и всех церемоний, она снова прилегла, сказав сенешалу:

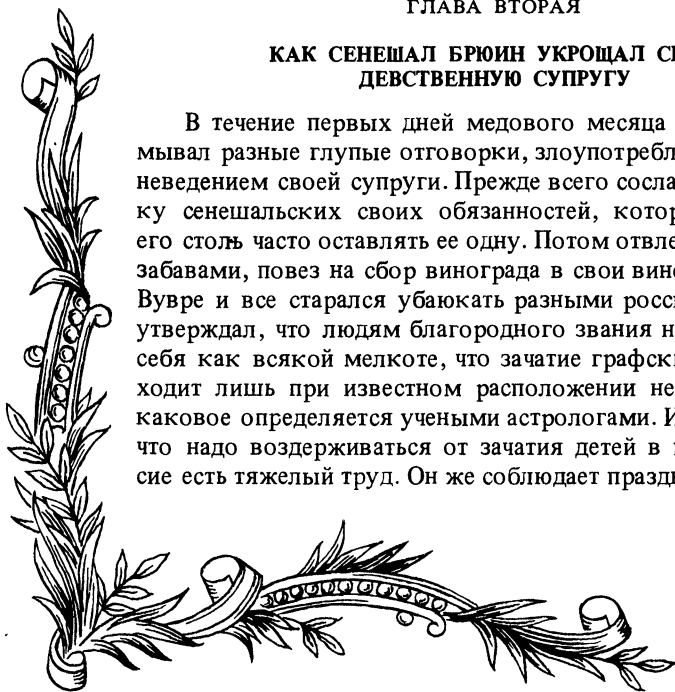
— Завтра я сама буду следить за тем, чтоб вы больше не грешили.

И она уснула, предоставив очарованному старцу любоваться ее светлой красотой, ее нежным телом; и все же был он в большом смущении, понимая, что сохранить ее в столь приятном для него неведении окажется не легче, чем объяснить, почему быки непрестанно жуют свою жвачку. И хотя будущее не сулило ему ничего доброго, он так возгорелся, созерцая дивные совершенства Бланш, прелестной в невинном своем сне, что решил сохранить ее для себя одного и зорко оберегать сей чудесный перл любви. И со слезами на глазах стал он целовать ее мягкие золотистые волосы, прекрасные веки, ее алые и свежие уста, действуя с превеликой осторожностью, в страхе, что она проснется... Вот и все, что он познал в первую брачную ночь,— немые улады жгли ему сердце, а Бланш не шелохнулась. И бедняга горько оплакивал зимний холод своей старости и понял, что бог подшутил над ним, дав ему орехов в ту пору, когда у него уже не осталось зубов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАК СЕНЕШАЛ БРЮИН УКРОЩАЛ СВОЮ ДЕВСТВЕННУЮ СУПРУГУ

В течение первых дней медового месяца сенешал придумывал разные глупые отговорки, злоупотребляя похвальным неведением своей супруги. Прежде всего сослался он на документ сенешальских своих обязанностей, которые побуждают его столь часто оставлять ее одну. Потом отвлек ее сельскими забавами, повез на сбор винограда в свои виноградники близ Вувре и все старался убаюкать разными рассказами. То он утверждал, что людям благородного звания не следует вести себя как всякой мелкоте, что зачатие графских детей происходит лишь при известном расположении небесных светил, каковое определяется учеными астрологами. Или же говорил, что надо воздерживаться от зачатия детей в праздники, ибо сие есть тяжелый труд. Он же соблюдает праздники, желая без



помехи попасть в рай. А то заявлял, что если на родителей не снизошла благодать божья, то ребенок, зачатый в день святой Клары, родится слепым, а если в день святого Генуария, то тогда у него будет водянка, а в день святого Анания — парша, а святого Рока — непременно чума. Потом стал объяснять, что зачатые в феврале — мерзляки, в марте — драчуны, в апреле — никудышние, а хорошие мальчики все майские. Словом, он, сенешал, хочет, чтобы его ребенок был совершенством, семи пядей во лбу, а для сего требуется благоприятное совпадение всех обстоятельств. Иной раз он говорил Бланш, что мужу дано право дарить ребенка своей жене, когда на то будет его воля, и ежели она добродетельная женщина, то и должна подчиняться желанию своего супруга. Потом, оказывается, надо было дожидаться, чтоб мадам д'Азе вернулась, дабы могла присутствовать при родах. Из всего этого Бланш уразумела лишь одно: сенешал недоволен ее просьбами и, должно быть, прав, ибо он стар и умудрен опытом. Итак, она покорилась, но думала про себя о столь желанном младенце, вернее только о нем и думала, как всякая женщина, если что-нибудь ей в голову взбредет, и не подозревала, что уподобляется в своей настойчивости куртизанкам и девкам, каковые, не стесняясь, гонятся за удовольствиями. Однажды вечером Брюин случайно заговорил о детях, хотя обычно избегал таких речей, как кошка воды, но тут, забывшись, стал жаловаться на слугу, наказанного им поутру за важный проступок.

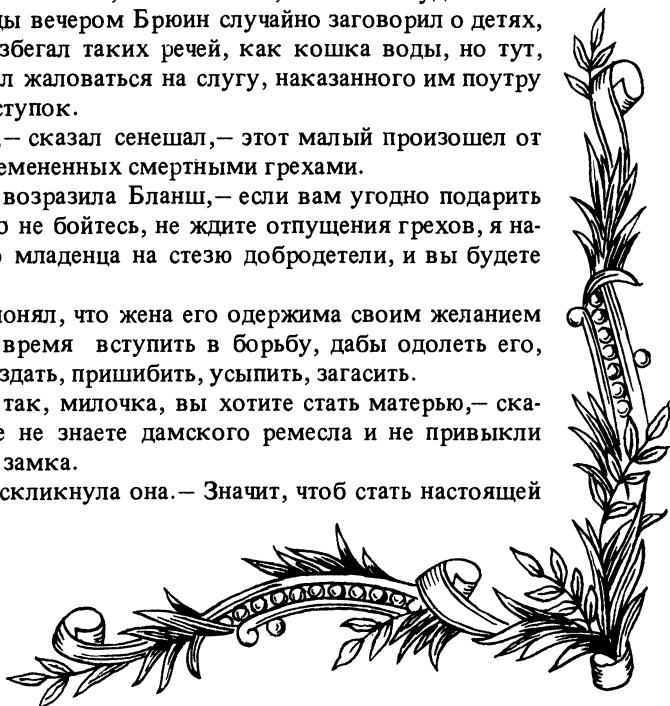
— Наверно,— сказал сенешал,— этот малый произошел от родителей, обремененных смертными грехами.

— Что ж,— возразила Бланш,— если вам угодно подарить мне ребенка, то не бойтесь, не ждите отпущения грехов, я направлю нашего младенца на стезю добродетели, и вы будете довольны.

Тут граф понял, что жена его одержима своим желанием и что настало время вступить в борьбу, дабы одолеть его, вытравить, обуздать, пришибить, усыпить, загасить.

— Как это так, милочка, вы хотите стать матерью,— сказал он,— а еще не знаете дамского ремесла и не привыкли быть хозяйкой замка.

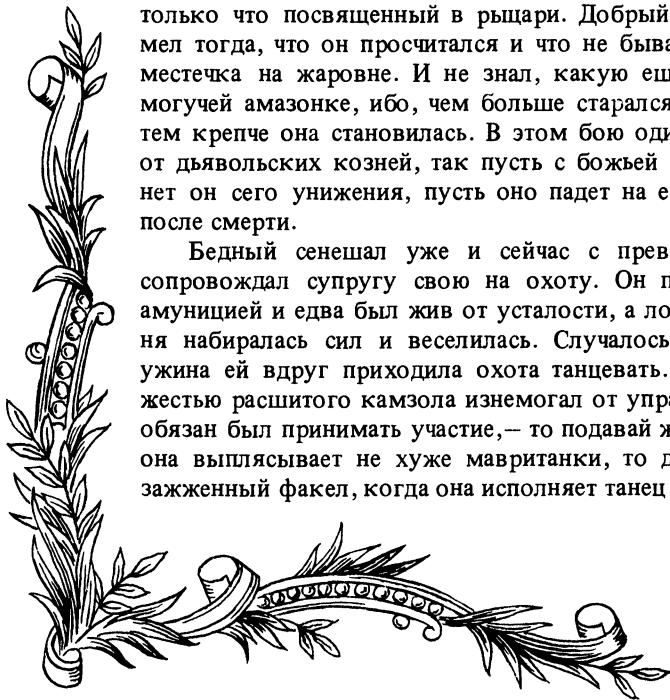
— Ах! — воскликнула она. — Значит, чтоб стать настоящей



графиней и носить во чреве маленького графа, я должна сначала уметь изображать даму! Ну что ж, я и этому научусь наилучшим образом.

Итак, Бланш, желая добиться потомства, стала охотиться за оленями и дикими козами, перепрыгивала через рвы, скакала на белой своей кобылице по долинам и холмам, через поля и леса. Она с удовольствием глядела, как кружат ее соколы, сама снимала с них колпачок, ловко держала их на своем маленьком кулачке, охотилась с утра до ночи. Сбылось пожелание сенешала! Но Бланш меж тем копила силы, нагуливая себе волчий аппетит. Иной раз, читая надписи на дорогах или же разлучая смертоносной стрелой птиц и диких зверей, застигнутых в любовной близости, Бланш подвергалась алхимическому действию самой природы, которая окрашивала румянцем ее лицо и волновала ей кровь. Это не способствовало умиротворению ее воинственной натуры, а лишь сильнее раздражало ее желание, выражавшееся смехом, трепетом и шаловливыми фантазиями. Сенешал, надеясь обезоружить мятежное девство супруги, отправил ее гарцевать по полям, но обман не привел к добру, по той причине, что неизведанная страсть, кипевшая в жилах охотницы, этой скачкой лишь подстегивалась, требуя игр и турниров, как паж, только что посвященный в рыцари. Добрый сенешал уразумел тогда, что он просчитался и что не бывает прохладного местечка на жаровне. И не знал, какую еще задачу задать могучей амазонке, ибо, чем больше старался он утомить ее, тем крепче она становилась. В этом бою один должен пасть от дьявольских козней, так пусть с божьей помощью избегнет он сего унижения, пусть оно падет на его голову лишь после смерти.

Бедный сенешал уже и сейчас с превеликим трудом сопровождал супругу свою на охоту. Он потел под своей амуницией и едва был жив от усталости, а ловкая его графиня набиралась сил и веселилась. Случалось, что во время ужина ей вдруг приходила охота танцевать. Старик под тяжестью расшитого камзола изнемогал от упражнений, в коих обязан был принимать участие, — то подавай жене руку, когда она выплясывает не хуже мавританки, то держи перед ней зажженный факел, когда она исполняет танец с подсвечником,



и, невзирая на боли в пояснице, чирьи и ревматизмы, улыбаясь, произноси любезности и расточай похвалы после всех этих прыжков, гримас и комических пантомим, которыми она развлекалась. Брюин был без ума от своей супруги — попроси она у него хоругвь из храма, он побежал бы за ней во всю прыть.

Однако ж в один прекрасный день почувствовал он, что старые его кости не дают ему бороться с резвой натурой супруги. И униженно признав свое бессилие перед ее девственностью, махнул он на все рукой, хотя и рассчитывал в душе на стыдливость и христианскую чистоту Бланш. Но все же он лишился сна, ибо подозревал, что господь бог сотворил девушек для любви, подобно тому, как куропатки созданы для вертела. Однажды в хмурое утро, когда после обильного дождя улитки выползают на дорогу и все навевает меланхолическую истому, Бланш отдыхала в креслах, погруженная в мечты, ибо ничто так не согревает плоть до последнего суставчика, будь то даже зелье самое сладостное, самое жгучее, проникающее, пронизывающее и живительное, нежели ласковое тепло, что накапливается меж пуховой подушкой и нежным пушком, покрывающим девичью кожу. Не ведая сама, что с ней творится, графиня тяготилась своей девственностью, которая нашептывала ей всякую ересь и досаждала сверх меры.

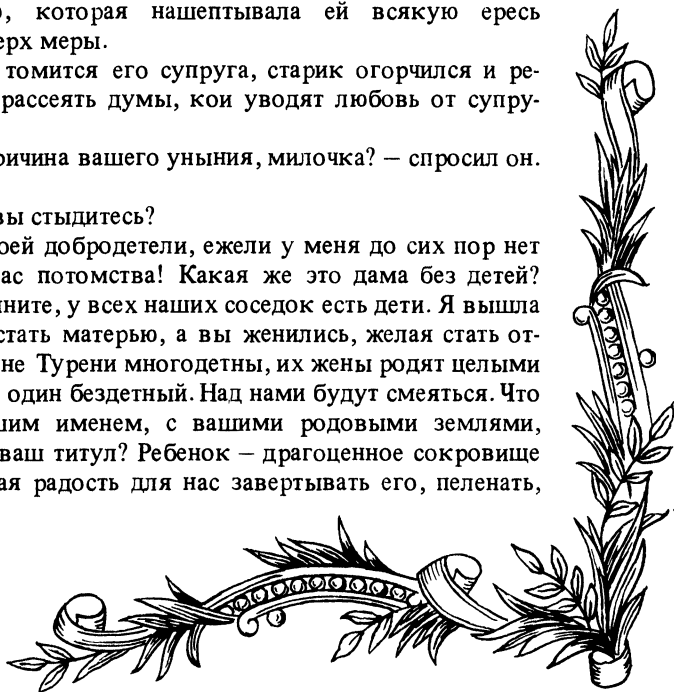
Видя, как томится его супруга, старик огорчился и решил, что пора рассеять думы, кои уводят любовь от супружеского ложа.

— Что за причина вашего уныния, милочка? — спросил он.

— Стыд.

— Чего же вы стыдитесь?

— Позор моей добродетели, ежели у меня до сих пор нет ребенка, а у вас потомства! Какая же это дама без детей? Никакая. Взгляните, у всех наших соседок есть дети. Я вышла замуж, желая стать матерью, а вы женились, желая стать отцом. Все дворяне Турени многодетны, их жены родят целыми выводками. Вы один бездетный. Над нами будут смеяться. Что станет с вашим именем, с вашими родовыми землями, кто наследует ваш титул? Ребенок — драгоценное сокровище матери; великая радость для нас завертывать его, пеленать,



одевать, раздевать, ласкать, качать, баюкать, будить поутру, укладывать ввечеру, кормить и, чувствую, что, достанься мне хоть плохонький, я бы целые дни его укачивала, ласкала, свивала, развивала на нем пеленки, подбрасывала его и смешила, как и все замужние дамы.

— Но нередко случается, что при родах женщина умирает, а вы, чтоб родить, еще слишком тонки и не развились, не то вы давно уже были бы матерью, — ответил сенешал, ошеломленный сим словесным фонтаном. — Не хотите ли купить готовенького? Он ничего не будет вам стоить — ни страданий, ни боли. . .

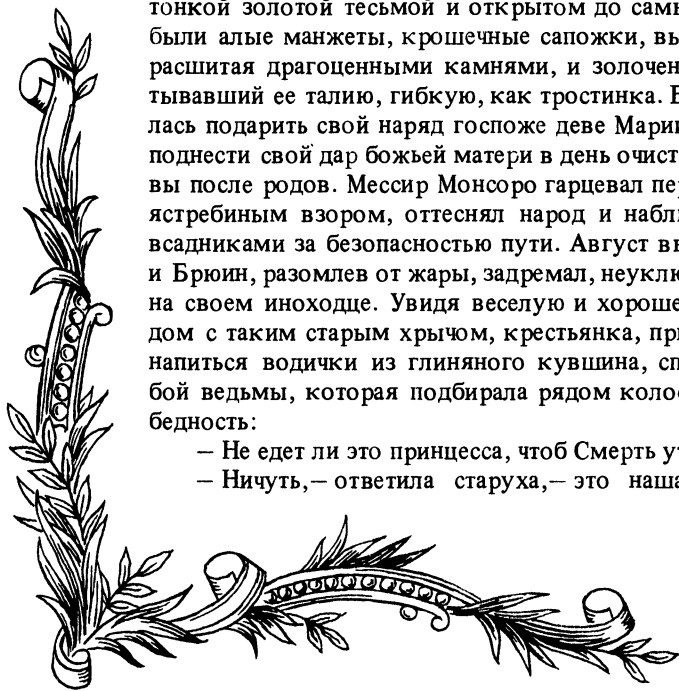
— Нет, — сказала она, — я хочу страдания и боли, без того он не будет нашим. Я отлично знаю, что он должен выйти из меня, ибо слышала в церкви, что Иисус — плод чрева матери своей, пресвятой девы.

— Тогда давайте помолимся, чтоб так и было, — воскликнул сенешал, — и обратимся к святой деве Эгриньольской. Многие женщины зачали после девятидневной молитвы, почему бы и нам тоже не попробовать.

В тот же день Бланш отправилась в Эгриньоль, к божьей матери. Она выехала из дома, будто королева, на красивой своей кобылице, в зеленом бархатном платье, зашнурованном тонкой золотой тесьмой и открытом до самых персей. У нее были алые манжеты, крошечные сапожки, высокая шапочка, расшитая драгоценными камнями, и золоченый пояс, обхватывавший ее талию, гибкую, как тростинка. Бланш намеревалась подарить свой наряд госпоже деве Марии и обещала преподнести свой дар божьей матери в день очистительной молитвы после родов. Мессир Монсоро гарцевал перед ней, сверкая ястребиным взором, оттеснял народ и наблюдал со своими всадниками за безопасностью пути. Август выдался знойный, и Брюин, разомлев от жары, задремал, неуклюже покачиваясь на своем иноходце. Увидя веселую и хорошенькую жену рядом с таким старым хрычом, крестьянка, присевшая на пень напиться водички из глиняного кувшина, спросила у беззубой ведьмы, которая подбирала рядом колосья, кляня свою бедность:

— Не едет ли это принцесса, чтоб Смерть утопить?

— Ничуть, — ответила старуха, — это наша госпожа Рош-



Корбон, супруга сенешала Пуату и Турени, и едет она вымаливать себе ребенка.

— Ах! — воскликнула молодая девка и, зажужжав, как взбесившаяся муха, указала на статного красавца Монсоро, ехавшего во главе поезда. — Ну, если этот молодец за дело примется, то она много денег на свечи и на попов не истратит.

— Ах, моя красавица, продолжала старая ведьма, — дивлюсь я, что это графине вздумалось к Эгриньольской божьей матери ехать, священники там не ахти как хороши. Ей бы лучше остановиться на часок, посидеть у мармустьерской колокольни, сразу бы и понесла, уж очень там святые отцы резвы.

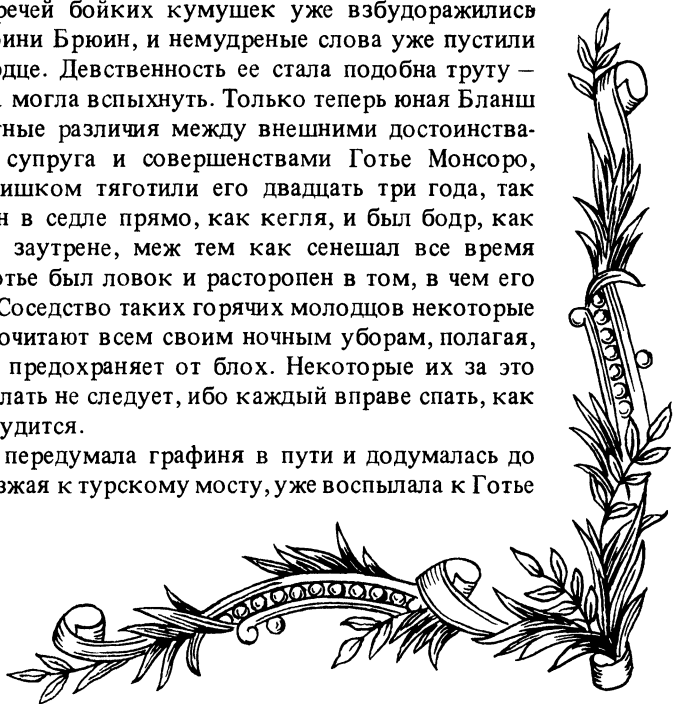
— Черт с ними, с монахами, — вмешалась третья крестьянка. — Взгляните на кавалера Монсоро — и горяч, и пригож, ему ли не открыты сердце оной дамы, тем паче, что в нем уже трещинка есть.

И тут наши кумушки залились хохотом. Юный Монсоро хотел было их повесить на первой осине в наказание за непотребные речи, но Бланш воскликнула:

— О мессир, пока не вешайте их, они не все еще досказали. На обратном пути послушаем, тогда и решим.

И она вся зарумянилась, а Монсоро взглянул на нее в упор, как бы желая вселить в ее сердце тайное понимание любви. Но от речей бойких кумушек уже взбудоражились все мысли графини Брюин, и немудреные слова уже пустили росток в ее сердце. Девственность ее стала подобна труту — от одного слова могла вспыхнуть. Только теперь юная Бланш увидела приметные различия между внешними достоинствами старого ее супруга и совершенствами Готье Монсоро, которого не слишком тяготили его двадцать три года, так что держался он в седле прямо, как кегля, и был бодр, как первый звон к заутрене, меж тем как сенешал все время подремывал. Готье был ловок и расторопен в том, в чем его хозяин сдавал. Соседство таких горячих молодцов некоторые красотики предпочитают всем своим ночным уборам, полагая, что оно вернее предохраняет от блох. Некоторые их за это поносят, чего делать не следует, ибо каждый вправе спать, как ему заблагорассудится.

Много дум передумала графиня в пути и додумалась до того, что, подъезжая к турскому мосту, уже воспыкала к Готье



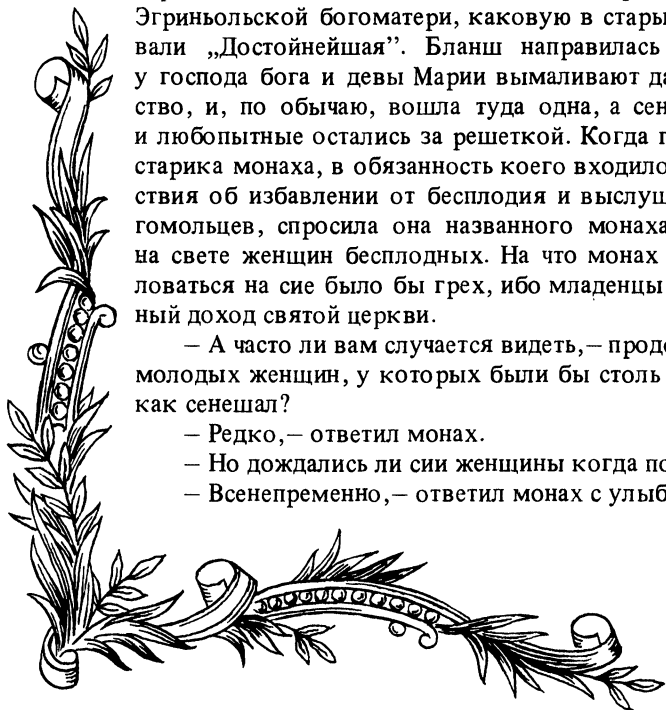
страстью, тайной и безрассудной, как может любить лишь девица, не знающая, что такое любовь. Итак, стала она доброжелательной, ибо пожелала добра ближнего своего, самого лучшего, чем обладает мужчина. Она впала в любовный недуг, опустясь в мгновение ока на самое дно страданий, ибо весь путь, от первого до последнего вздоха вожделения, охвачен огнем. А ведь до того она не знала, что стало ей ведомо теперь: что через взоры может передаваться некий тончайший бальзам, причиняющий жестокие потрясения во всех уголках сердца, бегущий по всем жилкам, по мышцам, вплоть до корней волос, вызывая испарину во всем естестве, проникая в самые мозги, в поры кожи, во все внутренности, гипохондрические сосуды и прочее; и все в ней сразу расширилось, загорелось, ззыграло, прониклось сладкой отравой, взбунтовалось и затрепетало, словно ее кололи тысячи иголок. И столь опьянило девственницу вполне понятное волнение, что затуманился ее взор и вместо старого своего супруга видела она Готье, которого природа наградила столь же щедро, как иного аббата, коему она дарует второй подбородок сверх положенного человеку. Когда наш старец въехал в город, его разбудили приветственные клики толпы, и весьма торжественно со всей своей свитой он проследовал в собор Эгриньольской богородицы, каковую в старые времена называли „Достойнейшая”. Бланш направилась к часовне, где у господ бога и девы Марии вымаливают дамы себе потомство, и, по обычаю, вошла туда одна, а сенешал, свита его и любопытные остались за решеткой. Когда графиня увидела старика монаха, в обязанность коего входило служить молебствия об избавлении от бесплодия и выслушивать обеты богомольцев, спросила она названного монаха, много ли есть на свете женщин бесплодных. На что монах ответил, что жаловаться на сие было бы грех, ибо младенцы приносят изрядный доход святой церкви.

— А часто ли вам случается видеть, — продолжала Бланш, — молодых женщин, у которых были бы столь старые супруги, как сенешал?

— Редко, — ответил монах.

— Но дождались ли сии женщины когда потомства?

— Всенепременно, — ответил монах с улыбкой.



— А те, у которых мужья помоложе?
— А те не всегда.
— О, значит, с таким супругом, как сенешал, дело обстоит вернее?

— Вне сомнения, — ответил монах.

— А почему?

— Потому, госпожа, — с важностью промолвил монах, — что до сего возраста единый бог в это дело вмешивается, а после участвуют в нем люди.

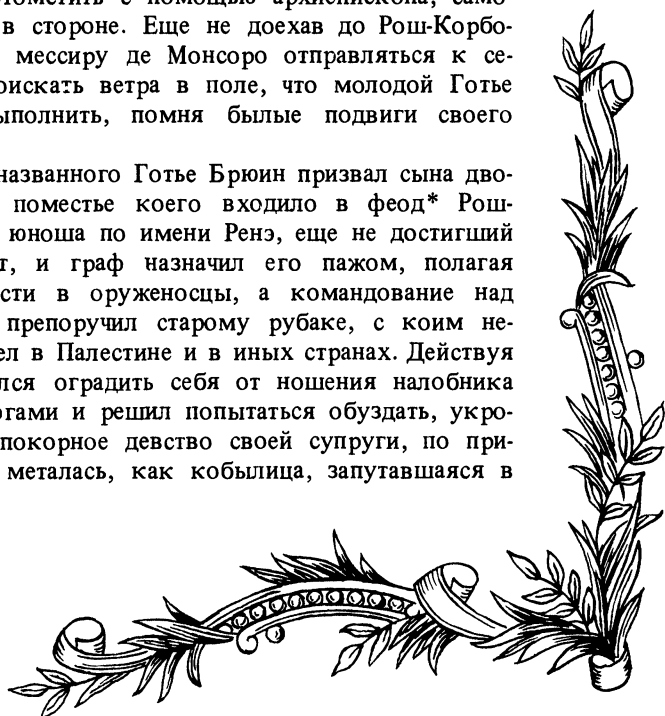
В те времена, как известно, вся ученая премудрость была достоянием духовных лиц. Бланш произнесла обет, и дар ее был одним из самых богатых, ибо одежды ее стоили не менее двух тысяч золотых.

— Вы весьма веселы, — сказал ей граф, когда на обратном пути она поднимала на дыбы, горячила и заставляла плясать свою кобылицу.

— О да, отныне я верю, что рожу ребенка. Но раз нужны для того чьи-либо труды, как сказал мне монах, то решила я обратиться к Готье.

Старик тут же возжелал убить монаха, но одумался, ибо такое преступление слишком дорого ему стоило бы, и он порешил отомстить с помощью архиепископа, самому же остаться в стороне. Еще не доехав до Рош-Корбона, он приказал мессире де Монсоро отправляться к себе на родину поискать ветра в поле, что молодой Готье не преминул выполнить, помня былые подвиги своего хозяина.

А на место названного Готье Брюин призвал сына дворянина Жаланж, поместье коего входило в феоде* Рош-Корбон. То был юноша по имени Ренэ, еще не достигший четырнадцати лет, и граф назначил его пажом, полагая позднее произвести в оруженосцы, а командование над своими людьми препоручил старому рубака, с коим немало натворил дел в Палестине и в иных странах. Действуя так, граф надеялся оградить себя от ношения налобника с ветвистыми рогами и решил попытаться обуздать, укротить, осадить непокорное девство своей супруги, по причине коего она металась, как кобылица, запутавшаяся в аркане.



ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ НЕВОЛЬНЫЙ

В воскресенье, следующее за прибытием юного Ренэ в замок ла Рош-Корбон, отправилась Бланш на охоту, оставив дома старого Брюина, и когда въезжала в лес неподалеку от монастыря Карно, то увидела монаха, который прижал девушку с ретивостью, не безопасной для жизни бедняжки, и потому, пришпорив лошадь, графиня пустилась вскачь, крикнув своим людям:

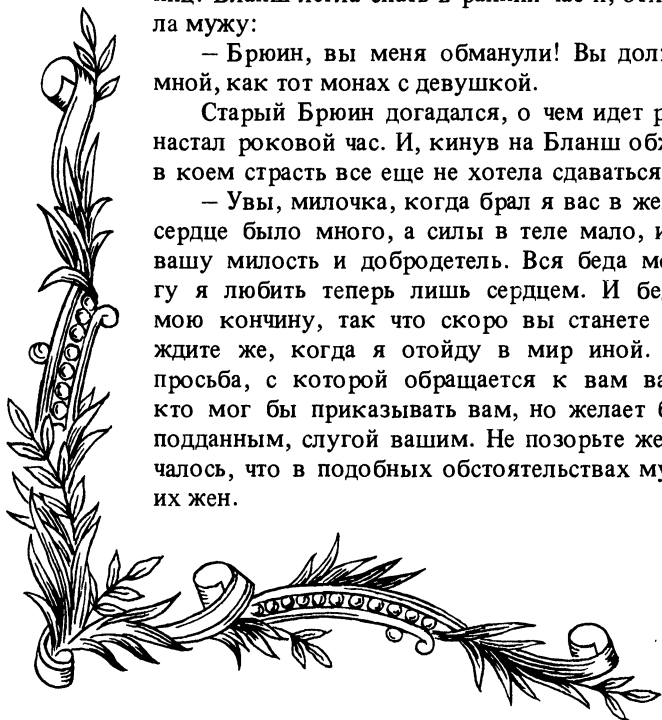
— Эй, помогите, как бы он ее не убил!

Но, подсакавав поближе, круто повернула, ибо зрелище того, что совершил монах, испортило ей всю охоту. В раздумье воротилась она домой, и с той поры мозг ее озарился, словно зажгли в темноте фонарь, и в лучах его предстали изображения на стенах церкви и другие картины, строки фаблио, сказы трубадуров и повадки птиц. И неожиданно уразумела она сладостную тайну любви, о которой рассказывает природа на всех сущих языках, даже на языке безгласных рыб. Нет большего безумия, чем скрывать сию науку от девственниц! Бланш легла спать в ранний час и, отходя ко сну, сказала мужу:

— Брюин, вы меня обманули! Вы должны поступить со мной, как тот монах с девушкой.

Старый Брюин догадался, о чем идет речь, и почувал, что настал роковой час. И, кинув на Бланш обжигающий взгляд, в коем страсть все еще не хотела сдаваться, тихо промолвил.

— Увы, милочка, когда брал я вас в жены, любви в моем сердце было много, а силы в теле мало, и понадеялся я на вашу милость и добродетель. Вся беда моя в том, что могу я любить теперь лишь сердцем. И беда эта приблизит мою кончину, так что скоро вы станете свободной. Подождите же, когда я отойду в мир иной. Вот единственная просьба, с которой обращается к вам ваш господин, тот, кто мог бы приказывать вам, но желает быть лишь вашим подданным, слугой вашим. Не позорьте же моих седин. Случалось, что в подобных обстоятельствах мужа убивали своих жен.



— Увы, значит вы меня убьете? — промолвила она.

— Нет, я слишком люблю тебя, — ответил старец. — Ведь ты цветок моей старости, радость моей души. Ты моя возлюбленная дочь! Твоя краса — отрада моих очей, и от тебя я все приму, и горе и счастье. Я дал тебе полную свободу, докажи, что ты не так уж ненавидишь бедного Брюина, который сделал тебя важной дамой, богатой и всеми чтимой. А какая прекрасная из тебя выйдет вдова! Поверь, счастье твое облегчит мне мою кончину.

И на глаза его, не знавшие слез, набежала горячая слеза и скатилась по щеке его, бурой, как сосновая шишка, и упала на руку жены; тронутая великой любовью старца, готового лечь в могилу ей в угоду, она воскликнула со смехом:

— Полно, полно, не плачьте, я подожду.

Тогда сенешал стал лобзать ее ручки и улещать жену нежными словечками, произнося с волнением в голосе:

— Если б ты знала, Бланш, голубка моя, как я ласкал, как целовал тебя, пока ты спала, вот сюда и вот тут...

И старый сатир поглаживал ее обеими руками, костлявыми, как руки скелета.

— Но я, — продолжал он, — не смел разбудить зверя, который оскорбил бы мою честь, ибо в любовном моем приближении участвовало только сердце.

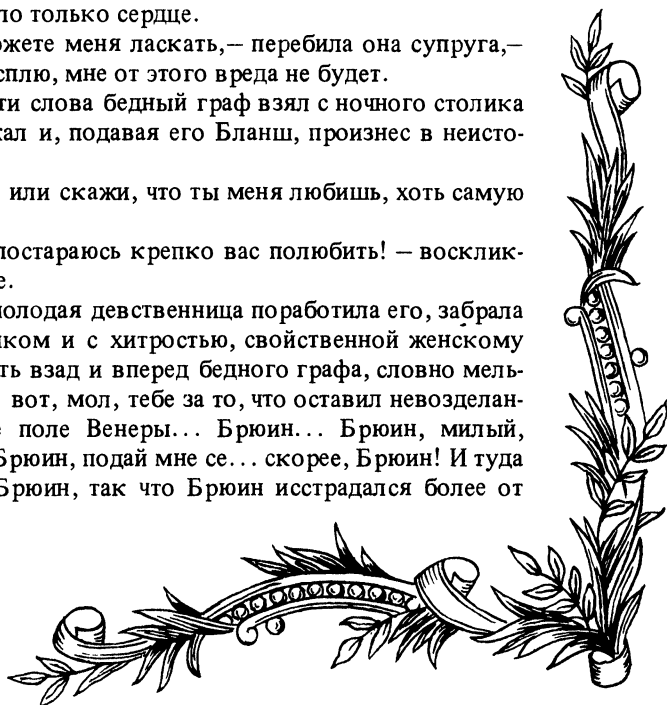
— Ах, вы можете меня ласкать, — перебила она супруга, — даже когда я не сплю, мне от этого вреда не будет.

В ответ на эти слова бедный граф взял с ночного столика маленький кинжал и, подавая его Бланш, произнес в неистовой ярости:

— Убей меня или скажи, что ты меня любишь, хоть самую малость!

— Да, да, я постараюсь крепко вас полюбить! — воскликнула она в испуге.

Вот так-то молодая девственница поработила его, забрала власть над стариком и с хитростью, свойственной женскому полу, стала гонять взад и вперед бедного графа, словно мельник своего осла: вот, мол, тебе за то, что оставил невозделанным прекрасное поле Венеры... Брюин... Брюин, милый, подай мне то... Брюин, подай мне се... скорее, Брюин! И туда Брюин, и сюда Брюин, так что Брюин исстрадался более от



милостей своей супруги, нежели от ее немилости. То вдруг понравится пурпуровый цвет, и надо немедленно все в доме менять, то вдруг нахмурит брови, и тогда развязывай мощну. А когда она бывала грустна, граф, сидя в своем судейском кресле, приказывал: „Вешать!“ — правого и виноватого. Другой на его месте пропал бы, как муха, в этой бабьей войне, но Брюин оказался железной породы, и добить его было нелегко. Однажды перевернула Бланш весь дом вверх дном, загоняла людей и скотину и своими капризами могла бы довести до отчаяния самого отца небесного, у коего терпение неиссякаемо, ибо он терпит нас грешных. А ложась спать, сказала она сенешалу:

— Мой добрый Брюин, меня одолели всякие фантазии, они жалят и колют меня, добираются до сердца, до мозга и толкают меня на злые поступки, а по ночам мне все чудится монах из Карно.

— Голубка моя, — ответил сенешал, — все это чертовщина и соблазн, против чего умеют защищаться монахи и монахини. Потому, ради спасения вашего, следует вам пойти на исповедь к достойному мармустьерскому аббату, соседу нашему; он даст вам совет и отечески наставит вас на путь истины.

— Я завтра же отправлюсь, — ответила она.

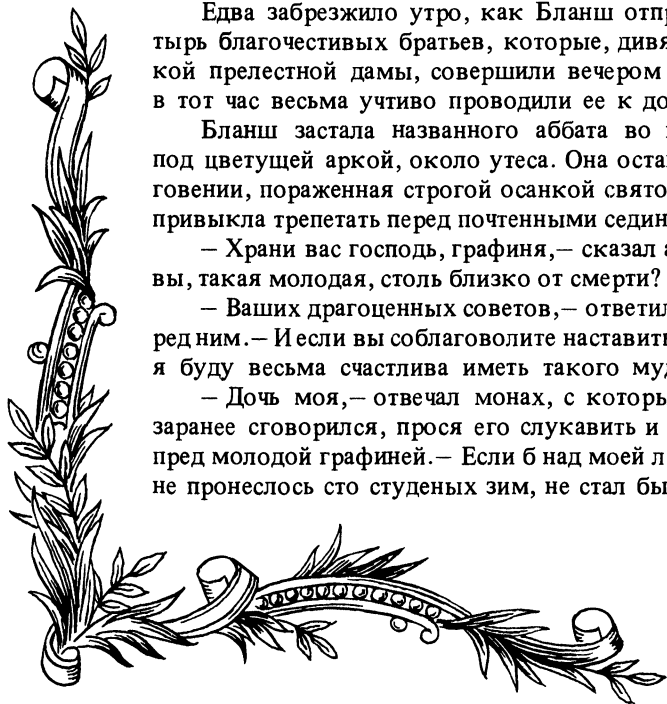
Едва забрезжило утро, как Бланш отправилась в монастырь благочестивых братьев, которые, дивясь посещению такой прелестной дамы, совершили вечером не один грех, но в тот час весьма учтиво проводили ее к достойному аббату.

Бланш застала названного аббата во внутреннем саду, под цветущей аркой, около утеса. Она остановилась в благоговении, пораженная строгой осанкой святого отца, хотя и не привыкла трепетать перед почтенными сединами.

— Храни вас господь, графиня, — сказал аббат, — что ищете вы, такая молодая, столь близко от смерти?

— Ваших драгоценных советов, — ответила та, приседая перед ним. — И если вы соблаговолите наставить заблудшую овцу, я буду весьма счастлива иметь такого мудрого духовника.

— Дочь моя, — отвечал монах, с которым старый Брюин заранее сговорился, прося его sluкавить и сыграть комедию пред молодой графиней. — Если б над моей лысеющей головой не пронеслось сто студеных зим, не стал бы я слушать ваших



грехов... но говорите. И если вы попадете в рай, пусть сие совершится с моей помощью.

Тогда супруга сенешала выбросила перед ним всю мелкую рыбешку из своего сачка и, очистившись от малых докуч, дошла до главной причины, приведшей ее на исповедь.

— Ах, отец мой, я должна вам открыть, что ежедневно я мучима желанием зачать ребенка... грех ли это?

— Нет,— отвечал аббат.

— Но по воле природы супругу моему не дано открыть кошель и подать на бедность, как говорят нищие на дорогах,— промолвила графиня.

— В таком случае вы должны жить в чистоте, бежать от помыслов подобного рода, воздерживаться,— отвечал аббат.

— Но я ведь слышала проповедь в церкви богоматери Жаланжской, что нет в том греха, если не извлекаешь ни прибыли, ни удовольствия.

— И удовольствие вы получите,— сказал аббат,— и ребенка, а его можно счесть прибылью! Посему уразумейте и запомните, что смертный грех пред богом и преступление пред людьми совершает та женщина, что зачнет от мужчины, с которым ее не соединила церковь; оные жены, нарушающие святые законы брака, понесут великую кару на том свете, отданы будут на произвол страшных чудовищ с острыми когтями, с вилами; теми вилами вкинут они грешницу в огненную печь за то, что в земной жизни накаляла она свое сердце свыше того, чем дозволено.

На что Бланш, почесав себе за ушком и немного подумав, спросила:

— А как поступила дева Мария?

— О, сие есть чудо,— отвечал аббат.

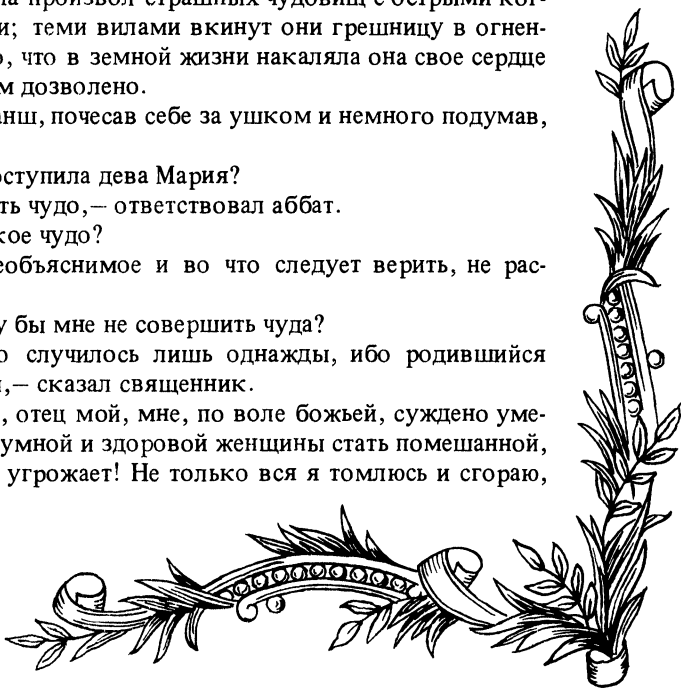
— А что такое чудо?

— Нечто необъяснимое и во что следует верить, не рассуждая.

— А почему бы мне не совершить чуда?

— Сие чудо случилось лишь однажды, ибо родившийся был сын божий,— сказал священник.

— Неужели, отец мой, мне, по воле божьей, суждено умереть или из разумной и здоровой женщины стать помешанной, а ведь это мне угрожает! Не только вся я томлюсь и сгораю,



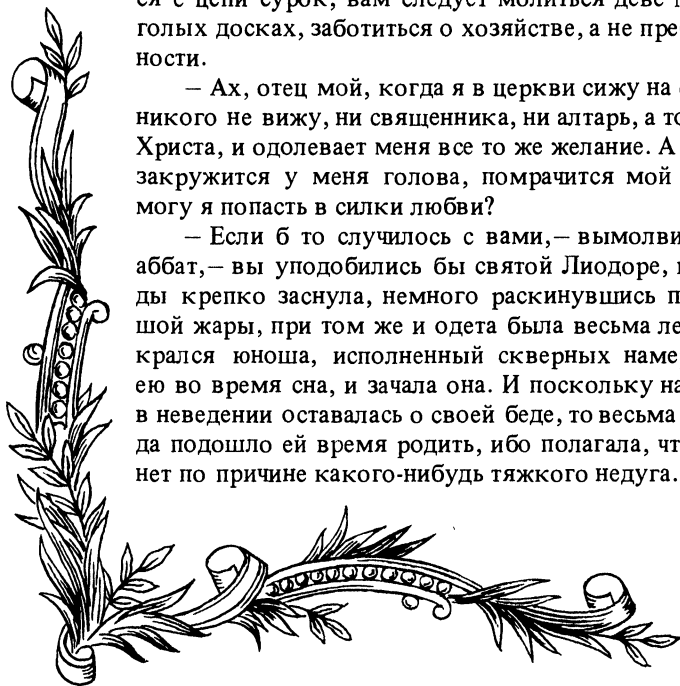
но мысли мои мутятся и ничто мне не мило; чтобы приблизиться к мужчине, я готова лезть через стены, бежать через поля, ничуть не стыдась, и ничего бы не пожалела, лишь бы узнать, чего добивался монах из Карно. И когда накатит на меня такое и начнет терзать мое тело и душу, тогда нет мне ни бога, ни черта, ни мужа, — вся дрожу, бегу, врываюсь в трапезную, бью посуду, мчусь на птичий или на скотный двор, все крушу, так что и передать нельзя. Но я не стану сознаваться вам во всех своих проступках по той причине, что меня от слов одних в жар бросает, и чувствую я нестерпимый зуд, будь он проклят. Пусть уж лучше я совсем ума лишусь и добродетели вместе с ним. Неужели бог, вложивший в мою плоть эту великую любовь, проклянет меня?

В ответ на эти слова теперь уж священник почесал у себя за ухом, весьма дивясь, что девство может порождать столь жалобные пени, глубокие мысли и рассуждения.

— Дочь моя, — сказал он, — бог отличил нас от животных и создал рай, каковой есть наша награда, потому-то и дан нам разум, кормило средь бурь, управляющее нашими суетными желаниями. Есть еще и другие способы обуздать плотское буйство — посредством поста, усиленных трудов и прилежания. И вместо того чтобы сновать и метаться, как сорвавшийся с цепи сурок, вам следует молиться деве Марии, спать на голых досках, заботиться о хозяйстве, а не пребывать в праздности.

— Ах, отец мой, когда я в церкви сижу на своей скамье, я никого не вижу, ни священника, ни алтарь, а только младенца Христа, и одолевает меня все то же желание. А что, если вдруг закружится у меня голова, помрачится мой рассудок, ведь могу я попасть в силки любви?

— Если б то случилось с вами, — вымолвил неосторожно аббат, — вы уподобились бы святой Лиодоре, которая однажды крепко заснула, немного раскинувшись по случаю большой жары, при том же и одета была весьма легко. К ней подкрался юноша, исполненный скверных намерений, овладел ею во время сна, и зачала она. И поскольку названная святая в неведении оставалась о своей беде, то весьма удивилась, когда подошло ей время родить, ибо полагала, что чрево ее пухнет по причине какого-нибудь тяжелого недуга. Она покаялась,



и дано ей было отпущение, как от греха невольного, раз не испытала она никакой утехи от сего преступного насилия, ибо не проснулась и была неподвижна, как свидетельствовал перед казнью сам злодей, каковой и был обезглавлен.

— Ах, отец мой, можете не сомневаться в том, что я не шелохнусь не хуже вашей святой.

С этими словами Бланш, улыбнувшись, поспешила уйти, веселясь и играя, и все думала, как бы и ей совершить невольный грех. Вернувшись из обители, она увидела во дворе юного паж, которого обучал старик конюший лихому наездничеству; юноша, гарцуя по кругу на чистокровном коне, как бы сросся с ним, подымал его на дыбы, бросал вперед, проделывая всякие вольты, посылая коня то галопом, то рысью, скакал, приподнимаясь на седле, и был до того миловиден, ловок, поворотлив, что и описать невозможно. Словом, мог бы он соблазнить самую добродетельную Лукрецию, лишившую себя жизни после совершенного над нею насилия.

„Ах, жаль, что нашему пажу еще не минуло пятнадцати лет, я бы крепко уснула где-нибудь поблизости от него”, — подумала Бланш.

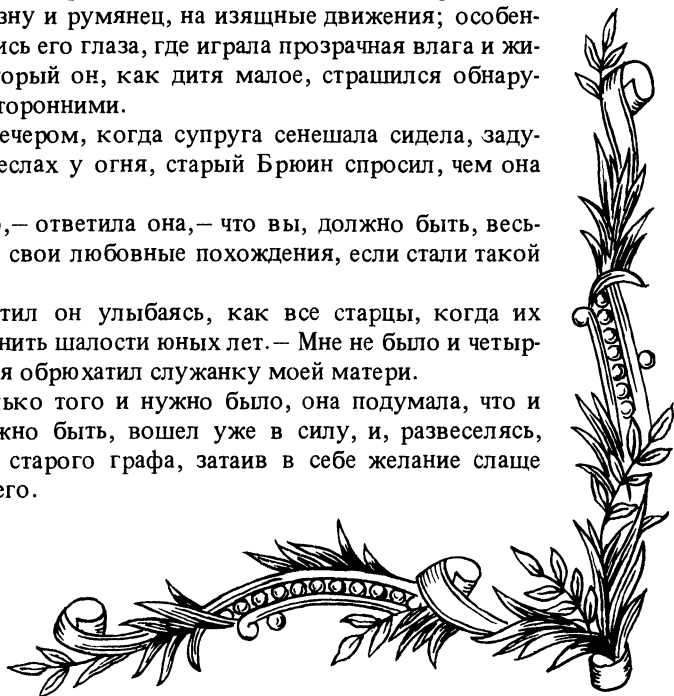
Но, несмотря на слишком юный возраст красивого паж, во время вечерней трапезы она заглядывалась на черные его кудри, на белизну и румянец, на изящные движения; особенно ей полюбили его глаза, где играла прозрачная влага и живой огонь, который он, как дитя малое, страшился обнаружить перед посторонними.

Позднее, вечером, когда супруга сенешала сидела, задумавшись, в креслах у огня, старый Брюин спросил, чем она озабочена.

— Я думаю, — ответила она, — что вы, должно быть, весьма рано начали свои любовные похождения, если стали такой развалиной.

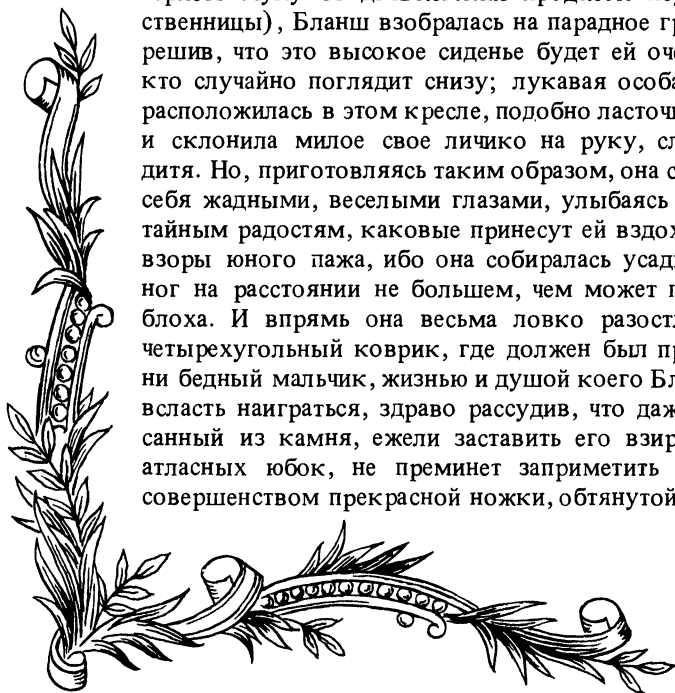
— О, — ответил он улыбаясь, как все старцы, когда их просят припомнить шалости юных лет. — Мне не было и четырнадцати, когда я обрюхатил служанку моей матери.

Бланш только того и нужно было, она подумала, что и паж Ренэ, должно быть, вошел уже в силу, и, развеселясь, стала теревить старого графа, затаив в себе желание слаще меда сладчайшего.



КАКИМ ОБРАЗОМ
И С ЧЬЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
НЕКИЙ МЛАДЕНЕЦ

Супруге сенешала недолго пришлось раздумывать, как пробудить скороспелую любовь в отроке, она раскинула ловушки, куда сам собой попадает наисильнейший зверь. И вот как это произошло. В жаркий полдень старый граф имел обыкновение возлежать после трапезы по сарацинскому обычаю и привычки этой никогда не изменял со времени своего возвращения из святой земли. В тот час Бланш либо гуляла одна в поле, либо развлекала себя женским рукоделием, как-то: вышиванием и шитьем. Но чаще всего, не покидая замка, наблюдала за стиркой или за уборкой скатертей, а то бродила по замку. Тогда-то ей и пришлось в голову посвятить сей тихий час досуга занятиям с пажом, дабы довершить его воспитание чтением книг и повторением молитв. И вот на другой же день, как только сенешал уснул, изнемогая от солнца, которое так и палит в этот час на холмах Рош-Корбона (да что и говорить, полезнее было старику соснуть, чем крутиться, вертеться и терпеть муку от дьявольских проделок неугомонной девиственницы), Бланш взобралась на парадное графское кресло, решив, что это высокое сиденье будет ей очень кстати, если кто случайно поглядит снизу; лукавая особа весьма удобно расположилась в этом кресле, подобно ласточке в гнездышке, и склонила милое свое личико на руку, словно уснувшее дитя. Но, приготавливаясь таким образом, она смотрела вокруг себя жадными, веселыми глазами, улыбаясь заранее всяким тайным радостям, каковые принесут ей вздохи и смущенные взоры юного пажа, ибо она собиралась усадить его у своих ног на расстоянии не большем, чем может прыгнуть старая блоха. И впрямь она весьма ловко разостлала бархатный четырехугольный коврик, где должен был преклонить колени бедный мальчик, жизнью и душой коего Бланш собиралась всласть наиграться, здраво рассудив, что даже святой, вытесанный из камня, ежели заставить его взирать на складки атласных юбок, не преминет приметить и залюбоваться совершенством прекрасной ножки, обтянутой белым чулком.



И не мудрено, что слабый паж попался в силки, из которых и богатырь не стал бы вырываться. Вертась и пересаживаясь то так, то этак, Бланш, наконец, нашла положение, при котором названные силки были наилучшим образом расставлены, и тут тихонько позвала: „Ренэ! Ренэ!”, — зная, что мальчик находится рядом в зале, где помещалась стража. Он тотчас прибежал на ее зов, и вот чернокудрая голова уже показалась между драпировками входной двери.

— Что вам будет угодно приказать? — спросил паж.

И он стоял, учтиво нагнувшись и держа в руке свой бархатный алый берет, а румяные свежие щеки его с ямочками были еще алее берета.

— Подойдите сюда, — позвала она прерывающимся голосом, взволнованная его присутствием до того, что совсем не помнила себя. Да и то сказать, не было на свете драгоценных камней, которые блистали бы подобно очам Ренэ, не было полотна белее его кожи, не было даже у женщин столь изящного сложения. И он казался ей сугубо пленительным от близкой возможности исполнить свое желание. Легко можно себе представить, как увлекательна игра любви, когда она разгорается при свете юных глаз и солнца, при тишине и прочем.

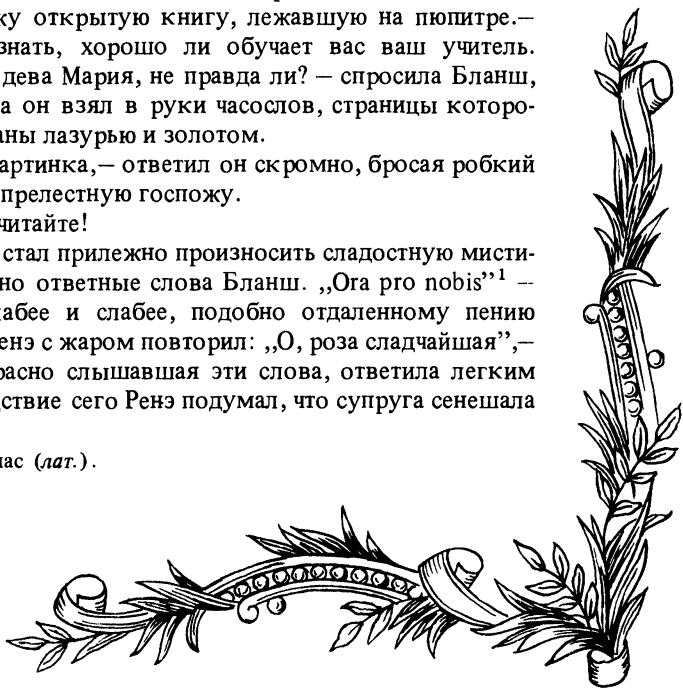
— Читайте мне славословие богородице, — сказала она, протягивая пажу открытую книгу, лежавшую на пюпитре. — Мне надобно знать, хорошо ли обучает вас ваш учитель. Как прекрасна дева Мария, не правда ли? — спросила Бланш, улыбаясь, когда он взял в руки часослов, страницы которого были расписаны лазурью и золотом.

— Это же картинка, — ответил он скромно, бросая робкий взгляд на свою прелестную госпожу.

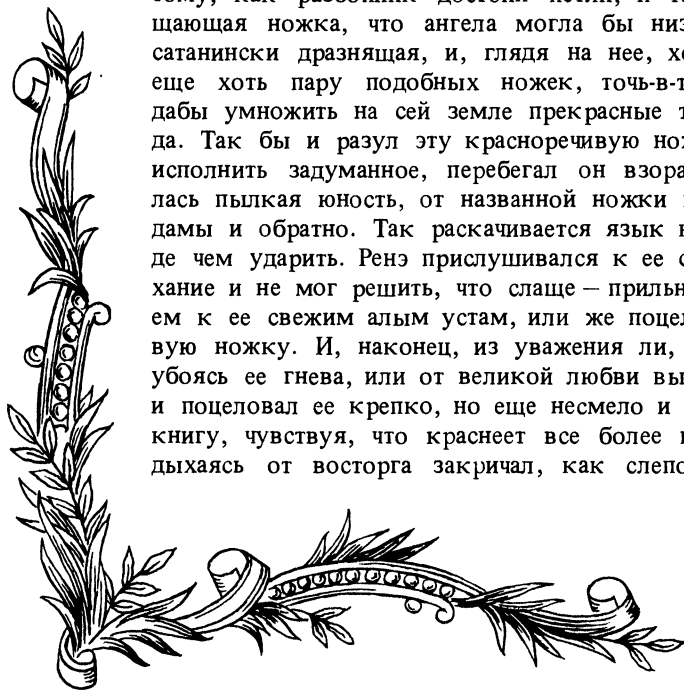
— Читайте, читайте!

Тогда Ренэ стал прилежно произносить сладостную мистическую хвалу, но ответные слова Бланш. „Ora pro nobis”¹ — звучали все слабее и слабее, подобно отдаленному пению рога, и когда Ренэ с жаром повторил: „О, роза сладчайшая”, — графиня, прекрасно слышавшая эти слова, ответила легким вздохом. Вследствие сего Ренэ подумал, что супруга сенешала

¹ Молись за нас (лат.).



уснула. Он не мог оторвать от нее восхищенных взоров, смело ею любовался, и ему не надо было иных песнопений, кроме гимнов любви. От счастья стучало и чуть не разрывалось сердце его. И, понятно, два чистых пламени горели один другого жарче, и если б кто увидел их вместе, понял бы, какая им грозит опасность. Ренэ наслаждался лицемерием Бланш и находил тысячу прелестей в этом пышном цветке любви. Забывшись в восторге, уронил он книгу и тут же устыдился, словно монах, застигнутый врасплох за детским грехом, но благодаря сему происшествию понял, что Бланш и в самом деле крепко уснула, ибо она не шелохнулась. Она не открыла бы глаз и при большей опасности и надеялась, что свалится нечто иное, чем часослов. Известно, что желание понести дитя есть одно из самых навязчивых желаний! Итак, юноша заметил ножку своей госпожи, обутую в крохотную голубую туфельку. Ножка поставлена была на скамеечку необычным образом по той причине, что графиня сидела слишком высоко в креслах своего супруга. Ножка была узенькая, с красивым изгибом и шириной не более чем в два перста, а длиной с воробышка, с миниатюрнейшим носком, одним словом, ножка, для наслаждения созданная, истинно девичья, достойная поцелуя, подобно тому, как разбойник достоин петли, и такая многообещающая ножка, что ангела могла бы низвести с небес, сатанински дразнящая, и, глядя на нее, хотелось создать еще хоть пару подобных ножек, точь-в-точь таких же, дабы умножить на сей земле прекрасные творения господ. Так бы и разул эту красноречивую ножку. Собираясь исполнить задуманное, перебежал он взорами, где светилась пылкая юность, от названной ножки к лицу спящей дамы и обратно. Так раскачивается язык колокола прежде чем ударить. Ренэ прислушивался к ее сну, пил ее дыхание и не мог решить, что слаще — прильнуть ли поцелуем к ее свежим алым устам, или же поцеловать заманчивую ножку. И, наконец, из уважения ли, а может быть, убоясь ее гнева, или от великой любви выбрал он ножку и поцеловал ее крепко, но еще несмело и тут же схватил книгу, чувствуя, что краснеет все более и более, и, задыхаясь от восторга закричал, как слепой на паперти.



„О, Ianua coeli!”¹. Но Бланш отнюдь не проснулась, ожидая, что паж от ножки вознесется к колену, а оттуда прямо в небеса. И почувствовала она глубокое разочарование, когда молитвословие кончилось, не принеся ей дальнейшего ущерба, и когда Ренэ, решивший, что счастья перепало ему на целую неделю, убежал, испарился, более обрадованный сим похищенным поцелуем, чем самый дерзкий вор, унесший кружку с пожертвованиями для бедных.

Оставшись одна, супруга сенешала испугалась в глубине души своей, что юноша, пожалуй, никогда не дойдет до дела, ежели они ограничатся чтением „Magnificat”. Тогда она придумала, что на следующий день чуть приподнимет ножку, дабы краешком показать совершенства, кои туренцы называют „нетленными” по той причине, что они от воздуха никогда не портятся и свежести не теряют.

Уж поверьте, что после вчерашнего дня паж, воспаленный своим желанием, а еще более воображением, нетерпеливо поджидал часа чтения требника любви. И он не ошибся, его призвали, и снова началось славословие, за которым Бланш не преминула заснуть. На этот раз наш Ренэ провел рукою по прелестной ножке и осмелился даже проверить, насколько гладко колено и везде ли так же атласна кожа. В чем он и убедился, но страх столь сильно сковал его желания, что он едва прикоснулся к ножке робким поцелуем и тут же притаился. Уловив эти колебания чутким сердцем и понятливой плотью, графиня, изо всех сил сдерживаясь, чтобы остаться неподвижной, крикнула пажу.

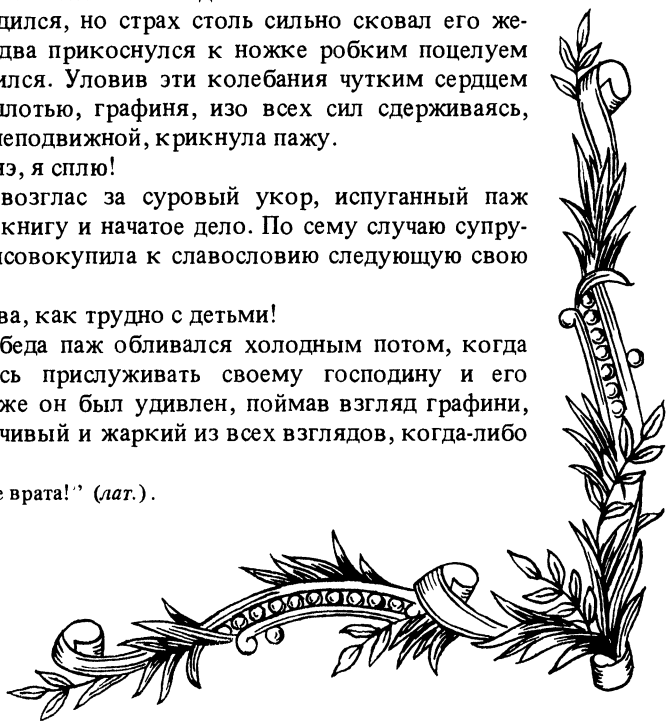
— Ну же, Ренэ, я сплю!

Приняв ее возглас за суровый укор, испуганный паж убежал, бросив книгу и начатое дело. По сему случаю супруга сенешала присовокупила к славословию следующую свою молитву:

— Святая дева, как трудно с детьми!

Во время обеда паж обливался холодным потом, когда ему приходилось прислуживать своему господину и его супруге, и как же он был удивлен, поймав взгляд графини, самый красноречивый и жаркий из всех взглядов, когда-либо

¹ „О небесные врата!” (лат.).



брошенных женщиной, и какая же сила заключалась в этом взгляде, если им невинный отрок был сразу превращен в смелого мужчину.

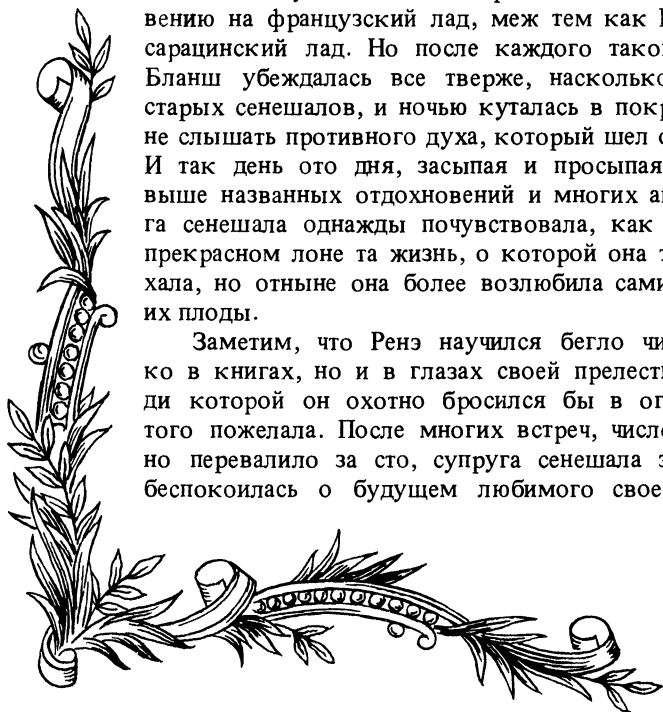
Вечером этого же дня, по той причине, что Брюин держался дольше обычного по своим судейским делам, паж отправился разыскивать Бланш и, найдя ее спящей, подарил ей дивный сон. Он освободил ее от того, что так ее тяготило, и столь щедро ее одарил, что сего дара хватило бы с избытком не на одного младенца, а на двойню. После чего Бланш обняла своего милого и, прижав его к себе, воскликнула:

— Ах, Ренэ, ты меня разбудил!

И впрямь, сие разбудило бы и мертвую, и любовники подивились, до чего крепкий сон у святых угодниц. От того случая, безо всякого чуда, а лишь в силу благостного свойства, спасительного для супругов, на голове у почтенного мужа стало появляться некое изящное и нежное украшение, которое со временем вырастает в рога, не причиняя носителю их ни малейшего беспокойства.

С того приснопамятного и счастливого дня супруга сенешала с удовольствием предавалась в полдень отдохновению на французский лад, меж тем как Брюин храпел на сарацинский лад. Но после каждого такого отдохновения Бланш убеждалась все тверже, насколько паж ей милее старых сенешалов, и ночью куталась в покрывала, лишь бы не слышать противного духа, который шел от чертова графа. И так день ото дня, засыпая и просыпаясь после многих выше названных отдохновений и многих акафистов, супруга сенешала однажды почувствовала, как зародилась в ее прекрасном лоне та жизнь, о которой она так долго воздыхала, но отныне она более возлюбила сами усилия, нежели их плоды.

Заметим, что Ренэ научился бегло читать и не только в книгах, но и в глазах своей прелестной госпожи, ради которой он охотно бросился бы в огонь, если б она того пожелала. После многих встреч, число коих уже давно перевалило за сто, супруга сенешала задумалась и забеспокоилась о будущем любимого своего пажа. И вот



в одно пасмурное утро, когда они словно невинные дети, играли в ладошки, Бланш, которая все время проигрывала, сказала:

— Послушай, Ренэ, я ведь совершаю грех невольный, ибо творю его во сне, а ты совершаешь смертный грех.

— Ах, сударыня,— воскликнул Ренэ,— куда же господу богу девать всех грешников, ежели это называется грехом!

Бланш расхохоталась и, поцеловав его в лоб, промолвила:

— Молчи, гадкий мальчишка, дело идет о рае, и надобно нам туда попасть обоим, если хочешь вечно быть со мной!

— О, рай мой здесь!

— Перестань же, богохульник, ты забыл, что я люблю тебя более всего на свете! Разве ты не знаешь, что я ношу ребенка, которого скоро так же трудно будет скрыть, как нос на лице? А что скажет аббат, что скажет мой супруг! Он может казнить тебя, если прогневается. Мой совет таков, мой милый, ступай к мармустьерскому аббату, покайся в твоих грехах и предоставь ему решать, как следует тебе поступить при встрече с моим сенешалом.

— Увы, если я выдам ему тайну нашего счастья, то он наложит запрет на нашу любовь,— сказал хитрый паж.

— Пусть так, твое вечное блаженство мне слишком дорого.

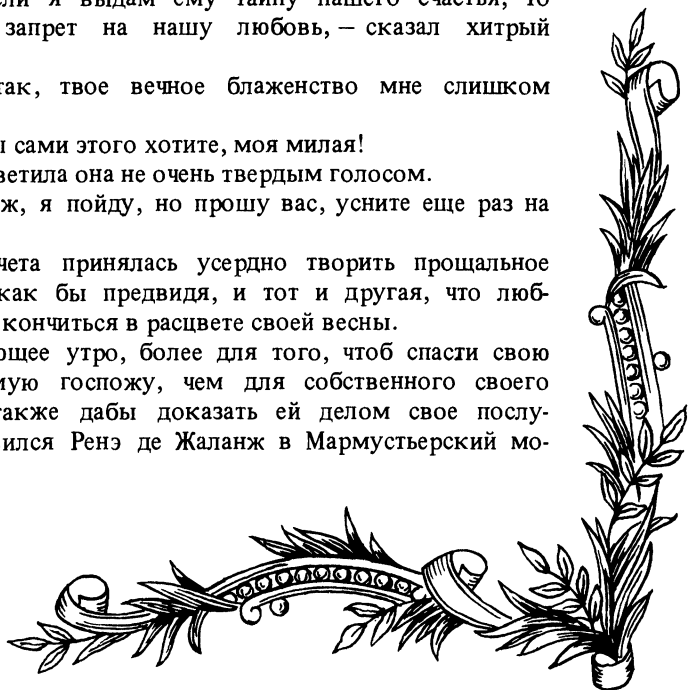
— Итак, вы сами этого хотите, моя милая!

— Да,— ответила она не очень твердым голосом.

— Ну что ж, я пойду, но прошу вас, усните еще раз на прощание.

И юная чета принялась усердно творить прощальное славословие, как бы предвидя, и тот и другая, что любовь их суждено кончиться в расцвете своей весны.

На следующее утро, более для того, чтоб спасти свою горячо любимую госпожу, чем для собственного своего спасения, а также дабы доказать ей делом свое послушание, отправился Ренэ де Жаланж в Мармустьерский монастырь.



КАК ЗА ГРЕХ ЛЮБВИ НАЛОЖЕНО БЫЛО СТРОГОЕ
ПОКАЯНИЕ И НАСТУПИЛА ЗАСИМ ВЕЛИКАЯ
ПЕЧАЛЬ

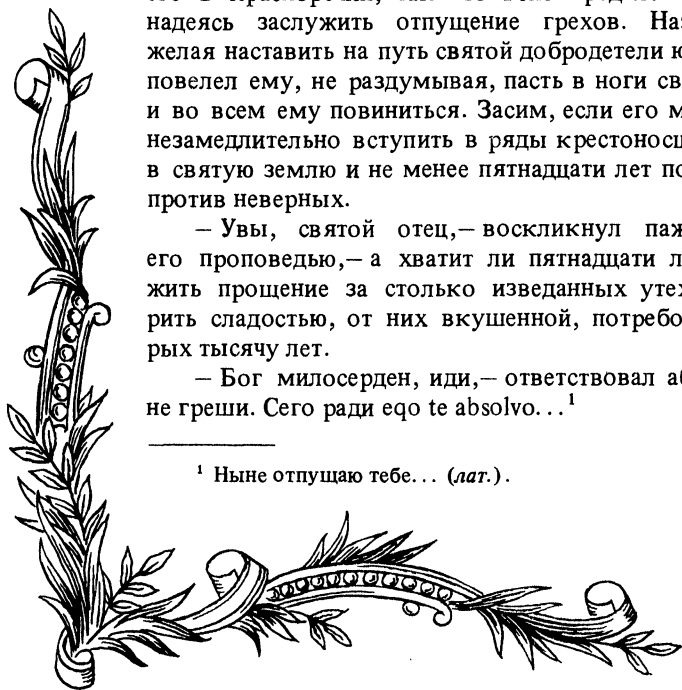
— Боже праведный! — воскликнул аббат, выслушав из уст пажа пространную хвалу сладостным его прегрешениям. — Ты повинен в страшном обмане, ты предал господина своего! Знаешь ли ты, злосчастный, что за прегрешения сии будешь ты гореть на том свете вечно и во веки веков? И ведомо ли тебе, что лишаешься ты навсегда блаженства небесного за единый преходящий миг земной улады? Несчастный, я уже зрю, как ввергают тебя в преисподнюю, если не искупишь ты еще на сем свете грехи твои перед господом!

Сказав это, добрый старик аббат, который был из того теста, из коего пекутся святые, и пользовался большим почетом по всей Турени, стал стращать юношу, описывая всевозможные бедствия, христианнейше его увещевал, приводил церковные наставления, говорил горячо и многословно, не уступая в том самому дьяволу, который, задумав за шесть недель соблазнить девственницу, не мог бы превзойти его в красноречии, так что Ренэ предался в руки аббата, надеясь заслужить отпущение грехов. Названный аббат, желая наставить на путь святой добродетели юного грешника, повелел ему, не раздумывая, пасть в ноги своему господину и во всем ему повиниться. Засим, если его минует расправа, незамедлительно вступить в ряды крестоносцев, отправиться в святую землю и не менее пятнадцати лет подряд сражаться против неверных.

— Увы, святой отец, — воскликнул паж, потрясенный его проповедью, — а хватит ли пятнадцати лет, дабы заслужить прощение за столько изведанных утех! Ах, если мерить сладостью, от них вкушенной, потребовалось бы добрых тысяч лет.

— Бог милосерден, иди, — ответствовал аббат, — и впредь не грехи. Сего ради ego te absolvo...¹

¹ Ныне отпускаю тебе... (лат.).



Бедный юноша вернулся в замок в великом унынии духа и первым увидел во дворе самого сенешала, который присматривал, как начищают его вооружение. шлем, налочки и остальные доспехи. Восседа на мраморной скамье под открытым небом, Брюин любовался блеском своих щитов и нагрудников, кои сверкали в лучах солнца, приводя ему на память веселые походы в святую землю, удачные дела, любовные забавы и прочее. Когда Ренэ подошел к нему и преклонил колени, старик весьма удивился:

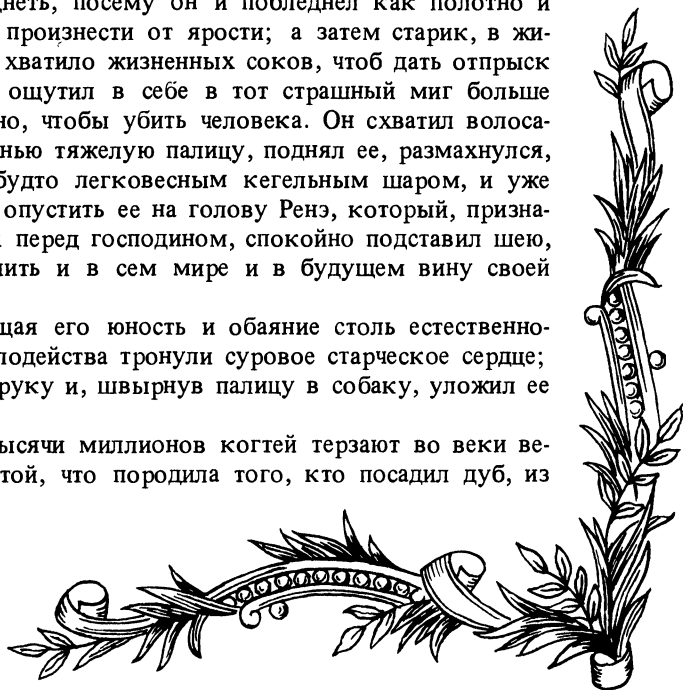
— Что это значит? — спросил он.

— Монсеньор, прикажите слугам удалиться,— ответил Ренэ.

И когда монсеньор отпустил людей, Ренэ признался ему в своей вине, поведал, как овладел преступно графиней во время ее сна, и она зачала от него по примеру той святой, с коей так же поступил некий злодей; и пришел он, Ренэ, к господину своему по повелению духовника, дабы отдать себя в руки оскорбленного мужа. Сказав это, Ренэ замолк и потупил свои прекрасные глаза, от коих и пошли все беды, склонился до земли без страха, опустив руки, обнажив голову, покорный воле божьей, ожидая своего часа. Сенешал хоть и был бледен, да не настолько, чтоб пуще не побледнеть, посему он и побледнел как полотно и слова не мог произнести от ярости; а затем старик, в жилах коего не хватило жизненных соков, чтоб дать отпрыск роду своему, ощутил в себе в тот страшный миг больше сил, чем нужно, чтобы убить человека. Он схватил волосатой своей дланью тяжелую палицу, поднял ее, размахнулся, поиграл ею, будто легковесным кегельным шаром, и уже приготовился опустить ее на голову Ренэ, который, признавая свой грех перед господином, спокойно подставил шею, надеясь искупить и в сем мире и в будущем вину своей милой.

Но цветущая его юность и обаяние столь естественно-го, нежного злодейства тронули суровое старческое сердце; Брюин отвел руку и, швырнув палицу в собаку, уложил ее на месте.

— Пусть тысячи миллионов когтей терзают во веки веков останки той, что породила того, кто посадил дуб, из



когого сколотили мое кресло, на котором ты наставил мне рога. Разрази господь тех, кто породил тебя, злополучный паж. Ступай к черту, откуда ты и пришел. Убирайся с глаз моих, прочь из замка, прочь из нашего края, и не задерживайся здесь дольше, чем нужно, а не то я сумею придумать тебе страшную казнь, сожгу тебя на медленном огне, и ты по двадцать раз в минуту будешь проклинать гнусную свою похоть.

Услышав такие речи сенешала, к коему в этот миг вернулась молодость, ежели судить по брани и проклятиям, паж, не теряя времени, пустился наутек, и мудро поступил. Брюин, задыхаясь от ярости, бросился в сад; топча все на своем пути, все сокрушая направо и налево и богохульствуя, он даже опрокинул три лохани, в которых слуга нес корм собакам, и в такое впал беспамятство, что убил бы легавую вместо зайца. Наконец, нашел он свою лишившуюся девственности супругу, которая смотрела на дорогу, ведущую в монастырь, поджидая своего пажа, и — увы! — не подозревала, бедняжка, что никогда больше его не увидит.

— Ах, сударыня! Пусть меня тут же проткнет дьявол своими раскаленными вилами. Я, слава богу, уже давно не верю басням и давно уже не дитя. Неужто вы так несчастливо созданы природой, что вас целым пажом не разбудишь... Чума ему на голову! Смерть!

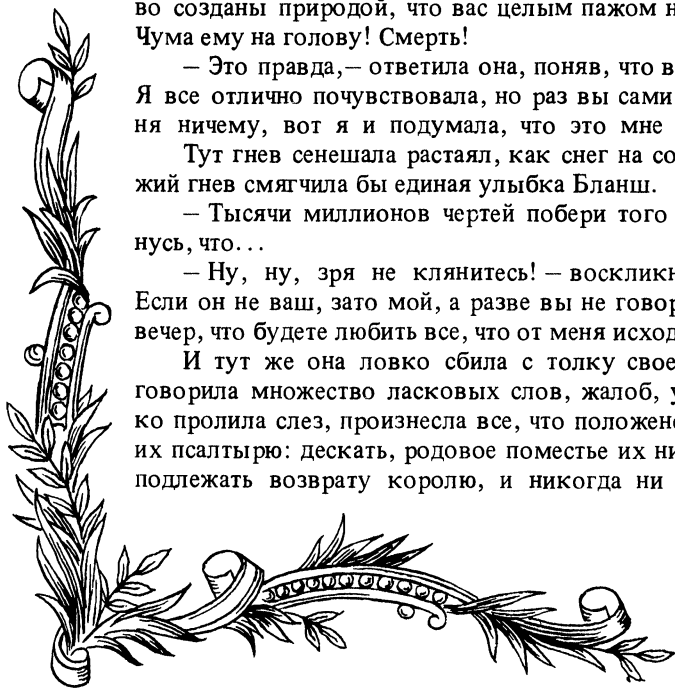
— Это правда, — ответила она, поняв, что все открылось. — Я все отлично почувствовала, но раз вы сами не научили меня ничему, вот я и подумала, что это мне только снится.

Тут гнев сенешала растаял, как снег на солнце, ибо и божий гнев смягчила бы единая улыбка Бланш.

— Тысячи миллионов чертей поberi того ублюдка! Клянись, что...

— Ну, ну, зря не клянитесь! — воскликнула супруга. — Если он не ваш, зато мой, а разве вы не говорили сами в тот вечер, что будете любить все, что от меня исходит?

И тут же она ловко сбила с толку своего супруга, наговорила множество ласковых слов, жалоб, упреков, столько пролила слез, произнесла все, что положено женщинам по их псалтырю: дескать, родовое поместье их никогда не будет подлежать возврату королю, и никогда ни один младенец



не был зачат в большей невинности, и то, и другое, и тысячи разных разностей, и столько их насаждала, что добрый наш рогоносец смягчился, а Бланш, воспользовавшись передышкой, спросила:

— Где паж?

— У черта в зубах!

— Как! Вы убили его?

Побледнев, она чуть не упала.

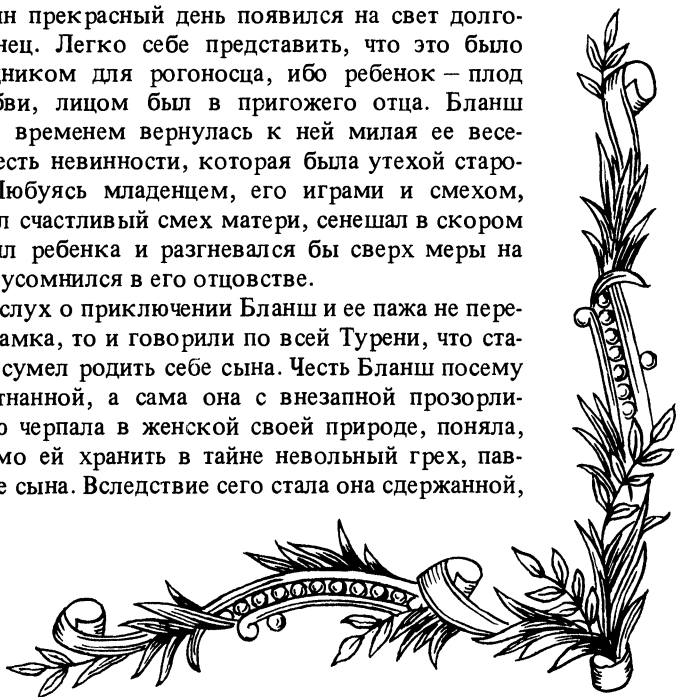
Брюин не знал, что и делать, когда увидел, что отрада его старческих дней гибнет, и готов был ради спасения жены сам привести к ней ее пажа. Потому он и послал за ним. Но Ренэ несясь, словно на крыльях; боясь казни, он отправился прямо в заморские страны, исполняя свой обет. Когда графиня узнала от аббата, какое на ее милого наложено послушание, она упала в глубокую тоску и все повторяла:

— Где же он, бедный мой, не сносить ему головы, всем он пожертвовал из любви ко мне.

И она звала его, как ребенок, не дающий покоя матери, пока не исполнит его каприз. Слушая ее жалобы, старик чувствовал, сколь он виноват, и суетился, стараясь угодить чем только мог, кроме одного, в чем угодить он был не в силах, но ничто не могло заменить ей прежних ласк пажа...

И вот в один прекрасный день появился на свет долгожданный младенец. Легко себе представить, что это было истинным праздником для рогоносца, ибо ребенок — плод прекрасной любви, лицом был в пригожего отца. Бланш утешилась, и со временем вернулась к ней милая ее веселость и та свежесть невинности, которая была утехой старости сенешала. Любуясь младенцем, его играми и смехом, которому вторил счастливый смех матери, сенешал в скором времени полюбил ребенка и разгневался бы сверх меры на всякого, кто бы усомнился в его отцовстве.

Коль скоро слух о приключении Бланш и ее пажа не перешел за ограду замка, то и говорили по всей Турени, что старый Брюин еще сумел родить себе сына. Честь Бланш посему осталась незапятнанной, а сама она с внезапной прозорливостью, которую черпала в женской своей природе, поняла, сколь необходимо ей хранить в тайне невольный грех, павший на голову ее сына. Вследствие сего стала она сдержанной,



разумной и прослыла весьма добродетельной женщиной. Однако ж, немилосердно испытывая терпение своего супруга, она и близко его к себе не подпускала, считая, что навсегда принадлежит Ренэ. В награду за старческое обожание Бланш лелеяла Брюина, расточала ему улыбки, развлекала его, нежно лестила ему, как то обычно делает женщина с обманутым мужем; а сенешал чем дальше жил, тем больше привыкал к жизни и никак не желал умирать. Но однажды вечером старый Брюин все-таки начал отходить, не зная сам, что с ним такое, и настолько даже, что сказал Бланш:

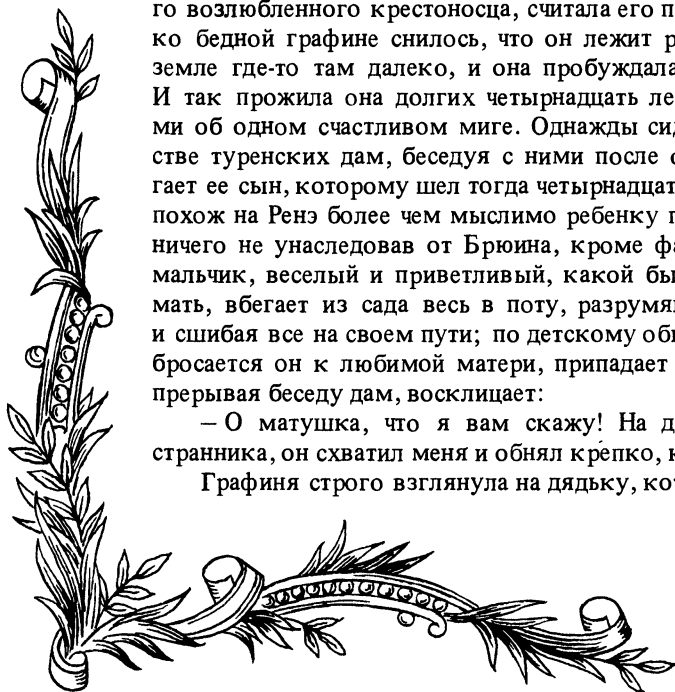
— Ах, моя милочка, я тебя не вижу, разве уже настала ночь?

То была смерть праведника, и сенешал заслужил ее в награду за свои бранные труды в святой земле.

Бланш после его кончины долго носила траур, оплакивая супруга как родного отца. Так она не выходила из печального раздумья, не склоняя слуха к просьбам искателей ее руки, за что хвалили ее добрые люди, не ведавшие того, что у нее был тайный друг, супруг сердца, и что жила она надеждой на будущее и на самом деле пребывала вдовой и для людей и для себя самой, ибо, не получая вестей от своего возлюбленного крестоносца, считала его погибшим. Нередко бедной графине снилось, что он лежит распростертый на земле где-то там далеко, и она пробуждалась вся в слезах. И так прожила она долгих четырнадцать лет воспоминаниями об одном счастливом миге. Однажды сидела она в обществе туренских дам, беседуя с ними после обеда, и вот вбегает ее сын, которому шел тогда четырнадцатый год, и был он похож на Ренэ более чем мыслимо ребенку походить на отца, ничего не унаследовав от Брюина, кроме фамилии. И вдруг мальчик, веселый и приветливый, какой была в юности его мать, вбегает из сада весь в поту, разругавшись, толкая и сшибая все на своем пути; по детскому обычаю и привычке бросается он к любимой матери, припадает к ее коленям и, прерывая беседу дам, восклицает:

— О матушка, что я вам скажу! На дворе я встретил странника, он схватил меня и обнял крепко, крепко.

Графиня строго взглянула на дядьку, которому поручено



было следовать за молодым графом и охранять его бесценную жизнь.

— Я ведь запретила вам допускать чужих людей к моему сыну, будь то даже святой. Уходите прочь из моего дома!

— Госпожа моя, тот человек не мог причинить ему зла,— ответил смущенно старый дядька,— ибо, целуя молодого графа, обливался горячими слезами...

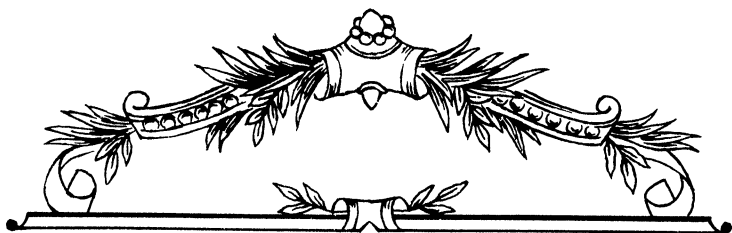
— Он плакал? — воскликнула графиня. — Это отец!..

Она уронила голову на подлокотник кресла, того самого, где, как вы уже догадались, совершился ее грех.

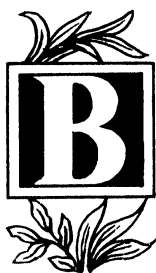
Услышав странные ее слова, дамы всполошились и не сразу разглядели, что бедная вдова сенешала мертва. И никто никогда не узнал, произошла ли эта скоропостижная смерть от горя, что ее милый Ренэ, верный своему обету, удалился, не ища встречи с ней, или же от великой радости, что он жив и есть надежда снять с него запрет, коим мармустьерский аббат разбил их любовь.

И все погрузились в великий траур; мессир де Жаланж лишился чувств, когда предавали земле останки его возлюбленной. Он удалился в Мармустьерский монастырь, который называли в то время Маймустье, что можно было понять как *maius Monasterium*, то есть самый славный монастырь, и поистине не было во всей Франции монастыря прекраснее.





НАСЛЕДНИК ДЬЯВОЛА



те времена, о которых идет речь, в соборе Нотр-Дам служил некий добрый старик каноник, проживавший в прекрасном собственном доме близ ограды собора на улице св. Петра, что при быках. Каноник этот прибыл в Париж простым священником, нищ и гол, как нож без ножен. Будучи весьма красивым мужчиной, всеми ценными качествами обладая и отличаясь столь крепким сложением, что мог исполнять работу один за многих, без особого при том утомления, он посвятил себя с чрез-

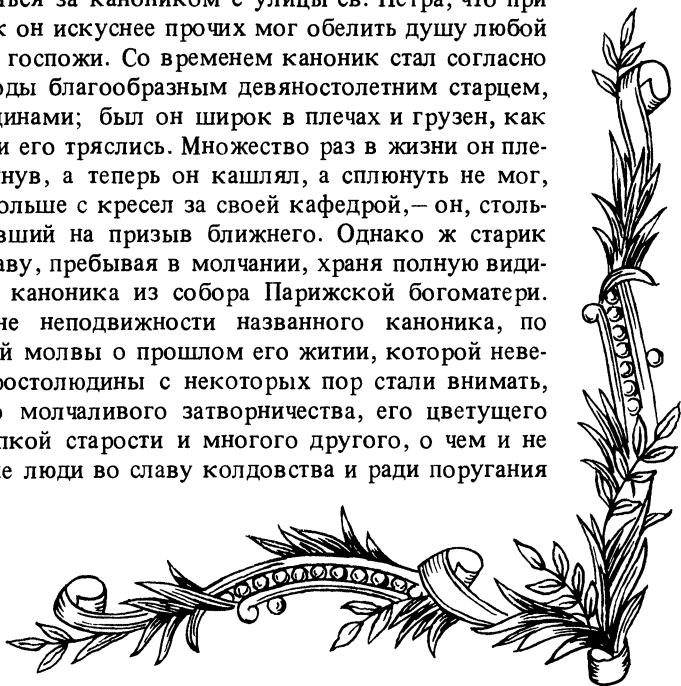
вычайным рвением исповеданию дам; тоскующим давал сладостное отпущение, недугующим драхму своего бальзама, а всем оказывал какую-либо приятность. И столь он прославился своей скромностью, делами благотворительными и иными добродетелями, пастыря украшающими, что и при дворе нашлась ему паства. Дабы не возбудить ревности начальствующих лиц, а равно мужей и иных прочих,— короче сказать, желая облечь покровом святости благие и угодные иным деяния, супруга маршала Декуэрда подарила ему кость святого Виктора, и благодаря той кости происходили все чудеса, творимые каноником, а любопытствующие неизменно получали ответ: „Кость его исцеляющую силу имеет”. На что никто и возразить не смел, ибо неприличным считалось сомневаться в чудодейственной силе реликвий. Под прикрытием рясы наш каноник достиг самой доброй славы мужа, „страха в бою не знающего”. Посему



и жил он, как король, защищая деньгу кропилом и обращая святую воду в вино. Кроме того, нотариусы во все завещания в разделе „Иным прочим” вписывали его имя, а также упоминали его в конце завещания в Caudicile — слово, происходящее от cauda, что означает „хвост”, и следует понимать это так: „В хвосте завещания”. Иные же ошибочно пишут Codicile, что означает „приписка”.

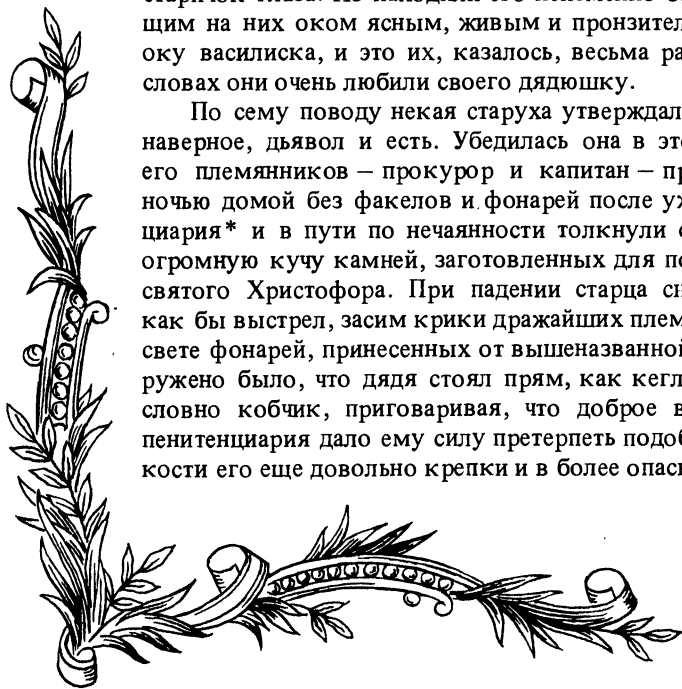
Итак, добрый наш священник мог бы стать архиепископом, скажи он хотя бы шутки ради: „Не худо бы мне митру вместо шапки надеть, дабы голову не застудить”. Однако ж он отвергал все предлагаемые ему блага и выбрал приход самый неприметный, желая сохранить за собой приятный доход от своих исповедниц. Но в один прекрасный день трудолюбивый наш каноник ощутил некую слабость в чреслах по той причине, что минуло ему шестьдесят восемь лет, а к тому же в исповедальнях он не щадил себя. И вот, перебрав в памяти все свои святые дела, он решил покончить с апостольским служением, тем паче, что скопил приблизительно сто тысяч экю, если не более, заработанных в поте тела своего. С того дня исповедовал он лишь женщин знатного происхождения и прекрасных собой. При дворе толковали, что при всем своем рвении даже молодым священникам никак не угнаться за каноником с улицы св. Петра, что при быках, так как он искуснее прочих мог обелить душу любой высокородной госпожи. Со временем каноник стал согласно законам природы благообразным девяностолетним старцем, убеленным сединами; был он широк в плечах и грузен, как башня, но руки его тряслись. Множество раз в жизни он плевал, не кашлянув, а теперь он кашлял, а сплюнуть не мог, и не вставал больше с кресел за своей кафедрой, — он, столько раз встававший на призыв ближнего. Однако ж старик пил и ел на славу, пребывая в молчании, храня полную видимость живого каноника из собора Парижской богоматери.

По причине неподвижности названного каноника, по причине дурной молвы о прошлом его житии, которой невежественные простолюдины с некоторых пор стали внимать, по случаю его молчаливого затворничества, его цветущего здоровья, крепкой старости и многого другого, о чем и не скажешь, некие люди во славу колдовства и ради поругания



святой нашей веры распространили слух, будто настоящий каноник скончался и что больше пятидесяти лет тому назад в тело святого отца вселился дьявол. И то сказать, бывшие его прихожанки ныне утверждали, что, видно, только дьявол великим своим жаром способен был производить ту алхимическую перегонку, каковая передавалась им от каноника, когда они того желали, и что у доброго духовника бес уже и в ту пору сидел в ребре. Но так как дьявол был изрядно ими обобран, измотан и не двинулся бы даже ради красавицы в двадцать лет, то люди разумные и смышленные, равно как и буржуа, которые обо всем любят судить и у плешивого на лысине найдут вошь, вопрошали: чего ради дьяволу принимать обличье каноника? Зачем ему ходить в собор богоматери в час, когда там собираются каноники, и как осмеливается он вдыхать запах ладана, пробовать святую воду и прочая, и прочая? Отвечая на эти еретические речи, одни говорили, будто дьявол пожелал обратиться на путь истины, другие же — что он принял образ каноника, намереваясь сыграть шутку с тремя племянниками и наследниками достойного каноника и принудить их до дня их собственной кончины пребывать в ожидании богатого наследства от дяди, к которому наведывались они ежедневно взглянуть, не закрыл ли старичок глаза. Но находили его неизменно бодрым, взирающим на них оком ясным, живым и пронзительным, подобно оку василиска, и это их, казалось, весьма радовало, ибо на словах они очень любили своего дядюшку.

По сему поводу некая старуха утверждала, что каноник, наверное, дьявол и есть. Убедилась она в этом, когда двое его племянников — прокурор и капитан — провожали дядю ночью домой без факелов и фонарей после ужина у пенитенциария* и в пути по нечаянности толкнули старика на преогромную кучу камней, заготовленных для подножия статуи святого Христофора. При падении старца сначала раздался как бы выстрел, засим крики дражайших племянников, и при свете фонарей, принесенных от вышеназванной старухи, обнаружено было, что дядя стоял прям, как кегля, и весел был, словно кобчик, приговаривая, что доброе вино господина пенитенциария дало ему силу претерпеть подобный удар и что кости его еще довольно крепки и в более опасных переделках

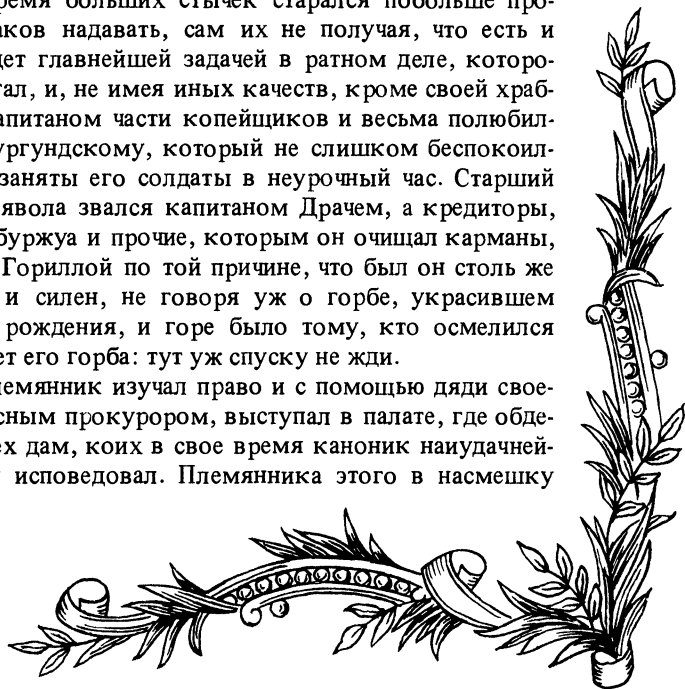


бывали. Добрые племянники, полагая, что старик уже мертв, были весьма удивлены и поняли, что времени не скоро удасться сломить их дядю, если даже камни и те сплеховали, недаром они называли дядю добрым дядей, ибо был он скроен из доброго материала. Люди злоязычные говорили, будто каноник наш столь много камней встречал на своем пути, что почел за благо сидеть дома, дабы не заболеть от камней или подвергнуться иной, более страшной опасности. Это и является причиной его затворничества.

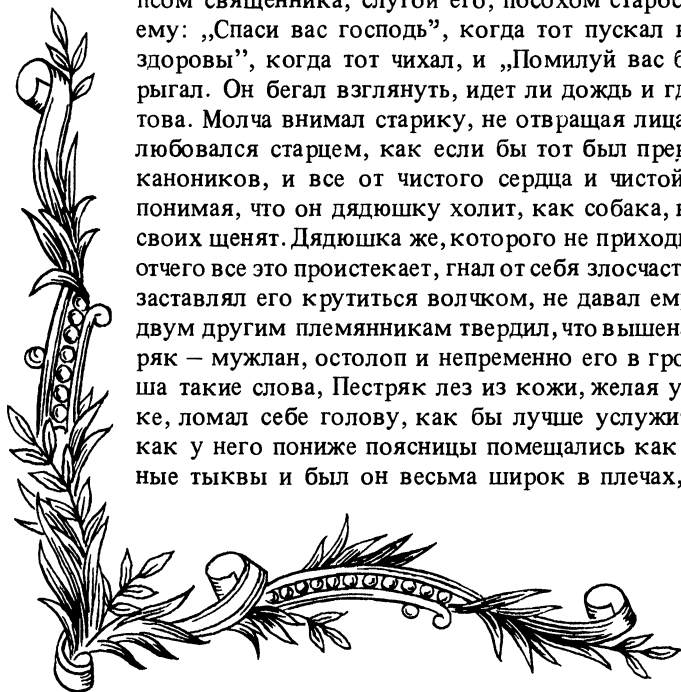
Из всех этих пересудов и толков следует, что старый священник, будь он дьявол или нет, сидел дома, умирать не желал, хотя имел трех наследников, с которыми мирился, как с коликами, прострелами и иными тяготами человеческой жизни.

Один из наследников был нерадивейшим из вояк, когда-либо рожденных материнской утробой, и он разорвал оную, вылупливаясь на свет божий, по той причине, что уродился весьма зубастым и весь был покрыт шерстью. Ел он за два времени разом: за настоящее время и на будущее. И девок постоянно имел, которым оплачивал попорченные головные уборы. С дядей он сходствовал в протяженности, мощи и верной службе того, что часто в употреблении бывает. Во время больших стычек старался побольше противнику тумачков надавать, сам их не получая, что есть и всегда пребудет главнейшей задачей в ратном деле, которого он не избегал, и, не имея иных качеств, кроме своей храбрости, стал капитаном части копейщиков и весьма полюбился герцогу Бургундскому, который не слишком беспокоился, увы, чем заняты его солдаты в неурочный час. Старший племянник дьявола звался капитаном Драчем, а кредиторы, ростовщики, буржуа и прочие, которым он очищал карманы, прозвали его Гориллой по той причине, что был он столь же хитер, сколь и силен, не говоря уж о горбе, украсившем его спину от рождения, и горе было тому, кто осмелился пройти насчет его горба: тут уж спуску не жди.

Второй племянник изучал право и с помощью дяди своего стал искусным прокурором, выступал в палате, где обдывал дела тех дам, коих в свое время каноник наудачнейшим образом исповедовал. Племянника этого в насмешку



прозвали Рвачом. Плотью Рвач был немощен и, казалось, выливает только холодную воду, а лицом бледен, и черты имел острые, наподобие мордочки хорька. Однако ж был он чуть получше своего братца и к дяде своему даже питал некоторую привязанность, но за последние два года сердце его мало-помалу рассохлось, и вытекла оттуда капля за каплей вся его благодарность. В ненастье любил он, сунув ноги в дядины туфли, вкусить мысленно от плодов вожеленного наследства. Однако оба брата почитали свою часть наследства весьма скудной ввиду того, что по закону, по праву, по разуму, по справедливости, по природе и на деле требовалось третью часть выделить бедному двоюродному брату — сыну другой сестры каноника, хотя старик не особенно жаловал этого наследника, пастуха, бродившего по нантерским полям. Названный страж скотов, простой крестьянин, прибыл в город Париж по совету своих братьев, которые с умыслом поселили его у дяди, уповав, что дурью своей и грубостью, а равно как невежеством и бестолковостью, досадит он канонику и тот вычеркнет его из своего завещания. И вот бедный Жук Пестряк, как прозвали пастуха, жил один со своим стариком дядей уже целый месяц и находил более прибыльным и приятным стеречь одного каноника, нежели целое стадо баранов. Он стал псом священника, слугой его, посохом старости, он говорил ему: „Спаси вас господь“, когда тот пускал ветры, „Будьте здоровы“, когда тот чихал, и „Помилуй вас бог“, когда тот рыгал. Он бегал взглянуть, идет ли дождь и где кошка аббата. Молча внимал старику, не отвращая лица от его кашля, любовался старцем, как если бы тот был прекраснейшим из каноников, и все от чистого сердца и чистой души, сам не понимая, что он дядюшку холит, как собака, вылизывающая своих щенят. Дядюшка же, которого не приходилось учить, отчего все это происходит, гнал от себя злосчастного Пестряка, заставлял его крутиться волчком, не давал ему вздохнуть. А двум другим племянникам твердил, что вышеназванный Пестряк — мужлан, остолоп и непременно его в гроб вгонит. Слыша такие слова, Пестряк лез из кожи, желая угодить дядюшке, ломал себе голову, как бы лучше услужить ему. Но так как у него пониже поясницы помещались как бы две огромные тыквы и был он весьма широк в плечах, конечностями



толст и неповоротлив, то и походил более на Силена, нежели на легкокрылого Зефира*. Одним словом, бедный наш пастух в простоте душевной не мог самого себя переделать и оставался, как был, тучным и жирным, ожидая, что с получением наследства приобретет желанную художу.

Однажды вечером беседовал наш каноник о дьяволе, о тяжких муках, пытках, терзаниях, уготованных богом для проклятых грешников. И добрый Пестряк, слушая эти рассуждения, тарашил свои круглые, как печные отдушины, глаза, но ничему не верил.

— Разве ты не христианин? — спросил каноник.

— Как же, христианин, — ответил Пестряк.

— Ну, так коли есть рай для добрых, разве не нужен ад для злых?

— Ад-то нужен, святой отец, а вот дьявола нету. Будь у вас какой злодей и переверни у вас все вверх дном, разве вы не выкинули бы его вон из дому?

— Да, верно.

— Так как же, дядюшка, не такой уж бог простак, чтобы терпеть в этом мире, столь мудро устроенном его попечениями, какого-то мерзкого дьявола, который только и знает, что все портить. Чепуха это — не признаю я никакого дьявола, раз есть господь благий, — уж поверьте мне! Хотел бы я видеть черта... Хо, хо, не боюсь я его когтей!

— Думай я, как ты, не стал бы я в мои молодые годы тревожиться, исповедуясь по десяти раз на дню.

— Исповедуйтесь и теперь, господин каноник, и будьте уверены, что это зачтется вам на небесах.

— Ну, ну, ужели правда?

— Да, господин каноник.

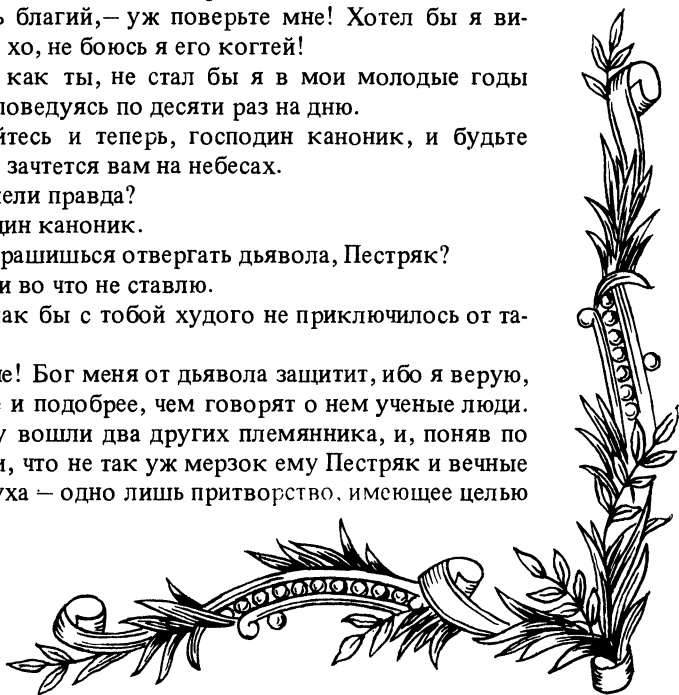
— И ты не страшишься отвергать дьявола, Пестряк?

— Да я его ни во что не ставлю.

— Смотри, как бы с тобой худого не приключилось от такой ереси.

— Ништо мне! Бог меня от дьявола защитит, ибо я верую, что он помудрее и добрее, чем говорят о нем ученые люди.

В ту минуту вошли два других племянника, и, поняв по голосу дядюшки, что не так уж мерзок ему Пестряк и вечные жалобы на пастуха — одно лишь притворство, имеющее целью



скрыть сердечную склонность, оба брата немало удивились, переглянувшись, затем, увидя, что дядюшка смеется, спросили:

— Если бы вам пришлось писать завещание, кому вы оставите дом?

— Пестряку.

— А владение ваше по улице Сен-Дени?

— Пестряку.

— А арендованный у города Парижа участок?

— Пестряку.

— Что ж,— сказал капитан грубым своим голосом,— все, значит, достанется Пестряку?

— Нет,— отвечал каноник, улыбаясь.— Как бы ни тщился я составить завещание свое по всей справедливости, добро мое перейдет наихитрейшему из вас троих. Я уже так близко подошел к земному своему пределу, что ясно вижу ваши судьбы.— И прозорливый старец бросил на Пестряка лукавый взгляд, наподобие уличной потаскухи, увлекающей щеголя в вертеп.

Пронзительный взор каноника просветил разум пастуха, и слух и очи его отверзлись, как то бывает с девицей наутро после брачной ночи. Прокурор и капитан, приняв эту болтовню за евангельское пророчество, откланились и вышли из дому, весьма уязвленные нелепыми намеками каноника.

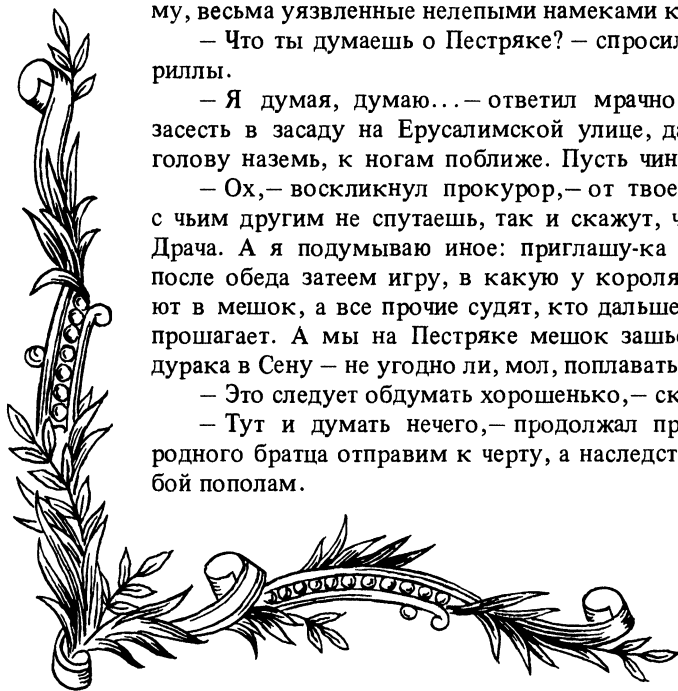
— Что ты думаешь о Пестряке? — спросил прокурор у Гориллы.

— Я думаю, думаю... — ответил мрачно вояка,— думаю засесть в засаду на Ерусалимской улице, да и скинуть ему голову наземь, к ногам поближе. Пусть чинит, коли желает.

— Ох,— воскликнул прокурор,— от твоей руки удар ни с чьим другим не спутаешь, так и скажут, что это дело рук Драча. А я подумываю иное: приглашу-ка его отобедать и после обеда затею игру, в какую у короля играют. Залезают в мешок, а все прочие судят, кто дальше в таком наряде прошагает. А мы на Пестряке мешок зашьем, да и бросим дурака в Сену — не угодно ли, мол, поплавать.

— Это следует обдумать хорошенько,— сказал вояка.

— Тут и думать нечего,— продолжал прокурор.— Двоюродного брата отправим к черту, а наследство поделим с тобой пополам.



— Охотно,— согласился Драч,— но мы должны быть заодно, как две ноги одного тела, ибо если ты тонок, как шелк, то я крепок, как железо. Шага петли не хуже... Запомните сие, дражайший братец.

— Да,— ответил адвокат.— На том и порешим. Теперь скажи, вервие или железо?

— Будь я проклят, авось не на короля идем! Ради какого-то мужлана, косолапого пастуха, столько слов тратить? Ну что, по рукам? Двадцать тысяч франков вперед в счет наследства тому из нас, кто его раньше порешит. Я ему честно скажу: „Голову свою подбери”.

— А я скажу: „Поплавай-ка, любезный!” — воскликнул прокурор и захохотал, разевая рот до ушей.

Потом оба пошли ужинать. Капитан к своей девке, а прокурор к жене одного ювелира, в любовниках у которой он состоял.

А знаете, кого речи эти в изумление повергли? Пестряка. Бедный пастух услышал смертный свой приговор из уст своих братьев, когда они на паперти прогуливались и беседовали, открывая друг другу свои мысли, как богу на молитве. И пастух наш силился уразуметь, то ли слова их до слуха его достигали, то ли уши его до паперти дотянулись.

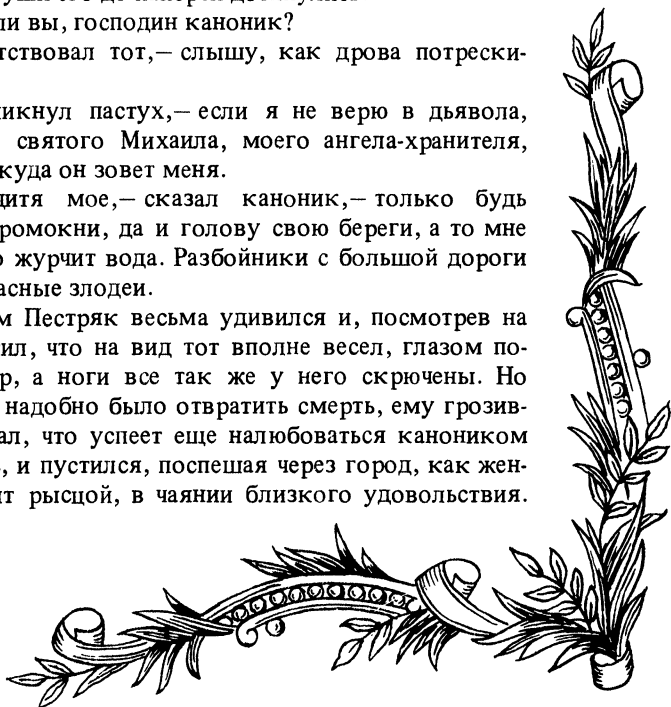
— Слышите ли вы, господин каноник?

— Да,— отвечивал тот,— слышу, как дрова потрескивают в печи.

— О,— воскликнул пастух,— если я не верю в дьявола, то верю зато в святого Михаила, моего ангела-хранителя, и поспешу туда, куда он зовет меня.

— Ступай, дитя мое,— сказал каноник,— только будь осторожен, не промокни, да и голову свою береги, а то мне слышится, будто журчит вода. Разбойники с большой дороги еще не самые опасные злодеи.

Словам этим Пестряк весьма удивился и, посмотрев на каноника, заметил, что на вид тот вполне весел, глазом попрежнему востер, а ноги все так же у него скрючены. Но ввиду того, что надобно было отвратить смерть, ему грозившую, он подумал, что успеет еще налюбоваться каноником или ему угодить, и пустился, поспешая через город, как женщина, что трусит рысдой, в чаянии близкого удовольствия.



Оба двоюродных братца, отнюдь не подозревая, что Пестряк обладает той прозорливостью, какую подчас наделяны пастухи, нередко предугадывающие близость непогоды, зачастую обсуждали в его присутствии грязные свои проделки, ни во что не ставя Пестряка.

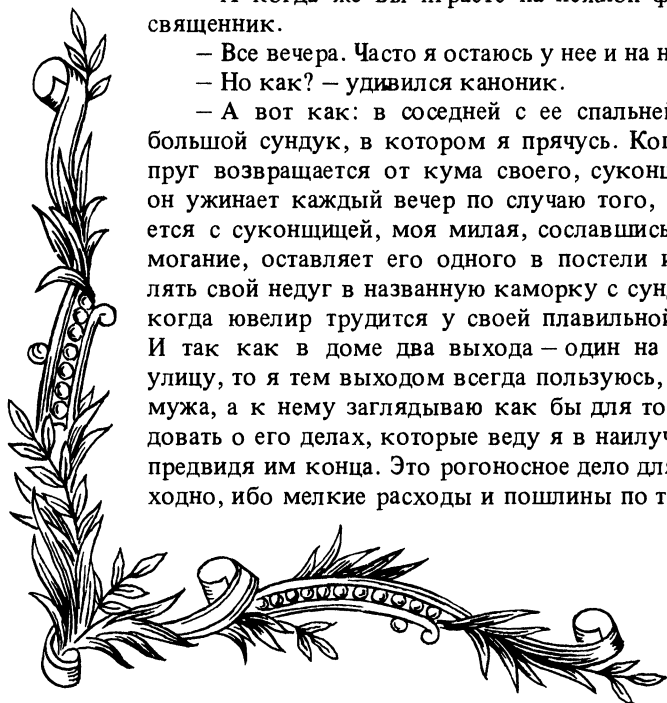
Как-то раз вечером, желая развлечь каноника, Рвач поведал ему, какова в любви жена ювелира, которому она очень ловко наставляет рога, точеные, полированные, резные, фигурные, не хуже королевских солонок. Эта прелестница, по словам его, была истинным кладезем наслаждений. Смелая насчет свиданий, она успевала согрешить, пока супруг ее поднимался по лестнице, ничего не подозревая; и подарки она поглощала, будто проглатывала ягодку за ягодкой, думала лишь о том, как бы наблудить; вертлявая, игривая, приветливая со всеми, будто самая добронравная жена, которая ни о чем худом и не помышляет, она умела убажить своего добряка мужа, который души в ней не чаял. И такая она была тонкая-претонкая пройдоха, что уже целых пять лет благополучно вела свой дом, свои любовные шашни, и слыла добродетельной, завладела доверием мужа, ключами от всех замков, кошельком и всем прочим.

— А когда же вы играете на нежной флейте? — спросил священник.

— Все вечера. Часто я остаюсь у нее и на ночь.

— Но как? — удивился каноник.

— А вот как: в соседней с ее спальней каморке стоит большой сундук, в котором я прячусь. Когда добрый ее супруг возвращается от кума своего, суконщика, с которым он ужинает каждый вечер по случаю того, что часто занимается с суконщицей, моя милая, сославшись на легкое недомогание, оставляет его одного в постели и приходит исцелять свой недуг в названную каморку с сундуком. А поутру, когда ювелир трудится у своей плавильной печи, я убегаю. И так как в доме два выхода — один на мост, другой на улицу, то я тем выходом всегда пользуюсь, где не встретишь мужа, а к нему заглядываю как бы для того, чтобы побеседовать о его делах, которые веду я в наилучшем порядке, не предвидя им конца. Это рогиносное дело для меня весьма доходно, ибо мелкие расходы и пошрины по тяжбам обходятся



ему не меньше, чем содержание целой конюшни. Меня он очень любит, как и положено всякому рогоносцу, обязанному любить того, кто помогает ему вскапывать, поливать, удобрять, обрабатывать прекрасный сад Венеры; так что без меня он и шагу не ступит.

И вот эти-то речи и пришли на ум пастуху, когда его осе-нило в час опасности и разум подсказал ему, как спасти свою жизнь, ибо даже скотам отпущено достаточно понимания, без которого до времени порвалась бы нить их жизни.

Вот Пестряк и побежал на улицу Каландр, где ювелир должен был ужинать со своей кумой. Он постучался и, когда открылось в двери маленькое решетчатое оконце, ответил на вопрос: „Кто там?“, назвавшись тайным королевским гонцом, после чего был допущен в жилище суконщика. Тут, приступив прямо к делу, он вызвал из-за стола веселого ювелира, отвел его в угол и сказал:

— Ежели бы один из ваших соседей наставил вам ветвистые рога и был бы вам выдан связанным по рукам и ногам, бросили бы вы его в реку?

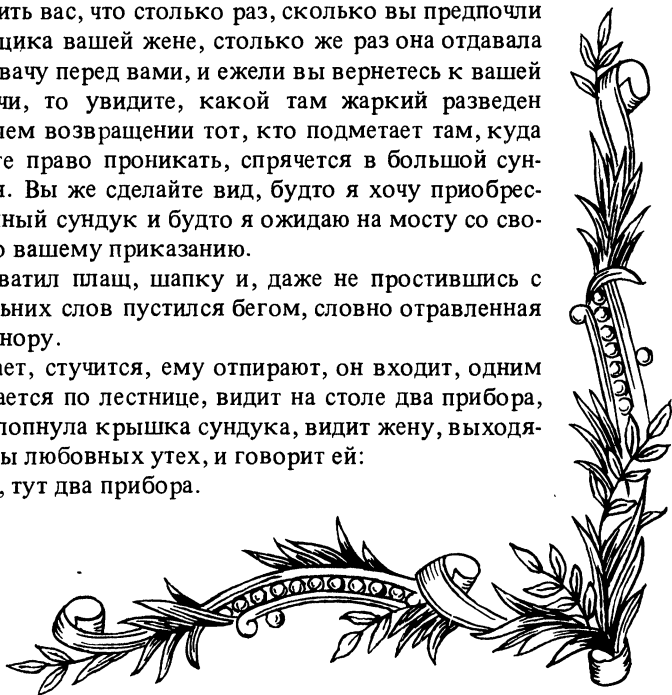
— Ну, разумеется, — ответил ювелир, — но ежели вы надомной потешаетесь, то отведаете моих кулаков.

— Тише, тише, — продолжал Пестряк, — я друг ваш и пришел предупредить вас, что столько раз, сколько вы предпочли супругу суконщика вашей жене, столько же раз она отдавала предпочтение Рвачу перед вами, и ежели вы вернетесь к вашей плавильной печи, то увидите, какой там жаркий разведен огонь! При вашем возвращении тот, кто подметает там, куда лишь вы имеете право проникать, спрячется в большой сундук для платья. Вы же сделайте вид, будто я хочу приобрести у вас названный сундук и будто я ожидаю на мосту со своей тележкой, по вашему приказанию.

Ювелир схватил плащ, шапку и, даже не простившись с кумой, без дальних слов пустился бегом, словно отравленная крыса к себе в нору.

Он прибегает, стучится, ему отпирают, он входит, одним махом поднимается по лестнице, видит на столе два прибора, слышит, как хлопнула крышка сундука, видит жену, выходящую из комнаты любовных утех, и говорит ей:

— Милочка, тут два прибора.



— А что же, душенька, разве нас не двое?
— Нет, нас трое,— отвечает он.
— А разве кум ваш придет? — спрашивает она и с невинным видом поглядывает на лестницу.
— Нет, я говорю про того кума, который сидит в сундуке.

— Какой сундук? — отвечает та.— В уме ли вы? Где вы видите сундук? Разве сажают кумовьев в сундуки? Разве такая я женщина, что стану кумовой в сундуки совать? С каких это пор кумовья живут в сундуках? Что вы, с ума, что ли, сошли, путаете кумовьев с сундуками? Я знаю только одного вашего кума — мэтра Корнеля, суконщика, а из сундуков — лишь один сундук с нашей одеждой.

— Ох,— вздохнул ювелир,— дражайшая моя женушка, один негодный проходимец явился ко мне и уведомил меня, что ты взяла себе в любовники прокурора нашего и что сидит он сейчас у нас в сундуке.

— В сундуке?! — воскликнула она.— Зачем вы слушаете всяких сплетников? Они всегда зря болтают.

— Да, да, милочка,— продолжал ювелир,— я знаю тебя, как добрую жену, на что нам с тобой ссориться из-за какого-то дрянного сундука. К тому же незванный советчик оказался столяром, и я продал ему этот проклятый сундук, я больше здесь его и видеть не желаю. А покупатель взамен даст мне два маленьких, хорошеньких сундучка, где младенец и тот не уместится, и сплетни клеветников, завидующих добродетели твоей, сами собой иссякнут.

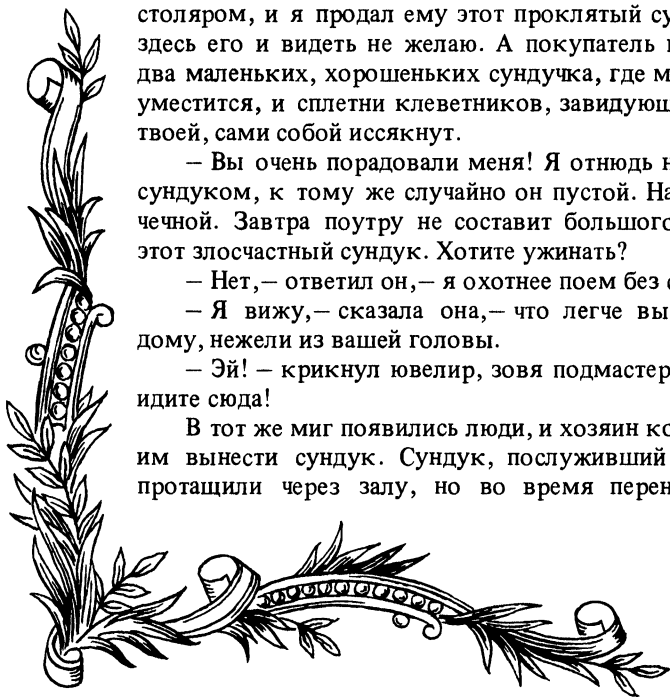
— Вы очень порадовали меня! Я отнюдь не дорожу моим сундуком, к тому же случайно он пустой. Наше белье в прачечной. Завтра поутру не составит большого труда вынести этот злосчастный сундук. Хотите ужинать?

— Нет,— ответил он,— я охотнее поем без сундука.

— Я вижу,— сказала она,— что легче выйти сундуку из дому, нежели из вашей головы.

— Эй! — крикнул ювелир, зовя подмастерьев и рабочих,— идите сюда!

В тот же миг появились люди, и хозяин коротко приказал им вынести сундук. Сундук, послуживший любви, быстро протащили через залу, но во время переноски прокурор



очутился в сундуке вверх ногами и, не будучи к тому привычен, забарахтался.

— Ничего, ничего,— промолвила жена,— это лестница шатается.

— Нет, моя милочка, это не лестница, а шкворень.

И без лишних слов сундук был пущен весьма ловко вниз по ступеням.

— Эй, возница! — крикнул ювелир, и наш Пестряк, посвистывая на мулов, вместе с добрыми подмастерьями вскинул злокозненный сундук на тележку.

— Э-э!... — завопил прокурор.

— Хозяин, сундук-то наш разговаривает! — заметил один из подмастерьев.

— А на каком таком языке? — спросил ювелир, дав подмастерью изрядный пинок в зад, каковой, к счастью, не был стеклянным. Подмастерье повалился на ступеньку лестницы, и тем было прервано его изучение сундучьего языка.

Пастух в сопровождении доброго ювелира отвез кладь к берегу реки. Не слушая красноречивых увещаний говорящего сундука, они привязали к нему парочку-другую камней, и ювелир скинул груз прямо в Сену.

— *Поплавай, любезный!* — крикнул насмешливо пастух в тот миг, когда сундук, зачерпнув воды, нырнул в реку, подобно утке.

А наш Пестряк продолжал свой путь до улицы Сен-Ландри, что близ монастыря Нотр-Дам. Здесь разыскал он дом, признал дверь и крепко постучался.

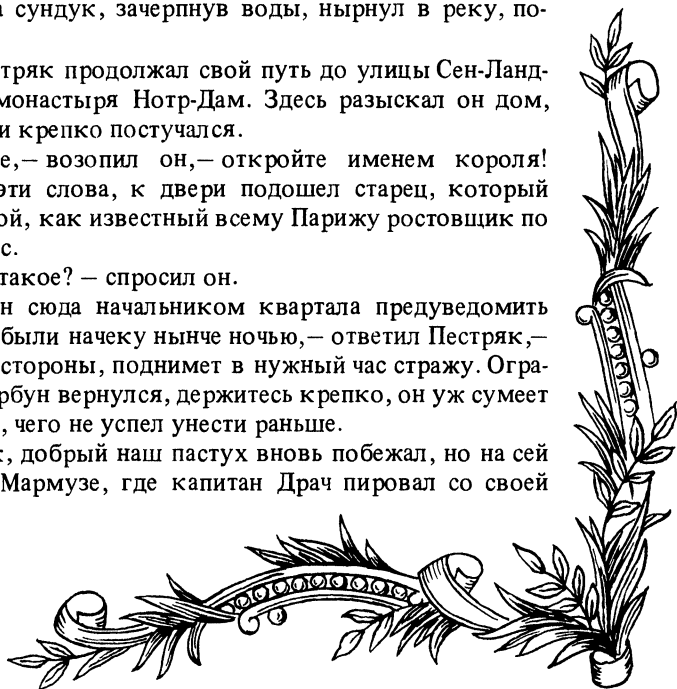
— Откройте,— возопил он,— откройте именем короля!

Услышав эти слова, к двери подошел старец, который был не кто иной, как известный всему Парижу ростовщик по имени Версорис.

— Что там такое? — спросил он.

— Я послан сюда начальником квартала предупредить вас, чтобы вы были начеку нынче ночью,— ответил Пестряк,— а он, со своей стороны, поднимет в нужный час стражу. Ограбивший вас горбун вернулся, держитесь крепко, он уж сумеет отнять у вас то, чего не успел унести раньше.

Сказав так, добрый наш пастух вновь побежал, но на сей раз на улицу Мармузе, где капитан Драч пировал со своей



Маргариткой, самой пригожей из уличных красоток и самой неистощимой на смелые выдумки, по мнению подружек. Взгляд ее, живой и острый, разил, словно удар кинжала, а все повадки были столь соблазнительны, что и жители райских куш возгорелись бы любовным пылом. И была она к тому же нимало не пуглива, как и положено женщине, у которой не осталось иной добродетели, кроме дерзости.

Бедный Пестряк впал в великое смущение, зайдя в квартал Мармузе, ибо опасался не найти того дома, где жила Маргаритка, и еще пуще страшился застать наших голубков в постели. Но некий добрый ангел споспешествовал ему во всех его делах. И вот как. Выйдя на улицу Мармузе, пастух увидел яркий свет во всех окнах. Отовсюду выглядывали головы в ночных колпаках и чепцах: девки, красотки, хозяйки, мужья, девицы, покинув постель, смотрели друг на друга с удивлением, словно по улице при свете факелов вели вора на виселицу.

— Эй, что случилось? — спросил пастух одного горожанина, который спешил с алебардой в руке встать на страже у своих дверей.

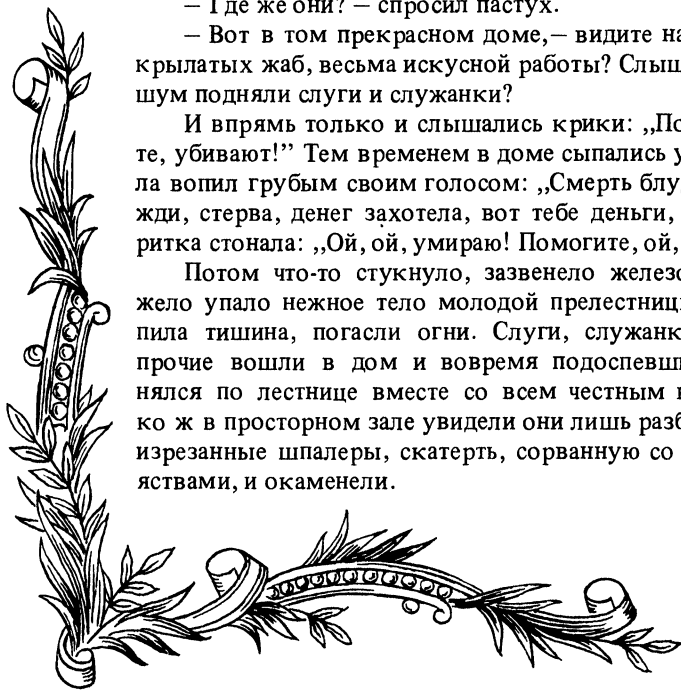
— Да ничего, — ответил тот. — Мы было подумали, что арманьяки* бесчинствуют, а это, оказывается, Горилла избивает Маргаритку.

— Где же они? — спросил пастух.

— Вот в том прекрасном доме, — видите на столбах пасти крылатых жаб, весьма искусной работы? Слышите, какой там шум подняли слуги и служанки?

И впрямь только и слышались крики: „Помогите! Спасите, убивают!“ Тем временем в доме сыпались удары, и Горилла вопил грубым своим голосом: „Смерть блудодейке! Подожди, стерва, денег захотела, вот тебе деньги, вот!“ А Маргаритка стонала: „Ой, ой, умираю! Помогите, ой, ой!“

Потом что-то стукнуло, зазвенело железо, и на пол тяжело упало нежное тело молодой прелестницы. Затем наступила тишина, погасли огни. Слуги, служанки, гости и все прочие вошли в дом и вовремя подоспевший пастух поднялся по лестнице вместе со всем честным народом. Однако ж в просторном зале увидели они лишь разбитые бутылки, изрезанные шпалеры, скатерть, сорванную со стола со всеми яствами, и окаменели.



Пастух наш, не зная страха, влекомый единой мыслью, распахнул двери нарядной опочивальни Маргаритки. Он увидел девушку всю растерзанную. С распущенными волосами, с нагою грудью, она лежала, распростершись на ковре, залитом кровью, и тут же стоял капитан; присмиревший, озабоченный вояка, не зная, как ему выпутаться, бормотал:

— Полно, милая моя, будет тебе представляться мертвой. Ничего, я тебя подштопаю, куколка моя, шалунья. Мертвая или живая, ты все равно прелесть, так бы тебя и съел...

Промолвив эти слова, хитрый вояка схватил девушку и бросил ее на постель. Она упала, как чурбан, словно висельник, сорвавшийся с крюка. Увидя это, храбрец наш решил, что пора уходить подобиру-поздорову, и, однако ж, — до чего хитер был! — прежде чем уйти, воскликнул:

— Бедная Маргаритка, как это я мог порешить девушку, которую я так любил! Да, я убил ее, дело ясное, ведь если бы она осталась жива, уж никогда бы она не допустила, чтоб поник прелестный ее сосочек. Видит бог, он болтается, словно грош на дне мошны.

От таких слов Маргаритка приоткрыла один глазок и чуть наклонила головку, желая увидеть свое белое тело. И, ожив окончательно, вlepила здоровую пощечину капитану.

— Вот тебе за то, что клеветал на мертвых, — сказала она, улыбаясь.

— А за что он убил вас, сестрица? — спросил пастух.

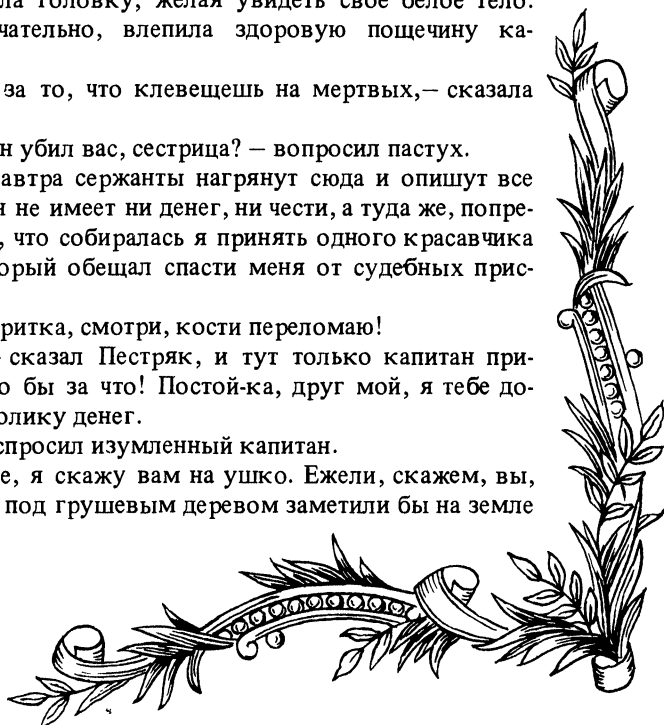
— За что? Завтра сержанты нагрянут сюда и опишут все мое добро. А он не имеет ни денег, ни чести, а туда же, попрекает меня за то, что собиралась я принять одного красавчика дворянина, который обещал спасти меня от судебных приставов.

— Эй, Маргаритка, смотри, кости переломая!

— Ну, ну! — сказал Пестряк, и тут только капитан признал его. — Было бы за что! Постой-ка, друг мой, я тебе доведу немалую толику денег.

— А где? — спросил изумленный капитан.

— Подойдите, я скажу вам на ушко. Ежели, скажем, вы, проходя ночью, под грушевым деревом заметили бы на земле



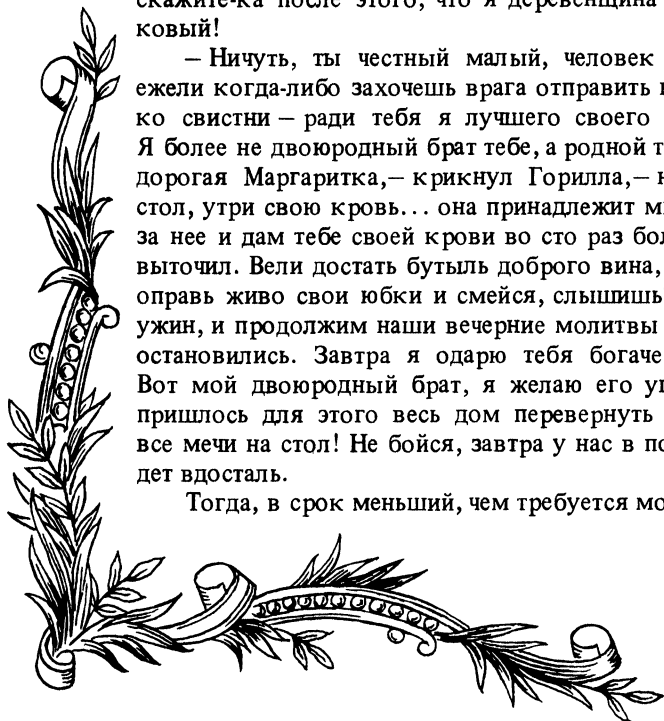
тридцать тысяч экю, неужто вы не нагнулись бы подобрать их, чтобы не пропал понапрасну этаким клад?

— Пестряк, я убью тебя, как собаку, ежели ты со мной задумал шутки шутить, или же поцелую тебя туда, куда сам захочешь, ежели укажешь, где взять эти тридцать тысяч, пусть даже ради этого придется в темном уголку пристукнуть лютого нашего горожанина, а то и троих.

— Вам не придется никого и пальцем тронуть. Вот в чем суть дела: есть у меня подружка, которой я, как самому себе доверяю, — это служанка ростовщика, живущего в Ситэ*, неподалеку от дома нашего дядюшки. Итак, я узнал из первых рук, что добродетельный ростовщик отбыл нынче утром за город, зарыв перед тем в своем саду, под грушею, четверик золота, полагая, что за этим занятием никем, кроме ангелов господних, он замечен не был. Но подружка моя, у которой в ту пору разболелись зубы, подошла к чердачному окошку подышать воздухом и проследила случайно старого выжигу. А потом, желая мне приятное сделать, обо всем мне поведала. Если вы поклянетесь по чести со мной поделиться, вот вам мои плечи, можете взобраться на стену и со стены прыгнете в сад, прямо на грушевое дерево, что рядом с оградой. Ну, скажите-ка после этого, что я деревенщина и дурак бестолковый!

— Ничуть, ты честный малый, человек благородный, и ежели когда-либо захочешь врага отправить на тот свет, только свисти — ради тебя я лучшего своего друга уколошу. Я более не двоюродный брат тебе, а родной твой брат. Живей, дорогая Маргаритка, — крикнул Горилла, — накрой опять на стол, утри свою кровь... она принадлежит мне! Я расплачусь за нее и дам тебе своей крови во сто раз больше, чем у тебя выточил. Вели достать бутыль доброго вина, забудем распрю, оправь живо свои юбки и смейся, слышишь?.. Вели собрать ужин, и продолжим наши вечерние молитвы с того места, где остановились. Завтра я одарю тебя богаче, чем королеву. Вот мой двоюродный брат, я желаю его угостить, хотя бы пришлось для этого весь дом перевернуть вверх дном. Эй, все мечи на стол! Не бойся, завтра у нас в погребах всего будет вдосталь.

Тогда, в срок меньший, чем требуется монаху, чтобы про-

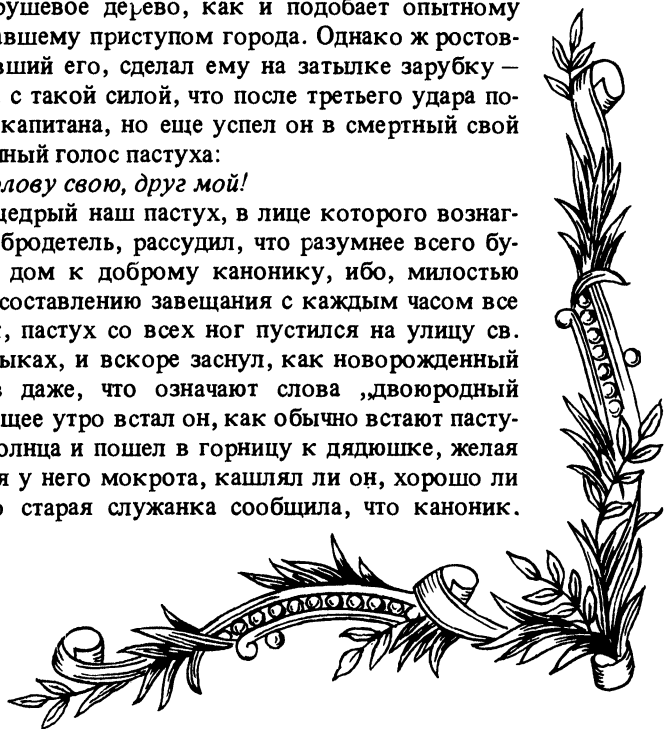


честь „господи помилуй”, весь курятник забыл слезы и залился смехом, так же как недавно, забывши смех,— ударился в слезы.

Только в вертепах разврата любовь чередуется с ударами кинжала и в четырех стенах разыгрываются и стихают бури. Но этого не понять благовоспитанным дамам нашим. Капитан развеселился, как школьник, сбежавший с уроков, и поил любезного своего родича, который пил все без разбору и, представляясь пьяным, болтал всякий вздор: вот завтра он скупит весь Париж, даст займы самому королю сто тысяч экю, станет купаться в золоте. Одним словом, наплел такую чушь, что капитан, опасаясь, как бы братец не сказал чего-нибудь лишнего, и, решив, что он вовсе ума лишился, вывел его вон с добрым намерением, когда дело дойдет у них до дележа, чуть-чуть подпороть брюхо двоюродному братцу, дабы посмотреть, нет ли у него там губки, ибо названный пастух высосал не одну кварту доброго сюренского вина. По дороге они обсуждали различные богословские вопросы, весьма запутанные, и, наконец, подкрались к ограде сада, где было спрятано золото ростовщика. Здесь Драч воспользовался широкими плечами Пестряка, словно мостом, и перескочил через ограду на грушевое дерево, как и подобает опытному воину, не раз бравшему приступом города. Однако ж ростовщик, подстерегавший его, сделал ему на затылке зарубку — одну, другую, да с такой силой, что после третьего удара покатилась голова капитана, но еще успел он в смертный свой час услышать звучный голос пастуха:

— *Подбери голову свою, друг мой!*

После сего щедрый наш пастух, в лице которого вознаграждена была добродетель, рассудил, что разумнее всего будет вернуться в дом к доброму канонику, ибо, милостью божьей, труд по составлению завещания с каждым часом все упрощался. Итак, пастух со всех ног пустился на улицу св. Петра, что при быках, и вскоре заснул, как новорожденный младенец, забыв даже, что означают слова „двоюродный брат”. На следующее утро встал он, как обычно встают пастухи, с восходом солнца и пошел в горницу к дядюшке, желая справиться, какая у него мокрота, кашлял ли он, хорошо ли ему спалось? Но старая служанка сообщила, что каноник.



услыша звон к утрени в честь святого Маврикия, одного из покровителей собора Парижской богородицы, по благочестию своему отправился в храм, дабы принять участие в завтраке, который дает архиепископ Парижский всему капитулу*.

На это Пестряк ответил:

— Уж не лишился ли господин каноник ума, ведь эдак недолго и занедужить, простуду схватить или насморк. Видно, ему жизнь не мила. Пойду, развею огонь пожарче, чтобы дядюшка получше согрелся, вернувшись домой.

И добряк направился в залу, где охотно сживал каноник, но к великому своему удивлению увидел, что дядя расположился в кресле у кафедры.

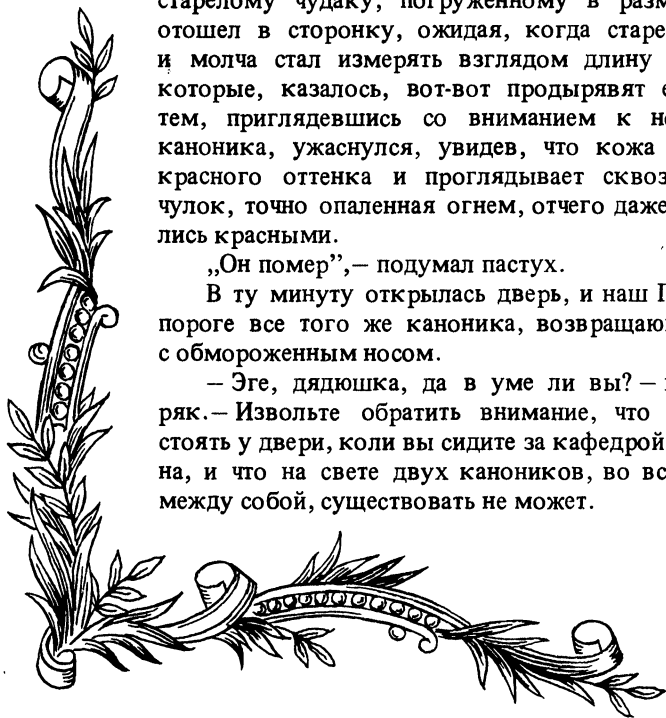
— Вот уж наболтала вздору ваша сумасшедшая Бюретта! Никогда не поверю, что столь рассудительный муж, как вы, пошли бы в такую рань и стали бы там торчать на амвоне.

Старик молчал. Пастух, подобно всем людям, любящим наблюдать и размышлять, был прозорлив душою и знал поэтому, что у стариков иной раз бывают мудрые причуды. Они беседуют с миром вещей сокровенных и до того под конец заговариваются, что начинают бормотать нечто, к делу вовсе не идущее. Посему из чувства благоговения к престарелому чудаку, погруженному в размышления, пастух отошел в сторонку, ожидая, когда старец придет в себя, и молча стал измерять взглядом длину ногтей дядюшки, которые, казалось, вот-вот продырявят его башмаки. Затем, приглядевшись со вниманием к ногам дражайшего каноника, ужаснулся, увидев, что кожа его ног багрово-красного оттенка и проглядывает сквозь нитяные петли чулок, точно опаленная огнем, отчего даже сами чулки казались красными.

„Он помер“, — подумал пастух.

В ту минуту открылась дверь, и наш Пестряк увидел на пороге все того же каноника, возвращающегося из собора с обмороженным носом.

— Эге, дядюшка, да в уме ли вы? — воскликнул Пестряк. — Извольте обратить внимание, что вам не пристало стоять у двери, коли вы сидите за кафедрой в креслах у камина, и что на свете двух каноников, во всем сходствующих между собой, существовать не может.



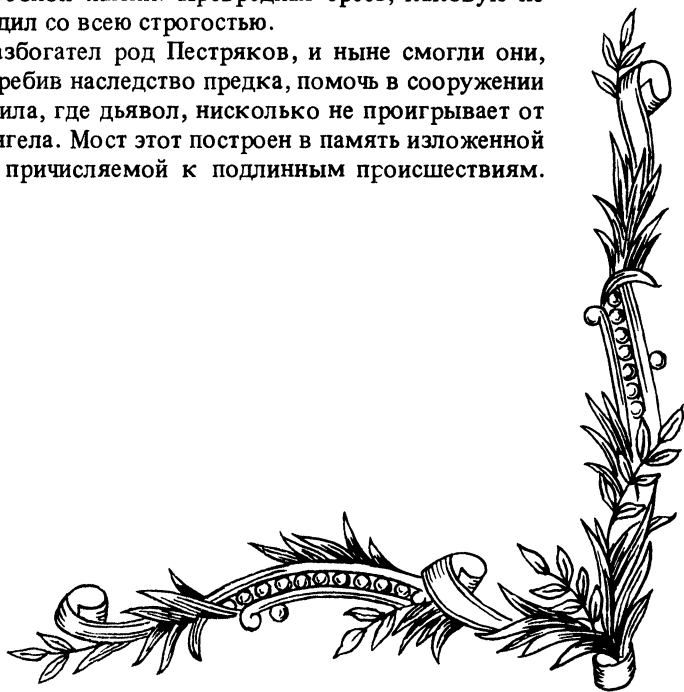
— Было время, Пестряк, когда мне весьма хотелось пребывать в двух местах одновременно. Но сие не в человеческой власти, слишком уж это было бы хорошо. А у тебя, друг, в глазах двоится, ибо я здесь в единственном числе.

Тогда Пестряк повернулся к кафедре, и как же он удивился, увидя, что кресло пусто, а еще более, когда подошел ближе и заметил на полу кучку пепла, который слегка дымился, распространяя запах серы.

— Ой! — воскликнул пастух, потрясенный этим видением. — Признаюсь, что дьявол вел себя как благородный человек по отношению ко мне. Я помолюсь о нем богу!

И тут же простодушно поведал канонику, каким образом дьявол, приняв канониково обличье, развлекался, играя роль провидения, и помог ему, Пестряку, честно избавиться от своих злодеев, двоюродных братьев. Это показалось старому канонику назидательным и достохвальным, ибо он, будучи в здравом уме, сам помнил, что не раз приходилось ему наблюдать действия, в коих дьявол проявлял себя с наилучшей стороны. И далее старец присовокупил, что всегда зло содержится в себе добро — в такой же доле, в какой зло содержится в добре; из чего следует, что не стоит слишком уж беспокоиться о загробной жизни. Превредная ересь, каковую не один собор осудил со всею строгостью.

Вот как разбогател род Пестряков, и ныне смогли они, с пользой употребив наследство предка, помочь в сооружении моста св. Михаила, где дьявол, нисколько не проигрывает от соседства архангела. Мост этот построен в память изложенной нами истории, причисляемой к подлинным происшествиям.



ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ



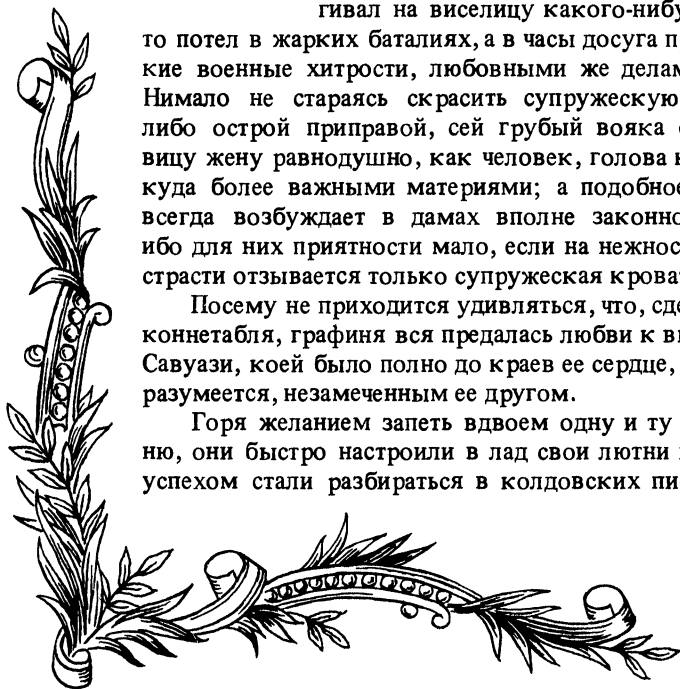
з честолюбия и расчета, стремясь добиться самого высокого положения, коннетабль* д'Арминьяк женился на графине Бонн, которая еще до замужества была страстно влюблена в юного Савуази, сына камергера его величества короля Карла VI*.

Коннетабль, суровый вояка, был невзрачен на вид и нравом весьма крут, густо оброс волосами, лицо имел топорное и морщинистое, вечно кричал и сквернословил, то вздергивал на виселицу какого-нибудь разбойника,

то потел в жарких баталиях, а в часы досуга придумывал всякие военные хитрости, любовными же делами пренебрегал. Нимало не стараясь скрасить супружескую жизнь какою-либо острой приправой, сей грубый вояка обнимал красавицу жену равнодушно, как человек, голова которого занята куда более важными материями; а подобное хладнокровие всегда возбуждает в дамах вполне законное негодование, ибо для них приятности мало, если на нежности их и порывы страсти отзывается только супружеская кровать.

Посему не приходится удивляться, что, сделавшись женой коннетабля, графиня вся предалась любви к вышеназванному Савуази, коей было полно до краев ее сердце, что не осталось, разумеется, незамеченным ее другом.

Горя желанием запеть вдвоем одну и ту же нежную песню, они быстро настроили в лад свои лютни и с превеликим успехом стали разбиваться в колдовских письменах любви.



И вот в скором времени до сведения королевы Изабеллы дошло, что лошади красавца Савуази гораздо чаще стоят в конюшнях ее кузена д'Арминьяка, нежели у дворца Сен-Поль, где проживал старый камергер после того, как было разрушено его прежнее обиталище, — по приказу Парижского университета, как это всем известно. Опасаясь, как бы с Графиней Бонн не приключилась какая-нибудь беда, ибо вышеназванный коннетабль с такой же легкостью привык играть кинжалом, как священник раздавать благословения, сия бдительная и разумная государыня, обладавшая умением бросить при случае искусный намек, однажды при выходе от вечерни обратилась к своей кузине графине д'Арминьяк, когда та подошла с молодым Савуази окропить себя святой водой:

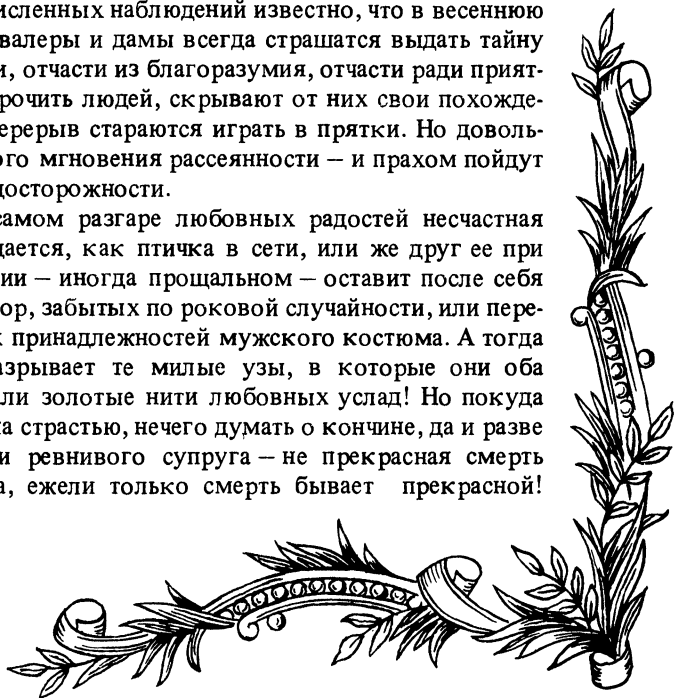
— Мой друг, не замечаете ли вы крови в этой воде?

— Ба! — бросил в ответ королеве Савуази. — Любовь любит кровь, ваше величество.

Королева нашла эту мысль весьма удачной и тотчас же ее записала, а позднее увидела ее в действии, когда король Карл, ее супруг и повелитель, жестоко расправился с ее возлюбленным, о восхождении звезды которого вы услышите в нашем повествовании.

Из многочисленных наблюдений известно, что в весеннюю пору любви кавалеры и дамы всегда страшатся выдать тайну своего сердца и, отчасти из благоразумия, отчасти ради приятной забавы морочить людей, скрывают от них свои похождения, и оба напереерыв стараются играть в прятки. Но довольно бывает одного мгновения рассеянности — и прахом пойдут все долгие предосторожности.

И вот в самом разгаре любовных радостей несчастная женщина попадаетеся, как птичка в сети, или же друг ее при своем посещении — иногда прощальном — оставит после себя след в виде шпор, забытых по роковой случайности, или перевязи, или иных принадлежностей мужского костюма. А тогда удар шпаги разрывает те милые узы, в которые они оба усердно вплетали золотые нити любовных усад! Но покуда жизнь насыщена страстью, нечего думать о кончине, да и разве пасть от шпаги ревнивого супруга — не прекрасная смерть для любовника, ежели только смерть бывает прекрасной!



Именно так и суждено было оборваться любовному счастью графини.

Однажды утром, когда у коннетабля д'Арминьяка выдался свободный часок благодаря неожиданному бегству из Ланьи герцога Бургундского*, ему вздумалось пожелать своей супруге доброго утра, и он вознамерился разбудить ее достаточно нежным способом, чтобы она не рассердилась, и вот графиня, погруженная еще в сладостную утреннюю дремоту, не подымая век, пробормотала в ответ на его прикосновение:

— Ах, оставь меня, Карл!

— Ого! — изумился коннетабль, услыша имя святого, который вовсе не числился среди его небесных покровителей. — Что это за Карл у вас в голове?

Не прикасаясь больше к жене, он вскочил с кровати и с пылающим от гнева лицом, обнажив шпагу, бросился по лестнице вверх, — туда, где спала служанка графини, подозревая в ней сообщницу преступления.

— Эй ты, чертова потаскуха! — закричал он, давая волю своему гневу. — Читай молитву, сейчас я прикончу тебя. Какой такой Карл повадился ходить ко мне в дом?

— Ах, сударь, — отвечала служанка, — кто вам сказал об этом?

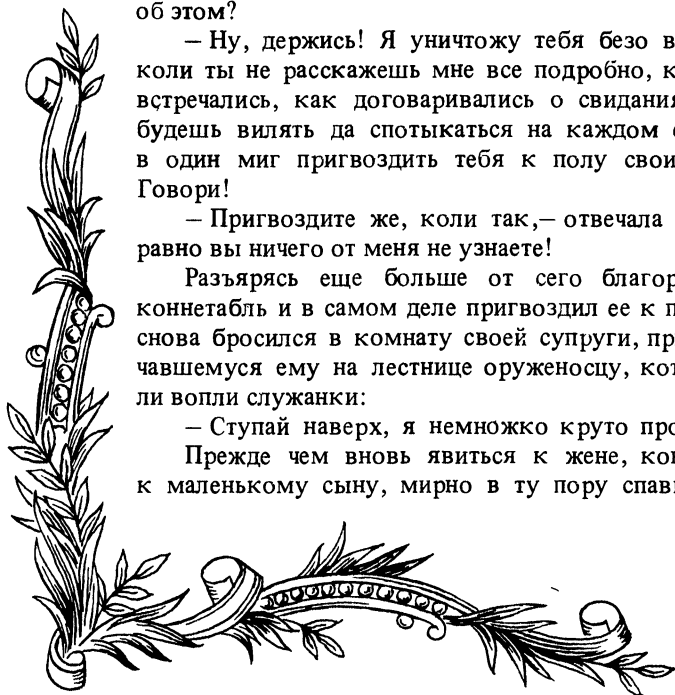
— Ну, держись! Я уничтожу тебя безо всякой пощады, коли ты не расскажешь мне все подробно, как и когда они встречались, как договаривались о свиданиях. Но если ты будешь вилять да спотыкаться на каждом слове, я сумею в один миг пригвоздить тебя к полу своим кинжалом... Говори!

— Пригвоздите же, коли так, — отвечала служанка. — Все равно вы ничего от меня не узнаете!

Разъярясь еще больше от сего благородного ответа, коннетабль и в самом деле пригвоздил ее к полу, после чего снова бросился в комнату своей супруги, приказав повстречавшемуся ему на лестнице оруженосцу, которого разбудили вопли служанки:

— Ступай вверх, я немножко круто проучил Биллетту.

Прежде чем вновь явиться к жене, коннетабль пошел к маленькому сыну, мирно в ту пору спавшему, и, грубо



схватив его, потащил к матери. Та открыла глаза, — и, как вы можете себе представить, весьма широко открыла, — услыша детский плач. С превеликим волнением увидела она своего малютку на руках у коннетабля; правая рука д'Арминьяка была в крови, и красными от ярости глазами поглядывал он то на мать, то на сына.

— Что с вами? — молвила графиня.

— Сударыня, — обратился к ней с вопросом ее скорый на расправу супруг, — от кого рожден сей ребенок? Мой он или друга вашего, Савуази?

При словах этих графиня Бонн побледнела и бросилась к своему сыну так стремительно, как бросается в воду испуганная лягушка.

— Разумеется, он ваш! — отвечала она.

— Коли вы не желаете, чтобы нога его покатилась к вашим ногам, — продолжал муж, — сознайтесь во всем и отвечайте прямо: есть у меня по вашей милости помощник?

— Да.

— Кто же это?

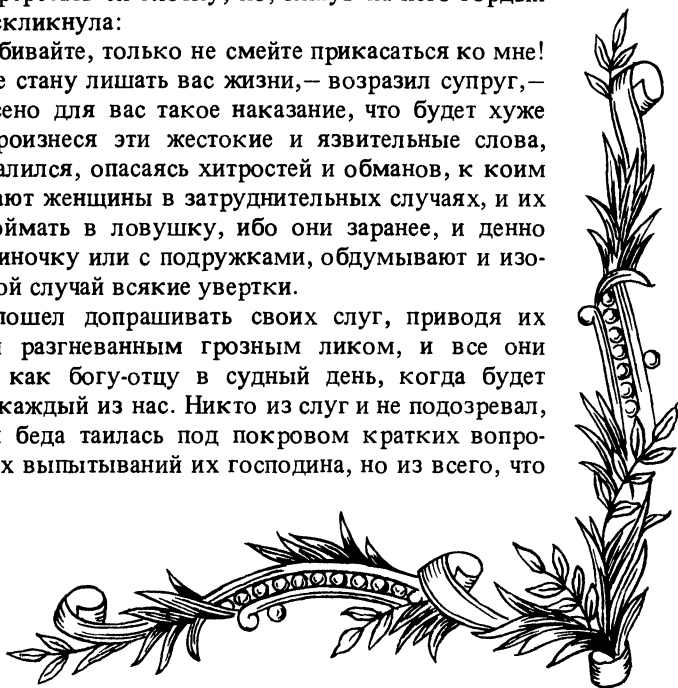
— Это вовсе не Савуази, но я не назову вам никогда имени этого человека, я его не знаю.

Тут коннетабль вскочил с места и, схватив жену за руку, хотел было перерезать ей глотку, но, кинув на него гордый взгляд, она воскликнула:

— Что ж, убивайте, только не смейте прикасаться ко мне!

— Нет, я не стану лишать вас жизни, — возразил супруг, — у меня припасено для вас такое наказание, что будет хуже смерти. — И, произнеся эти жестокие и язвительные слова, коннетабль удалился, опасаясь хитростей и обманов, к коим охотно прибегают женщины в затруднительных случаях, и их никогда не поймать в ловушку, ибо они заранее, и денно и ночью, в одиночку или с подружками, обдумывают и изобретают на такой случай всякие увертки.

Немедля пошел допрашивать своих слуг, приводя их в ужас своим разгневанным грозным ликом, и все они отвечали ему, как богу-отцу в судный день, когда будет держать ответ каждый из нас. Никто из слуг и не подозревал, какая великая беда таилась под покровом кратких вопросов и коварных выпытываний их господина, но из всего, что



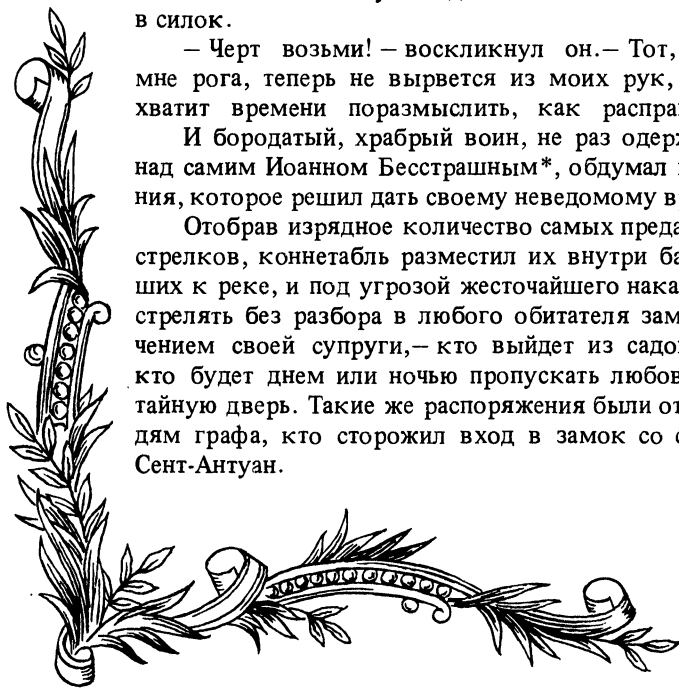
было ими сказано, коннетабль мог сделать вывод, что ни один мужчина из обитателей дома тут не повинен ни сном, ни духом; лишь один слуга, которому было поручено стеречь сад, хранил упорное молчание. Ничего от этого стража не выведав, коннетабль схватил мерзавца за горло и в ярости задушил его. И тогда коннетабль умоzakлючил, что непрощенный его помощник проникал в замок через сад, куда вел с берега реки потайной ход. Тем, кто не знает расположения замка д'Арминьяков, мы сообщим, что он занимает обширную усадьбу по соседству с великолепными строениями дворца Сен-Поль. Позднее на том месте был возведен замок Лонгвиль. В то время, о коем идет речь, жилище графа д'Арминьяка через монументальные каменные ворота имело выход на улицу Сен-Антуан; замок был отлично укреплен, и высокие стены ограды, тянувшиеся по берегу реки против Коровьего острова — там, где ныне находится пристань Грев,—были снабжены башнями. Все это можно было видеть на рисунке, долгое время хранившемся у кардинала Дюпра, королевского канцлера.

Коннетабль ломал себе голову; перебрав в уме все известные ему способы засады, он выбрал, наконец, наилучший из них и приспособил его столь умело к данному случаю, что обольститель неминуемо должен был попасться, как заяц в силос.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Тот, кто наставил мне рога, теперь не вырвется из моих рук, и у меня еще хватит времени поразмыслить, как расправиться с ним!

И бородатый, храбрый воин, не раз одерживавший верх над самим Иоанном Бесстрашным*, обдумал порядок сражения, которое решил дать своему неведомому врагу.

Отбрав изрядное количество самых преданных и ловких стрелков, коннетабль разместил их внутри башен, выходивших к реке, и под угрозой жесточайшего наказания приказал стрелять без разбора в любого обитателя замка — за исключением своей супруги, — кто выйдет из садовой калитки и кто будет днем или ночью пропускать любовника через потайную дверь. Такие же распоряжения были отданы и тем людям графа, кто сторожил вход в замок со стороны улицы Сент-Антуан.

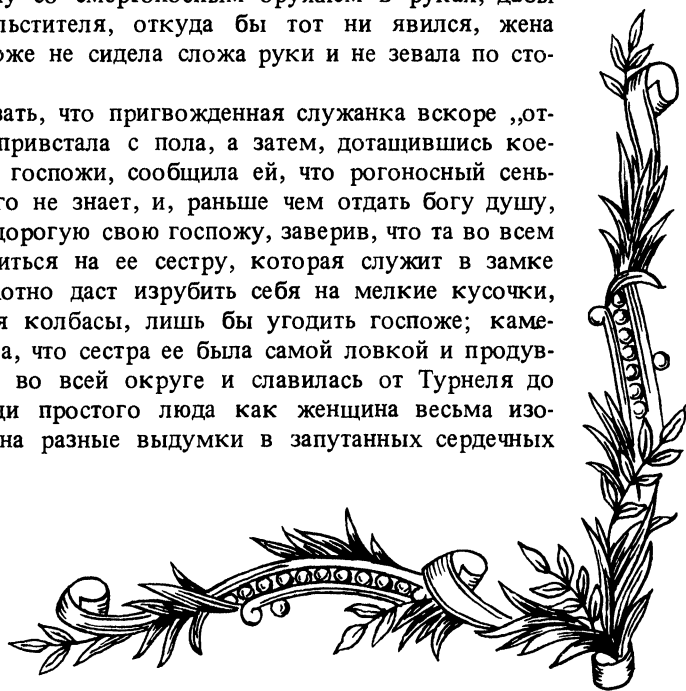


Слугам и даже капеллану было велено, под страхом смерти, не выходить никуда из жилищ своих. А поскольку с обоих флангов оборона замка поручена была стрелкам из личной охраны коннетабля, которым было приказано не спускать глаз с боковых улиц, то неведомому любовнику, наградившему коннетабля рогами, неминуемо предстояло быть схваченным в тот самый миг, когда, ничего не подозревая, он придет в условный час дерзко водрузить свое знамя в самом сердце законных владений графа. В такую западню не мог не попасться даже самый ловкий человек, разве только что он оказался бы под особым покровительством божьим, как наш добрый апостол Петр, коему спаситель не дал утонуть в волнах Тибериадского озера в тот достопамятный день, когда ему вздумалось испытать, не окажется ли вода столь же твердой, как суша.

У коннетабля оказались дела в Пуасси, и он должен был тотчас после обеда сесть на коня; зная о намерении своего супруга, графиня еще накануне решила пригласить своего юного поклонника на приятное состязание, в коем сила всегда оказывалась на ее стороне.

Пока коннетабль готовил, как было описано выше, засаду в своем замке и расставлял вокруг потайной двери зоркую стражу со смертоносным оружием в руках, дабы схватить обольстителя, откуда бы тот ни явился, жена коннетабля тоже не сидела сложа руки и не зевала по сторонам.

Надо сказать, что пригвожденная служанка вскоре „отгвоздилась“, привстала с пола, а затем, дотацившись кое-как до своей госпожи, сообщила ей, что рога носный сен-ор пока ничего не знает, и, раньше чем отдать богу душу, она утешила дорогую свою госпожу, заверив, что та во всем может положиться на ее сестру, которая служит в замке прачкой и охотно даст изрубить себя на мелкие кусочки, как мясо для колбасы, лишь бы угодить госпоже; камеристка сказала, что сестра ее была самой ловкой и продвунной бабенкой во всей округе и славилась от Турнеля до Траугара среди простого люда как женщина весьма изобретательная на разные выдумки в запутанных сердечных делах.



Тогда, не переставая оплакивать кончину верной своей служанки, графиня призвала к себе прачку и, приказав ей бросить стирку, начала вместе с нею так и сяк раскидывать умом, желая спасти Савуази даже ценой всего счастья, что суждено ей в жизни. Прежде всего женщины стали обдумывать, как бы его уведомить о подозрениях коннетабля и предупредить, чтобы он вел себя осторожно.

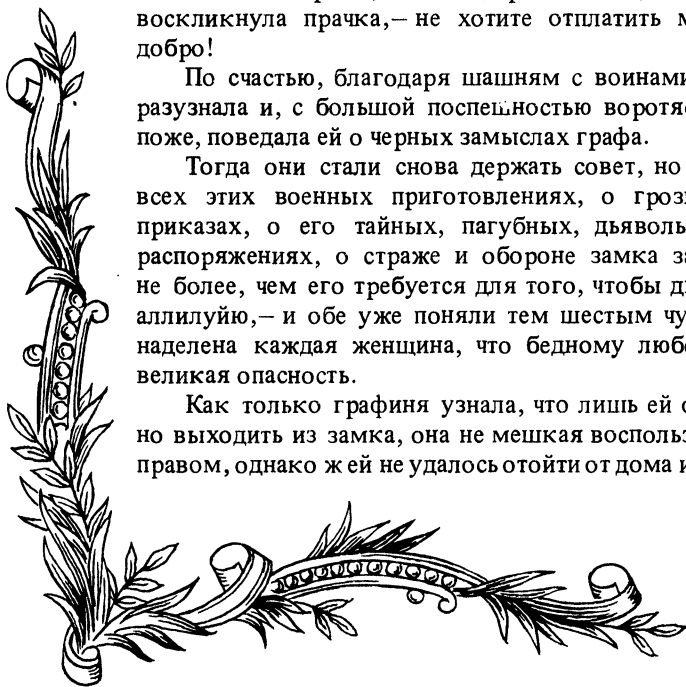
И вот услужливая прачка, нагруженная, словно мул, грудой белья, попыталась выйти из замка. Но у ворот она наткнулась на вооруженного человека, не желавшего внимать никаким ее доводам и мольбам. Тогда из великой преданности своей госпоже прачка решила атаковать солдата с наиболее уязвимой стороны и своим бойким заигрыванием вскоре так растормошила его, что он весьма охотно позабавился с ней, хотя и был при всех своих воинских доспехах. Но и после этого он ни за что не соглашался пропустить прачку на улицу, и, как ни старалась она вслед за тем получить разрешение на выход из замка от других, самых красивых молодцов, думая, что они будут полюбезнее, ни один из стрелков и прочих вооруженных стражей так и не осмелился открыть перед ней хотя бы самую узенькую лазейку.

— Вы скверные, неблагодарные люди, — с возмущением воскликнула прачка, — не хотите отплатить мне добром за добро!

По счастью, благодаря шашням с воинами она обо всем разузнала и, с большой поспешностью воротясь к своей госпоже, поведала ей о черных замыслах графа.

Тогда они стали снова держать совет, но беседа их обо всех этих военных приготовлениях, о грозных графских приказах, о его тайных, пагубных, дьявольски коварных распоряжениях, о страже и обороне замка заняла времени не более, чем его требуется для того, чтобы дважды пропеть аллилуйю, — и обе уже поняли тем шестым чувством, коим наделена каждая женщина, что бедному любовнику грозит великая опасность.

Как только графиня узнала, что лишь ей одной дозволено выходить из замка, она не мешкая воспользовалась своим правом, однако ж ей не удалось отойти от дома и на расстояние



стрелы, пущенной из самострела, ибо коннетабль велел четверем пажам своим ни на шаг не отходить от графини, а сверх того приказал находиться при ней неотлучно двум офицерам из своей личной стражи. Тогда бедная супруга коннетабля вернулась к себе в покои и заплакала горше всех Магдалин, изображения коих мы видим в храмах.

— Увы! — сокрушалась она. — Милого моего убьют, и я больше его не увижу!.. А сколько нежности было в речах его, сколько прелести в его ласках!.. Так неужто же прекрасная голова, что так часто покоилась на моих коленях, будет мертвой, холодной? О, зачем не могу я швырнуть моему жестокому супругу пустую и никудышнюю голову вместо бесценной, полной очарования головы моего друга!.. Голову смрадную — вместо благоуханной! Ненавистную — вместо горячо мною любимой!

— Ах, сударыня, — воскликнула прачка, — что, если нам напялить городское платье на сына повара, который влюблен в меня по уши и очень докучает мне? А потом, нарядивши этак молодчика, мы выпроводим его через потайную дверь...

Тут сообщницы обменялись взглядом, выдававшим их коварный замысел.

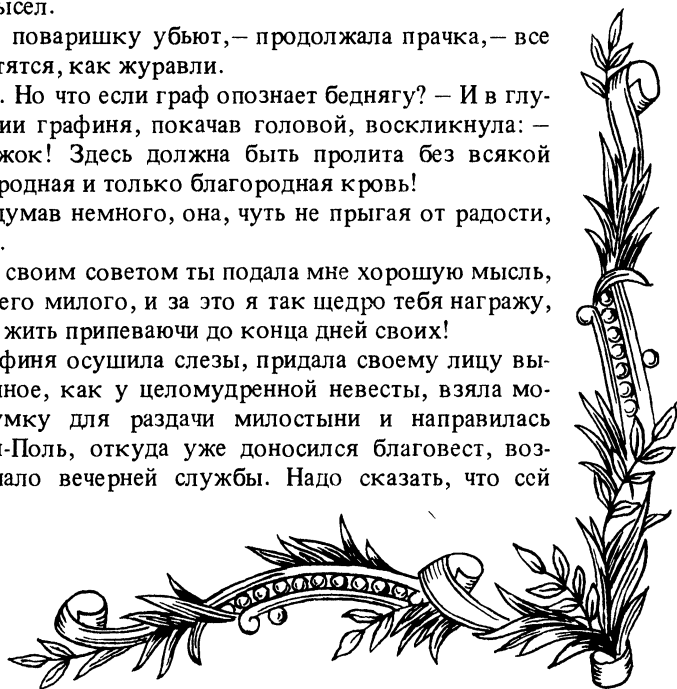
— А когда поваришку убьют, — продолжала прачка, — все солдаты разлетятся, как журавли.

— Хорошо. Но что если граф опознает беднягу? — И в глухом волнении графиня, покачив головой, воскликнула: — Нет, нет, дружок! Здесь должна быть пролита без всякой жалости благородная и только благородная кровь!

Затем, подумав немного, она, чуть не прыгая от радости, обняла прачку.

— Знаешь, своим советом ты подала мне хорошую мысль, как спасти моего милого, и за это я так щедро тебя награжу, что ты будешь жить припеваючи до конца дней своих!

Засим графиня осушила слезы, придала своему лицу выражение невинное, как у целомудренной невесты, взяла молитвенник, сумку для раздачи милостыни и направилась к церкви Сен-Поль, откуда уже доносился благовест, возвещавший начало вечерней службы. Надо сказать, что сей



долг благочестия всегда свято выполнялся графиней, ибо она, как и все придворные дамы, была изрядной ханжой.

Мессу эту недаром прозвали в народе „расфуфыренной мессой”: здесь можно было встретить только шеголей и красавцев, молодых дворян и нарядных придворных дам, от которых веяло тончайшими ароматами; словом, здесь нельзя было увидеть одеяния без гербов, шпор без позолоты.

Итак, графиня Бонн направилась в церковь, приказав оставшейся в замке ошеломленной прачке быть начеку.

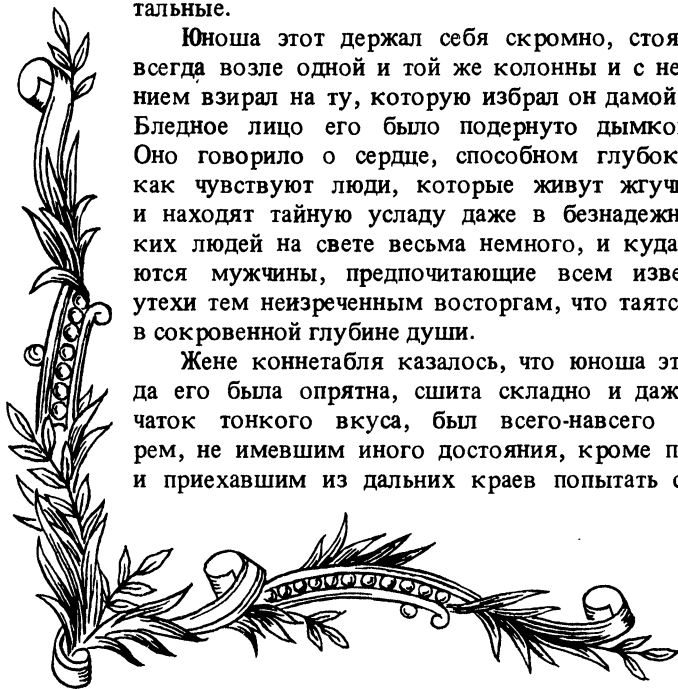
Вскоре она с большой торжественностью, в сопровождении пажей, двух лейтенантов и стражей, явилась в храм.

Надо сказать, что среди блестящих рыцарей, увивавшихся в церкви вокруг дам, у графини было немало воздыхателей, преданных ей всем сердцем и готовых, как это водится у молодых людей, поставить все на кон в надежде на желанный выигрыш.

В числе сих соколов и ястребов, которые точили жадный клюв на прекрасную добычу и чаще шныряли глазами по скамьям, чем обращали их к алтарю и священнослужителям, был один юноша, коего графиня порою милостиво дарила беглым взглядом, ибо он был менее назойлив и, казалось, был уязвлен ею сильнее, чем остальные.

Юноша этот держал себя скромно, стоял неподвижно, всегда возле одной и той же колонны и с немым восхищением взидал на ту, которую избрал он дамой своего сердца. Бледное лицо его было подернуто дымкой меланхолии. Оно говорило о сердце, способном глубоко чувствовать, как чувствуют люди, которые живут жгучими страстями и находят тайную уладу даже в безнадежной любви. Таких людей на свете весьма немного, и куда чаще встречаются мужчины, предпочитающие всем известные грубые утехы тем неизреченным восторгам, что таятся и расцветают в сокровенной глубине души.

Жене коннетабля казалось, что юноша этот, хотя одежда его была опрятна, сшита складно и даже носила отпечаток тонкого вкуса, был всего-навсего бедным рыцарем, не имевшим иного достоинства, кроме плаща и шпаги, и приехавшим из дальних краев попытать счастья. И вот,



догадываясь о его бедности и страстной его любви к ней и видя, как хорош собою этот стройный юноша с темными кудрями до плеч и какое у него кроткое, робкое выражение лица, супруга коннетабля от всей души желала, чтобы ему всегда сопутствовала благосклонность женщин и фортуны.

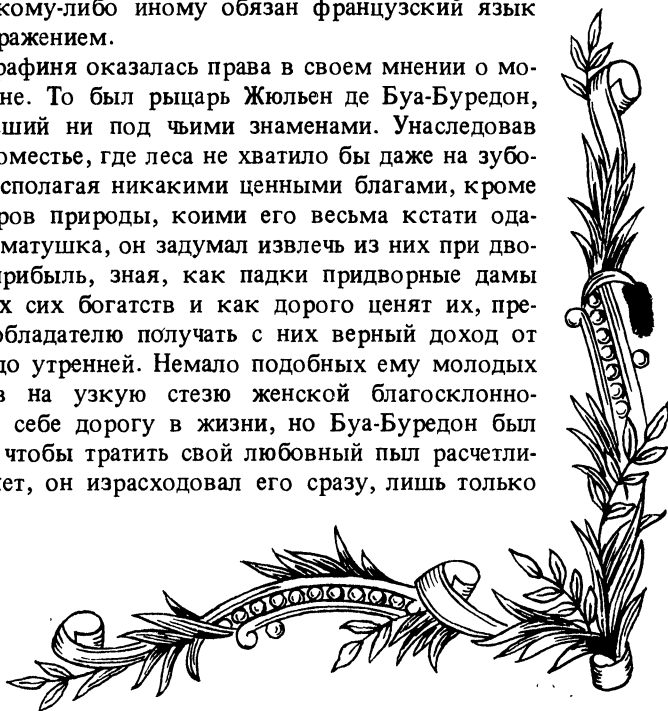
По обычаю хороших хозяек, у коих ничто зря не пропадает, она полагала, что пренебрегать поклонниками не следует, и стала по прихоти своей разжигать в нем страсть, — то легкой улыбкой, то быстрым взглядом, скользившим невзначай в его сторону, словно ядовитая змейка. Не жаль ей было насмеяться над счастьем сей юной жизни, — властительная особа, она привыкла играть куда более важными людьми, чем простой рыцарь. А разве супруг ее, коннетабль, не рисковал иной раз судьбою целого королевства, не ставил ее на карту, как вы ставите мелкую монету, играя в пикет?

И вот прошло не более трех дней, как при выходе от вечерни супруга коннетабля, указывая глазами королеве на молодого искателя любви, с усмешкой промолвила:

— Какой достойный человек!

Словцо это сохранилось в языке знати. Позднее им стали обозначать придворных особ. Именно графине д'Арминьяк, а не кому-либо иному обязан французский язык сим метким выражением.

Случайно графиня оказалась права в своем мнении о молодом дворянине. То был рыцарь Жюльен де Буа-Буредон, еще не служивший ни под чьими знаменами. Унаследовав от родителей поместье, где леса не хватило бы даже на зубочистку, и не располагая никакими ценными благами, кроме прекрасных даров природы, коими его весьма кстати одарила покойная матушка, он задумал извлечь из них при дворе выгоду и прибыль, зная, как ладки придворные дамы до естественных сих богатств и как дорого ценят их, предоставляя их обладателю получать с них верный доход от вечерней зари до утренней. Немало подобных ему молодых людей, вступив на узкую стезю женской благосклонности, пробивали себе дорогу в жизни, но Буа-Буредон был далек от того, чтобы тратить свой любовный пыл расчетливо и скупно, — нет, он израсходовал его сразу, лишь только



увидел на „расфуфыренной мессе” графиню Бонн во всем великолепии ее красоты. С первого же мгновения он воспыпал к ней истинною любовью — к вящей выгоде для своего кошелька, ибо нашего рыцаря совсем отбило от еды и питья. А такая любовь всего хуже, ибо она побуждает нас к воздержанию в пище все время, покуда длится воздержание в любви,— два недуга, из коих довольно и одного, чтобы свести человека в могилу.

Таков был молодой рыцарь, о котором вспомнила прекрасная супруга коннетабля, и поспешила прийти в храм, дабы предложить влюбленному умереть ради нее.

Войдя в храм, она тотчас увидела бедного своего обожателя, который, как всегда, стоял, прислонясь к колонне, и с радостным волнением поджидал графиню, всем существом своим устремляясь к ней, как страждущий больной тянется к солнцу, к весне и к свету. Отведя от него взгляд, графиня хотела подойти к королеве и попросить ее о помощи в столь отчаянном положении, ибо ей стало жаль юношу, но тут один из сопровождавших графиню воинов весьма почтительно обратился к ней:

— Сударыня, мы получили распоряжение не допускать вас до разговора ни с женщинами, будь то даже королева, ни с мужчинами, будь то даже ваш духовник. Нарушив сей приказ, мы рискуем собственной жизнью.

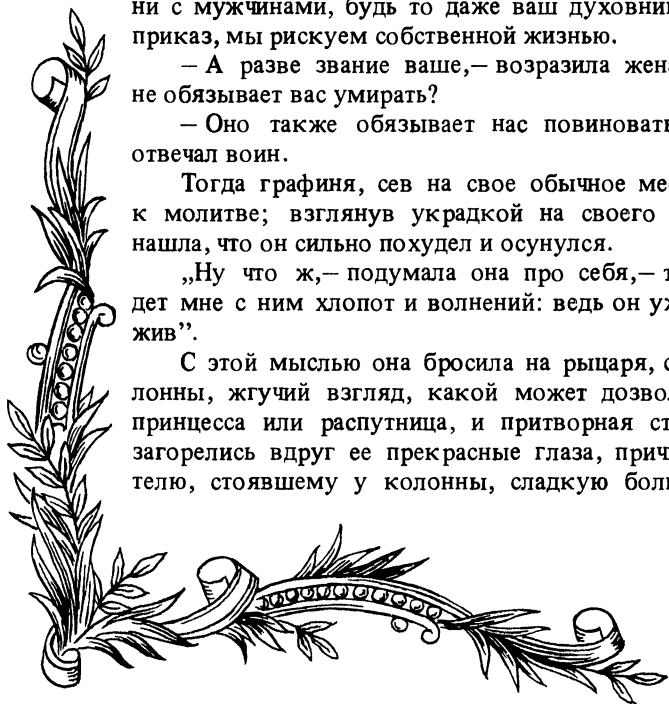
— А разве звание ваше,— возразила жена коннетабля,— не обязывает вас умирать?

— Оно также обязывает нас повиноваться приказам,— отвечал воин.

Тогда графиня, сев на свое обычное место, приступила к молитве; взглянув украдкой на своего обожателя, она нашла, что он сильно похудел и осунулся.

„Ну что ж,— подумала она про себя,— тем меньше будет мне с ним хлопот и волнений: ведь он уже и сейчас чуть жив”.

С этой мыслью она бросила на рыцаря, стоявшего у колонны, жгучий взгляд, какой может позволить себе лишь принцесса или распутница, и притворная страсть, которою загорелись вдруг ее прекрасные глаза, причинили воздыхателю, стоявшему у колонны, сладкую боль. Да и кто же

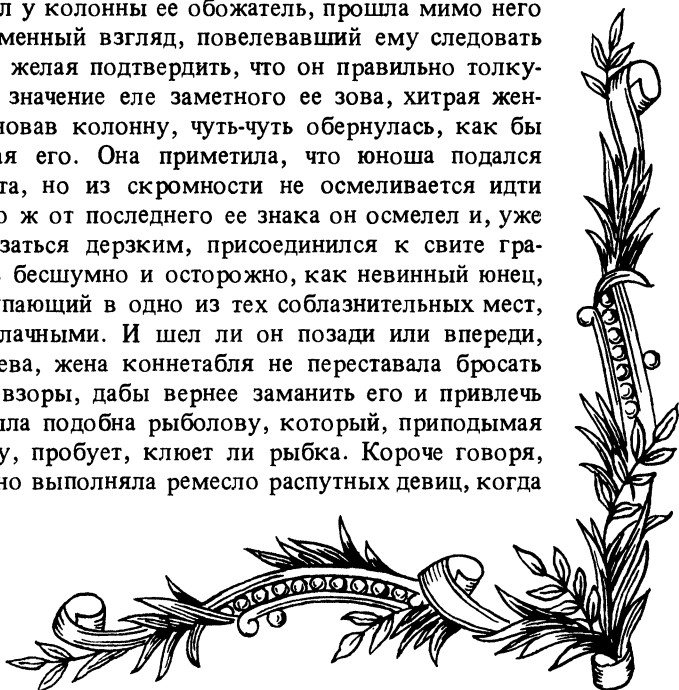


останется равнодушным к жаркой волне жизни, когда вся кровь кипит и бурно приливает к сердцу?

И с радостью, для женской души вечно новой, жена коннетабля убедилась в могуществе своего великолепного взгляда по безмолвному ответу рыцаря. Яркий румянец, вспыхнувший на его щеках, был красноречивее самых превосходных речей греческих и римских ораторов, и не удивительно, что графиня с удовольствием заметила его и отлично все поняла.

Желая удостовериться, что сие не было случайной игрой природы, она решила испытать, как далеко простирается магическая сила ее взоров. Раз тридцать обжигала она поклонника пламенем глаз своих и окончательно уверилась в том, что рыцарь храбро умрет за нее. Мысль эта столь сильно ее взволновала, что посреди молитв ею трижды овладевало желание подарить ему разом все доступные человеку наслаждения, обратив их в единый фонтан любви, дабы ей никогда не могли бросить упрека в том, что она не только отняла жизнь у бедного рыцаря, но и лишила его блаженства.

Когда священнослужитель, оборотясь лицом к своей раззолоченной пастве, провозгласил: „Изыдите с миром“, — жена коннетабля направилась к выходу из храма с той стороны, где стоял у колонны ее обожатель, прошла мимо него и метнула пламенный взгляд, повелевавший ему следовать за нею; затем, желая подтвердить, что он правильно толкует и понимает значение еле заметного ее зова, хитрая женщина, уже миновав колонну, чуть-чуть обернулась, как бы вновь подзывая его. Она заметила, что юноша подался со своего места, но из скромности не осмеливается идти за нею; однако ж от последнего ее знака он осмелел и, уже не боясь показаться дерзким, присоединился к свите графини, двигаясь бесшумно и осторожно, как невинный юнец, с опаской вступающий в одно из тех соблазнительных мест, кои зовутся злачными. И шел ли он позади или впереди, справа или слева, жена коннетабля не переставала бросать ему огненные взоры, дабы вернее заманить его и привлечь к себе; она была подобна рыболову, который, приподымая тихонько леску, пробует, клюет ли рыбка. Короче говоря, графиня искусно выполняла ремесло распутных девиц, когда



они трудятся, не жалея сил, чтобы подвести святую воду к своим мельницам, и, глядя на нее, вы могли бы сказать: „До чего похожи на потаскух высокородные дамы!”

Перед входом в замок графиня с минуту поколебалась, затем снова обернулась к несчастному рыцарю, как бы приглашая его следовать за собой, и стрельнула в него таким сатанинским взглядом, что он тотчас же ринулся к владычице своего сердца, поняв, что она призывает его к себе. Тут графиня подала ему руку, и они оба, дрожа и волнуясь по причинам совершенно различным, очутились внутри замка. В тот роковой час в г-же д'Арминьяк заговорила совесть, ей стало стыдно, что она прибегает к столь низким уловкам, посылая человека на смерть, и намеревается изменить Савуази, чтобы вернее спасти его, но известно, что малые укору совести, равно как и великие, хромают на обе ноги и оттого всегда приходят с опозданием. Видя, что на карту поставлено все, жена коннетабля крепко оперлась на руку своего обожателя и сказала:

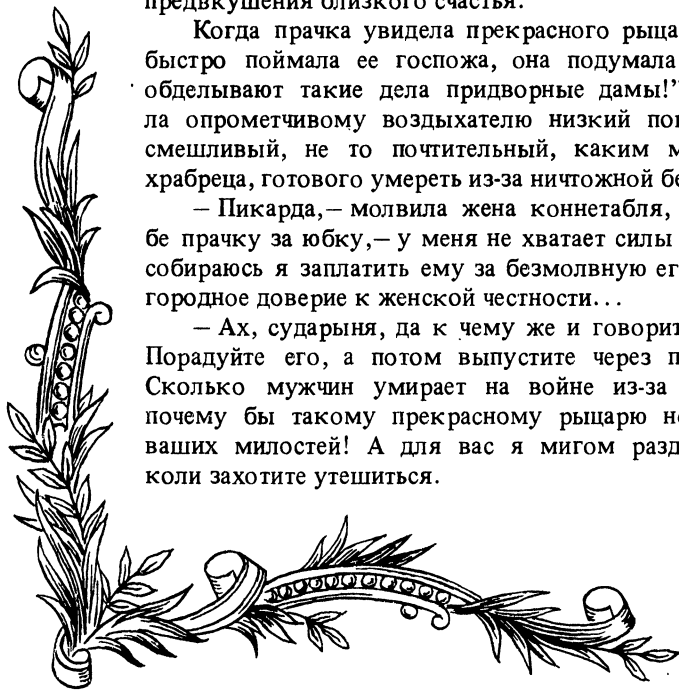
— Пойдемте скорей в мою опочивальню, нам надо поговорить...

Он же, не ведая, что вскоре ему предстоит расстаться с жизнью, онемел и не мог ответить ни слова, задыхаясь от предвкушения близкого счастья.

Когда прачка увидела прекрасного рыцаря, коего столь быстро поймала ее госпожа, она подумала: „Ну и ловко обдeldывают такие дела придворные дамы!” И она отвесила опрометчивому воздыхателю низкий поклон, не то насмешливый, не то почтительный, каким мы устаиваем храбреца, готового умереть из-за ничтожной безделицы.

— Пикарда,— молвила жена коннетабля, притянув к себе прачку за юбку,— у меня не хватает силы признаться, чем собираюсь я заплатить ему за безмолвную его любовь и благородное доверие к женской честности...

— Ах, сударыня, да к чему же и говорить ему об этом? Порадуйте его, а потом выпустите через потайную дверь. Сколько мужчин умирает на войне из-за пустяков! Так почему бы такому прекрасному рыцарю не умереть ради ваших милостей! А для вас я мигом раздобуду другого, коли захотите утешиться.



— Подожди! Я ему все расскажу,— воскликнула графиня,— пусть это будет мне наказанием за мой грех...

Полагая, что дама его сердца потихоньку отдает своей служанке какие-нибудь тайные распоряжения, дабы ничто не могло помешать обещанной ему беседе, влюбленный рыцарь скромно держался в отдалении и, взирая на потолок, считал мух. Про себя он все же дивился смелости графини, но, как сделал бы даже горбун на его месте, находил сотни разных причин для ее оправдания и, разумеется, почитал себя вполне достойным страсти, толкнувшей красавицу на столь безумный поступок. От сих приятных размышлений его оторвала жена коннетабля, отворив дверь в свою спальню и пригласив рыцаря войти. Здесь эта властная особа вдруг сбросила с себя все величие и, превратясь в простую женщину, упала к ногам юноши.

— Увы, дорогой рыцарь,— сказала она,— велика вина моя перед вами! Знайте, что при выходе из этого дома вас ожидает смерть... Безумная любовь, которую я питаю к другому, ослепила меня, вы не можете заменить его в моем сердце, но вы должны встать на его место перед лицом его убийц. Спасите мое счастье, умоляю вас!

— О! — отвечал Буа-Буредон, затаив в глубине души мрачное отчаяние.— Я полон признательности к вам за то, что вы располагаете мною, как своей собственностью. Я люблю вас, так люблю, что был бы готов, подобно женщине, дарить вам ежедневно то, что можно отдать лишь раз... Возьмите же мою жизнь!

И, говоря это, несчастный рыцарь, не отрываясь, смотрел на графиню, словно хотел на нее наглядеться за все долгие дни, которые он мог бы ее созерцать, ежели бы остался жив. Услыхав его смелую, пылкую речь, графиня вскочила:

— Ах, если бы не было Савуази, как я любила бы тебя!

— Увы, судьба моя свершилась,— ответил Буа-Буредон.— Мой гороскоп предсказал мне, что я умру из-за любви к знатной даме. О боже! — воскликнул он, сжимая рукоять шпаги.— Я дорого продам свою жизнь, но рад буду умереть с мыслью, что кончина моя оградит счастье той, которую я люблю. Я умру, но что из этого! Я останусь жить в вашей памяти...



Жену коннетабля восхитил решительный жест и дышавший отвагою облик юноши, и сердце ее воспылало любовью. Вскоре, однако, она почувствовала себя задетой за живое тем, что он, видимо, думал расстаться с ней, не потребовав от нее даже самого скромного знака благосклонности.

— Подойдите, дайте мне вооружить вас! — молвила она, открывая ему объятия.

— О повелительница моя! — промолвил юноша, и слезы увлажнили его пламенный взор. — Или вы желаете сделать для меня невозможной смерть, подарив мне бесценное сокровище жизни?

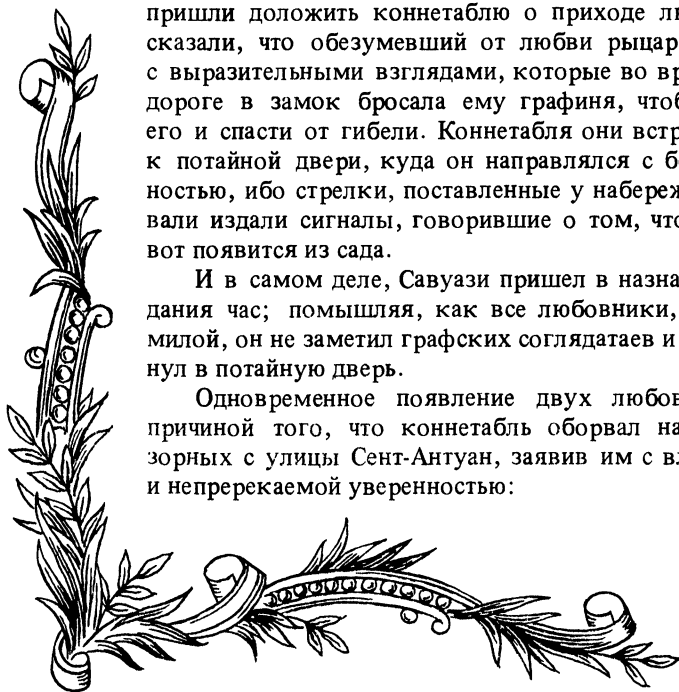
— Подожди! — воскликнула она, покоренная его жаркой любовью. — Не знаю, что нас ждет, но сейчас приди ко мне! А там, — пусть мы все погибнем у потайного хода!

Единым пламенем зажглись их сердца, единые волшебные созвучья наполнили слух, и, сжимая друг друга в объятиях, в бреду той сладостной лихорадки, которая, надеюсь, вам известна, они забыли обо всех опасностях, подстерегавших Савуази и их самих, забыли о коннетабле, о смерти, о жизни, обо всем на свете.

Тем временем люди, стоявшие в дозоре у ворот замка, пришли доложить коннетаблю о приходе любовника и рассказали, что обезумевший от любви рыцарь не посчитался с выразительными взглядами, которые во время мессы и по дороге в замок бросала ему графиня, чтобы предостеречь его и спасти от гибели. Коннетабль они встретили на дороге к потайной двери, куда он направлялся с большой поспешностью, ибо стрелки, поставленные у набережной, тоже подавали издали сигналы, говорившие о том, что любовник вот-вот появится из сада.

И в самом деле, Савуази пришел в назначенный для свидания час; помышляя, как все любовники, только о своей милой, он не заметил графских соглядатаев и тихо проскользнул в потайную дверь.

Одновременное появление двух любовников и было причиной того, что коннетабль оборвал на полуслове дозорных с улицы Сент-Антуан, заявив им с властным жестом и непрекаемой уверенностью:



— Я знаю, зверь уже попался в западню.

И, подымая страшный шум, все ринулись к потайной двери с криками:

— Смерть ему!.. Смерть!..

Солдаты, стрелки, офицеры, сам коннетабль — все побежали за Савуази, внуком короля, и преследовали его по пятам вплоть до окон графини, и вопли несчастного молодого человека, выделявшиеся среди рева солдат, смешивались со вздохами и стонами страсти влюбленных, спешивших насладиться и объятых превеликим страхом.

— О боже,— прошептала графиня, бледнея от ужаса,— Савуази умирает сейчас из-за меня.

— Но зато я буду жить для вас,— отвечал Буа-Буредон,— и буду почитать себя счастливым, если мне придется заплатить за восторги любви той же ценой, какую он расплачивается сейчас за свое блаженство.

— Спрячьтесь скорее сюда, в шкаф! — вскричала графиня.— Я слышу шаги коннетабля!

И в самом деле, вскоре в покои графини явился сеньор д'Арминьяк, держа в руке голову Савуази; положив эту окровавленную голову на камин, он обратился к жене:

— Вот полезное зрелище, сударыня, оно научит вас соблюдать свой супружеский долг.

— Вы убили невинного,— отвечала, нимало не смутясь, графиня,— Савуази вовсе не был моим любовником.

И, произнося эти лживые слова, она гордо глядела на коннетабля, женским притворством и дерзостью так ловко скрыв на лице свои чувства, что супруг ее смутился, словно девица, испустившая неподобающий звук в многолюдном обществе; и тут ему вдруг явилась мысль, что он совершил непоправимое несчастье.

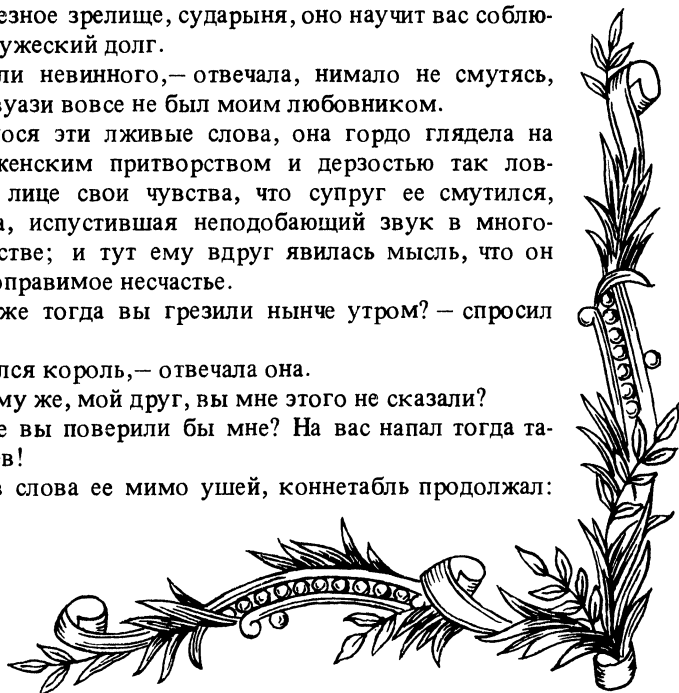
— О ком же тогда вы грезили нынче утром? — спросил он жену.

— Мне снился король,— отвечала она.

— Но почему же, мой друг, вы мне этого не сказали?

— Да разве вы поверили бы мне? На вас напал тогда такой лютый гнев!

Пропустив слова ее мимо ушей, коннетабль продолжал:



— А как же очутился у Савуази ключ от нашей потайной двери?

— Ах, откуда мне это знать! — отрезала она. — Да и хватит ли у вас уважения ко мне, чтобы верить моим словам?

И, делая вид, что идет распорядиться по хозяйству, жена коннетабля повернулась на каблучках с такой легкостью, как поворачивается на ветру флюгер.

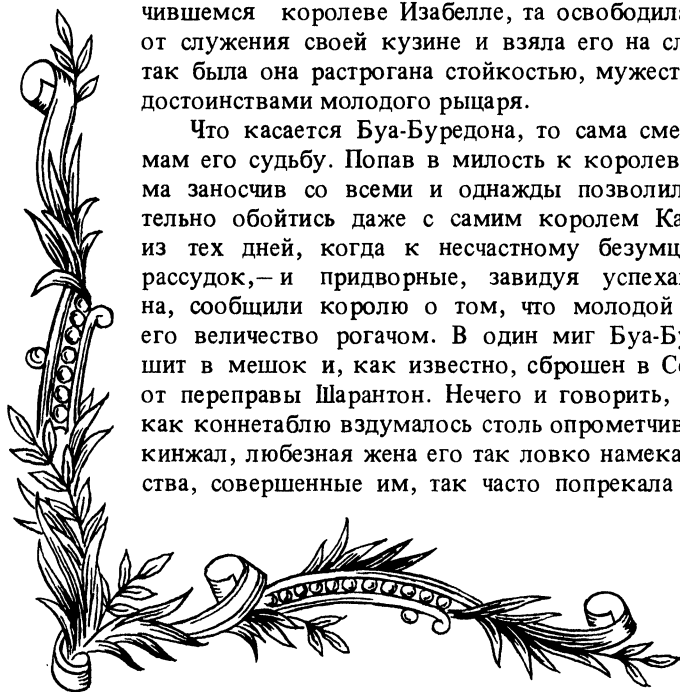
Можно представить себе, в сколь затруднительном положении оказались граф д'Арминьяк, не знавший, что делать ему с головой несчастного Савуази, и Буа-Буредон, который, боясь выдать себя неожиданным кашлем, слушал, как граф, оставшись один, бормочет какие-то несвязные слова. Наконец, граф дважды стукнул изо всей силы кулаком по столу и громко сказал:

— Ну, теперь, Пуасси, держись!

И он ускакал, а Буа-Буредон, переодетый в чужую одежду, с наступлением ночи исчез из замка.

О несчастном Савуази было пролито немало слез его дамой, сделавшей решительно все, что может сделать женщина ради спасения своего друга, а немного позднее пришлось ей не только его оплакивать, но и сильно пожалеть о своей потере, ибо когда жена коннетабля рассказала обо всем случившемся королеве Изабелле, та освободила Буа-Буредона от служения своей кухне и взяла его на службу к себе, — так была она растрогана стойкостью, мужеством и прочими достоинствами молодого рыцаря.

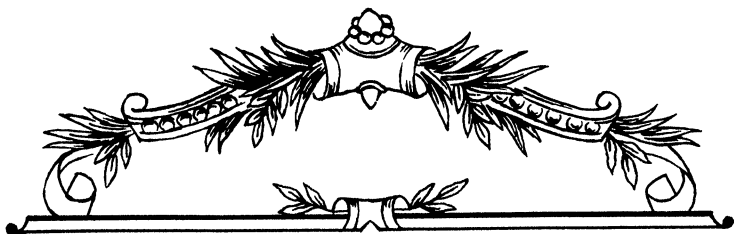
Что касается Буа-Буредона, то сама смерть вручала дамам его судьбу. Попав в милость к королеве, он стал весьма заносчив со всеми и однажды позволил себе непочтительно обойтись даже с самим королем Карлом — в один из тех дней, когда к несчастному безумцу возвращался рассудок, — и придворные, завидуя успехам Буа-Буредона, сообщили королю о том, что молодой рыцарь сделал его величество рогачом. В один миг Буа-Буредон был зашит в мешок и, как известно, сброшен в Сену неподалеку от переправы Шарантон. Нечего и говорить, что с того дня, как коннетаблю вздумалось столь опрометчиво пустить в ход кинжал, любезная жена его так ловко намекала на два убийства, совершенные им, так часто попрекала ими мужа, что



сделала его мягким, как кошачья шерстка, и вертела им, как хотела, направляя свою супружескую жизнь в желанное ей русло. Граф же неустанно превозносил свою супругу, называя ее женщиной честной и благонравной, каковой она и была в действительности.

Поскольку в книге сей мы должны, следуя правилам великих писателей древности, не только позабавить людей, но и дать им нечто полезное, преподать им поучение тонкого вкуса, я скажу вам, что главная суть настоящего повествования заключается в следующем: ни при каких самых трудных обстоятельствах женщинам не следует терять голову, помня, что бог любви никогда не оставит их, особенно коли они молоды, хороши собой и благородного происхождения; засим повесть наша учит, что, отправляясь в назначенный час на свидание, любовникам не годится быть бесшабашными ветрениками, что им надобно вести себя осторожно и осмотрительно, дабы не угодить в какую-нибудь ловушку и уберечь себя от гибели, ибо после прелестной женщины самое драгоценное сокровище на свете — красивый молодой человек.





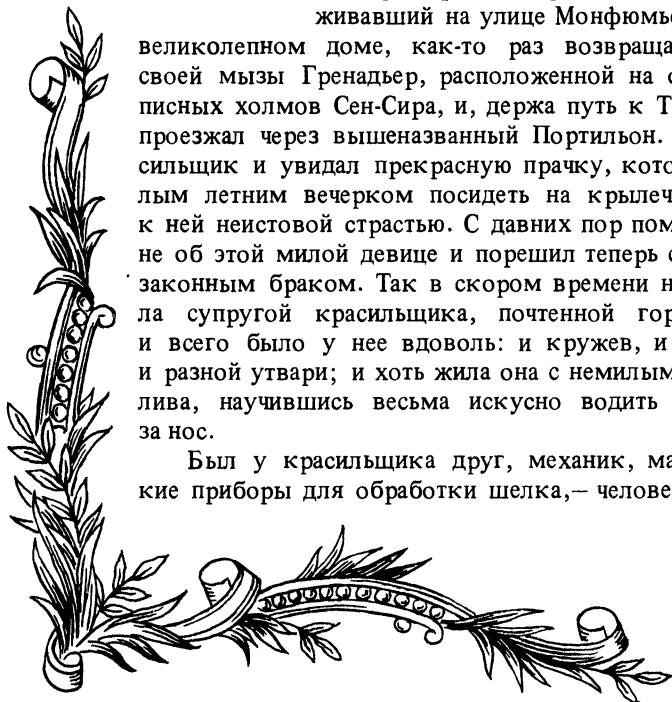
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВОЗГЛАС



Красавица прачка из Портильона, что близ города Тура, острословие коей поминалось уже в сей книге, была одарена такой хитростью, что при случае могла бы заткнуть за пояс полдюжину попов и трех кумушек, а то и более. Зато и воздыхателей у нее было превеликое множество, и вились они вокруг нее густым роем, как пчелы, летящие ввечеру в свой улей.

Престарелый красильщик шелков, проживавший на улице Монфюмье в собственном великолепном доме, как-то раз возвращался верхом со своей мызы Гренадьер, расположенной на одном из живописных холмов Сен-Сира, и, держа путь к Турскому мосту, проезжал через вышеназванный Портильон. Вот тут-то красильщик и увидел прекрасную прачку, которая вышла теплым летним вечерком посидеть на крыльчке, и вспылал к ней неистовой страстью. С давних пор помышлял он втайне об этой милой девице и порешил теперь сочетаться с нею законным браком. Так в скором времени наша прачка стала супругой красильщика, почтенной горожанкой Тура, и всего было у нее вдоволь: и кружев, и тонкого белья, и разной утвари; и хоть жила она с немилым, но была счастлива, научившись весьма искусно водить своего супруга за нос.

Был у красильщика друг, механик, мастеривший всякие приборы для обработки шелка,— человек низкорослый,



горбатый и весьма коварный. Так в самый день свадьбы сказал он красильщику:

— Ты, кум, отлично сделал, что женился: теперь у нас с тобой будет славная женка!..

За сим последовали и прочие весьма вольные шуточки, какими водится у нас угощать новобрачных.

Горбун и впрямь принялся волочиться за красильщицей; а та, питая по натуре своей неприязнь к нескладно скроеным мужчинам, начала высмеивать домогательства механика, едко подтрунивая над всякими пружинами, станками и шпульками, от которых негде было повернуться в его мастерской. Ничто, однако, не могло остудить любовный пыл горбуна, и в конце концов до того он надоел красильщице, что она замыслила исцелить его какой-либо хитрой проделкой.

И вот однажды вечером, наскучив назойливыми приставаниями влюбленного мастера, велела она ему подойти около полуночи к боковой двери их дома, пообещав открыть пред ним все входы и щели... А надо заметить, что дело происходило студеною зимней ночью; улица Монфюмье ведет к Луаре, и здесь, словно в горном ущелье, даже летней порою бушуют ветры, сотнями колких игл вонзающиеся в прохожего. Наш горбун, закутавшись хорошенько в плащ, не преминул явиться до срока и в ожидании любовной встречи, чтобы не заоченеть, стал прогуливаться возле дома. Около полуночи он совсем продрог, разъярился, как три дюжины чертей, угодивших ненароком под поповскую епитрахиль, и уже готов был отступить от своего счастья, как вдруг сквозь щели ставен пробежал слабый свет и скользнул вниз, к двери.

— О, это она!.. — сказал себе горбун.

И надежда тотчас согрела его. Он прильнул к двери и услышал знакомый голосок.

— Вы здесь? — спросила красильщица.

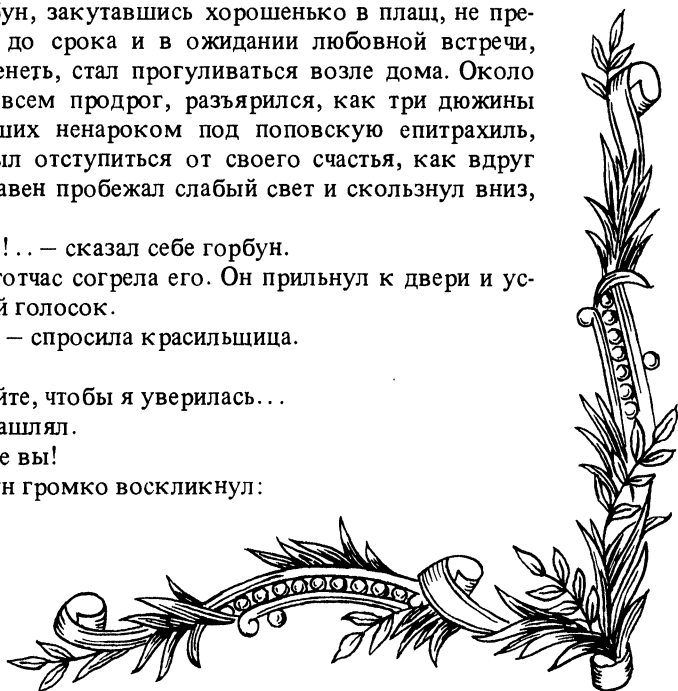
— Да!

— Покашляйте, чтобы я уверилась...

Горбун покашлял.

— Нет, это не вы!

Тогда горбун громко воскликнул:



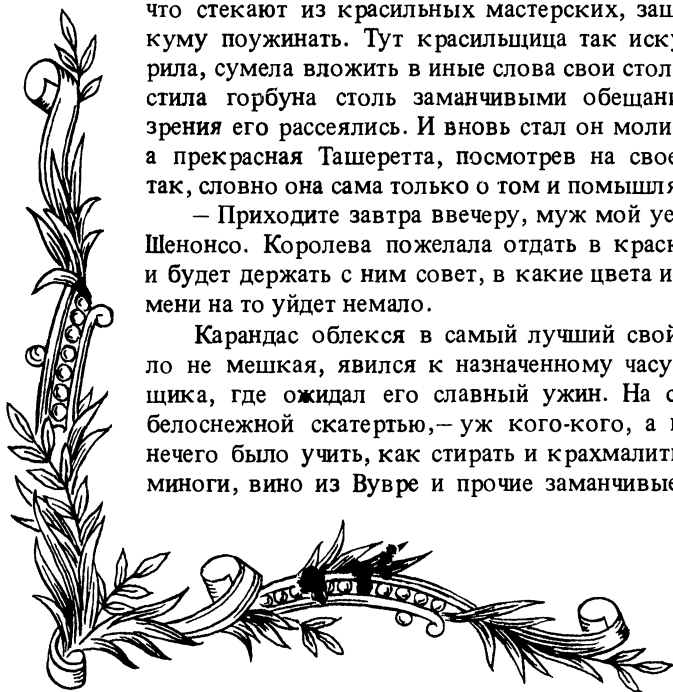
- Как не я?! Разве не узнаете вы моего голоса? Откройте!
- Кто там? — спросил красильщик, отворяя окно.
- Увы! Вы разбудили моего супруга, он неожиданно-негданно возвратился нынче вечером из Амбуаза...

Красильщик же, заметив при свете луны какого-то человека возле двери своего дома, выплеснул на него из окна ведро холодной воды и закричал: „Держи вора!“, — так что горбуну не оставалось ничего иного, как пуститься в бегство. Но с перепугу он весьма неловко перепрыгнул через цепь, протянутую в конце улицы, и свалился в смрадную канаву, каковую градоправители наши не удосужились еще в ту пору заменить желобом для стока нечистот в Луару. От нечаянного купания механик наш чуть было тут же не испустил дух и проклинал в душе своей Ташеретту, как обитатели Тура любезно называли прелестную жену красильщика, имя которой было Ташеро.

Карндас, механик, изготовлявший разные приспособления, годные для того, чтобы прясть, ткать, наматывать и свертывать шелка, далеко не был простаком: он не поверил в невиновность красильщицы и поклялся прежде всего ей отомстить. Однако ж несколько дней спустя, оправившись от своего купания в грязных, многоцветных водах, что стекают из красильных мастерских, зашел он к своему куму поужинать. Тут красильщица так искусно его заговорила, сумела вложить в иные слова свои столько меду, обольстила горбуна столь заманчивыми обещаниями, что подозрения его рассеялись. И вновь стал он молить ее о свидании, а прекрасная Ташеретта, посмотрев на своего воздыхателя так, словно она сама только о том и помышляет, сказала:

— Приходите завтра ввечеру, муж мой уедет на три дня в Шенонсо. Королева пожелала отдать в краску старые ткани и будет держать с ним совет, в какие цвета их окрасить; времени на то уйдет немало.

Карндас облекся в самый лучший свой наряд и, нисколько не мешкая, явился к назначенному часу в дом красильщика, где ожидал его славный ужин. На столе, накрытом белоснежной скатертью, — уж кого-кого, а нашу Ташеретту нечего было учить, как стирать и крахмалить! — красовались миноги, вино из Вувре и прочие заманчивые яства; словом,



все было так заботливо подготовлено, что горбун с умилением взирал на блестящие оловянные тарелки, вдыхал запахи вкусных кушаний, а пуще всего любовался, как по комнате бегают и хлопочет милая Ташеретта — ловкая, нарядная, аппетитная, словно наливное яблочко в жаркий день! И вот, распалясь в предвкушении близких утех, горбун уже вознамерился было приступом завладеть красильщицей, как вдруг в дверь с улицы послышался громкий, хозяйский стук.

— Ах,— воскликнула Ташеретта,— что бы это могло приключиться? Спрячьтесь скорее в шкаф! Ведь однажды мне уже из-за вас досталось, и если мой муж застанет вас здесь, он может так разъяриться, что, чего доброго, тут же прикончит вас!

И она поспешно вталкивает горбуна в шкаф, запирает его там, прячет ключ и идет встречать своего муженька, который, как ей ведомо было заранее, намеревался к ужину воротиться из Шенонсо. Едва красильщик вошел в дом, Ташеретта жарко расцеловала его в оба глаза и в обе щеки, а он, заключив свою милую женушку в объятия, принялся осыпать ее звонкими, смачными поцелуями.

Затем супруги сели ужинать; они болтали, весело смеялись и наконец улеглись в постель; механик наш все это слышал, а сам всю ночь должен был простоять на ногах, не смея ни кашлянуть, ни пошевелиться. Был он стиснут в грудах одежды, словно сардинка в бочке, а воздуху доходило до него не более, чем доходит солнечного света до рыб в пучине морской. Но зато он мог на славу потешить себя, внимая всей музыке страсти, томным вздохам красильщика и сладкому лепету Ташеретты. Наконец, когда горбун порешил, что кум его забылся сном, он начал потихоньку приналегать изнутри на дверцу шкафа.

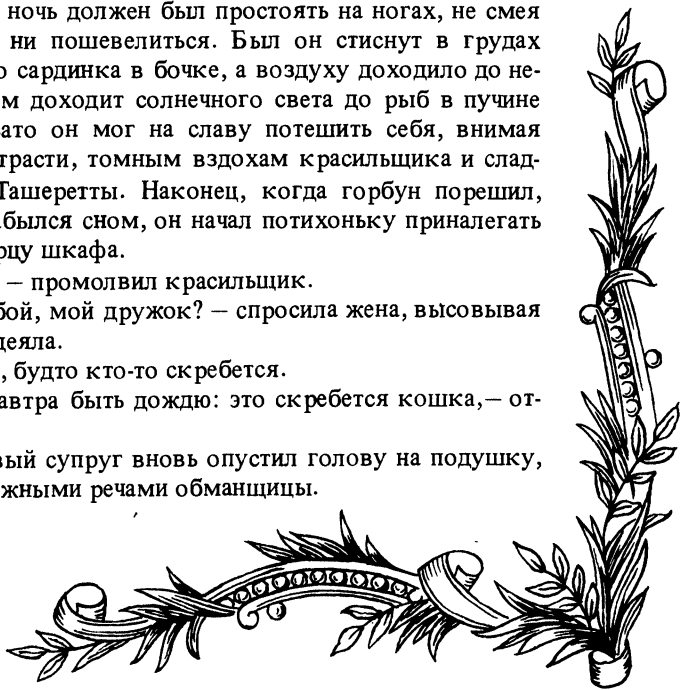
— Кто там? — промолвил красильщик.

— Что с тобой, мой дружок? — спросила жена, высовывая носик из-под одеяла.

— Слышу я, будто кто-то скребется.

— Видно, завтра быть дождю: это скребется кошка,— отвечала жена.

И доверчивый супруг вновь опустил голову на подушку, убаюканный нежными речами обманщицы.



— Ну и чуткий же у вас сон, мой друг! Попробуй проводи такого муженька! . . Спи же, будь пайнкой! Ой-ой-ой, папаша, да ведь у тебя совсем съехал на сторону колпак! Давай-ка оденем его как следует, мой дружок, ведь и спящему надо быть красивым. Ну что, теперь хорошо тебе?

— Да.

— Ты спишь? — спросила она, целуя мужа.

— Да.

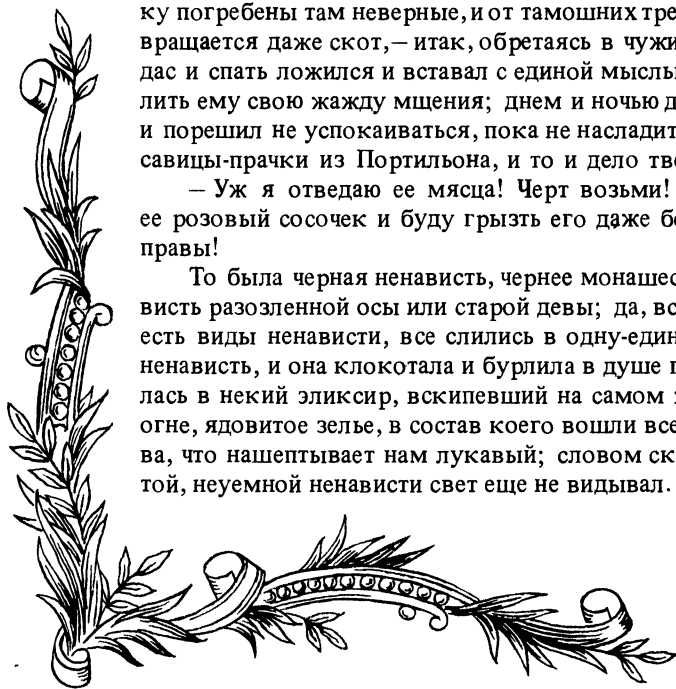
Утром красильщица отперла потихоньку шкаф и выпустила оттуда механика, который был бледнее мертвеца.

— Ох! Воздуху, воздуху! — только и мог пробормотать он. И убежал, исцеленный от жгучей страсти, унося в сердце своем столько злобы, сколько можно унести зерна в мешке.

Вскоре после того наш горбун покинул Тур и отправился в город Брюгге, куда пригласили его местные купцы, задумав оснастить в вышеназванном городе мастерскую для изготовления кольчуг. Во время долгой своей отлучки Карандас, в жилах коего текла мавританская кровь, ибо род свой он вел от некоего древнего сарацина, тяжело раненного в битве меж маврами и французами, разыгравшейся в общине Баллан, на том самом месте, где лежит ныне огромная пустошь, именуемая ландами Карла Великого, и где ничто не произрастает, поскольку погребены там неверные, и от тамошних треклятых трав отворачивается даже скот, — итак, обретаясь в чужих краях, Карандас и спать ложился и вставал с единой мыслью — как бы утолить ему свою жажду мщения; днем и ночью думал он об этом и порешил не успокаиваться, пока не насладится гибелью красавицы-прачки из Портильона, и то и дело твердил про себя:

— Уж я отведаю ее мяса! Черт возьми! Велю изжарить ее розовый сосочек и буду грызть его даже безо всякой приправы!

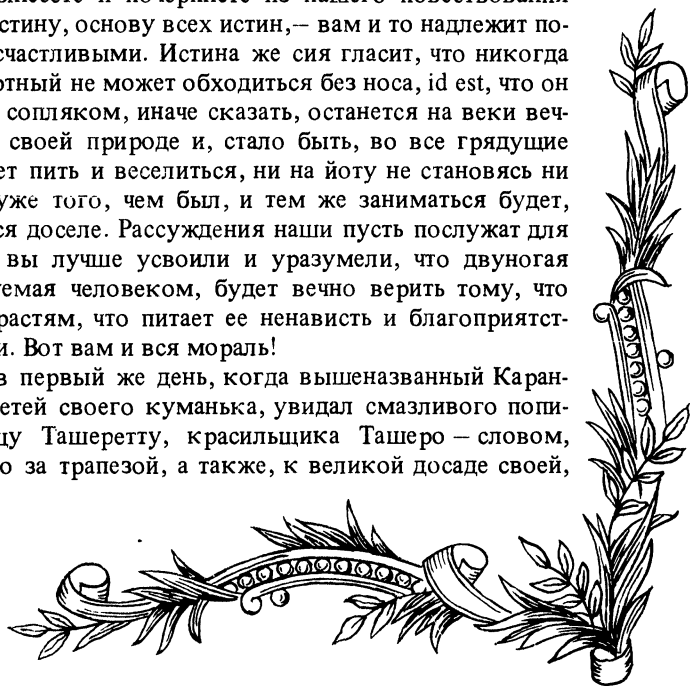
То была черная ненависть, чернее монашеской рясы, ненависть разозленной осы или старой девы; да, все, какие только есть виды ненависти, все слились в одну-единую ненасытную ненависть, и она клокотала и бурлила в душе горбуна, обратилась в некий эликсир, вскипевший на самом жарком адском огне, ядовитое зелье, в состав коего вошли все злобные чувства, что нашептывает нам лукавый; словом сказать, такой лютой, неумной ненависти свет еще не видывал.



И вот в один прекрасный день наш Карндас возвратился в Турень с полной мошной денег, нажитых во фландрских краях, где промышлял он тайнами своей механики. Он приобрел себе превосходный дом на улице Монфюмье, каковой и поныне стоит там, возбуждая удивление прохожих весьма занятными изображениями, высеченными на каменных его стенах. Злобствующий Карндас нашел изрядные перемены в доме своего кума-красильщика... Старина уже обзавелся двумя славными ребятишками, у коих, по странной случайности, нельзя было приметить никакого сходства ни с отцом, ни с матерью; но коль скоро надобно, чтобы дети на кого-нибудь да походили, то всегда найдутся умники, которые приметят у ребят — о льстецы! — сходные черты хотя бы с прадедами, разумеется, ежели те были красивы... Что до нашего красильщика, то, в простоте душевной, он полагал, что оба сынка имеют превеликое сходство с его дядей, служившим во время о́но священником в церкви Эгриньольской богоматери; по словам же иных зубоскалов, малютки были живым подобием некоего красавчика попики из церкви Ларишской богоматери, что находится в прославленном приходе меж Туром и Плесси.

Одно мне хочется запечатлеть в мозгу вашем, и если вы извлечете, вынесете и почерпнете из нашего повествования только эту истину, основу всех истин, — вам и то надлежит почитать себя счастливыми. Истина же сия гласит, что никогда ни один смертный не может обходиться без носа, *id est*, что он будет всегда сопляком, иначе сказать, останется на веки вечные верным своей природе и, стало быть, во все грядущие времена будет пить и веселиться, ни на йоту не становясь ни лучше, ни хуже того, чем был, и тем же заниматься будет, чем занимался доселе. Рассуждения наши пусть послужат для того, чтобы вы лучше усвоили и уразумели, что двуногая тварь, именуемая человеком, будет вечно верить тому, что льстит ее страстям, что питает ее ненависть и благоприятствует ее любви. Вот вам и вся мораль!

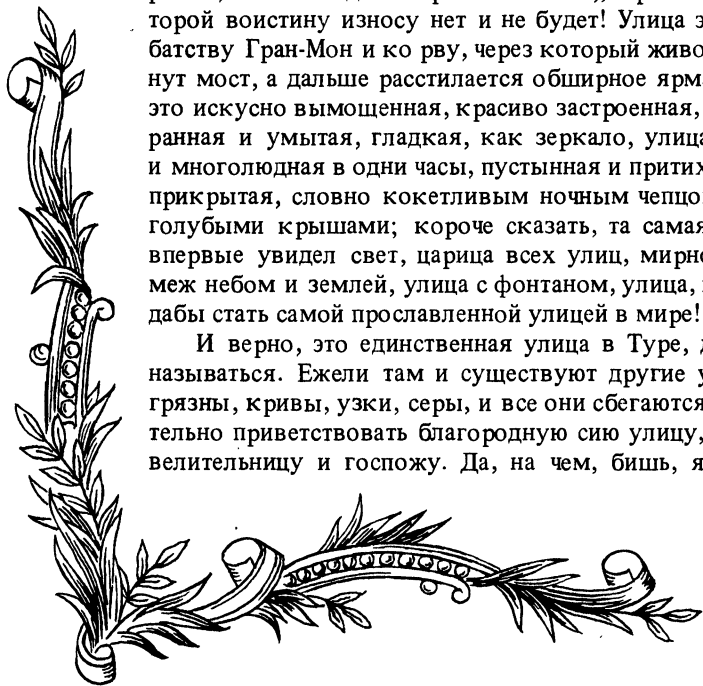
Посему в первый же день, когда вышеназванный Карндас увидел детей своего куманька, увидел смазливую попику, красавицу Ташеретту, красильщика Ташеро — словом, все семейство за трапезой, а также, к великой досаде своей,



заприметил, что Ташеретта лучшие куски рыбы подкладывает своему дружку, с лукавством притом на него поглядывая, наш механик сказал себе: „Моему куманьку наставили рога, его жена сплубилась со своим красавчиком духовником, детки были сотворены при помощи его святой водицы. Ну, а я докажу им, что у горбунов имеется кое-чего побольше, чем у прочих людей!”

И было то сущей правдой, как правда то, что Тур стоит и всегда будет стоять, погрузив стопы свои в Луару, словно купающаяся красotka, которая играет с волнами и плещется, звонко похлопывая во воде белоснежными своими ручками; ибо Тур есть город веселья и смеха, город цветущий, влюбчивый, веющий свежестью, благоуханный более, нежели все иные города на белом свете, недостойные даже умастить власы ему или омыть ноги! Знайте, коли вы туда поедете, что как раз посреди города вы увидите прямую, как стрела, улицу, где прогуливаются все горожане, где для каждого есть и ветер, и солнце, и тень, и дождь, и любовь. Да, да, не смейтесь, а побывайте-ка лучше там! Улица эта вовек не надоеет, она королей достойна, императоров достойна, она поистине гордость нашей Турени, эта улица о двух тротуарах, открытая с обоих концов, ровная от самого начала до конца и столь широкая, что никогда не кричат на ней: „Берегись!”, улица, которой воистину износу нет и не будет! Улица эта ведет к аббатству Гран-Мон и ко рву, через который живописно перекинут мост, а дальше расстилается обширное ярмарочное поле; это искусно вымощенная, красиво застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как зеркало, улица, оживленная и многолюдная в одни часы, пустынная и притихшая в другие, прикрытая, словно кокетливым ночным чепцом, нарядными голубыми крышами; короче сказать, та самая улица, где я впервые увидел свет, царица всех улиц, мирно покоящаяся меж небом и землей, улица с фонтаном, улица, коей дано все, дабы стать самой прославленной улицей в мире!

И верно, это единственная улица в Туре, достойная так называться. Ежели там и существуют другие улицы, то они грязны, кривы, узки, серы, и все они сбегаются, чтобы почтительно приветствовать благородную сию улицу, как свою повелительницу и госпожу. Да, на чем, бишь, я остановился,



куда забрел?.. Такова уж наша улица: как попал на нее, так и не захочешь уйти, до того она хороша! По-сыновнему чтя ее, я хотел воздать этим, прямо из сердца вылившимся, описанием восторженную хвалу моей родимой улице, на углах коей не хватает лишь изображений достославного моего учителя Рабле и господина Декарта, как видно, неизвестных уроженцам наших мест.

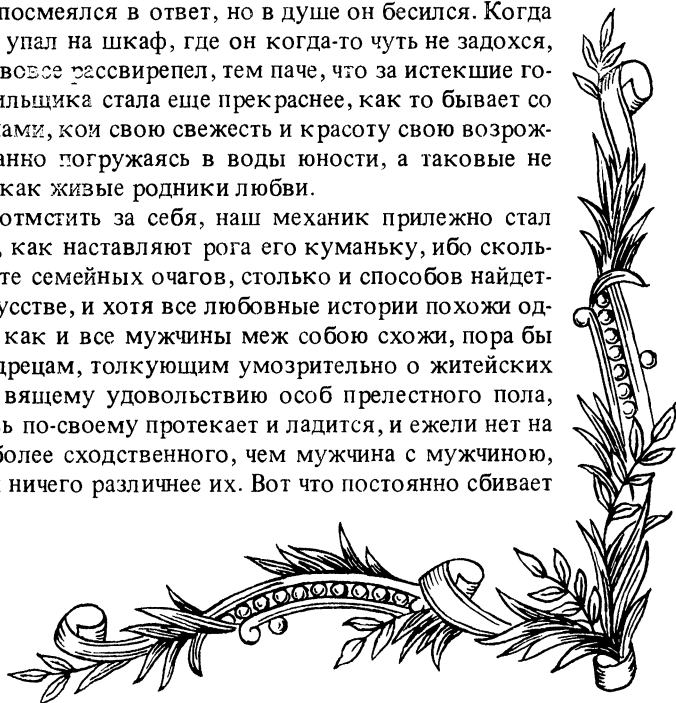
Итак, когда вышеназванный Карндас воротился из Фландрии, его с радостью встретили и приятель его красильщик и все прочие, кому по сердцу приходились язвительные насмешки, бойкие шуточки и словечки горбуна. По видимости, наш механик исцелился от прежней страсти; как истинный друг, толковал он о том, о сем с Ташереттой и с попиком, ласкал малюток; но, оставшись однажды с глазу на глаз с красильщицей, он привел ей на память ночь, которую пришлось ему провести в шкафу, и другую, с купанием в зловонной яме, и воскликнул:

— Ох, сколь жестокие шутки вы надо мной шутили!

— И поделом было вам! — отвечала Ташеретта, смеясь. — Ведь ежели бы из великой любви ко мне вы дали бы тогда еще денек-другой поморочить вас, подразнить и помучить, то и вы, может статься, потешили бы себя не хуже, чем иные прочие.

Карндас посмеялся в ответ, но в душе он бесился. Когда же взгляд его упал на шкаф, где он когда-то чуть не задохся, наш горбун и вовсе рассвирепел, тем паче, что за истекшие годы жена красильщика стала еще прекраснее, как то бывает со всеми женщинами, кои свою свежесть и красоту свою возрождают, непрестанно погружаясь в воды юности, а таковые не что иное суть, как живые родники любви.

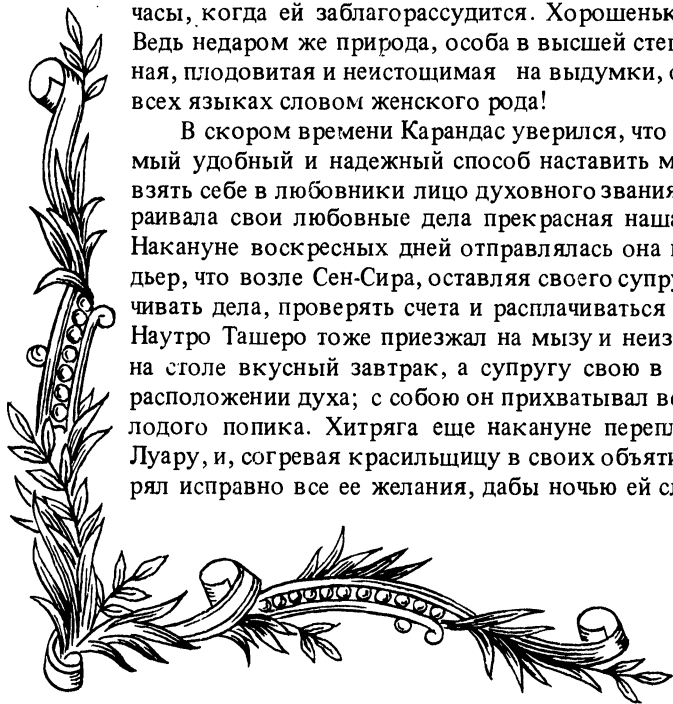
Готовясь отомстить за себя, наш механик прилежно стал высматривать, как наставляют рога его куманьку, ибо сколько есть на свете семейных очагов, столько и способов найдется в этом искусстве, и хотя все любовные истории похожи одна на другую, как и все мужчины меж собою схожи, пора бы уразуметь мудрецам, толкующим умозрительно о житейских делах, что, к вящему удовольствию особ прелестного пола, каждая любовь по-своему протекает и ладится, и ежели нет на свете ничего более сходственного, чем мужчина с мужчиною, то нет также и ничего различнее их. Вот что постоянно сбывает



нас с толку и вот чем объяснять должно всевозможные прихоти женщин, кои с превеликим упорством стараются сыскать для себя наилучшего из мужчин, познавая при том множество радостей и множество мук, и последних, увы, куда более опущено им судьбою.

Как же осуждать бедняжек за беспокойные их порывы, поиски, пробы и перемены? Ведь все в самой природе находится в вечном коловращении, все движется, все меняется, так неужто же потребуете вы, чтобы женщина, одна из всего сущего, пребывала в неподвижности?! Кто с достоверностью может сказать, что лед холоден и не обман ли это наших чувств? Никто. Тем более неведомо нам, не суть ли рога мужей просто дело счастливого случая, всегда благоприятствующего обладателям ума изощренного и изворотливого? Лишь глупец один не видит под небесами иных усад, кроме наслаждений чревоугодия! Я знаю, что могу нанести ущерб философической репутации сей глубокомысленной книги — пусть! — но я утверждаю и буду утверждать, что шарлатан, бродящий от дома к дому с криком: „А вот крыс морю“, — смыслит куда более, нежели те, кто предерзостно тщится подглядеть сокровенные тайны природы, ибо природа — гордячка и капризница, допускающая лицезреть себя лишь в той мере и лишь в те часы, когда ей заблагорассудится. Хорошенько усвойте это! Ведь недаром же природа, особа в высшей степени непостоянная, плодovitая и неистощимая на выдумки, обозначается на всех языках словом женского рода!

В скором времени Карандас уверился, что для женщин самый удобный и надежный способ наставить мужу рога — это взять себе в любовники лицо духовного звания. И вот как устраивала свои любовные дела прекрасная наша красильщица. Накануне воскресных дней отправлялась она на мызу Гренадьер, что возле Сен-Сира, оставляя своего супруга дома заканчивать дела, проверять счета и расплачиваться с работниками. Наутро Ташеро тоже приезжал на мызу и неизменно заставлял на столе вкусный завтрак, а супругу свою в самом веселом расположении духа; с собою он прихватывал всякий раз и молодого попика. Хитряга еще накануне переплывал на челне Луару, и, согреть красильщицу в своих объятиях, удовлетворял исправно все ее желания, дабы ночью ей слаще спалось, —



занятие, к которому молодые люди бывают весьма способны. А поутру сей укротитель страстей благополучно возвращался восвояси еще до того часа, как Ташеро, по своему обычаю, заходил за ним, чтобы вместе ехать для приятного отдыха на мызу Гренадьер, и посему наш рогоносец всегда заставлял попику в постели. Лодочник, щедро мзду получая, молчал, и о проделках тех не знала ни одна живая душа, ибо любовник переправлялся на другой берег, в Гренадьер, лишь ночной порой, а возвращался тем же путем в воскресенье, едва забрезжит свет.

Проведав, что эти любовные встречи совершаются в урочные часы и по взаимному сговору, Карандас стал выжидать того дня, когда любовники, после вынужденного перерыва, сойдутся, особенно сильно стосковавшись друг по другу. Случай не замедлил представиться, и, снедаемый любопытством, горбун заприметил однажды внизу у берега близ канала святой Анны челн, поджидавший вышеупомянутого попику, — а попик был юноша белокурый, стройный и на диво сложенный, напоминавший изящного и томного любовника, воспетого господином Ариосто*. Механик тотчас же поспешил к старому красильщику, который по-прежнему любил жену и полагал, что только он один опускает свой перст в бесценную чашу со святой водой.

— Добрый вечер, кум! — сказал Карандас.

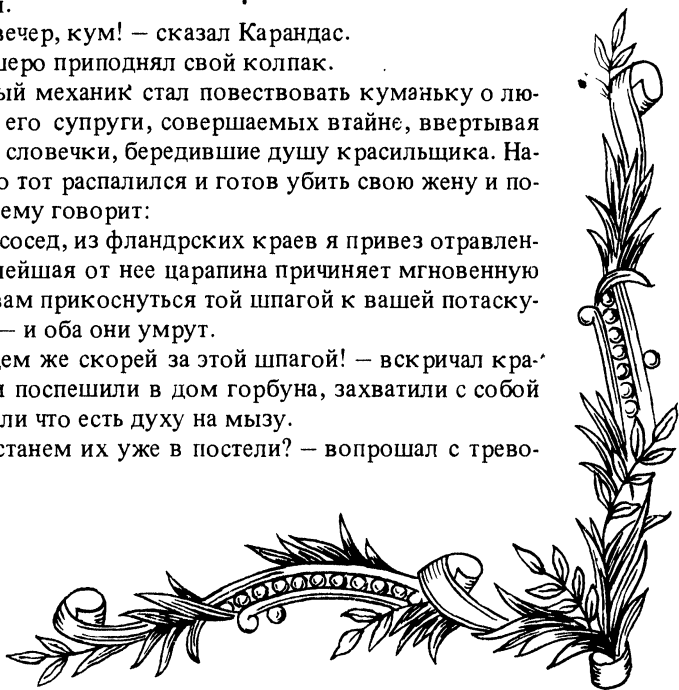
В ответ Ташеро приподнял свой колпак.

Тут горбатый механик стал повествовать куманьку о любовных утехах его супруги, совершаемых втайне, ввертывая при том разные словечки, бередившие душу красильщика. Наконец, видя, что тот распалился и готов убить свою жену и попику, Карандас ему говорит:

— Дорогой сосед, из фландрских краев я привез отравленную шпагу, малейшая от нее царапина причиняет мгновенную смерть; стоит вам прикоснуться той шпагой к вашей потаскухе и ее дружку — и оба они умрут.

— Так пойдем же скорей за этой шпагой! — вскричал красильщик. И они поспешили в дом горбуна, захватили с собой шпагу и побежали что есть духу на мызу.

— А мы застанем их уже в постели? — вопрошал с тревогою Ташеро.



— Коли нет, так подождем,— отвечал горбун, смеясь про себя над куманьком.

Однако ж рогоносец был избавлен от тяжких мук — ему не пришлось долго ожидать начала любовной игры. Прекрасная красильщица и ее возлюбленный, уже давно предаваясь приятному занятию, ловили в знакомом вам прелестном саду маленькую птичку, которая порхает то туда, то сюда. Они старались, как могли, поймать ее, громко смеялись и начинали сызнова.

— О миленький мой,— говорила Ташеретта, крепко сжимая в объятиях своего дружка, словно навсегда желала его к себе припечатать.— Столь велика моя любовь к тебе, что я хотела бы тебя съесть! А пуще того мне хотелось бы вобрать тебя во все поры тела моего, чтобы ты вовек не расставался со мною!

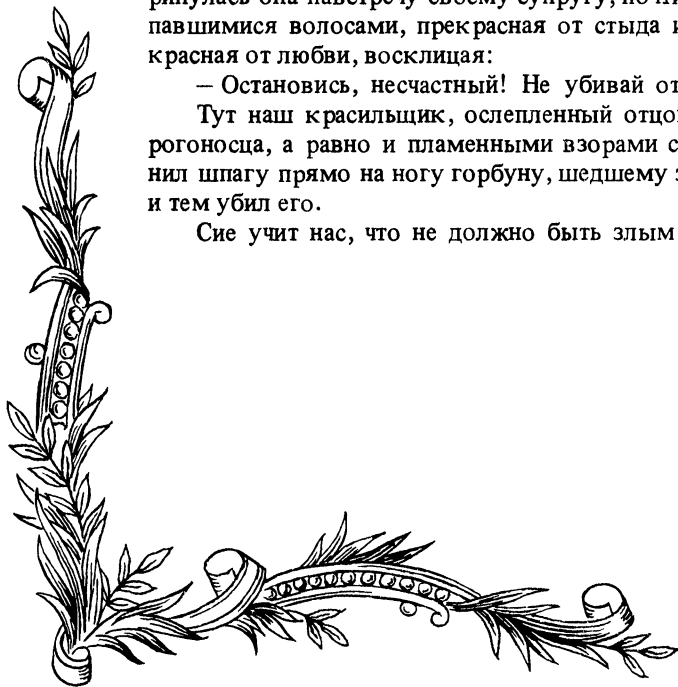
— Я и сам того желал бы,— отвечивал попик,— но, увы, сие для меня невозможно! Уж придется тебе довольствоваться лишь частицей естества моего...

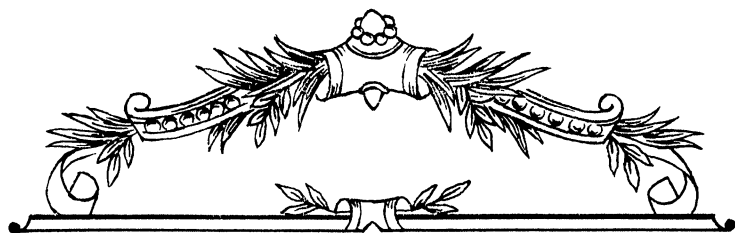
В этот сладчайший миг и вошел супруг, размахивая над головой обнаженною шпагой. Прелестная красильщица достаточно хорошо изучила лицо своего мужа и сразу поняла, что для возлюбленного ее настал последний час. Нимало не медля, ринулась она навстречу своему супругу, почти нагая, с растрепавшимися волосами, прекрасная от стыда и еще более прекрасная от любви, восклицая:

— Остановись, несчастный! Не убивай отца детей своих!

Тут наш красильщик, ослепленный отцовским величием рогоносца, а равно и пламенными взорами своей жены, уронил шпагу прямо на ногу горбуну, шедшему за ним по пятам, и тем убил его.

Сие учит нас, что не должно быть злым и мстительным.





ВЕДЬМА*

ПРОЛОГ



екие жители преславной Турени, прослышав о том, что автор сей книги с великим рвением изучает древности, а равно забавные случаи и любовные похождения, происшедшие в нашем благолюбивом краю, заключили, что все, касающееся Турени, должно быть автору известно, и однажды после обильных возлияний приступили к нему с вопросом, установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине одна из улиц города Тура прозывается „Горачей“, возбуждая тем немалое любопытство.

В ответ на это автор выразил удивление, что турецкие старожилы могли запоминать об изрядном числе монастырей, расположенных по вышеуказанной улице, стены коих так долго накалялись от строгого воздержания монахов и монахинь, что стоило иной порядочной женщине замедлить ненароком шаг, совершая вблизи тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени оказывалась в тягости. Один дворянин, желая блеснуть своими познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены были все городские притоны. Другой пустился в научные лабиринты, заговорил красно да непонятно, сопрягая старину с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как их следует употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как алхимик, разбирал древние языки со времен потопа: еврейский, халдейский, египетский, гре-



ческий и латинский, припел к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что ежели из слова chaud (горячий) выбросить две буквы h и i, — получится слово cauda, означающее „хвост“, из чего следует, что в этом деле замешан чей-то хвост; турецкие дамы из всей этой премудрости только о хвосте и поняли.

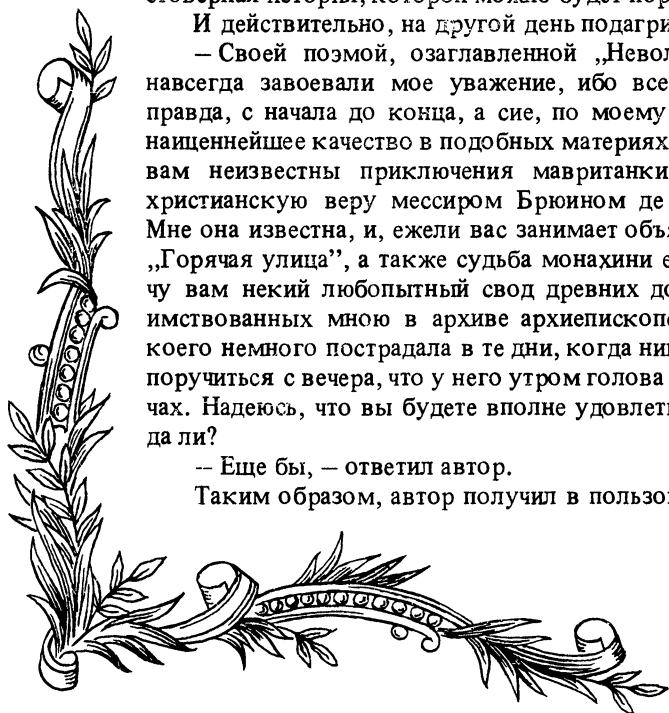
А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе старое время бил горячий источник, откуда пивал воду его прапрадед. Словом, в срок меньший, чем требуется, чтобы слюбиться мухе с мухой, нагромождали целую кучу этимологических объяснений, где истину было труднее обнаружить, нежели найти вошь во расклокоченной бороде капуцина. Но ученый муж, прославляемый своими скитаниями по монастырям, немало истребивший масла в лампе, светившей ему при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж документов, хартий, актов, протоколов и исследований по истории Турени собравший больше, чем собирает хлебопашец колосьев на ниве в августе месяце, — сидя безмолвно в углу, сей ученый муж, старый, хилый, согбенный подагрой, вдруг презрительно усмехнулся и вятно произнес: „Чепуха!“ Услышав это восклицание, автор понял, что старику ведома некая достоверная история, которой можно будет порадовать читателя.

И действительно, на другой день подагрик сказал автору:

— Своей поэмой, озаглавленной „Невольный грех“, вы навсегда завоевали мое уважение, ибо все в ней истинная правда, с начала до конца, а сие, по моему разумению, есть наичценнейшее качество в подобных материях. Но, как я вижу, вам неизвестны приключения мавританки, обращенной в христианскую веру мессиром Брюином де ла Рош-Корбон. Мне она известна, и, ежели вас занимает объяснение названия „Горячая улица“, а также судьба монахини египтянки, я вручу вам некий любопытный свод древних документов, позимствованных мною в архиве архиепископства, библиотека коего немного пострадала в те дни, когда никто из нас не мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены. Не правда ли?

— Еще бы, — ответил автор.

Таким образом, автор получил в пользование от прилеж-



ного собирателя древностей несколько прекрасных запыленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами церковного суда, и не без труда перевел их на французский язык, считая, что доподлинное восстановление этого средневекового судебного дела, которое раскрывает бесхитростное простодушие далекой старины, будет как нельзя более любопытным. Итак, внимайте! Вот в каком порядке были расположены документы, которые автор истолковал в меру своего разума, ибо всех дьявольских премудростей языка понять не мог.

ГЛАВА ПЕРВАЯ КТО БЫЛА ВЕДЬМА

*In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen*¹.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова нам, Жерому Корнилю, главному пенитенциарию и судье по делам духовным, к сему призванному членами капитула при соборе св. Маврикия в городе Туре, надлежало представить на рассмотрение нашего владыки архиепископа Жеана де Монсоро жалобы и пени горожан, прошения коих будут к сему приложены. Некоторые знатные особы, а также горожане и простолюдины со всей епархии явились с показаниями о бесчинствах дьявола, подозреваемого в принятии женского обличия, и о великом зле, им содеянном душам христианским. В настоящее время оный дьявол ввергнут в темницу при капитуле. Дабы убедиться в справедливости сих жалоб, мы приступили к настоящему опросу 11 декабря сего года, в понедельник после обедни, имея в виду показания каждого свидетеля оному дьяволу сообщить, и, допросив его о возводимых на него обвинениях, судить его по законам *contra daemones*².

Для ведения и составления протокола вызван нами из капитула рубрикатор Гильом Турнебуш, муж весьма ученый.

Первым явился к нам для показания некий Жеан, именуемый Тортебра, или Ловкач, турский горожанин, с разреше-

¹ Во имя отца и сына и святого духа. Аминь (лат.).

² Против дьяволов (лат.).



ния властей содержащий гостиницу под вывеской „Аист”, что на площади у моста; Тортебра поклялся спасением души своей, положи руку на святое евангелие, что не произнесет ничего, чего бы он сам не слышал и не видел, и он показал следующее:

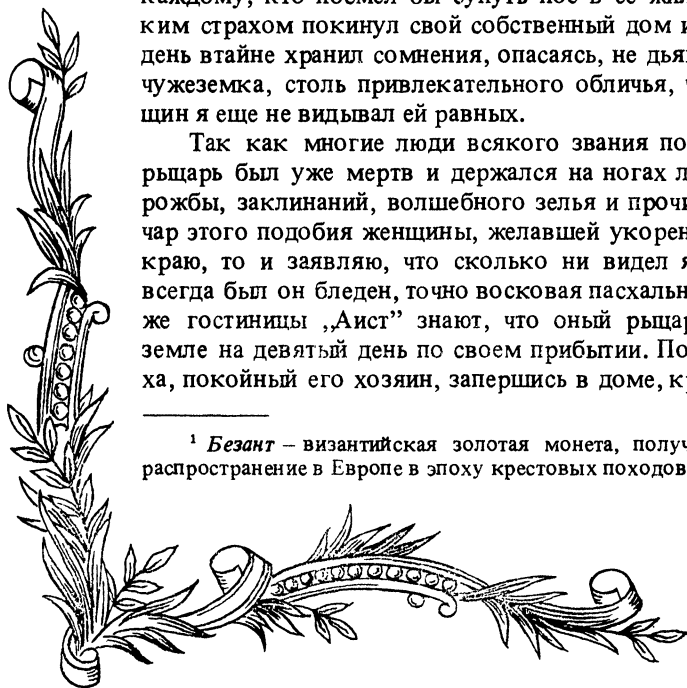
— Свидетельствую, что около двух лет тому назад под Иванов день, когда жгут праздничные костры, незнакомый мне дворянин, состоящий, по всей видимости, на королевской службе и находящийся у нас по пути следования из святой земли, выразил желание нанять у меня дом, выстроенный мною за городом, с разрешения капитула, возле места, именуемого полем Сент-Этьен. Этот дом я сдал ему на девять лет за три безанта¹ чистым золотом.

В упомянутом доме названный рыцарь поселил девуку, видом пригожую, одетую на иноземный лад — по-сарацински или по-мавритански. Он прятал ее ото всех и не допускал никого к дому на расстояние выстрела из лука. Все же я рассмотрел, что голова ее разубрана пестрыми перьями, цвет кожи сверхъестественной красоты, глаза же ее так пылали, что описать не берусь, и думаю, что бил из них адский пламень.

По той причине, что покойный рыцарь угрожал смертью каждому, кто посмел бы сунуть нос в ее жилище, я с великим страхом покинул свой собственный дом и по нынешний день втайне хранил сомнения, опасаясь, не дьяволица ли она, чужеземка, столь привлекательного обличья, что среди женщин я еще не видывал ей равных.

Так как многие люди всякого звания подозревали, что рыцарь был уже мертв и держался на ногах лишь силою ворожбы, заклинаний, волшебного зелья и прочих сатанинских чар этого подобию женщины, желавшей укорениться в нашем краю, то и заявляю, что сколько ни видел я того рыцаря, всегда был он бледен, точно восковая пасхальная свеча. Люди же гостиницы „Аист” знают, что оный рыцарь был предан земле на девятый день по своем прибытии. По словам конюха, покойный его хозяин, запершись в доме, крепко любился

¹ *Безант* — византийская золотая монета, получившая широкое распространение в Европе в эпоху крестовых походов.

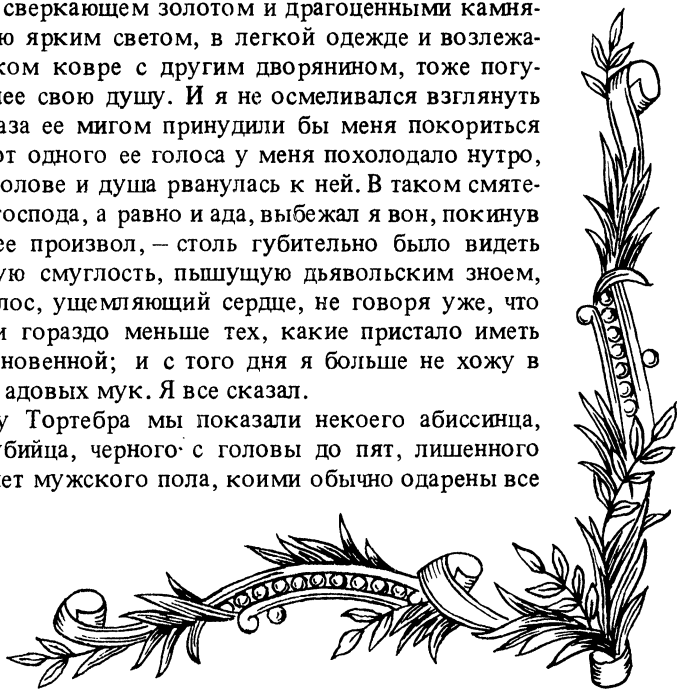


с мавританкой, семь дней подряд не выходя от нее, в чем, к ужасу нашему, и признался на смертном одре.

Тогда говорили, будто дьяволица привязала к себе названного рыцаря своими длинными волосами, якобы наделенными теми горячительными свойствами, посредством коих адский огонь охватывает христиан, под видом огня любовного, и они предаются плотскому неистовству, пока душа не выйдет вон из тела и попадет прямо в руки сатане. Я же утверждаю, что ничего подобного не видел, разве только видел покойного рыцаря изнуренным, зачахшим, не могущим пошевелить перстом. И все же он до последнего часа, не внимая уговорам духовника, рвался к своей девке. И люди признавали в нем кавалера де Бюэль, сражавшегося в святой земле и, по слухам, встретившего в азиатской стране, в Дамаске или еще где-то, околдовавшего его дьявола.

Как бы то ни было, я оставил мой дом в распоряжение незнакомки, согласно условиям договора при сдаче дома внаем. После кончины рыцаря я решил справиться у названной чужеземки, желает ли она остаться у меня в доме, или нет. С большими затруднениями я был, наконец, допущен к ней в сопровождении некоего диковинного человека — чернокожего, полуголого и белоглазого. Тогда-то я увидел мавританку в уборе, сверкающем золотом и драгоценными камнями, освещенную ярким светом, в легкой одежде и возлежащей на азиатском ковре с другим дворянином, тоже погубившем ради нее свою душу. И я не осмеливался взглянуть на нее, ибо глаза ее миготнули бы принудили бы меня покориться ей, — если уж от одного ее голоса у меня похолодало нутро, помутилось в голове и душа рванулась к ней. В таком смятении, страшись господя, а равно и ада, выбежал я вон, покинув свой дом на ее произвол, — столь губительно было видеть ее басурманскую смуглость, пышущую дьявольским зноем, слышать ее голос, ущемляющий сердце, не говоря уже, что ножки ее были гораздо меньше тех, какие пристало иметь женщине обыкновенной; и с того дня я больше не хожу в мой дом, боясь адовых мук. Я все сказал.

Названному Тортебра мы показали некоего абиссинца, эфиопа или нубийца, черного с головы до пят, лишенного вовсе тех примет мужского пола, коими обычно одарены все



христиане. И ввиду того, что сей эфиоп, многократно подвергнутый всяким пыткам и даже огню, упорствовал в молчании, хоть и стонал громко, было установлено, что он языка нашей страны не знает. Названный Тортебра сообщил, что язычник абиссинец проживал в его доме вместе с дьяволицей и содействовал ей в колдовстве.

Вышеуказанный Тортебра, ревностно исповедующий великую католическую веру, заявил, что больше знать ничего не знает и говорит с чужих слов, и все это известно остальным прочим, и что, не являясь свидетелем, он свидетельствует лишь о том, что слышал.

Вторым по нашему вызову явился Матвей по прозвищу Пустобрех, поденщик с фермы, находящейся близ Сент-Этьена, каковой, поклявшись на святом евангелии говорить одну лишь правду, признался, что всегда видел яркий свет в окнах у чужеземки и слышал непотребный и сатанинский хохот днем и ночью, и в праздники и в постные дни, равно и в святую седмицу и в сочельник, словно там пировало видимо-невидимо народу. Засим сообщил, что в окнах дома видел множество растений всякого рода, цветущих среди зимы, и особенно много роз в морозную пору и других прочих цветов, коим требуется изрядная жара, так что тут не обошлось без магии. Однако ж этим он удивлен отнюдь не был, ибо от самой чужеземки исходил зной, и когда прогуливалась она под вечер вдоль его стены, то наутро на грядках до срока поспевали овощи. И не раз в деревьях начиналось брожение соков лишь от одного прикосновения ее одежды, и росли они вдвое быстрее положенного. Названный Пустобрех закончил тем, что ничего не знает, ибо трудится с раннего утра и ложится спать с курами.

Засим была опрошена жена поденщика Пустобреха и после клятвы сообщила все, что известно ей по сему делу. Она принялась хвалить чужеземку за то, что якобы по ее прибытии муж стал лучше с ней обращаться, и все благодаря соседству доброй дамы, разливающей вокруг себя любовь, как солнце свои лучи. Она говорила еще много несуразного, чего мы здесь приводить не намерены. Пустобреху, равно как и его жене, был предъявлен вышеупомянутый неизвестный африканец, которого они признали, ибо не раз виде-

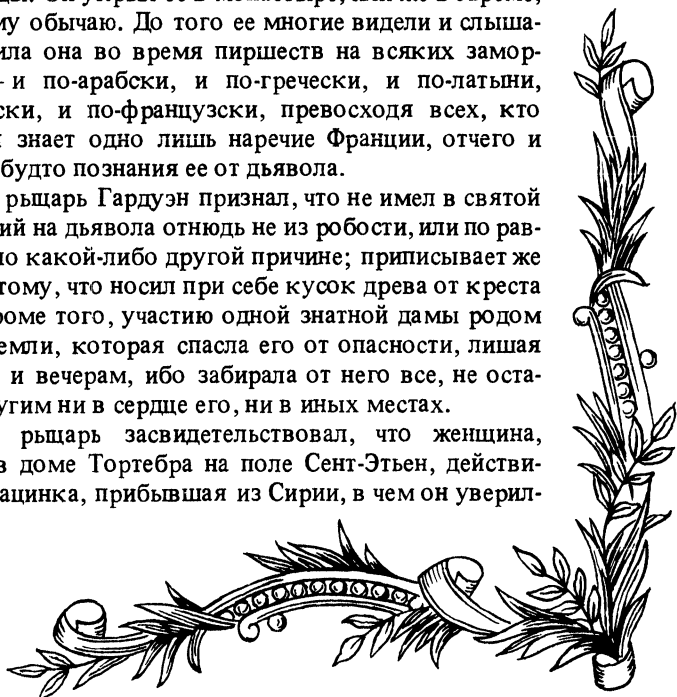


ли его в саду около дома, и, по их разумению, он — слуга дьявола.

Третьим явился мессир Гардуэн V, сеньор де Майлье, к коему мы почтительно обратились с просьбой разъяснить происшедшее для представления его показаний святой церкви, на что он ответил согласием и дал клятву доблестного рыцаря говорить лишь то, что видел собственными глазами. Он показал, что впервые увидел дьявола, о коем идет речь, во время крестового похода в городе Дамаске, где встретил покойного рыцаря де Бюэля, дравшегося на поединке за обладание оной девкой, ибо эта девка, или дьявол, принадлежала тогда мессире Жофруа IV де ла Рош-Позе, привезшему ее из Турени, хоть и была она сарацинкой, чему рыцари Франции премного дивились, так же как и ее красоте, вызывавшей немало толков и даже кровопролитных драк в лагере крестоносцев. Во время похода девка эта была причиной многих смертей, ибо де ла Рош-Позе уложил не одного крестоносца, пожелавшего отбить прелестницу; ведь, по словам рыцарей, тайно добившихся ее ласк, наслаждения, даримые ею, ни с какими иными сравнить невозможно. Но под конец рыцарь де Бюэль убил Жофруа де ла Рош-Позе и стал обладателем ссй губительницы. Он укрыв ее в монастыре, или же в гареме, по сарацинскому обычаю. До того ее многие видели и слышали, как говорила она во время пиршеств на всяких заморских языках — и по-арабски, и по-гречески, и по-латыни, и по-мавритански, и по-французски, превосходя всех, кто среди христиан знает одно лишь наречие Франции, отчего и прошла молва, будто познания ее от дьявола.

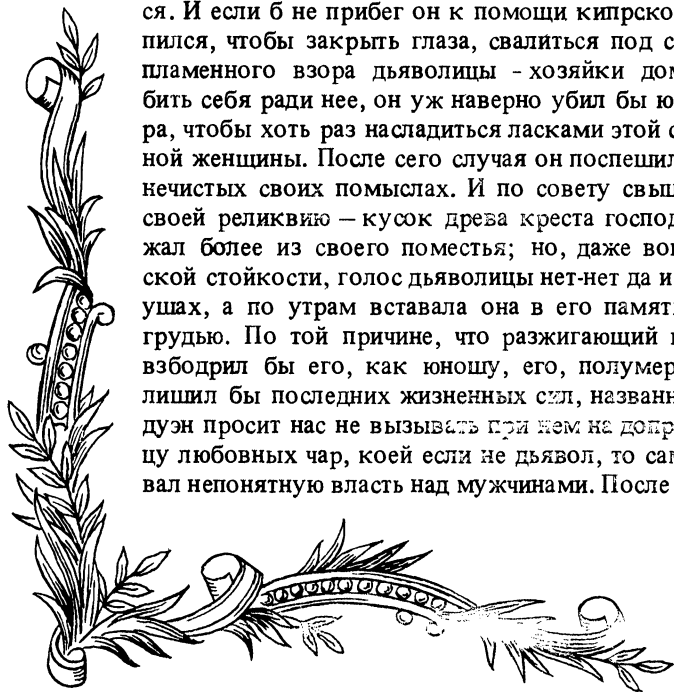
Названный рыцарь Гардуэн признал, что не имел в святой земле притязаний на дьявола отнюдь не из робости, или по равнодушию, или по какой-либо другой причине; приписывает же он свою удачу тому, что носил при себе кусок дерева от креста господня, и, кроме того, участию одной знатной дамы родом из греческой земли, которая спасла его от опасности, лишая силы по утрам и вечерам, ибо забирала от него все, не оставляя ничего другим ни в сердце его, ни в иных местах.

Названный рыцарь засвидетельствовал, что женщина, проживавшая в доме Тортебра на поле Сент-Этьен, действительно есть сарацинка, прибывшая из Сирии, в чем он уверил-



ся, будучи приглашен к ней на пирушку рыцарем де Круамар, который представился на седьмой день и, по словам его матери, г-жи де Круамар, был разорен дотла названной девкой, от ласк коей иссякли его жизненные силы, а от нелепых прихотей иссяк кошелек.

После чего рыцарь Гардуэн был спрошен нами в качестве мужа рассудительного, ученого, уважаемого, что думает он о названной женщине. Побуждаемый нами говорить все по совести, потому что речь идет о богомерзком случае, враждебном вере христианской и божественному правосудию, он ответил, что иные крестоносцы во время похода сообщили ему, будто чертовка эта девственна для всякого, кто находится с ней, что будто в нее вселился сам Маммон и для каждого нового любовника возобновляет ее девственность, и много других небылиц говорилось, что говорят мужчины спяну, из чего не составишь пятого евангелия. Но верно одно, что он, уже старик, не приемлющий больше удовольствий, почувствовал себя вдруг молодым человеком во время последнего ужина, коим угостил его барон де Круамар. И что голос чертовки проник ему в сердце еще прежде, нежели достиг слуха, и зажег во всем его теле такой пламень страсти, что жизнь его стала исходить тем же путем, откуда она берется. И если б не прибег он к помощи кипрского, если б не напился, чтобы закрыть глаза, свалиться под стол и не видеть пламенного взора дьяволицы - хозяйки дома - и не погубить себя ради нее, он уж наверно убил бы юного де Круамара, чтобы хоть раз насладиться ласками этой сверхъестественной женщины. После сего случая он поспешил исповедаться в нечистых своих помыслах. И по совету свыше взял у жены своей реликвию - кусок древа креста господня - и не выезжал более из своего поместья; но, даже вопреки христианской стойкости, голос дьяволицы нет-нет да и прозвучит в его ушах, а по утрам вставала она в его памяти с огневющей грудью. По той причине, что разжигающий вид мавританки взбодрил бы его, как юношу, его, полумертвого старца, и лишил бы последних жизненных сил, названный рыцарь Гардуэн просит нас не вызывать при нем на допрос сию владычицу любовных чар, коей если не дьявол, то сам бог-отец даровал непонятную власть над мужчинами. После чего рыцарь уда-



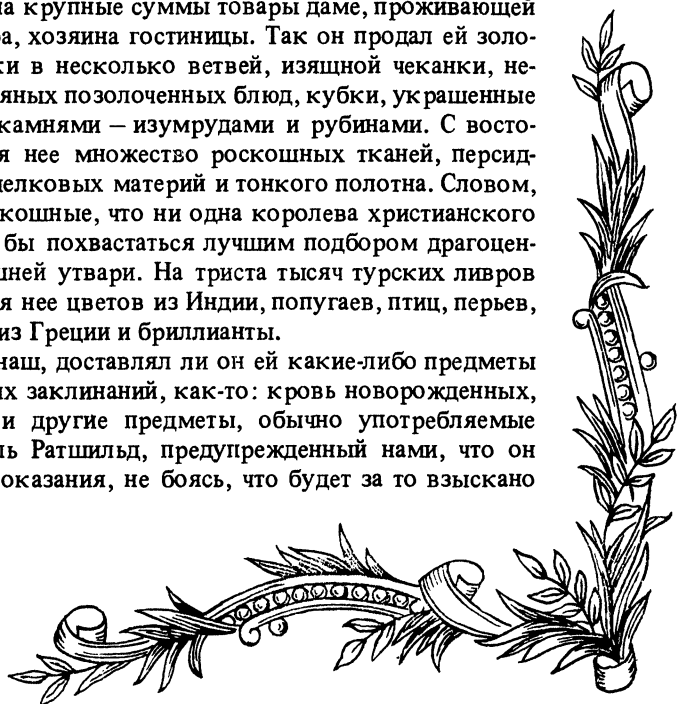
лился, прочитав в протоколе свое показание и признав чернокожего африканца слугой и пажом вышеуказанной дамы.

Четвертым был вызван к нам еврей Соломон аль Ратшильд, которого мы заверили именем капитула и нашего архиепископа, что он не будет подвергнут ни пытке огнем, ни прочим пыткам, а также не будет ему от нас никакого беспокойства и вторичного вызова на допрос, принимая во внимание, что он собрался в путь по делам своей коммерции. Дав показание, он может удалиться совершенно свободно.

Названный еврей, Соломон аль Ратшильд, сколь ни мерзка его вера и личность, был нами выслушан с целью узнать от него все, касающееся распутства названной ведьмы. Ввиду того, что он, Соломон, стоит вне христианской церкви, отделен от нас пролитой кровью нашего спасителя (*trucidatus Salvator inter nos*), то ни к какой присяге не был он принуждаем.

На вопрос, почему явился он без зеленой ермолки и без желтого колеса на кафтане, нашиваемого на месте сердца, согласно постановлению святой церкви и короля, Соломон аль Ратшильд предъявил нам письменный указ нашего короля, разрешающий ему это, с подтверждением сенешала Турени и Пуату. После чего вышеупомянутый еврей показал, что поставлял на крупные суммы товары даме, проживающей в доме Тортебра, хозяина гостиницы. Так он продал ей золотые подсвечники в несколько ветвей, изящной чеканки, несколько серебряных позолоченных блюд, кубки, украшенные драгоценными камнями — изумрудами и рубинами. С востока выписал для нее множество роскошных тканей, персидских ковров, шелковых материй и тонкого полотна. Словом, вещи столь роскошные, что ни одна королева христианского мира не могла бы похвастаться лучшим подбором драгоценностей и домашней утвари. На триста тысяч турецких ливров приобрел он для нее цветов из Индии, попугаев, птиц, перьев, пряностей, вин из Греции и бриллианты.

На вопрос наш, доставлял ли он ей какие-либо предметы для дьявольских заклинаний, как-то: кровь новорожденных, черные книги и другие предметы, обычно употребляемые колдуньями, аль Ратшильд, предупрежденный нами, что он может давать показания, не боясь, что будет за то взыскано

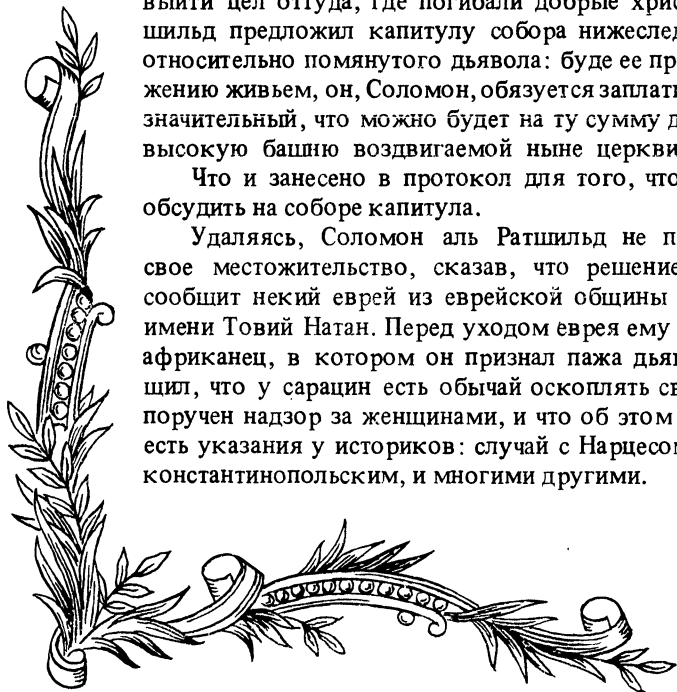


с него, поклялся своей иудейской верой, что никогда ничем подобным не торговал. По словам его, он ведет слишком крупные дела, чтоб заниматься такими пустяками, ибо он представляет драгоценности для некоторых весьма могущественных особ, как то: маркиз де Монфера, английский король, король Кипра и Иерусалима, граф Прованский, знатные венецианцы и многие германские князья. Его торговые галеры ходят в Египет под защиту султана, привозят слитки золота и серебра, почему он и посещает монетный двор города Тура. Притом он заявил, что считает даму, о коей идет речь, весьма честной особой и самой обыкновенной женщиной, только невиданной красоты и искусства. Слухи о ее одержимости считает пустой выдумкой сумасбродов. Еще показал он, как, наслышавшись о ее дьявольском очаровании, поддался игре воображения, прельстился ею и предложил ей свои услуги в тот день, когда она случайно овдовела, и был принят. Хотя после той ночи он долго чувствовал себя разбитым, но не ощутил, как утверждают иные, что, мол, живым от нее не вернешься и расплывшись, словно свинец в тигле алхимика.

После сего заявления названному Соломону было разрешено удалиться, согласно охранной грамоте, хотя из показаний его явствует, что сам он близок с дьяволом, ибо сумел выйти цел оттуда, где погибали добрые христиане. Аль Ратшильд предложил капитулу собора нижеследующую сделку относительно помянутого дьявола: буде ее приговорят к сожжению живьем, он, Соломон, обязуется заплатить выкуп, столь значительный, что можно будет на ту сумму достроить самую высокую башню воздвигаемой ныне церкви св. Маврикия.

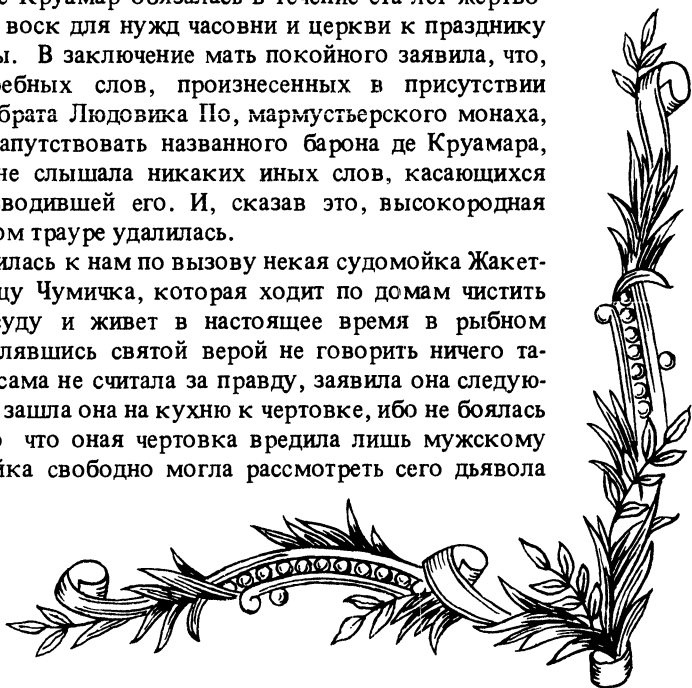
Что и занесено в протокол для того, чтоб в свое время обсудить на соборе капитула.

Удаляясь, Соломон аль Ратшильд не пожелал указать свое местожительство, сказав, что решение капитула ему сообщит некий еврей из еврейской общины города Тура по имени Товий Натан. Перед уходом еврея ему был предъявлен африканец, в котором он признал пажа дьяволицы, и сообщил, что у сарацин есть обычай оскотлять своих слуг, коим поручен надзор за женщинами, и что об этом древнем обычае есть указания у историков: случай с Нарцесом, полководцем константинопольским, и многими другими.



На следующий день после обедни к нам явилась *пятая свидетельница*, весьма высокородная дама де Круамар. Названная дама поклялась святой верой и принесла присягу на евангелии и сказала, проливая слезы, что похоронила своего старшего сына, который скончался вследствие уму непостижимой страсти к дьяволу женского пола. Оный молодой дворянин, имея от роду двадцать три года, был отменного здоровья, весьма силен и бородач подобно своему покойному отцу. И, несмотря на свое могучее сложение, через три месяца побледнел и зачах, замученный ведьмой с Горячей улицы, как прозывают ее в народе; а мать лишилась всякой власти над ним. И в последние свои дни он стал похож на жалкого, высохшего червяка, каких нередко обнаруживают рачительные хозяйки, подметая свое жилище. И все же, пока еще мог он держаться на ногах, ходил к этой проклятой и отдавал ей последние свои силы и последние червонцы. Когда же он слег и ждал смертного часа, то изрыгал хулу и брань на голову своей сестры, брата и родной матери, хохотал в лицо духовнику; он отрекся от бога и пожелал умереть нераскаянным, чем весьма огорчились его слуги и, дабы спасти душу господина и извлечь ее из ада, заказали в соборе две ежегодных заупокойных мессы. А за право погребения его в освященной земле семья де Круамар обязалась в течение ста лет жертвовать капитулу воск для нужд часовни и церкви к празднику Святой Троицы. В заключение мать покойного заявила, что, кроме непотребных слов, произнесенных в присутствии досточтимого брата Людовика По, мармустьерского монаха, пришедшего напутствовать названного барона де Круамара, она от сына не слышала никаких иных слов, касающихся дьяволицы, изводившей его. И, сказав это, высокородная дама в глубоком трауре удалилась.

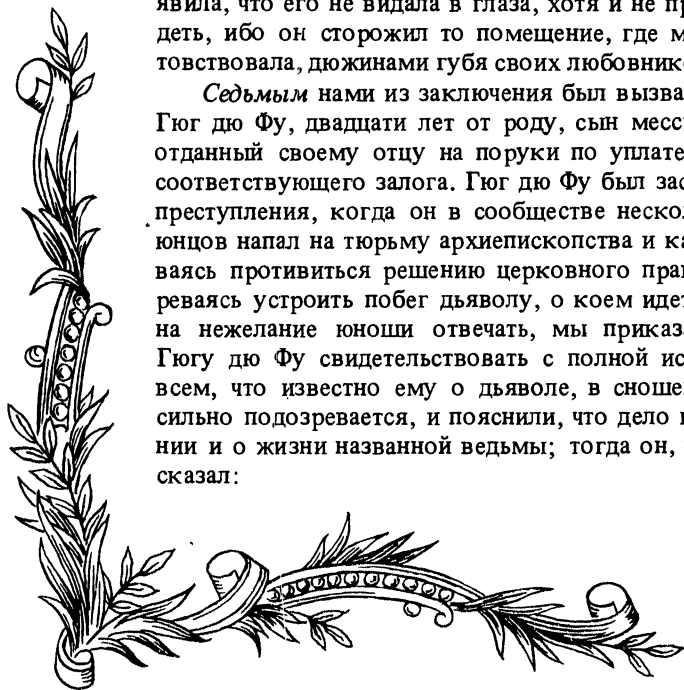
Шестой явилась к нам по вызову некая судомойка Жакета, по прозвищу Чумичка, которая ходит по домам чистить кухонную посуду и живет в настоящее время в рыбном квартале. Поклявшись святой верой не говорить ничего такого, чего бы сама не считала за правду, заявила она следующее. Однажды зашла она на кухню к чертовке, ибо не боялась ее, ввиду того что она чертовка вредила лишь мужскому полу. Судомойка свободно могла рассмотреть сего дьявола



в женском обличи. Роскошно одетая, она прогуливалась в саду в обществе рыцаря, болтая с ним и смеясь, словно обыкновенная женщина. В ней судомойка признала мавританку, обращенную в христианство покойным сенешалом Турени и Пуату мессиром Брюином, графом де ла Рош-Корбон и отданную в монастырь Эгриньольской богородицы. Мавританка эта была найденышем, подобранным у подножия статуи святой деви Марии, пречистой матери нашего спасителя. Видимо, ее ребенком похитили цыгане. В то время происходили волнения в Турени, и никто не думал заботиться об этой девчонке, коей исполнилось двенадцать лет, когда покойный сенешал и его супруга спасли ее от костра, где ей не миновать было жариться, — они окрестили ее и стали воспитателями сей дщери ада. В ту пору Чумичка работала прачкой в монастыре и подтверждает, что через двадцать месяцев после поступления в монастырь она цыганка бежала из него столь ловко, что никто не мог понять, как это произошло. Тогда было признано, что она с помощью дьявола улетела по воздуху, ибо, несмотря на все розыски, никаких следов побега в помещении монастыря не обнаружилось и все вещи оставались на своих местах.

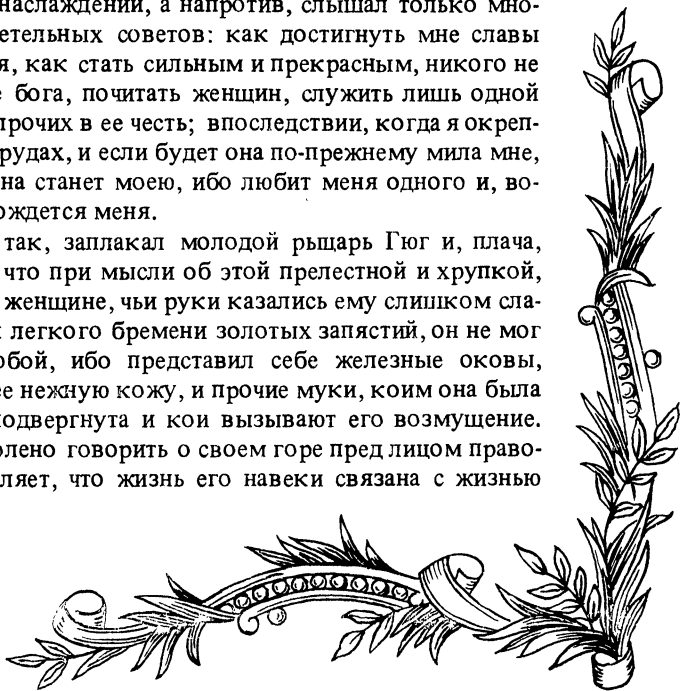
Судомойке был показан все тот же африканец. Она заявила, что его не видала в глаза, хотя и не прочь была поглядеть, ибо он сторожил то помещение, где мавританка неистовствовала, дюжинами губя своих любовников.

Седьмым нами из заключения был вызван для показаний Гюг дю Фу, двадцати лет от роду, сын мессира де Бридоре, отданный своему отцу на поруки по уплате его светлостью соответствующего залога. Гюг дю Фу был застигнут на месте преступления, когда он в сообществе нескольких негодных юнцов напал на тюрьму архиепископства и капитула, осмеливаясь противиться решению церковного правосудия и намереваясь устроить побег дьяволу, о коем идет речь. Невзирая на нежелание юноши отвечать, мы приказали названному Гюгу дю Фу свидетельствовать с полной искренностью обо всем, что известно ему о дьяволе, в сношениях с коим он сильно подозревается, и пояснили, что дело идет о его спасении и о жизни названной ведьмы; тогда он, приняв присягу, сказал:



— Клянусь спасением моей души и святым евангелием, лежащим под моей рукой, я считаю женщину, в коей подозревают дьявола, истинным ангелом, считаю женщиной безупречной телом и еще более того — душою. Она живет совершенно честной жизнью, исполнена очарования и искусна в любви. Она никому не причиняет зла, наоборот, щедра, помогает бедным и обездоленным. Заявляю, что она искренними слезами оплакивала кончину друга моего рыцаря Круамара, и так как она в тот день дала обет пресвятой деве не допускать до любовных утех слишком слабых плотью юношей, то неизменно и с превеликой стойкостью отказывала мне в наслаждениях телесных и разрешила лишь обладать ее сердцем, признав меня его властелином. После сего любезного дара, сдерживая мои разгорающиеся чувства, она жила в одиночестве, я же проводил в ее доме почти все свои дни, счастливый уж тем, что могу видеть и слышать ее. И я упивался, дыша единым с нею воздухом, любуясь светом, коим все озарили ее прекрасные очи, испытывая больше радости за сим занятием, чем небожители в раю. Избрав ее навсегда дамой своего сердца, в ожидании того дня, когда она станет моею милой голубкой, моею женой, единственной моей подругой, я, несчастный безумец, не получил от нее даже залога будущих наслаждений, а напротив, слышал только множество добродетельных советов: как достигнуть мне славы доброго рыцаря, как стать сильным и прекрасным, никого не бояться, кроме бога, почитать женщин, служить лишь одной даме и любить прочих в ее честь; впоследствии, когда я окрепну в бранных трудах, и если будет она по-прежнему мила мне, только тогда она станет моею, ибо любит меня одного и, вопреки всему, дожждется меня.

И, говоря так, заплакал молодой рыцарь Гюг и, плача, присвокупил, что при мысли об этой прелестной и хрупкой, как тростинка, женщине, чьи руки казались ему слишком слабыми даже для легкого бремени золотых запястий, он не мог совладать с собой, ибо представил себе железные оковы, разрывающие ее нежную кожу, и прочие муки, коим она была предательски подвергнута и кои вызывают его возмущение. И раз уж дозволено говорить о своем горе пред лицом правосудия, он заявляет, что жизнь его навеки связана с жизнью



его прелестной возлюбленной и подруги, и если б ей угрожала беда, он твердо решил умереть.

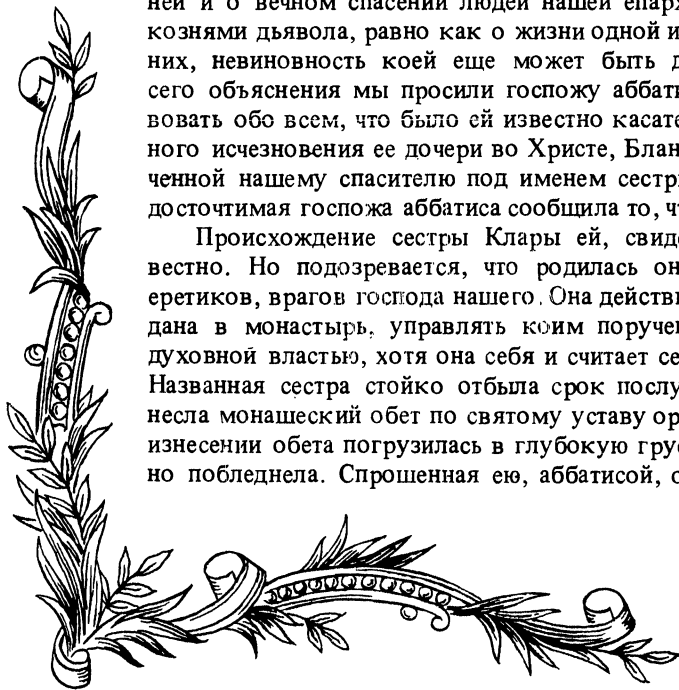
И названный молодой дворянин возносил всякую хвалу дьяволище, что свидетельствует, сколь глубоко проникла в него порча, а также показывает всю мерзость и неисцелимую греховность его жизни и коварство чар, коими он был опутан, что и будет повергнуто на суд господина нашего архиепископа, дабы спасти от адских сетей покаянием и через изгнание беса эту молодую душу, если только дьявол окончательно не завладел ею.

Названного молодого человека передали в руки его родителя, после того как он показал, что африканец — слуга обвиняемой.

Восьмой предстала пред нами, введенная с большим почетом слугами господина нашего архиепископа, достопочтенная и высокородная дама Жаклина де Шаневрие, аббатиса кармелитского монастыря пресвятой девы. Даме этой была поручена покойным сенешалом Турени, отцом монсеньора графа де ла Рош-Корбон, ныне покровителя названного монастыря, цыганка, при святом крещении нареченная Бланш Брюин.

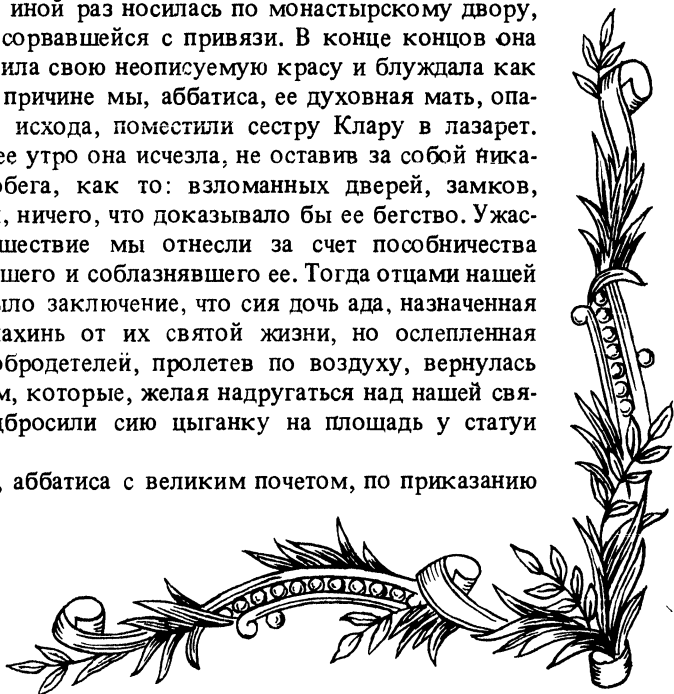
Мы объяснили досточтимой госпоже аббатисе нижеследующее: что дело идет о святой церкви, о вящей славе господней и о вечном спасении людей нашей епархии, угнетенных кознями дьявола, равно как о жизни одной из тварей господних, невиновность коей еще может быть доказана. После сего объяснения мы просили госпожу аббатису свидетельствовать обо всем, что было ей известно касательно таинственного исчезновения ее дочери во Христе, Бланш Брюин, обрученной нашему спасителю под именем сестры Клары. Тогда досточтимая госпожа аббатиса сообщила то, что следует ниже.

Происхождение сестры Клары ей, свидетельнице, неизвестно. Но подозревается, что родилась она от родителей еретиков, врагов господина нашего. Она действительно была отдана в монастырь, управлять коим поручено ей, аббатисе, духовной властью, хотя она себя и считает сего недостойной. Названная сестра стойко отбыла срок послушания и произнесла монашеский обет по святому уставу ордена. Но по произнесении обета погрузилась в глубокую грусть и чрезвычайно побледнела. Спрошенная ею, аббатисой, о причинах уны-



ния, названная сестра, обливаясь слезами, ответила, что причины сего ей самой неизвестны; что уже тысячу и один раз проливала она слезы, оплакивая свои прекрасные волосы, и что, помимо того, она жаждет свежего воздуха и не может сдержатъ желанія бегать, карабкаться на деревья и резвиться, как ее к тому приучила жизнь под открытым небом; что ночи свои она проводит в слезах, мечтая о темном боре, под сенью коего ей случилось не раз ночевать. И, вспоминая о прежних днях, возненавидела она монастырский воздух, от которого спирает дыхание; исподволь в ней накопились греховныя мысли, и подчас мечты отвлекали от молитв, лишая ее всякого покоя. Свидетельница тогда же преподала ей святыя поученія, предписываемыя церковью, напомнила ей о вечном блаженствѣ, вкушаемом в раю девственницами, и сколь преходяща жизнь наша на этомъ светѣ и сколь безгранична милость божья, дарующая за каждую утраченную нами горькую радость уготованныя намъ награды любви вечной. Несмотря на эти мудрыя материнскія совѣты, злой духъ все же упорствовалъ в названной сестрѣ Кларе, и она по-прежнему любовалась листвою деревъ, зеленью луговъ, глядя на нихъ в церковныя окна во время богослуженія и въ часы молитвъ. Она, коварная, напускала на себя мертвенную блѣдность, лишь бы остаться ей въ постели, а иной разъ носилась по монастырскому двору, подобно козѣ, сорвавшейся съ привязи. В концѣ концовъ она исхудала, утратила свою неописуемую красу и блуждала какъ тень. „По этой причинѣ мы, аббатиса, ее духовная мать, опасаясь рокового исхода, поместили сестру Клару въ лазаретъ. И въ одно зимнее утро она исчезла, не оставивъ за собой никакихъ слѣдовъ побѣга, какъ то: взломанныхъ дверей, замковъ, открытых окон, ничего, что доказывало бы ее бѣгство. Ужасное это происшествіе мы отнесли за счетъ пособничества дьявола, терзавшаго и соблазнявшаго ее. Тогда отцами нашей церкви дано было заключеніе, что сія дочь ада, назначенная отвращать монахинь отъ ихъ святой жизни, но ослѣпленная блескомъ ихъ добродетелей, пролетевъ по воздуху, вернулась на шабашъ ведьмъ, которыя, желая надругаться надъ нашей святой верой, подбросили сию цыганку на площадь у статуи дѣвы Маріи”.

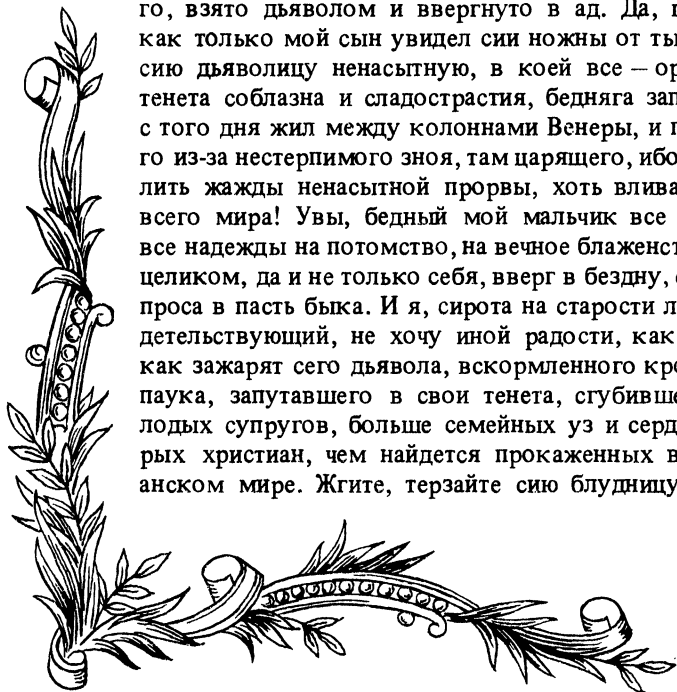
Сказавъ это, аббатиса съ великимъ почетомъ, по приказанію



господина нашего архиепископа, была отвезена в свой монастырь.

Девятым пришел вызванный нами для показания Жозеф, по прозвищу Рыбак, — меняла, лавка коего находится у моста под вывеской „Золотой безант”. Меняла поклялся своей католической верой не говорить ничего другого, кроме правды, известной ему, по поводу дела, ведомого церковным судом. И он свидетельствовал следующее:

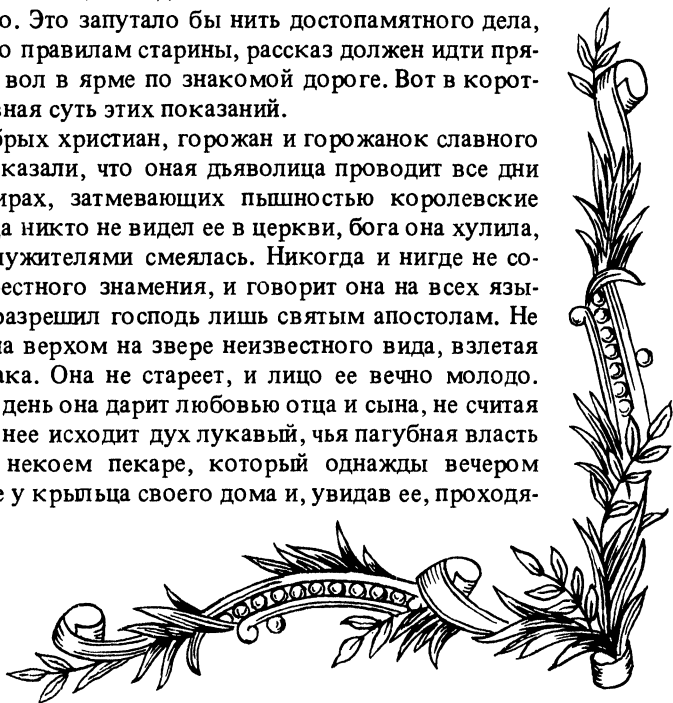
— Я — несчастный отец, ввергнутый святою волей господя в великую скорбь. До появления здесь ведьмы с Горячей улицы было у меня единственное сокровище — мой сын. Он был красив, не хуже дворянина, и учен, как писец; более дюжины совершил он путешествий в чужие страны и к тому же был добрый католик; он бежал любовных игр, ибо решил остаться в безбрачии, разумея, что он моя единственная опора на старости лет, свет моих очей и радость моего сердца. Таким сыном гордился бы сам король Франции. Добрый и смелый малый, лучший мой советник во всех делах торговли, веселье моего дома, одним словом — сокровище бесценное, ибо я одинок на этом свете, потеряв в недобрый час подругу жизни, и слишком я ныне стар, чтобы родить себе еще сына. И что же, монсеньор, сокровище это, не имеющее себе равного, взято дьяволом и ввергнуто в ад. Да, господин судья, как только мой сын увидел сии ножны от тысячи кинжалов, сию дьяволицу ненасытную, в коей все — орудие погибели, тенета соблазна и сладострастия, бедняга запутался в них и с того дня жил между колоннами Венеры, и протянул недолго из-за нестерпимого зноя, там царящего, ибо никому не утолить жажды ненасытной прорвы, хоть вливай в нее потоки всего мира! Увы, бедный мой мальчик все свое состояние, все надежды на потомство, на вечное блаженство, самого себя целиком, да и не только себя, вверг в бездну, словно крупицу проса в пасть быка. И я, сирота на старости лет, я, здесь свидетельствующий, не хочу иной радости, как только видеть, как зажарят сего дьявола, вскормленного кровью и золотом, паука, запутавшего в свои тенета, сгубившего больше молодых супругов, больше семейных уз и сердец, больше добрых христиан, чем найдется прокаженных во всем христианском мире. Жгите, терзайте сию блудницу, сего вампира,



растлевающего души, кровожадную тигрицу, факел любовный, кипящий ядом всех гадюк. Завалите яму сию бездонную. Жертвую свои денги капитулу на хворост для костра, предлагаю руку мою, чтоб бросить в огонь первую вязанку. Держите крепко, господа судьи, оного дьявола, ибо огонь его сильнее всякого земного огня. Само адское пекло в лоне ее. Сила ее, сила Самсонова, в ее волосах, а в голосе ее — как будто райская музыка. Она пленяет, чтоб убить и тело и душу. Она улыбается, чтоб укусить, она лобзает, чтобы пожрать. Одним словом, она и святого может привязать к себе и заставить отречься от бога. Сын мой, сын мой, где ты сейчас, цвет моей жизни, цветок, срезанный дьявольскими чарами! Святой отец, зачем призвали вы меня? Кто отдаст мне моего сына, душу коего поглотило чрево, дарующее смерть всем и никого не родившее, ибо один лишь дьявол прелюбодействует без зачатия. Вот мое показание, которое прошу мэтра Турнебуша записать, не сокращая ни на йоту, и дать мне его в списке, дабы я мог читать его богу, ежевечерне вознося молитвы, наполнить слух его воплями о крови невинного, дабы умолить его простить моему сыну в бесконечном милосердии своем.

Засим следует еще двадцать семь показаний, передать которые в их настоящем виде и полноте было бы слишком долго и докучно. Это запутало бы нить достопамятного дела, меж тем как, по правилам старины, рассказ должен идти прямо к цели, как вол в ярме по знакомой дороге. Вот в коротких словах главная суть этих показаний.

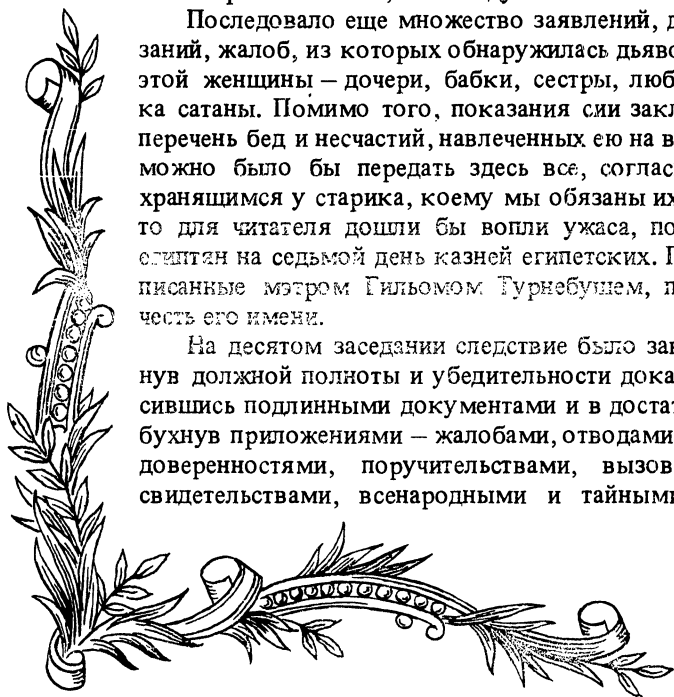
Немало добрых христиан, горожан и горожанок славного города Тура показали, что она, дьяволица, проводит все дни в разгуле и пирах, затмевающих пышностью королевские забавы. Никогда никто не видел ее в церкви, бога она хулила, над священнослужителями смеялась. Никогда и нигде не сотворила она крестного знамения, и говорит она на всех языках мира, что разрешил господь лишь святым апостолам. Не раз носилась она верхом на звере неизвестного вида, взлетая под самые облака. Она не стареет, и лицо ее вечно молодо. В один и тот же день она дарит любовью отца и сына, не считая это за грех; от нее исходит дух лукавый, чья пагубная власть проявилась на некоем пекаре, который однажды вечером сидел на скамье у крыльца своего дома и, увидав ее, проходя-



щую мимо, чуть не задохнулся от любовного жара, поспешил домой, лег в постель и заключил в объятия свою хозяйку с неистовой страстью. Поутру же нашли его мертвым. И мертвый он все еще любодействовал. Говорили еще, что многие старцы отдавали остаток своих сил и червонцев, чтобы проникнуть к ней и вкусить от греха, как в дни своей юности, и что умирали они, как мухи, отвернувшись от неба, и тут же чернели, точно мавры. Дьяволица никогда не появлялась ни к обеду, ни к ужину, ибо питалась лишь в одиночку, поедая человеческие мозги. Не раз видали ее на кладбище, куда она ходила по ночам глотать кости молодых мертвецов, желая насытить дьявола, каковой бешено брыкался и ярился в ее лоне, чем и объясняются ее убийственные, губительные, сокрушительные, язвящие, жалящие лобзания, объятия, любовные судороги и корчи, после коих многие мужчины уходили помяты, скрючены, искусаны, исцарапаны, пришиблены. Словом, с того дня, как наш спаситель загнал легион бесов в стадо свиней, не родилось на земле более зловредной, ядовитой и хищной твари. И если бы бросить весь наш богоспасаемый город Тур на эту ниву Венерину, превратился бы он в семя городов, и уж не преминула бы эта чертовка проглотить его, как ягоду.

Последовало еще множество заявлений, донесений, показаний, жалоб, из которых обнаружилась дьявольская природа этой женщины — дочери, бабки, сестры, любовницы, ублюдка сатаны. Помимо того, показания сии заключали длинный перечень бед и несчастий, навлеченных ею на все семьи. И если можно было бы передать здесь все, согласно протоколам, хранящимся у старика, коему мы обязаны их обнаружением, то для читателя дошли бы вопли ужаса, подобные воплям египтян на седьмой день казней египетских. Протоколы, подписанные мэтром Гильомом Турнебушем, поистине делают честь его имени.

На десятом заседании следствие было закончено, достигнув должной полноты и убедительности доказательств, украсившись подлинными документами и в достаточной мере разбухнув приложениями — жалобами, отводами, возражениями, доверенностями, поручительствами, вызовами, заочными свидетельствами, всенародными и тайными признаниями,



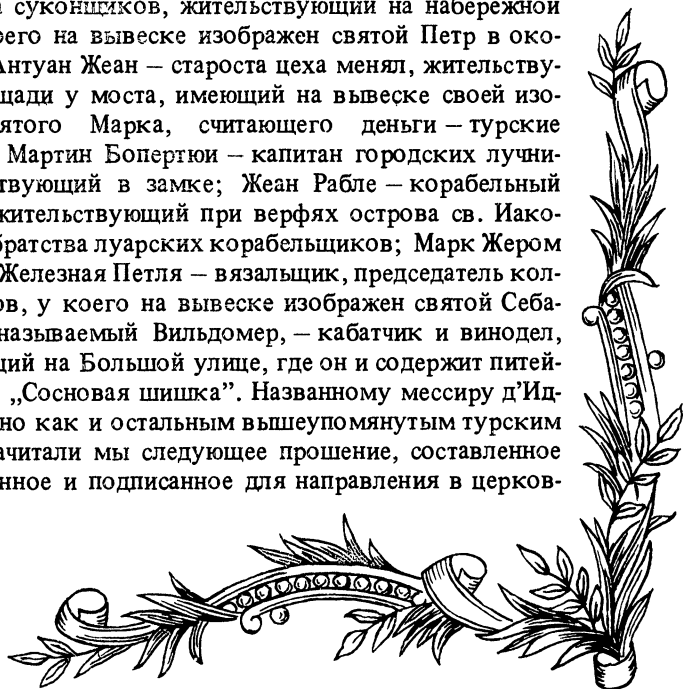
клятвами, очными ставками и показаниями, — на все это дьяволица должна была дать ответы. Недаром горожане говорили, что если она действительно дьяволица, изводящая мужчин, то и тогда ей придется пробираться через лавину исписанных пергаментов, прежде чем она вернется цела и невредима в свое адское стекло.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ТОМ, КАК ПОСТУПИЛИ С ОНЫМ ДЬЯВОЛОМ ЖЕНСКОГО ПОЛА

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова перед нами, Жеромом Корнилем, великим пенитенциарием и духовным судьей, облеченным сим званием святою церковью, явились: мессир Филипп д'Идре — балы города Тура и провинции Турени, жительствовавший в собственном доме на улице Ротисери; мэтр Жан Рибу — староста братства и мастер цеха суконщиков, жительствовавший на набережной Бретани, у коего на вывеске изображен святой Петр в оковах; мессир Антуан Жан — староста цеха менял, жительствовавший на площади у моста, имеющий на вывеске своей изображение святого Марка, считающего деньги — турецкие ливры; мэтр Мартин Бопертюи — капитан городских лучников, жительствовавший в замке; Жан Рабле — корабельный конопатчик, жительствовавший при верфях острова св. Иакова, казначей братства луарских корабельщиков; Марк Жером по прозвищу Железная Петля — вязальщик, председатель коллегии мастеров, у коего на вывеске изображен святой Себастьян; Жак, называемый Вильдомер, — кабатчик и винодел, жительствовавший на Большой улице, где он и содержит питейное заведение „Сосновая шишка”. Названному мессиру д'Идре, балы, равно как и остальным вышеупомянутым турецким горожанам, зачитали мы следующее прошение, составленное ими, обсужденное и подписанное для направления в церковный суд:



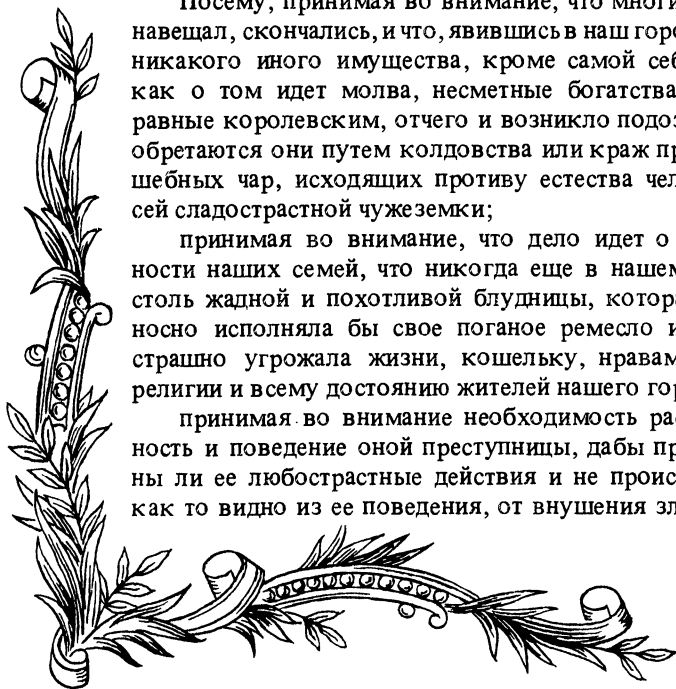
„Мы, нижеподписавшиеся, жители города Тура, пришли в дом господина д'Идре — бальи Турени, ввиду отсутствия нашего мэра, с просьбою выслушать жалобы наши и пени о злодеяниях и кознях, излагаемых ниже. Заявление направляем в суд архиепископа, разбирающий преступления против католической церкви, к коим и относится поднятое нами дело.

С некоторых пор в нашем городе появился зловредный дьявол в образе женщины, проживающей в усадьбе Сент-Этьен в доме хозяина гостиницы Тортебра, построенном на земле соборного капитула, каковая земля подчинена судебным установлениям, действующим в архиепископских владениях. Сия женщина, чужеземка, ведет жизнь блудницы, позволяя себе злоупотребления и излишества всякого рода, доходя до столь злокозненного распутства и продажности, что поступки ее грозят разрушить веру католическую в нашем граде, ибо те, кто посещает ее, возвращаются с душой безнадежно загубленной, отказываются от наставлений святой церкви, изрыгая непристойную хулу на нее.

Посему, принимая во внимание, что многие из тех, кто ее навещал, скончались, и что, явившись в наш город, она не имела никакого иного имущества, кроме самой себя, а накопила, как о том идет молва, несметные богатства и сокровища, равные королевским, отчего и возникло подозрение, что приобретаются они путем колдовства или краж при помощи волшебных чар, исходящих противу естества человеческого, от сей сладострастной чужеземки;

принимая во внимание, что дело идет о чести, безопасности наших семей, что никогда еще в нашем крае не было столь жадной и похотливой блудницы, которая столь вредно исполняла бы свое поганое ремесло и столь явно и страшно угрожала жизни, кошельку, нравам, добродетели, религии и всему достоинству жителей нашего города;

принимая во внимание необходимость расследовать личность и поведение оной преступницы, дабы проверить законны ли ее любострастные действия и не проистекают ли они, как то видно из ее поведения, от внушения злого духа, посе-



щающего нередко христианский мир в женском обличи, о чем учит нас святое писание, где сказано, что наш спаситель был вознесен на гору сатаной, именуемым Люцифером, или Астаротом, показавшим ему в краткое мгновение времени плодоносные долины Иудейские, и что во многих местах видены были тогда суккубы, или демоны с женским обличем, каковые демоны, не желая вернуться в преисподнюю, остались на земле и, храня в себе неугасимый огонь, пытаются освежить себя и насытиться, пожирая души человеческие;

принимая во внимание, что в случае, касающемся названной женщины, имеются тысячи доказательств бесовского наваждения, о коих горожане говорят открыто и что полезно даже для спокойствия самой обвиняемой привести дело к полному выяснению, дабы она не подвергалась преследованию от людей, разоренных ее кознями;

посему молим вас соблаговолить представить нашему духовному владыке и отцу нашей епархии премилостивому и пресвятому архиепископу Жеану де Монсоро на рассмотрение жалобы страждущей его паствы и испросить его вмешательства. Тем вы исполните положенное вам по сану, как мы исполняем долг стражей, бдящих о безопасности города, каждый, согласно вверенным его попечению делам.

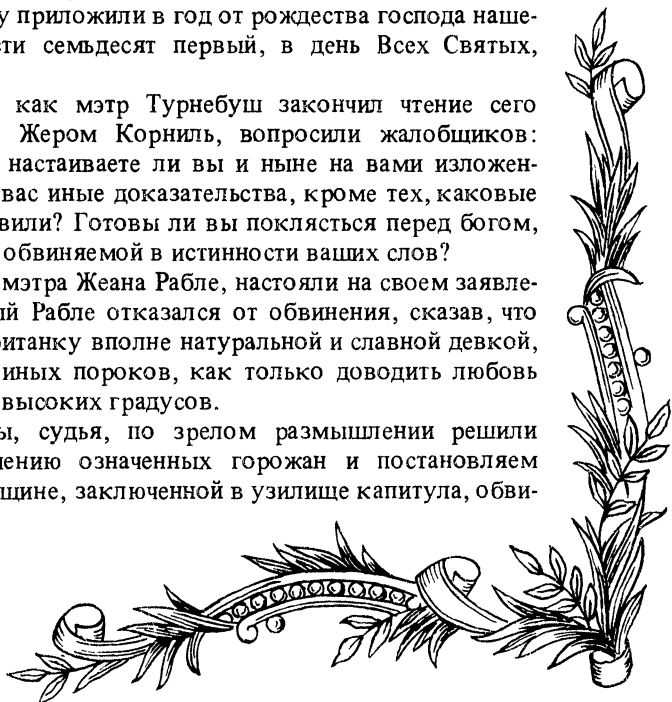
К сему руку приложили в год от рождества господа нашего тысяча двести семьдесят первый, в день Всех Святых, после обедни”.

После того как мэтр Турнебуш закончил чтение сего прошения, мы, Жером Корниль, спросили жалобщиков:

— Мессире, настаиваете ли вы и ныне на вами изложенном? Есть ли у вас иные доказательства, кроме тех, каковые вы нам представили? Готовы ли вы поклясться перед богом, людьми и перед обвиняемой в истинности ваших слов?

Все, кроме мэтра Жеана Рабле, настояли на своем заявлении, а названный Рабле отказался от обвинения, сказав, что он считает мавританку вполне натуральной и славной девкой, у которой нет иных пороков, как только доводить любовь до чрезвычайно высоких градусов.

Посему, мы, судья, по зрелом размышлении решили дать ход прошению означенных горожан и постановляем предъявить женщине, заключенной в узилище капитула, обви-



нение, допросить ее и судить по статьям законов, канонических правил и ордонансов *contra daemonios*.

Приказ с изложением обвинений будет обнародован городским глашатаем на всех перекрестках города при звуке труб, дабы всем было ведомо и дабы каждый мог прийти с показанием, согласно своей совести, и быть сведен в очной ставке с дьяволицей и дабы обвиняемая могла обеспечить себя, согласно закону, защитником для ведения сего дела подобающим образом.

Подписали: *Жером Корниль*.

А ниже:

Турнебуш.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова, в десятый день февраля месяца после обедни по нашему, Жерома Корниля, духовного судьи, приказу была приведена из тюрьмы капитула женщина, взятая в доме хозяина гостиницы Тортебра, что во владениях капитула собора св. Маврикия, и посему подлежащая правосудию Турского архиепископства. По сути же ее преступления имеет быть судима церковным судом, о чем она и была поставлена нами в известность.

После того как ей были внятно прочитаны и ею хорошо усвоены: во-первых, прошение города, во-вторых, жалобы, обвинения, свидетельства, против нее изложенные в двадцати двух тетрадах мэтром Турнебушем, о чем было ранее упомянуто, мы, призывая имя божье и святую церковь, приняли решение обнаружить истину посредством допроса названной обвиняемой.

Во-первых, мы спросили обвиняемую, из какой страны и города она родом.

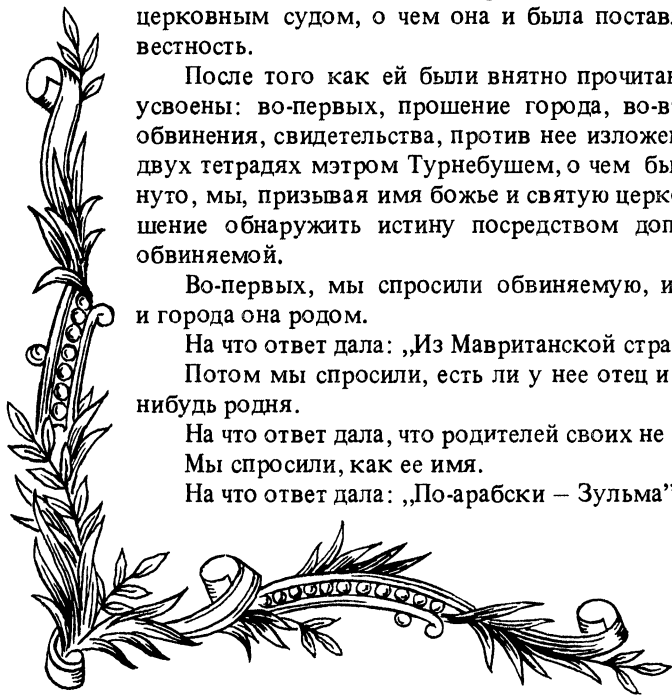
На что ответ дала: „Из Мавританской страны”.

Потом мы спросили, есть ли у нее отец и мать или какая-нибудь родня.

На что ответ дала, что родителей своих не знает.

Мы спросили, как ее имя.

На что ответ дала: „По-арабски — Зульма”.



Мы спросили, откуда она знает наш язык.

На что ответ дала: „Знаю, потому что переселилась в вашу страну”.

Мы спросили, когда это было.

На что ответ дала: „Приблизительно двенадцать лет тому назад”.

Мы спросили, сколько лет ей было тогда.

На что ответ дала: „Пятнадцать лет без малого”.

Мы сказали: „Итак, вы признаете, что вам двадцать семь лет?”

На что ответ дала: „Признаю”.

Мы сказали ей, что она та самая мавританка, найденная у подножия статуи владычицы-девы, крещенная архиепископом; восприемниками ее были покойный сенешал де ла Рош-Корбон и госпожа д'Азе, его супруга. Мы сказали ей, что она была отдана в монастырь кармелиток, где дала обет девственности, бедности, молчания и любви к господу, под благим покровительством святой Клары.

На что ответ дала: „Это правда”.

Тогда мы спросили, признает ли она за правду показания высокочтимой и благородной госпожи аббатисы монастыря кармелиток, а также показания Жакетты, по прозвищу Чумичка, кухонной судомойки.

На что ответ дала, что большей частью это правда.

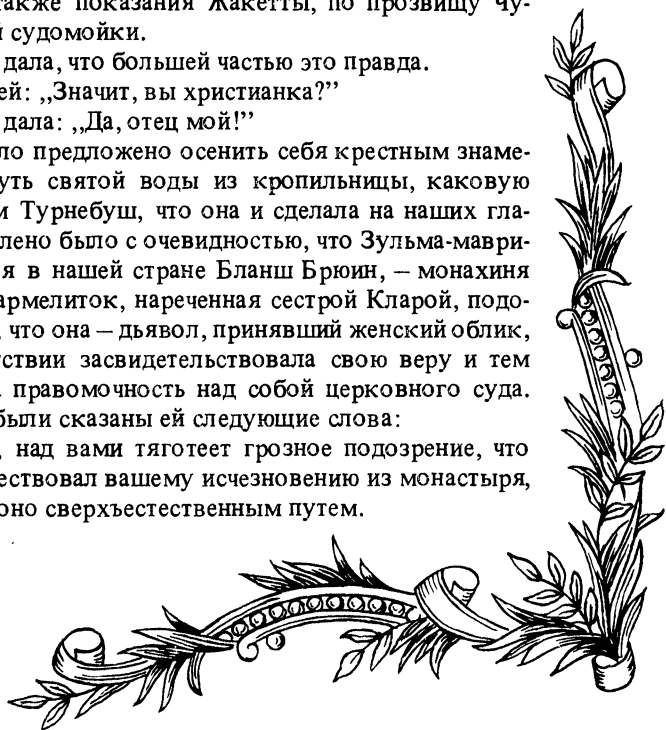
Мы сказали ей: „Значит, вы христианка?”

На что ответ дала: „Да, отец мой!”

Тогда ей было предложено осенить себя крестным знаменем и почерпнуть святой воды из кропильницы, каковую подал ей Гильом Турнебуш, что она и сделала на наших глазах, чем установлено было с очевидностью, что Зульма-мавританка, именуемая в нашей стране Бланш Брюин, — монахиня из монастыря кармелиток, нареченная сестрой Klarой, подозреваемая в том, что она — дьявол, принявший женский облик, в нашем присутствии засвидетельствовала свою веру и тем самым признала правомочность над собой церковного суда.

Тогда нами были сказаны ей следующие слова:

— Дочь моя, над вами тяготеет грозное подозрение, что дьявол споспешествовал вашему исчезновению из монастыря, ибо свершилось оно сверхъестественным путем.



На что ответ дала, что бегство ее произошло вполне естественным путем — через выходную дверь, после вечерни, под плащом монаха-доминиканца Жеана де Марселис, посетившего монастырь. Доминиканец поселил ее в своей каморке на улице Купидона, поблизости одной из городских башен. Сей монах длительно и упорно обучал ее любовным ласкам, о коих в то время она не имела никакого представления. К этим ласкам она чрезвычайно пристрастилась и находила в них великую приятность. Мессир Амбуаз увидел ее в окошко и воспыпал к ней страстью. Она полюбила его от всего сердца, больше, чем монаха, и бежала из конуры, где доминиканец прятал ее удовольствия своего ради. Оттуда она попала в Амбуаз, где развлекалась охотой, танцами и имела наряды королевской пышности. Однажды мессир де ла Рош-Позе был приглашен бароном Амбуазом попить и повеселиться. Барон Амбуаз, без ведома ее, показал ее приятелю, когда она нагая выходила из ванны. Увидев ее, мессир де ла Рош-Позе охвачен был любовным недугом и на следующий же день сразил на поединке барона Амбуаза, а ее против воли, не внимая ее слезам, увез с собой в святую землю, где она вела жизнь женщин, чья красота привлекала к ним всеобщую любовь и поклонение. После многих приключений вернулась она, обвиняемая, в нашу страну, презрев мрачные предчувствия, ибо такова была воля ее господина и повелителя барона де Бюэля, чахнувшего в азиатской стране от тоски по родному замку. Он обещал оградить ее от всяких преследований. Она доверилась ему, тем паче, что любила его крепко. Но по приезде своем в эту страну рыцарь де Бюэль, к великому ее прискорбию, занемог и скончался; не прибегал он ни к каким лекарям, невзирая на настойчивые ее мольбы, ибо не навидел врачей, знахарей и аптекарей, и сие есть истинная правда.

Тогда мы спросили обвиняемую, признает ли она за правду все сказанное добрым рыцарем Гардуэном и хозяином гостиницы Тортебра. На что ответ дала, что признает сказанное правильным в большинстве своем, но многое в то же время назвала злословием, клеветой и глупостью. Тогда обвиняемой было предложено нами заявить, была ли у нее любовь и плотская близость со всеми теми рыцарями и про-



чими, о чем свидетельствуют жалобы и заявления жителей города Тура. На что она весьма дерзко ответила: „Насчет любви — признаюсь, насчет плотской близости — не помню”.

Тогда мы сказали, что все те мужчины умерли по ее вине. На что ответ дала, что неповинна в их смерти, ибо всегда отказывала им. И чем более избегала их, тем они яростнее ее домогались, но когда овладевали ею, то, по милости божией, она отдавалась любви от всего сердца, ибо испытывала радости, ни с чем не сравнимые. Затем она заявила, что созналась в тайных чувствах своих лишь потому, что призвали ее говорить всю правду и она говорила, страшась костра и палачей.

Тогда мы спросили ее, под страхом пыток, что она имела в чувствах, когда какой-нибудь благородный рыцарь умирал вследствие близости с нею. На что ответила, что сие повергало ее в тоску и она просила себе смерти и молила бога, святую деву и угодников принять ее к себе в рай, тем паче, что встречалась лишь с мужчинами прекрасной и чистой души, и, видя их гибель, премного скорбела, считая себя вредоносным созданием, жертвой злого рока, который передавался другим, как чума.

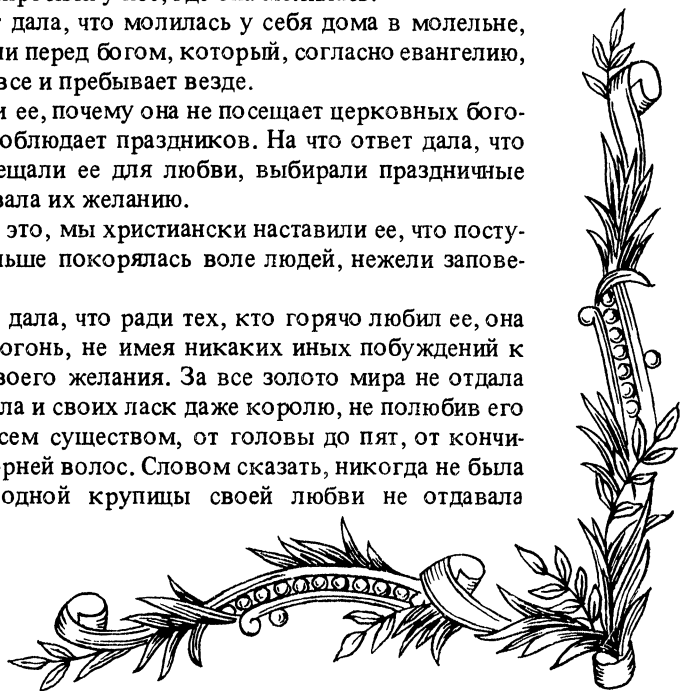
И тогда мы спросили у нее, где она молилась.

На что ответ дала, что молилась у себя дома в молельне, преклоняя колени перед богом, который, согласно евангелию, видит и слышит все и пребывает везде.

Мы спросили ее, почему она не посещает церковных богослужений и не соблюдает праздников. На что ответ дала, что те, которые посещали ее для любви, выбирали праздничные дни, и она следовала их желанию.

Возражая на это, мы христиански наставили ее, что поступая так, она больше покорялась воле людей, нежели заповедям божьим.

На что ответ дала, что ради тех, кто горячо любил ее, она бросилась бы в огонь, не имея никаких иных побуждений к любви, кроме своего желания. За все золото мира не отдала бы она своего тела и своих ласк даже королю, не полюбив его всем сердцем, всем существом, от головы до пят, от кончиков ногтей до корней волос. Словом сказать, никогда не была продажной, ни одной крупичи своей любви не отдавала

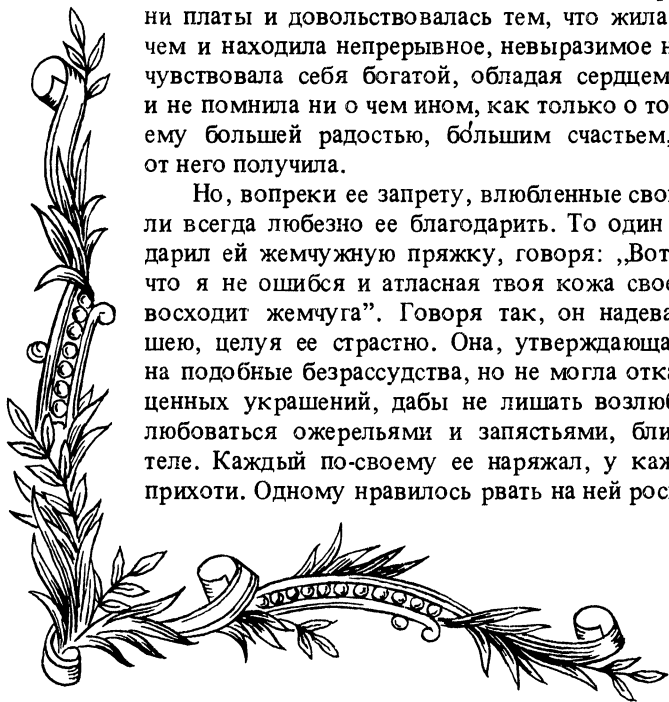


мужчине, не избранному ею. И тот, кто хоть один час держал ее в своих объятиях или поцеловал ее хоть однажды в уста, обладал ею до конца своих дней.

Мы спросили, откуда у нее драгоценности, золотые и серебряные блюда, драгоценные камни, роскошная утварь, ковры и прочее — стоимостью в двести тысяч дублонов, согласно оценке, каковые вещи, обнаруженные в ее жилище, переданы в казну капитула. На что ответ дала, что на нас она надеется, как на самого бога, но не смеет отвечать на этот вопрос, ибо он касается одной из сладчайших сторон любви, которой она неизменно жила.

Спрошенная вторично, она ответила, что если б судья знал, каким обожанием она окружала возлюбленного, с какой покорностью следовала за ним во всех его начинаниях, благих и скверных, если б он знал, с каким усердием ему подчинялась, с какой радостью исполняла желания возлюбленного, внимая, как закону, каждому слову, которым он дарил ее, если б судья знал, каким поклонением пользовался этот мужчина, то мы сами, старый судья, сочли бы вслед за ее возлюбленным, что никакими деньгами не оплатить эту великую привязанность, которой ищут все мужчины. Затем она сказала, что никогда ни у одного из них не просила ни подарка, ни платы и довольствовалась тем, что жила в их сердцах, в чем и находила непрерывное, невыразимое наслаждение. Она чувствовала себя богатой, обладая сердцем возлюбленного, и не помнила ни о чем ином, как только о том, чтобы воздать ему большей радостью, большим счастьем, нежели то, что от него получила.

Но, вопреки ее запрету, влюбленные своим долгом считали всегда любезно ее благодарить. То один приходил к ней, дарил ей жемчужную пряжку, говоря: „Вот доказательство, что я не ошибся и атласная твоя кожа своей белизной превосходит жемчуга“. Говоря так, он надевал жемчуг ей на шею, целуя ее страстно. Она, утверждающая сие, сердилась на подобные безрассудства, но не могла отказаться от драгоценных украшений, дабы не лишать возлюбленного улады любоваться ожерельями и запястьями, блиставшими на ее теле. Каждый по-своему ее наряжал, у каждого были свои прихоти. Одному нравилось рвать на ней роскошные одежды.



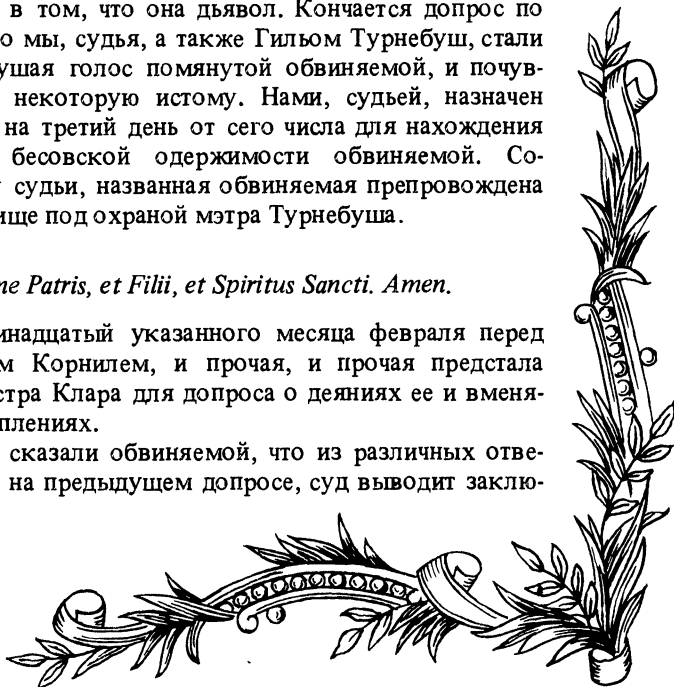
в которые она облекалась лишь ему в угоду. Другой украшал ее сапфирами, покрывал ими ее руки, ноги, шею, волосы. Иной укладывал ее на ковер, завернув в длинный хитон из черного шелка или бархата, и целыми днями мог восторгаться совершенством ее красоты. Все прихоти ее любовников доставляли ей неизъяснимое удовольствие, ибо сие радовало их. Затем она сказала, что ничто нам так не мило, как наше собственное наслаждение, и мы стремимся к тому, чтоб все сверкало красотой и дышало гармонией вокруг нас и в наших сердцах, а потому все ее любовники одинаково желали украсить ее жилище самыми богатыми дарами; побуждаемые этим желанием, с такою же охотой, как и она сама, убирали они золотом ее жилище, расстилали шелка, расставляли цветы. Ввиду того, что это никому не мешало, не было у нее ни намерения, ни возможности запретить рыцарю или даже влюбленному в нее богатому горожанину поступать по своей воле, и таким образом она принуждена была принимать от них в дар редкие благовония и иные приятности, от которых сама была без ума; таково происхождение золотых блюд, ковров и драгоценных камней, изъятых у нее по приказу церковного суда.

Здесь кончается первый допрос названной сестры Клары, подозреваемой в том, что она дьявол. Кончается допрос по той причине, что мы, судья, а также Гильом Турнебуш, стали изнемогать, слушая голос помянутой обвиняемой, и почувствовали даже некоторую истому. Нами, судьей, назначен второй допрос на третий день от сего числа для нахождения доказательств бесовской одержимости обвиняемой. Согласно приказу судьи, названная обвиняемая препровождена обратно в узилище под охраной мэтра Турнебуша.

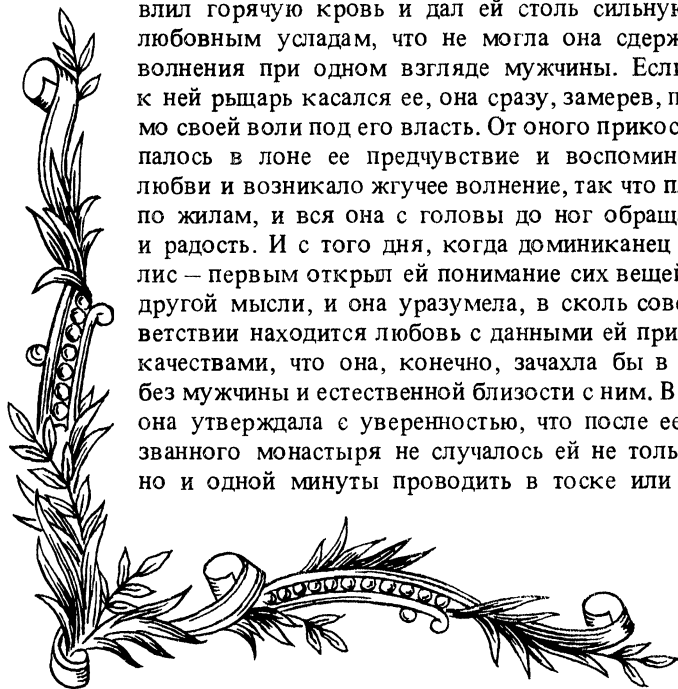
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

В день тринадцатый указанного месяца февраля перед нами, Жеромом Корнилем, и прочая, и прочая предстала обвиняемая сестра Клара для допроса о деяниях ее и вменяемых ей преступлениях.

Мы, судья, сказали обвиняемой, что из различных ответов, данных ею на предыдущем допросе, суд выводит заклю-



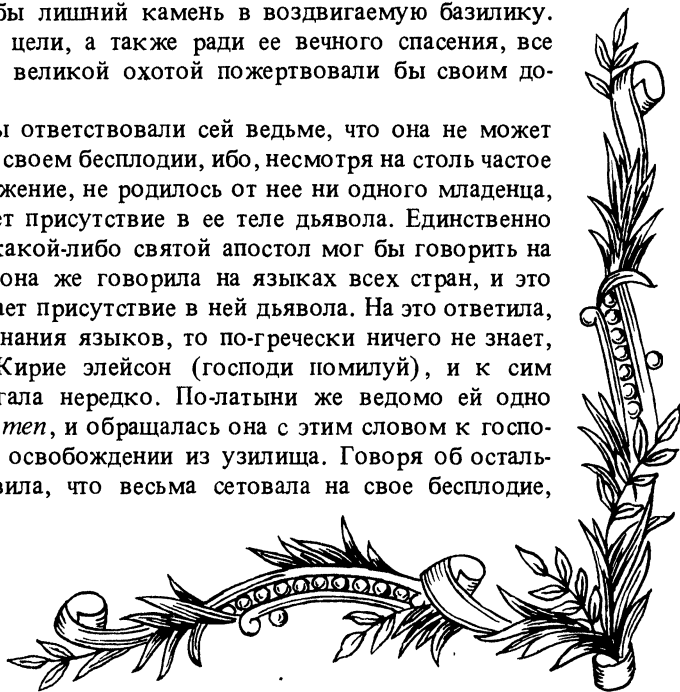
чение, что не во власти обыкновенной женщины, буде даже разрешено ей предаваться плотскому греху во угождение всем, доводить стольких до смерти, столь искусно соблазнять чарами, — невозможно сие без содействия вошедшего в нее беса, коему продана ее душа по взаимному с ним договору. Отсюда следует, что под внешним ее обличем живет и действует дьявол, виновный в сих бесовских делах, а посему от нее требуется ныне: заявить, сколько было ей лет, когда приняла она в себя дьявола, сознаться, какие условия были заключены между нею и дьяволом, и правдиво рассказать об их совместных злых кознях. И тут обвиняемая заверила, что готова отвечать нам, смертному, как богу, нашему общему судье, и после чего утверждала, что никогда не видела дьявола, не говорила с ним и не имела желаний его видеть; никогда не занималась ремеслом блудницы, ибо предавалась всевозможным наслаждениям, каковые изобретает любовь, не иначе как побуждаемая желанием того удовольствия, которое творец небесный вложил в оное занятие; и двигала ею не столько неутолимая похоть, сколько стремление излить нежность и доброту сердца на возлюбленного господина своего. Но, если таково было ее хотение, она молит нас подумать о том, что она по рождению бедная африканка, в жилы которой господь влил горячую кровь и дал ей столь сильную склонность к любовным усладам, что не могла она сдержать сердечного волнения при одном взгляде мужчины. Если вождевший к ней рыцарь касался ее, она сразу, замерев, подпадала помимо своей воли под его власть. От одного прикосновения просыпалось в лоне ее предчувствие и воспоминание всех утех любви и возникало жгучее волнение, так что пламя пробегало по жилам, и вся она с головы до ног обращалась в любовь и радость. И с того дня, когда доминиканец — монах Марселis — первым открыл ей понимание сих вещей, не стало у нее другой мысли, и она уразумела, в сколь совершенном соответствии находится любовь с данными ей природой особыми качествами, что она, конечно, зачахла бы в том монастыре без мужчины и естественной близости с ним. В доказательство она утверждала с уверенностью, что после ее бегства из названного монастыря не случилось ей не только одного дня, но и одной минуты проводить в тоске или грусти; всегда



была она весела, исполняя тем святую волю господню, пожелавшего вознаградить ее за все время, потерянное в монастыре.

На сие мы, Жером Корниль, возразили оному дьяволу, что подобный ответ есть явное богохульство, ибо все мы сотворены для вящей славы творца и рождены на свет, дабы служить господу и чтить его, помнить его благие заповеди и жить в святости, в чаянии вечного блаженства, а не валяться вечно на ложе, совершая то, что даже тварь всякая делает в положенное ей время года. На что названная сестра ответила, что всегда почитала господа во всех странах, где была, и всегда пеклась о старых и недужных, подавая им и деньгами и платьем, и сочувствовала им в их нищете, и что надеется в день Страшного суда предстать перед творцом в соупствии немалого числа добрых дел, угодных богу, кои вызывать будут о прощении ей грехов. Далее она сказала, что если б не смирение и не страх прогневить святых отцов капитула, то с превеликой радостью отдала бы она свое имущество, чтобы достроить собор святого Маврикия, и сделала бы постоянный вклад ради спасения своей души, для чего готова отрешиться от самой себя и своих радостей, и что мысль о благом деле давала бы ей двойную усладу, ибо каждая любовная ночь закладывала бы лишний камень в воздвигаемую базилику. Ради каковой цели, а также ради ее вечного спасения, все любящие ее с великой охотой пожертвовали бы своим достоянием.

На что мы ответствовали сей ведьме, что она не может оправдаться в своем бесплодии, ибо, несмотря на столь частое плотское сближение, не родилось от нее ни одного младенца, что доказывает присутствие в ее теле дьявола. Единственно Асторот или какой-либо святой апостол мог бы говорить на всех языках, она же говорила на языках всех стран, и это тоже доказывает присутствие в ней дьявола. На это ответила, что касается знания языков, то по-гречески ничего не знает, кроме лишь Кирие элейсон (господи помилуй), и к сим словам прибегала нередко. По-латыни же ведомо ей одно лишь слово: *Атеп*, и обращалась она с этим словом к господу, молясь об освобождении из узилища. Говоря об остальном, она заявила, что весьма сетовала на свое бесплодие,



и если добродетельные жены рожают, то происходит это, по ее разумению, лишь оттого, что мало радости черпают они в любви, меж тем как она наслаждается даже чрезмерно. Но такова, видно, воля господа бога, коему ведомо, что избыток счастья грозил бы миру гибелью.

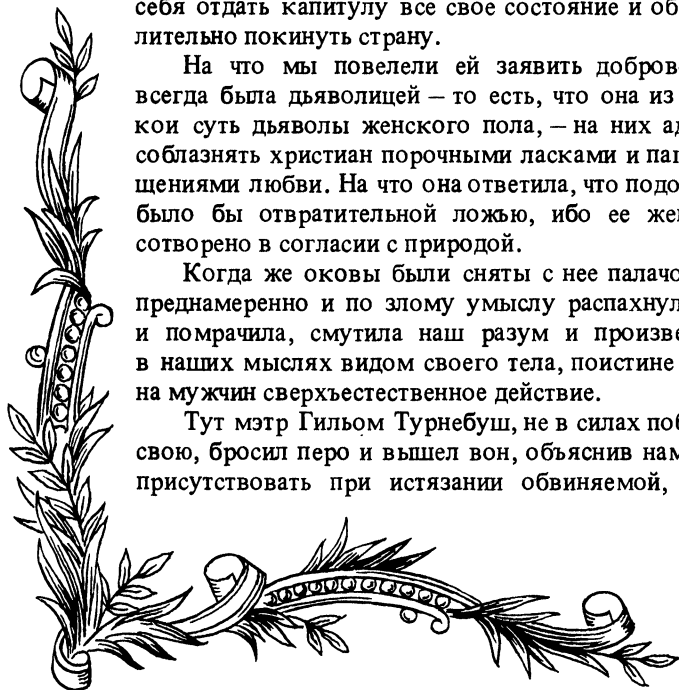
Услышав это и еще тысячи подобных объяснений, достаточно доказующих присутствие дьявола в теле оной монахини, ибо таково свойство Люцифера, что доводы его, зиждясь на ереси, кажутся правильными, мы приказали подвергнуть в нашем присутствии обвиняемую геенне и пытке, дабы смирить дьявола страданием и подчинить его церковной власти. В свидетели сего мы вызвали на допрос Франсуа де Ганжеста, врача капитула, желая поручить ему обследовать свойства женского естества (*virtutes vulvae*) обвиняемой, религии нашей ради, выяснить, не обнаружатся ли у нее какие-либо приспособления для ловли особым путем христианских душ.

Мавританка сначала горько плакала, потом, несмотря на оковы, бросилась на колени с криком и стонами, моля об отмене нашего приказа, доказывая, что ее тело в таком состоянии слабости и кости ее столь хрупки, что расколются подобно стеклу. Потом она предложила в качестве выкупа за себя отдать капитулу все свое состояние и обещала незамедлительно покинуть страну.

На что мы повелели ей заявить добровольно, что она всегда была дьяволицей — то есть, что она из породы ведьм, кои суть дьяволы женского пола, — на них адом возложено соблазнять христиан порочными ласками и пагубными обольщениями любви. На что она ответила, что подобное заявление было бы отвратительной ложью, ибо ее женское естество сотворено в согласии с природой.

Когда же оковы были сняты с нее палачом, обвиняемая преднамеренно и по злому умыслу распахнула свои одежды и помрачила, смутила наш разум и произвела потрясение в наших мыслях видом своего тела, поистине оказывающего на мужчин сверхъестественное действие.

Тут мэтр Гильом Турнебуш, не в силах побороть природу свою, бросил перо и вышел вон, объяснив нам, что не может присутствовать при истязании обвиняемой, не испытывая



невообразимого соблазна, язвящего его мозг, ибо чувствует, как его одолевает бес.

Тут закончился второй допрос, ввиду того что гонец и привратник капитула доложили, что мэтр Франсуа де Ганжест в отъезде. Пытка и допрос отложены до завтра и произойдут в полдень после обедни. Сие занесено нами, Жеромом Корнилем, в отсутствие мэтра Гильома Турнебуша, что подписью удостоверяю

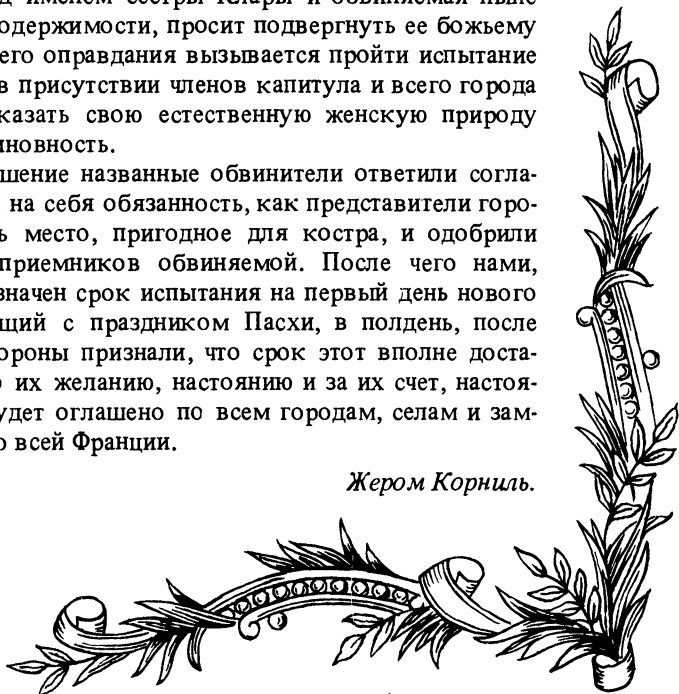
Жером Корниль, великий пенитенциарий.

АКТ

Сего дня четырнадцатого числа месяца февраля пришли к нам, Жерому Корнилю, следующие граждане: Жеан Рибу, Антуан Жаан, Марген Мопертюи, Жером Железная Петля, Жак де Виль д'Омер и мессир д'Идре, замещающий мэра города Тура в его отсутствие. Каковым жалобщикам, подписавшим прошение о судебном преследовании, составленное в городской ратуше, мы объявили нижеследующее. Бланш Брюин, постригшаяся, как она ныне призналась, в монастыре кармелиток под именем сестры Клары и обвиняемая ныне в дьявольской одержимости, просит подвергнуть ее божьему суду и для своего оправдания вызывается пройти испытание водой и огнем в присутствии членов капитула и всего города Тура, дабы доказать свою естественную женскую природу и всю свою невиновность.

На сие прошение названные обвинители ответили согласием и приняли на себя обязанность, как представители города, подготовить место, пригодное для костра, и одобрили назначение восприемников обвиняемой. После чего нами, судьей, был назначен срок испытания на первый день нового года, совпадающий с праздником Пасхи, в полдень, после обедни. Обе стороны признали, что срок этот вполне достаточен. Согласно их желанию, настоянию и за их счет, настоящее решение будет оглашено по всем городам, селам и замкам Турени и по всей Франции.

Жером Корниль.



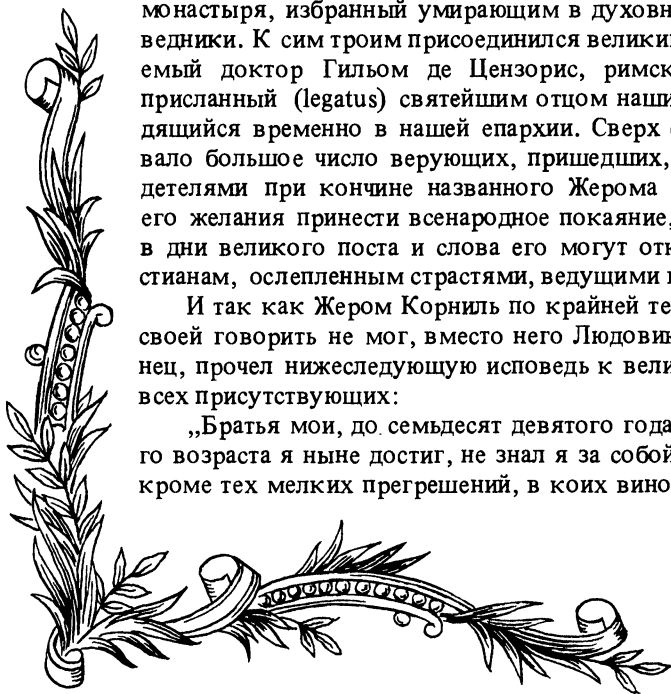
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАЛА ВЕДЬМА, ДАБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ДУШОЙ
СТАРОГО СУДЬИ, И ЧТО ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИЕ СЕГО
ДЬЯВОЛЬСКОГО НАВАЖДЕНИЯ

Сие есть предсмертная исповедь, совершенная в первый день марта месяца 1271 года от рождения господя нашего спасителя Жеромом Корнилем, священником, каноником капитула собора св. Маврикия, великим пенитенциарием, признающим себя сих званий и сана недостойным. Онный Жером Корниль, достигнув последнего часа жизни и будучи отягчен бременем прегрешений, злодеяний, беззаконий и мерзости всякой, пожелал, чтоб признания его были обнаружены и сим послужили торжеству истины, славы божьей и правосудия церковного суда, дабы снискать облегчения кары своей на том свете.

Для выслушания исповеди названного Жерома Корниля, лежавшего на смертном одре, были призваны Жеан де ла Гэ (Гаагский) — викарий церкви св. Маврикия, Пьер Гюар — казначей капитула, назначенный нашим господином архиепископом Жеаном де Монсоро записывать слова умирающего, засим доминиканец Людовик По, монах Мармустьерского монастыря, избранный умирающим в духовные отцы и исповедники. К сим троим присоединился великий ученый, уважаемый доктор Гильом де Цензорис, римский архидиакон, присланный (legatus) святейшим отцом нашим папой и находящийся временно в нашей епархии. Сверх сего присутствовало большое число верующих, пришедших, дабы стать свидетелями при кончине названного Жерома Корниля, ввиду его желания принести всенародное покаяние, ибо он отходит в дни великого поста и слова его могут открыть глаза христианам, ослепленным страстями, ведущими в ад.

И так как Жером Корниль по крайней телесной слабости своей говорить не мог, вместо него Людовик По, доминиканец, прочел нижеследующую исповедь к великому смятению всех присутствующих:

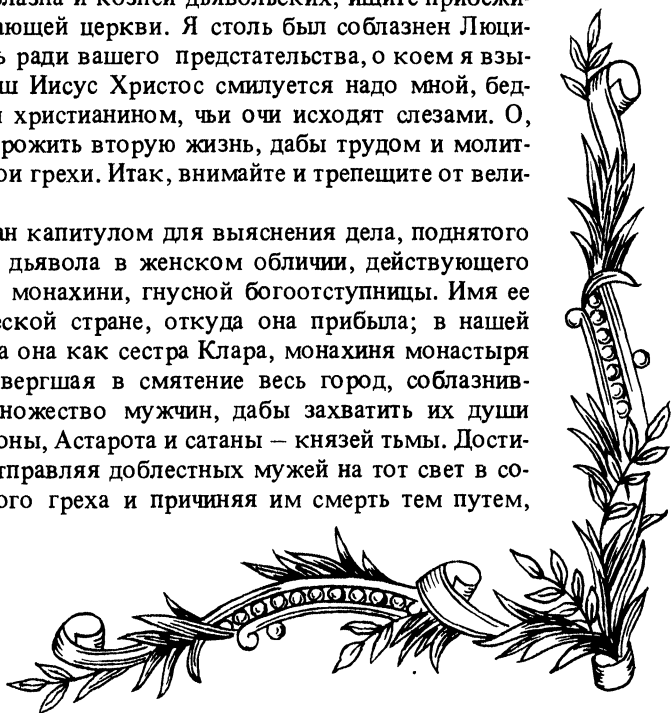
„Братья мои, до семьдесят девятого года жизни, какового возраста я ныне достиг, не знал я за собой особых грехов, кроме тех мелких прегрешений, в коих виновен перед госпо-



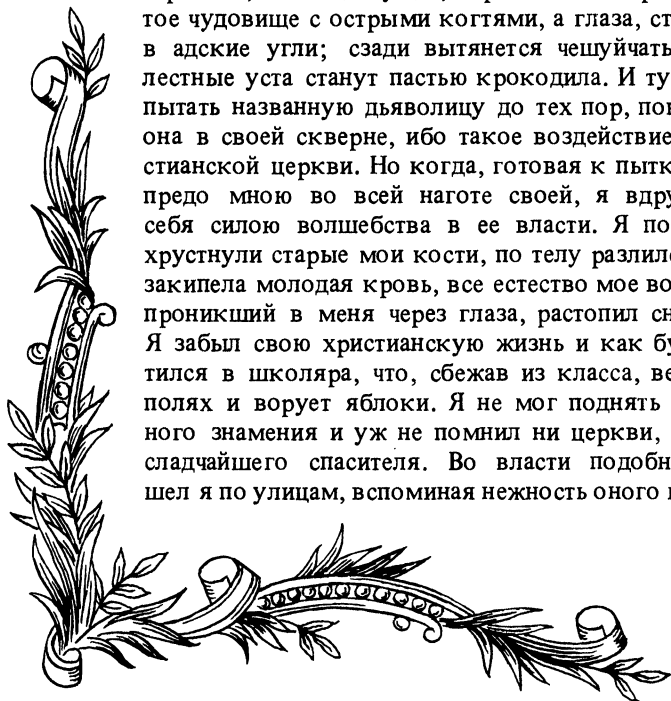
дом каждый христианин, сколь праведен бы он ни был, и подобные грехи не столь уж трудно искупить покаянием.

Полагаю, что вел я жизнь христианскую и заслужил то звание и положение, кои присуждены мне всей епархией, где я облечен был высоким саном великого пенитенциария, коего я оказался недостойн. Ныне же, страшась предстать пред лицом господя, трепеща перед муками, кои уготованы злодеям и клятвопреступникам в аду, я решил, приближаясь к последнему моему часу, облегчить чудовищный груз своих злодеяний самым искренним покаянием, на какое я только способен. Посему вымолил я у церкви, той церкви, от коей отступился, кою предал, поправ ее правосудие и могущество, разрешение снизойти к моей просьбе и позволить мне, по примеру древних христиан, исповедаться всенародно. Хотелось бы мне найти в себе довольно сил, чтобы раскаяние свое усугубить: встать на паперти собора, где и подвергнуться глумлению от всех братьев моих; целый день провел бы я там, коленопреклоненный, со свечой в руке, с вервием вокруг шеи, босой, ибо много блуждал я по адским тропам, нарушая заповеди господни. Но да будет в этом великом крушении зыбкой моей добродетели поучение вам, — страшитесь, братья, соблазна и козней дьявольских, ищите прибежище в единоспасающей церкви. Я столь был соблазнен Люцифером, что лишь ради вашего предстательства, о коем я взываю, господь наш Иисус Христос смиляется надо мной, бедным заблудшим христианином, чьи очи исходят слезами. О, если бы мог я прожить вторую жизнь, дабы трудом и молитвою искупить мои грехи. Итак, внимайте и трепещите от великого страха.

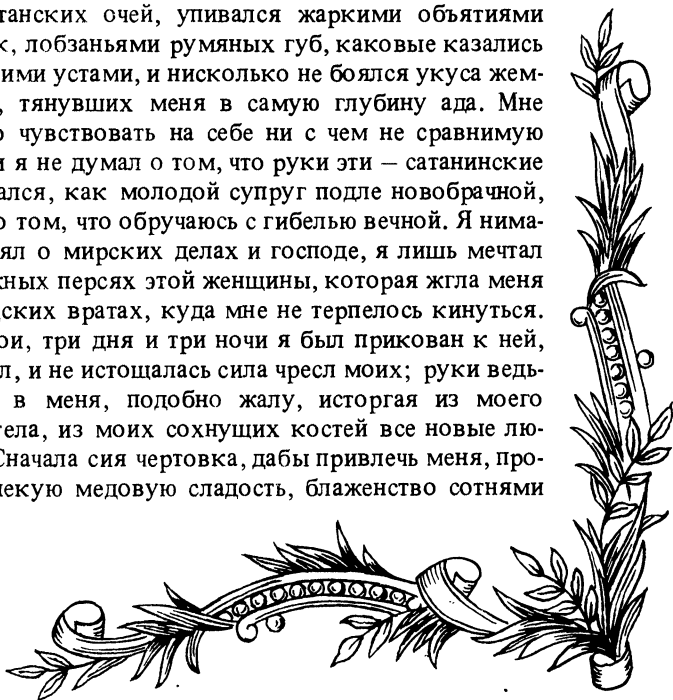
Я был избран капитулом для выяснения дела, поднятого против некоего дьявола в женском обличи, действующего в образе беглой монахини, гнусной богоотступницы. Имя ее Зульма в языческой стране, откуда она прибыла; в нашей епархии известна она как сестра Клара, монахиня монастыря кармелиток, повергшая в смятение весь город, соблазнившая великое множество мужчин, дабы захватить их души во власть Маммоны, Астароты и сатаны — князей тьмы. Достигала она сего, отправляя доблестных мужей на тот свет в состоянии смертного греха и причиняя им смерть тем путем,



каковым дается жизнь. А я, судья, старец, чье сердце остужено годами, попался на закате дней своих в ту же западню, и потерял разум, и предательски нарушил обязанности, возложенные на меня капитулом. Узнайте же, сколь лукав дьявол, и остерегайтесь его козней. На первом допросе оной ведьмы я увидел в ужасе, что оковы не оставили следа на ее ногах и руках, и я был поражен скрытой ее силой при внешней ее слабости. Ум мой помрачился внезапно, когда я увидел телесные совершенства, коими облекся дьявол. Я внимал музыке ее речей, согревавших меня от головы до ног, голос ее вызывал во мне желание быть молодым, дабы отдаться этому дьяволу, и мне уже казалось, что единый час, проведенный с нею, радость любви в ее нежных объятиях стоят вечного блаженства. Тогда пренебрег я твердостью духа, коей должен быть вооружен судья. Сей дьявол, допрашиваемый мной, опутал меня такими словами, что на втором допросе уверился я, будто совершу преступление, ежели подвергну пыткам и мукам хрупкое создание, плакавшее подобно невинному ребенку. Тогда голос свыше указал мне исполнить долг свой, ибо позлащенные словеса и речи, звучавшие, будто арфа небесная, суть дьявольские уловки; сие тело, столь стройное, столь цветущее, обратится в отвратительное косматое чудовище с острыми когтями, а глаза, столь ласковые, — в адские угли; сзади вытянется чешуйчатый хвост, а прелестные уста станут пастью крокодила. И тут я вновь решил пытать названную дьяволицу до тех пор, пока не признается она в своей скверне, ибо такое воздействие принято в христианской церкви. Но когда, готовая к пытке, она предстала предо мною во всей наготе своей, я вдруг почувствовал себя силою волшебства в ее власти. Я почувствовал, как хрустнули старые мои кости, по телу разлился жар; в сердце закипела молодая кровь, все естество мое возликовало, и яд, проникший в меня через глаза, растопил снега моих седин. Я забыл свою христианскую жизнь и как будто вновь обратился в школяра, что, сбежав из класса, весело резвится в полях и ворует яблоки. Я не мог поднять руки для крестного знамения и уж не помнил ни церкви, ни бога-отца, ни сладчайшего спасителя. Во власти подобного помрачения шел я по улицам, вспоминая нежность одного голоса, нашепты-



вающего мне мерзкие слова, и гнусную красоту тела сего демона. И вот тогда-то схватил меня дьявол, воткнувши свои вилы в мой мозг, как топор в сердцевину дуба, и я почувствовал, что меня словно силой толкают в узилище, невзирая на моего ангела-хранителя, который то и дело дергал меня за руку и защищал от соблазна, но я противился его святому увещанию и помощи, и вот потащили меня миллионы когтей, кои вонзились мне в сердце, потащили прямо в темницу. И двери ее открылись предо мною, но не узнал я мрачных ее сводов, ибо ведьма с помощью злых духов или колдовства построила себе шатер из пурпурных шелковых тканей, полный аромата цветов и благовоний; в шатре возлежала она, роскошно одетая, и не было на ней ни ошейника, ни цепей на руках и ногах. Я позволил снять с себя рясу и опустился в душистую ванну, после чего дьяволица обрядила меня в мавританское платье и угостила редкостными яствами, поданными на драгоценных блюдах и в золотых чашах... Азиатские вина, волшебное пение и музыка, тысячи лстивых слов проникали через мой слух в мою душу, а возле меня была она, ведьма, и ее нежные и мерзостные прикосновения вызывали в моем теле все новые и новые желания. Мой ангел-хранитель покинул меня! С той минуты я жил лишь страшными лучами мавританских очей, упивался жаркими объятиями прелестных рук, лобзаннями румяных губ, каковые казались мне человеческими устами, и нисколько не боялся укуса жемчужных зубов, тянувших меня в самую глубину ада. Мне приятно было чувствовать на себе ни с чем не сравнимую ласку ее рук, и я не думал о том, что руки эти — сатанинские когти, я загорался, как молодой супруг подле новобрачной, не помышляя о том, что обручаюсь с гибелью вечной. Я нисколько не помышлял о мирских делах и господе, я лишь мечтал о любви, о нежных персях этой женщины, которая жгла меня огнем, и об адских вратах, куда мне не терпелось кинуться. Увы, братья мои, три дня и три ночи я был прикован к ней, любодействовал, и не истощалась сила чресл моих; руки ведьмы вонзались в меня, подобно жалу, исторгая из моего дряхлеющего тела, из моих сохнувших костей все новые любовные соки. Сначала сия чертовка, дабы привлечь меня, пролила в меня некую медовую сладость, блаженство сотнями



игл пронзало мои кости, и мозг костей, и жилы, и за оной игрой воспламенялась помраченная мысль моя, моя кровь и плоть. И начал я поистине гореть адским огнем, словно клещами растягивались мои суставы, и несказанная, нестерпимая мерзость сладострастия разрешила узы моей жизни. Волосы сей дьяволицы, кои она рассыпала по бедному моему телу, лизали меня языками пламени, и косы ее казались мне прутьями раскаленной решетки. В этом смертельном наслаждении я видел перед собой ее пылающее лицо, она смеялась и говорила мне дразнящие слова. Я ее рыцарь, ее властелин, ее копье, светлый день, ее радость, ее молния, ее жизнь, и лучше меня не было у нее возлюбленного. Она хочет еще теснее слиться со мной, войти в меня, или пусть лучше я войду в нее. Слушая то, я, ужаленный ее языком, высасывающим мою душу, еще глубже опускался в ад, где не мог сыскать дна. И когда у меня в жилах не осталось ни единой капли крови, когда душа моя едва трепетала в теле и жизнь стала меня покидать, чертовка, все такая же свежая, белая, румяная, сияющая, заулыбалась и сказала:

— Бедный дурень, вот ты думаешь, что я дьявол, а если я скажу тебе: продай мне душу свою за один поцелуй, разве ты не сделаешь того с радостью?

— Да, — сказал я.

— А если б тебе пришлось, чтобы и впредь быть со мною, испить крови новорожденных младенцев, набираясь сил, которые будешь расточать на моем ложе, ужели не стал бы ты сосать эту кровь?

— Да, — сказал я.

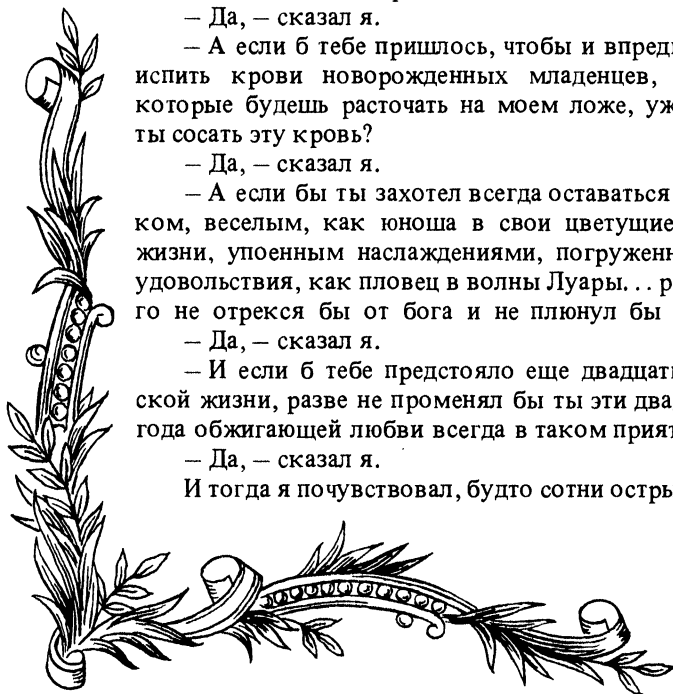
— А если бы ты захотел всегда оставаться моим любовником, веселым, как юноша в свои цветущие годы, полным жизни, упоенным наслаждениями, погруженным в глубины удовольствия, как пловец в волны Луары. . . разве ты для этого не отрекся бы от бога и не плюнул бы в лицо Иисуса?

— Да, — сказал я.

— И если б тебе предстояло еще двадцать лет монастырской жизни, разве не променял бы ты эти двадцать лет на два года обжигающей любви всегда в таком приятном движении?

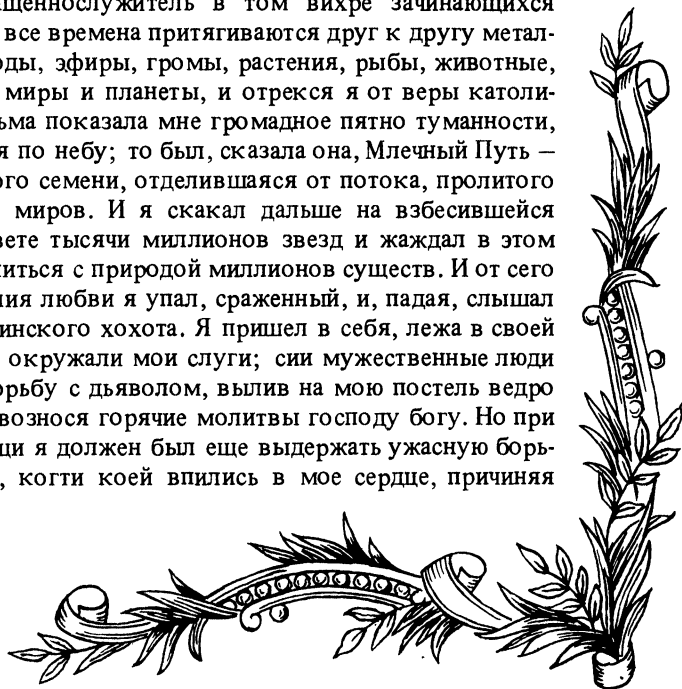
— Да, — сказал я.

И тогда я почувствовал, будто сотни острых когтей разди-



рают мою грудь и тысячи клювов хищных птиц клюют ее с клекотом. Затем меня внезапно подняли над землей, ведьма уносила меня, махая крылами, и говорила: „Скачи, скачи, мой наездник, крепко сиди в седле, держись за гриву, за шею твоей кобылицы, мчись, мой наездник, скачи, смотри — все скачет...”

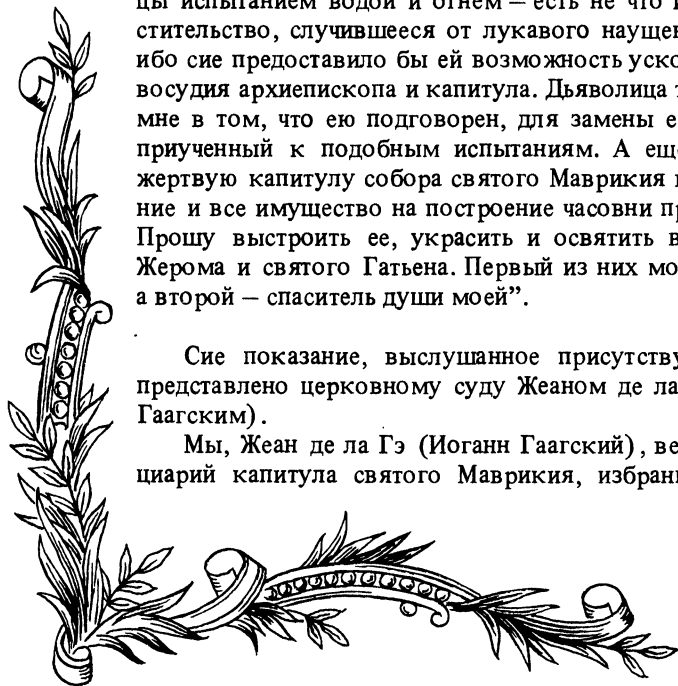
И я увидел, как в тумане, земные города и, получив особый дар прозрения, увидел многих и многих мужчин в объятиях ведьм, блудодействующих в великой разнузданности, выкрикивая слова любви, и все, вцепившись друг в друга, сопрягались в страшных корчах. Тогда моя кобылица, с головой мавританки, мчась над облаками, показала мне землю, соединявшуюся с солнцем, порождавшим мириады звезд, где миры женского начала сочетались с мирами мужского начала, и вместо слов, кои говорят твари божии, оные миры грохотали громами, меча молнии. Я неся все выше и видел над вселенной женское естество всех вещей, сочетающееся в любви с державным источником движения. И ведьма, издеваясь, кинула меня в самое средоточие сей ужасающей вековой схватки, и я пропал там, как песчинка в море. А моя белая кобылица подгоняла меня: „Скачи, скачи, мой славный наездник, смотри — все скачет”. И уразумел я тогда, сколь ничтожен священнослужитель в том вихре зачинающихся миров, где во все времена притягиваются друг к другу металлы, камни, воды, эфиры, громы, растения, рыбы, животные, люди и духи, миры и планеты, и отрекся я от веры католической. И ведьма показала мне громадное пятно туманности, растекающееся по небу; то был, сказала она, Млечный Путь — капля небесного семени, отделившаяся от потока, пролитого в сопряжении миров. И я скакал дальше на взбесившейся ведьме при свете тысячи миллионов звезд и жаждал в этом стремлении слиться с природой миллионов существ. И от сего великого усилия любви я упал, сраженный, и, падая, слышал раскаты сатанинского хохота. Я пришел в себя, лежа в своей постели. Меня окружали мои слуги; сии мужественные люди вступили в борьбу с дьяволом, вылив на мою постель ведро святой воды, вознося горячие молитвы господа богу. Но при всей их помощи я должен был еще выдержать ужасную борьбу с ведьмой, когти коей впились в мое сердце, причиняя



мне невыносимые муки. Однако ж, ободренный словами моих слуг, родных и друзей, силятся я перекреститься, но ведьма, прячась в моей постели, в изголовье, в ногах — везде, щекотала меня, подсмеиваясь, кривляясь, вызывая передо мной множество бесстыдных видений и возбуждая во мне гнусные желания. Наконец, монсеньор архиепископ сжалился надо мной и велел принести ко мне мощи святого Гатъена, и как только святой ларец коснулся моего изголовья, названная дьяволица обратилась в бегство, оставив после себя адский серный смрад, от коего у моих слуг и друзей першило в горле целые сутки. Божественный свет, просиявший в моей душе, открыл мне, что я на пороге смерти вследствие моих прегрешений и борения моего с лукавым. И я молился о даровании мне милости продлить дни мои хоть немного, во славу господя и его церкви, во имя неоцененных заслуг Иисуса, на кресте умершего ради спасения всех христиан. За сию молитву была мне дарована милость восстановления моих сил для покаяния в грехах и позволено воззвать ко всем членам капитула собора святого Маврикия, дабы они содействовали мне в спасении из чистилища, где в страшных муках предстоит мне искупить грехи мои. В конце сей исповеди заявляю, что решение мое призвать суд божий по делу названной дьяволицы испытанием водой и огнем — есть не что иное, как попустительство, случившееся от лукавого наущения дьяволицы, ибо сие предоставило бы ей возможность ускользнуть от правосудия архиепископа и капитула. Дьяволица тайно созналась мне в том, что ею подговорен, для замены ее, иной дьявол, приученный к подобным испытаниям. А еще заявляю, что жертвую капитулу собора святого Маврикия все мое состояние и все имущество на построение часовни при оном храме. Прошу выстроить ее, украсить и освятить в честь святого Жерома и святого Гатъена. Первый из них мой покровитель, а второй — спаситель души моей”.

Сие показание, выслушанное присутствующими, было представлено церковному суду Жеаном де ла Гэ (Иоганном Гагским).

Мы, Жеан де ла Гэ (Иоганн Гагский), великий пенитенциарий капитула святого Маврикия, избранный собранием



всех членов капитула, согласно правилам и обычаю сего храма и назначенный возобновить следствие по делу дьяволицы, заключенной в темнице капитула, приказываем вновь приступить к допросам и розыску. Будут выслушаны все те граждане нашей епархии, коим известно что-либо к сему относящееся. Объявляем ранее произведенное судебное следствие, а также допросы и постановления недействительными, и от имени собрания членов капитула, решение коего непреложно, упраздняем их. Заявляем, что нет основания для божьего суда, о котором просила дьяволица, ввиду дерзко задуманного ею обмана. Сей приказ должен быть обнародован глашатаем при звуке труб в тех же местах епархии, где в прошлом месяце были обнародованы ложные решения — всего числом два, принятые по наущению дьявола, в чем и признался покойный Жером Корниль. Да помогут все христиане нашей святой церкви и да исполнят ее заповеди.

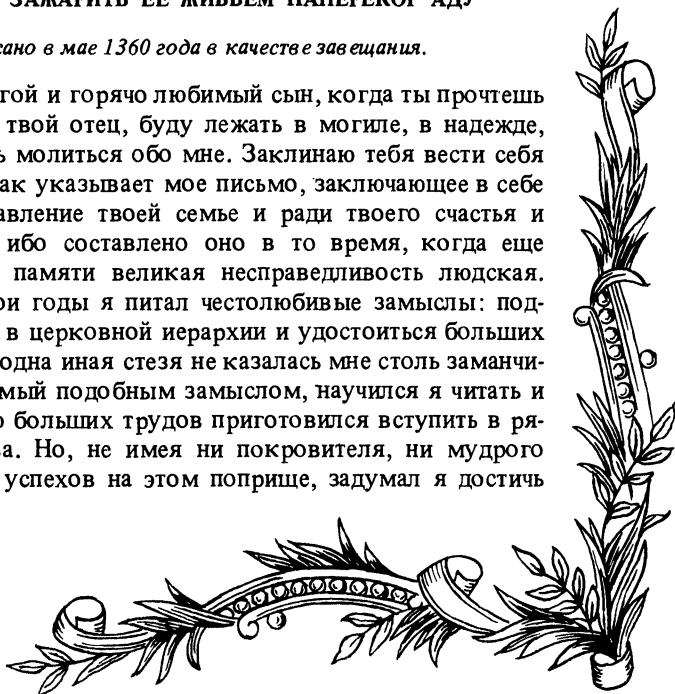
Жеан де ла Гэ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАК УСКОЛЬЗНУЛА ИЗ РУК ПРАВОСУДИЯ МАВРИТАНКА С ГОРЯЧЕЙ УЛИЦЫ И СКОЛЬ ВЕЛИКИХ ТРУДОВ СТОИЛО СЖЕЧЬ И ЗАЖАРИТЬ ЕЕ ЖИВЬЕМ НАПЕРЕКОР АДУ

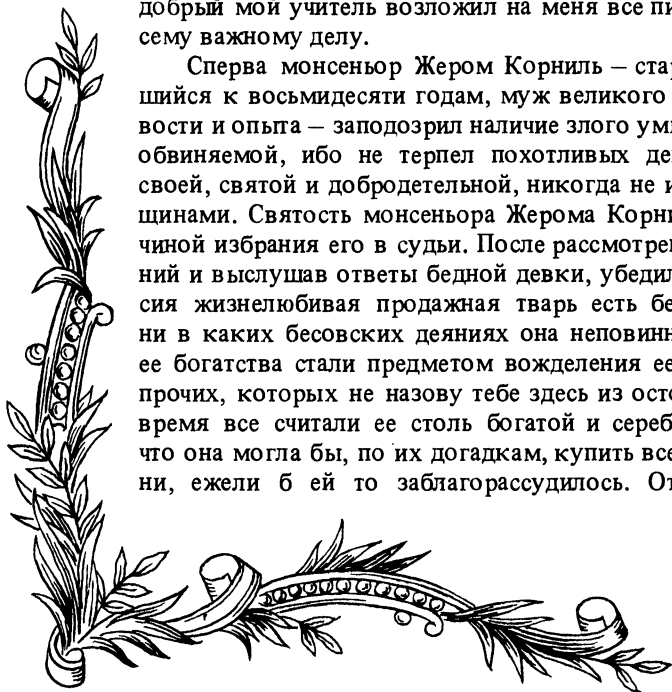
Написано в мае 1360 года в качестве завещания.

„Мой дорогой и горячо любимый сын, когда ты прочтешь эти строки, я, твой отец, буду лежать в могиле, в надежде, что ты станешь молиться обо мне. Заклинаю тебя вести себя в жизни так, как указывает мое письмо, заключающее в себе разумное наставление твоей семье и ради твоего счастья и благополучия, ибо составлено оно в то время, когда еще свежа в моей памяти великая несправедливость людская. В молодые свои годы я питал честолюбивые замыслы: подняться высоко в церковной иерархии и удостоиться больших почестей, и ни одна иная стезя не казалась мне столь заманчивой. Побуждаемый подобным замыслом, научился я читать и писать и ценою больших трудов приготовился вступить в ряды духовенства. Но, не имея ни покровителя, ни мудрого советчика для успехов на этом поприще, задумал я достичь

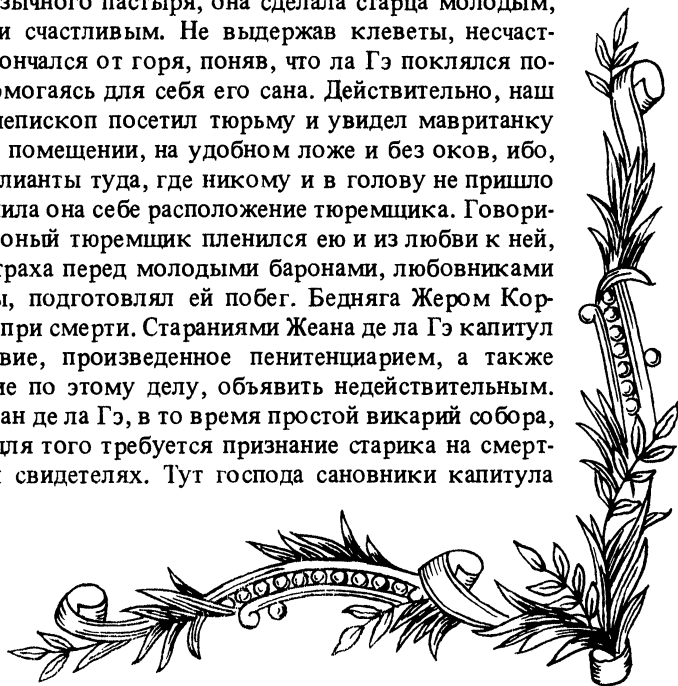


цели, предложив свои услуги в качестве секретаря, писца или рубрикатора капитулу собора св. Мартина, где числились самые богатые и влиятельные особы христианского мира. Там мог я вернее всего оказать услуги лицам высокородным и тем самым снискать себе руководителей и покровителей, с помощью коих я, приняв монашество, добился бы митры, как всякий другой, и мог бы занять где-нибудь епископское кресло. Но я, честолюбивый, метил слишком высоко, и ошибку эту указал мне сам господь на деле. Мессир Жан де Вильдомир, ставший впоследствии кардиналом, перебил мне дорогу, и я был с позором отстранен. В тот печальный час я получил поддержку и помощь доброго Жерома Корниля, пенитенциария собора, о коем я часто вам рассказывал. Добряк уговорил меня пойти в писцы в капитул св. Маврикия, архиепископства города Тура, и я с честью исполнял эту обязанность, ибо славился как искусный писец. В год, когда я должен был стать священником, произошло приснопамятное разбирательство по делу дьявола с Горячей улицы, о чем и по сей день вспоминают старики, рассказывая по вечерам молодым эту историю, каковая обошла в свое время всю Францию. Чая, что за оказанную мною услугу капитул продвинет меня на почетное место и честолюбие мое будет удовлетворено, добрый мой учитель возложил на меня все письмоводство по сему важному делу.

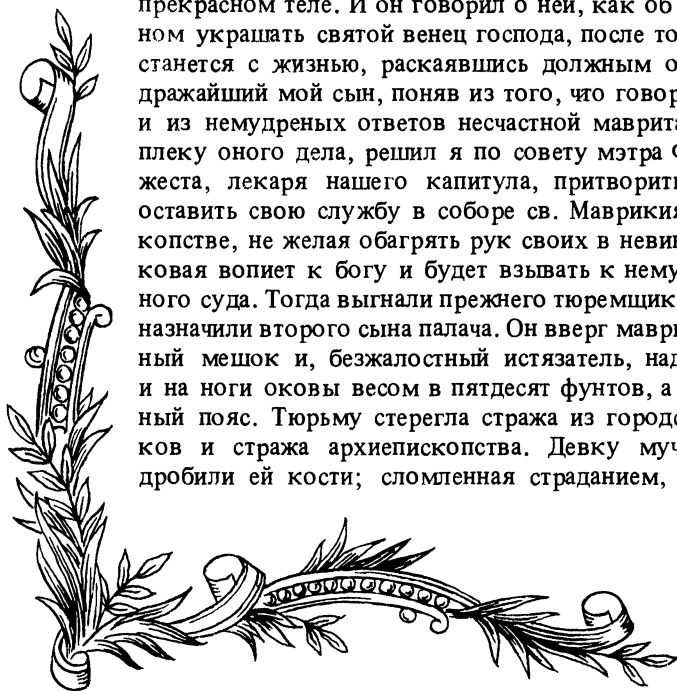
Сперва монсеньор Жером Корниль — старец, приближавшийся к восьмидесяти годам, муж великого ума, справедливости и опыта — заподозрил наличие злого умысла со стороны обвиняемой, ибо не терпел похотливых девок и в жизни своей, святой и добродетельной, никогда не имел дела с женщинами. Святость монсеньора Жерома Корниля и была причиной избрания его в судьи. После рассмотрения всех показаний и выслушав ответы бедной девки, убедился он, что, хотя сия жизнелюбивая продажная тварь есть беглая монахиня, ни в каких бесовских деяниях она неповинна, зато великие ее богатства стали предметом вожделения ее врагов и иных прочих, которых не назову тебе здесь из осторожности. В то время все считали ее столь богатой и серебром и золотом, что она могла бы, по их догадкам, купить все графство Турени, ежели б ей то заблагорассудилось. Оттого-то тысячи



лживых и нелепых толков и поклепов ходили об этой девке и почитались непреложными вроде евангельской истины, тем более что порядочные женщины завидовали ей безмерно. Удостоверясь, что эта девка не одержима никаким иным бесом, разве только любовным, монсеньор Жером Корниль уговорил ее удалиться в монастырь до конца своих дней. Затем, узнав, что некоторые смелые рыцари, стойкие в бою и богатые поместьями, вызвались сделать все возможное, дабы спасти мавританку, он тайно научил ее обратиться к обвинителям и просить суда божьего, пожертвовав при том капитулу все свое состояние и тем заставив злые языки умолкнуть. Таким образом был бы спасен от костра прелестнейший из цветов, когда-либо распускавшийся под нашими небесами. Грешила же она лишь тем, что с излишней нежностью и состраданием врачевала раны любви, которые взоры ее причиняли сердцу ее обожателей. Но дьявол истинный под видом монаха вмешался в оное дело. И вот как это произошло. Жан де ла Гэ, злейший враг добродетелей, благонравия и святости, присущих монсеньору Жерому Корнилю, проведал, что бедная девка живет в тюрьме как королева, и облыжно обвинил великого пенитенциария в сообщничестве с нею и в потворстве ей якобы в благодарность за то, что, по словам сего злоязычного пастыря, она сделала старца молодым, влюбленным и счастливым. Не выдержав клеветы, несчастный старец скончался от горя, поняв, что ла Гэ поклялся погубить его, помогаясь для себя его сана. Действительно, наш господин архиепископ посетил тюрьму и увидел мавританку в прекрасном помещении, на удобном ложе и без оков, ибо, спрятав бриллианты туда, где никому и в голову не пришло их искать, купила она себе расположение тюремщика. Говорили также, что онный тюремщик пленился ею и из любви к ней, а вернее, из страха перед молодыми баронами, любовниками этой женщины, подготавливал ей побег. Бедняга Жером Корниль был уже при смерти. Стараниями Жана де ла Гэ капитул решил следствие, произведенное пенитенциарием, а также его заключение по этому делу, объявить недействительным. Названный Жан де ла Гэ, в то время простой викарий собора, доказал, что для того требуется признание старика на смертном одре при свидетелях. Тут господа сановники капитула

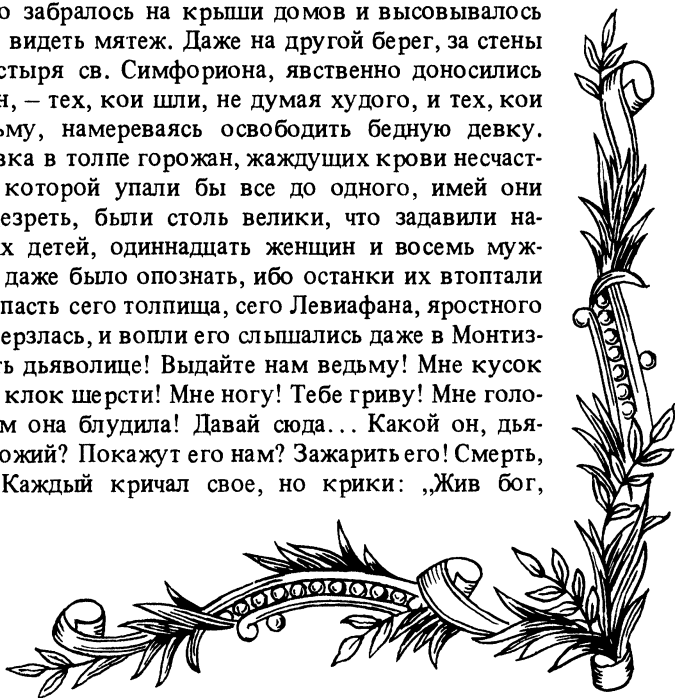


собора св. Маврикия и монахи из Мармустье через архиепископа и папского легата стали мучить и терзать полумертвого старца, дабы он к вящей выгоде церкви отрекся от своего решения, на что он не пожелал согласиться. Долго терзали его, и была, наконец, мучителями составлена всенародная исповедь, при чтении коей присутствовали самые знатные лица города. Исповедь сия вызвала ужас и смятение неопишутые. По всей епархии в церквях читались для прихожан молитвы об избавлении от напасти, и каждый опасался, как бы дьявол не проник к нему в дом через печную трубу. На самом же деле признания эти исторгнуты были у бедного моего наставника, когда он уже лежал в забытьи и твердил в бреду, что кругом кишит всякая нечисть. Очнувшись и узнав от меня, как гнусно его обманули, умирающий старик возрыдал. Он испустил дух на моих руках в присутствии своего лекаря, преисполненный отчаяния от шутовского посрамления его седин. Нам же успел он сказать, что уходит и, припав к стопам творца, будет молить господа отворить сию бесчеловечную несправедливость. Несчастная мавританка весьма тронула его сердце слезами и раскаянием, ибо до того, как объявить о суде божьем, он частным образом исповедал ее, благодаря чему ему открылось, сколь прекрасна душа, обитавшая в прекрасном теле. И он говорил о ней, как об алмазе, достойном украшать святой венец господа, после того как она расстанется с жизнью, раскаявшись должным образом. И вот, дражайший мой сын, поняв из того, что говорилось в городе, и из немудреных ответов несчастной мавританки всю подоплеку одного дела, решил я по совету мэтра Франсуа де Ганжеста, лекаря нашего капитула, притвориться больным и оставить свою службу в соборе св. Маврикия и в архиепископстве, не желая обогащать рук своих в невинной крови, каковая вопиет к богу и будет взывать к нему до дня Страшного суда. Тогда выгнали прежнего тюремщика и на место его назначили второго сына палача. Он вверг мавританку в каменный мешок и, безжалостный истязатель, надел ей на руки и на ноги оковы весом в пятьдесят фунтов, а также деревянный пояс. Тюрьму стерегла стража из городских арбалетчиков и стража архиепископства. Девку мучили и пытали, дробили ей кости; сломленная страданием, она призналась

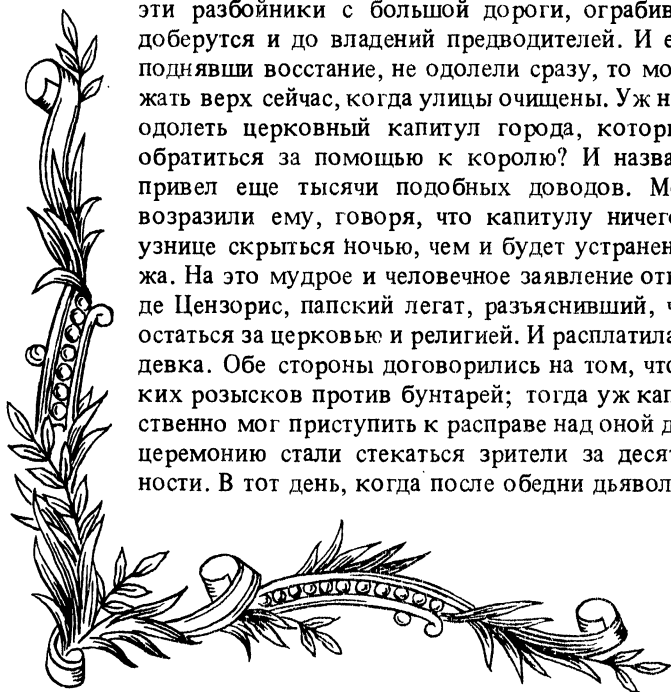


в том, в чем обвинял ее Жеан де ла Гэ, и была приговорена к сожжению на поле Сент-Этьен после стояния на церковной паперти в рубаше, пропитанной серой. Богатство ее должно было перейти к капитулу, и прочая, и прочая.

Приговор этот оказался причиной многих волнений, кровавых стычек во всем городе, ибо трое молодых рыцарей Турени поклялись умереть за несчастную, но освободить ее любой ценой. Они вошли в город в сопровождении тысячной толпы нищих, поденщиков, старых вояк, солдат, ремесленников и прочих, коим названная девка в свое время помогала, спасая их от голода и иных бед. Рыцари обшарили все городские трущобы, где ютились те, которых она благодетельствовала; все они поднялись и пошли к подножью горы Мон-Луи под заслоном военной силы названных рыцарей; в их ряды затесались беспутные молодцы и проходимцы, собравшиеся со всех окрестностей, и в одно прекрасное утро они окружили тюрьму архиепископства, с криками требуя выдачи мавританки, как бы для того, чтобы предать ее казни, на деле же тайно вызволить и, посадив на коня, вернуть ей свободу, ибо скакала она верхом, как наездник. В страшном людском водовороте, заполнившем все пространство меж стен архиепископства и мостами, кишело больше десяти тысяч человек, да еще сколько забралось на крыши домов и высывалось из окон, желая видеть мятеж. Даже на другой берег, за стены дальнего монастыря св. Симфориона, явственно доносились крики христиан, — тех, кои шли, не думая худого, и тех, кои осаждали тюрьму, намереваясь освободить бедную девку. Толкотня и давка в толпе горожан, жаждущих крови несчастной, к ногам которой упали бы все до одного, имей они счастье ее лицезреть, были столь велики, что задавили насмерть семерых детей, одиннадцать женщин и восемь мужчин: их нельзя даже было опознать, ибо останки их втоптали в грязь. И вот пасть сего толпища, сего Левиафана, яростного чудовища, разверзлась, и вопли его слышались даже в Монтизле-Тур: „Смерть дьяволице! Выдайте нам ведьму! Мне кусок ее мяса! А мне клочок шерсти! Мне ногу! Тебе гриву! Мне голову! Мне то, чем она блудила! Давай сюда... Какой он, дьявол, — краснорожий? Покажут его нам? Зажарить его! Смерть, смерть ему!” Каждый кричал свое, но крики: „Жив бог,



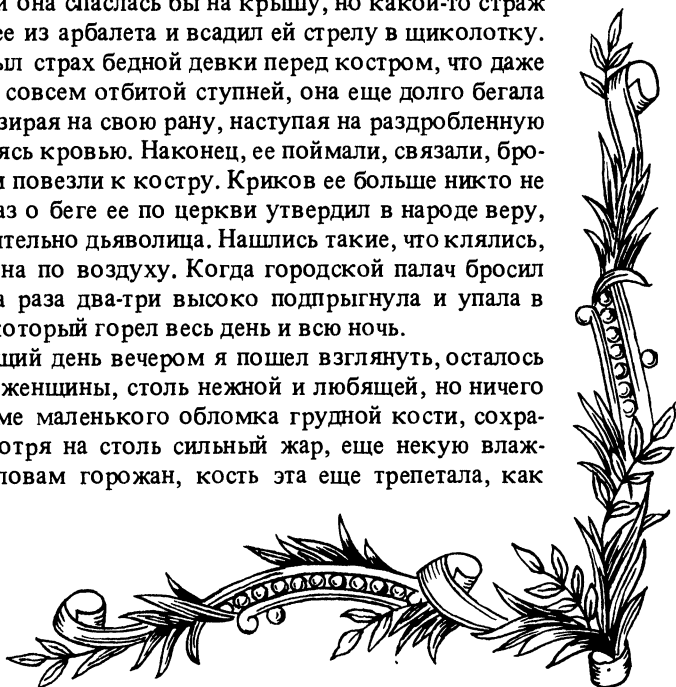
смерть дьяволу!” — неслись над толпой с такой яростью и ожесточением, что у людей стучало в висках и кровью обливалось сердце; вдобавок глухо доносились вопли из прилегающих домов. Дабы успокоить бурю, грозившую все опрокинуть, архиепископ догадался выйти из собора, с великой торжественностью неся перед собой святые дары. Это спасло капитул, ибо бунтари и названные дворяне поклялись разрушить и сжечь монастырь и перебить всех каноников. Хитрость архиепископа принудила нападающих отступить и ввиду недостатка съестных припасов разойтись по домам. Тогда туренские монахи, дворянство и горожане, опасаясь, как бы не начались наутро грабежи, сговорились на ночном сборище и отдали себя в распоряжение капитула. Множество солдат, лучников, рыцарей и горожан устроили облаву на бродяг, на бездомных, на пастухов, которые, узнавши о беспорядках в Туре, вышли на подмогу бунтарям. Многие из них были убиты. Гардуэн де Майлье, старый дворянин, вступил в переговоры с рыцарями, любовниками мавританки, и воззвал к их благоразумию. Он вопрошал их, неужто хотят они предать всю Турень огню и залить ее кровью ради смазливой девчонки! И если даже победа будет за ними, сумеют ли они совладать с проходимцами, которых привели с собой. Ведь эти разбойники с большой дороги, ограбив замки врагов, доберутся и до владений предводителей. И если уж рыцари, поднявши восстание, не одолели сразу, то могут ли они одержать верх сейчас, когда улицы очищены. Уж не думают ли они одолеть церковный капитул города, который не преминет обратиться за помощью к королю? И названный дворянин привел еще тысячи подобных доводов. Молодые рыцари возразили ему, говоря, что капитулу ничего не стоит дать узнице скрыться ночью, чем и будет устранена причина мятежа. На это мудрое и человеческое заявление ответил монсеньор де Цензорис, папский легат, разъяснивший, что должно силе остаться за церковью и религией. И расплатилась за все бедная девка. Обе стороны договорились на том, что не будет никаких розысков против бунтарей; тогда уж капитул беспрепятственно мог приступить к расправе над оной девкой. А на сию церемонию стали стекаться зрители за десять лье в окружности. В тот день, когда после обедни дьяволицу должны бы-



ли предать в руки властей для всенародного сожжения на костре, не только какой-нибудь простолюдин, но и аббат за ливр золота не нашли бы себе жилья в городе Туре. Многие приехали накануне того дня и ночевали за городом в палатках, на соломе. Съестных припасов не хватало, и многие, приехав с набитым брюхом, вернулись домой, щелкая зубами от голода, так ничего и не увидев, кроме полыхания костра. А всякий сброд немало поживился на дорогах, оставившая прохожих и проезжих.

Бедная куртизанка была замучена до полусмерти. Волосы ее поседели, она превратилась в скелет, обтянутый кожей, и оковы ее были тяжелее, нежели она сама. Если она в жизни и вкусила радостей, то дорогой ценой за них теперь расплачивалась. Те, мимо которых ее вели, рассказывали, что она так громко плакала и кричала, что сжалился бы над ней самый яростный ее мучитель. В церкви пришлось заткнуть ей рот, и она грызла кляп, как ящерица палку. Потом палач привязал ее к столбу, чтобы поддержать, ибо она падала с ног от слабости. И вдруг откуда-то взялись у нее силы, она сорвала с себя веревки и бросилась бежать по церкви и, припомнив прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на хоры, порхая, как птица, вдоль колонок и резных фриз. Еще немного, и она спаслась бы на крышу, но какой-то страж выстрелил в нее из арбалета и всадил ей стрелу в щиколотку. Столь велик был страх бедной девки перед костром, что даже с такою, почти совсем отбитой ступней, она еще долго бегала по церкви, невзирая на свою рану, наступая на раздробленную кость и обливаясь кровью. Наконец, ее поймали, связали, бросили в телегу и повезли к костру. Криков ее больше никто не слышал. Рассказ о беге ее по церкви утвердил в народе веру, что она действительно дьяволица. Нашлись такие, что клялись, будто летала она по воздуху. Когда городской палач бросил ее в огонь, она раза два-три высоко подпрыгнула и упала в глубь костра, который горел весь день и всю ночь.

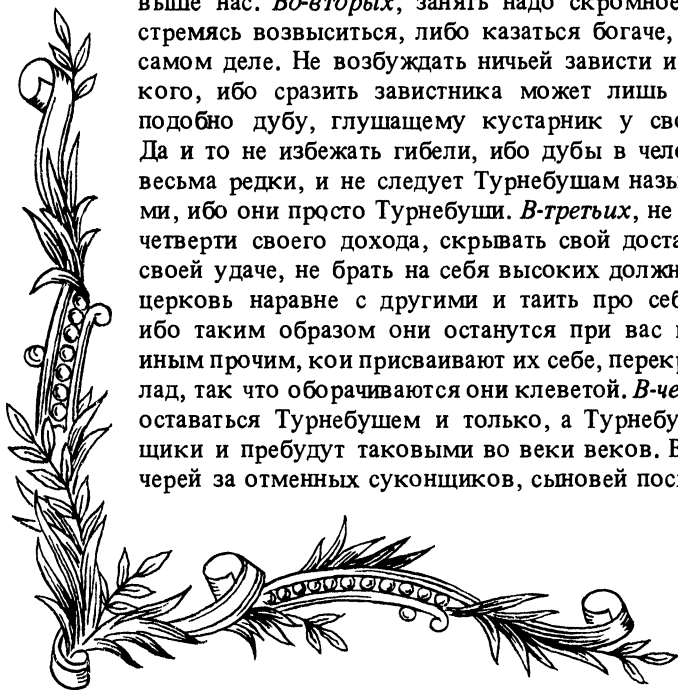
На следующий день вечером я пошел взглянуть, осталось ли что от этой женщины, столь нежной и любящей, но ничего не нашел, кроме маленького обломка грудной кости, сохранившегося, несмотря на столь сильный жар, еще некую влажность, и, по словам горожан, кость эта еще трепетала, как



женщина, охваченная страстью. Я не сумею передать тебе, дражайший сын, какое великое огорчение лежало бременем на моей душе еще не менее десяти лет, ибо не мог я забыть этого ангела, загубленного злыми людьми, и всечасно видел перед собой глаза, полные любви; словом, неизъяснимая краса бесхитростного этого создания сверкала и днем и ночью в моей памяти; я молился за оную женщину в церкви, где ее терзали. Наконец, скажу и то, что не мог я без содрогания и ужаса смотреть на великого пенитенциария Жеана де ла Гэ. Он умер, заеденный вшами. Прокза покарала судью. Огонь сжег дом и жену менялы Жаана. И всех, причастных к тому костру, постигло наказание.

Все это, мой возлюбленный сын, и породило у меня те мысли, какие я изложил здесь, дабы они навсегда служили припомом поведения в нашей семье.

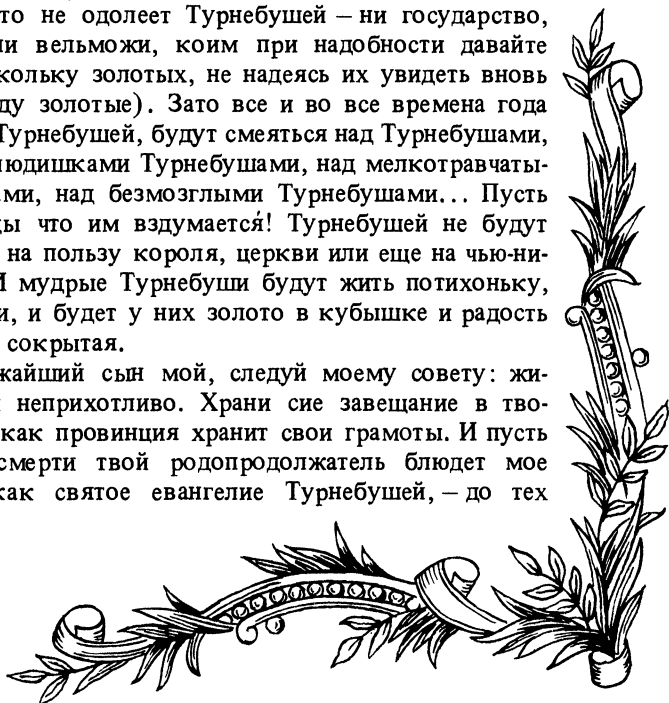
Я оставил духовное поприще и женился на вашей матери; с нею изведал я сладость чувств и делил с ней жизнь, имущество и душу мою — словом, все. И она согласилась со мной в справедливости следующих предписаний. *Во-первых*, чтоб жить счастливо, надо держаться подальше от служителей церкви. Их надо чтить, но не пускать к себе в дом, равно как и всех, кои по праву, а то и без всякого права, мнят себя выше нас. *Во-вторых*, занять надо скромное положение, не стремясь возвыситься, либо казаться богаче, чем ты есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не задевать никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто силен подобно дубу, глушащему кустарник у своего подножья. Да и то не избежать гибели, ибо дубы в человеческой роще весьма редки, и не следует Турнебушам называть себя дубами, ибо они просто Турнебуши. *В-третьих*, не тратить больше четверти своего дохода, скрывать свой достаток, молчать о своей удаче, не брать на себя высоких должностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про себя свои мысли, ибо таким образом они останутся при вас и не попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекраивают на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. *В-четвертых*, всегда оставаться Турнебушем и только, а Турнебуши суть суконщики и пребудут таковыми во веки веков. Выдавать им дочерей за отменных суконщиков, сыновей посылать суконщи-



ками в другие города Франции, снабдив сим наставлением в благоразумии, вырастить их во славу суконного дела, обуздывая их честолюбивые мечтания. *Суконщик, равный Турнебушу*, — вот слава, к коей должны они стремиться, вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая навеки суконщиками, Турнебуши навсегда останутся безвестными, ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз угнездившись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и в тиши и в мире разматывают до конца свою нить. *В-пятых*, никогда не говорить ни о чем другом, как только о суконном деле, не спорить ни о религии, ни о правительстве. И если даже правительство государства, наша провинция, наша религия и сам бог перевернутся или вздумают шататься вправо или влево, вы, Турнебуши, спокойно оставайтесь при своем сукне. Итак, никому в городе не мозоля глаза, Турнебуши будут жить скромно, окруженные Турнебушами-младшими, платя исправно церковную десятину и все, что их вынудят платить силой — богу или королю, городу или приходу, с коими никогда не следует ссориться. Итак, надо беречь отцовское богатство, чтобы жить в мире, купить себе мир и никогда не должать, иметь всегда запас в доме и жить припеваючи, держа все двери и окна на запоре.

Тогда никто не одолеет Турнебушей — ни государство, ни церковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг по нескольку золотых, не надеясь их увидеть вновь (я имею в виду золотые). Зато все и во все времена года будут любить Турнебушей, будут смеяться над Турнебушами, над мелкими людишками Турнебушами, над мелкотравчатыми Турнебушами, над безмозглыми Турнебушами... Пусть болтают глупцы что им вздумается! Турнебушей не будут жечь и вешать на пользу короля, церкви или еще на чью-нибудь пользу. И мудрые Турнебуши будут жить потихоньку, беречь денежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме, от всех сокрытая.

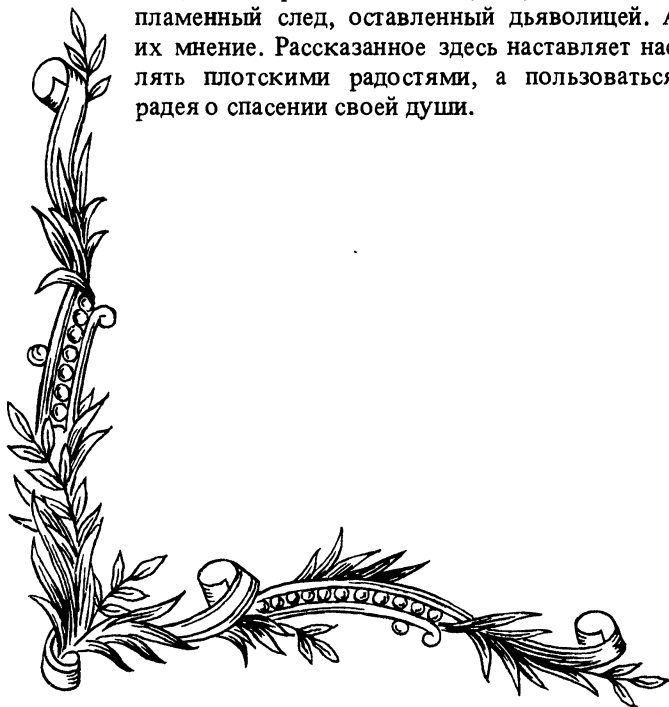
Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету: живи скромно и неприхотливо. Храни сие завещание в твоём семействе, как провинция хранит свои грамоты. И пусть после твоей смерти твой родопродолжатель блюдет мое наставление, как святое евангелие Турнебушей, — до тех

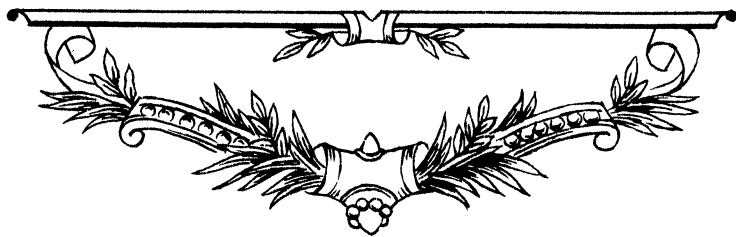


пор, пока сам бог не захочет, чтобы род Турнебушей переехал на землю”.

Письмо это было найдено при описи, произведенной в доме Франсуа Турнебуша сеньора де Везе, канцлера его высочества дофина, приговоренного парижским парламентом в дни мятежа против короля к казни через отсечение головы с конфискацией всего имущества. Письмо было передано губернатору Турени как историческая достопримечательность и приобщено к судебным протоколам Турского архиепископства мною, Пьером Готье, купеческим старшиной и старостой цеховых мастеров.

Когда автор настоящего повествования завершил, наконец, переписывание, разбор пергаментов и перевод их на французский язык с того малопонятного языка, на котором они написаны, даритель этих документов сообщил ему, что Горячая улица, по мнению некоторых лиц, обязана своим названием тому, что она бывает освещена солнцем дольше, нежели другие улицы в городе. Но вопреки такому толкованию, люди проницательного ума увидят в этом наименовании пламенный след, оставленный дьяволицей. Автор разделяет их мнение. Рассказанное здесь наставляет нас не злоупотреблять плотскими радостями, а пользоваться ими разумно, радея о спасении своей души.



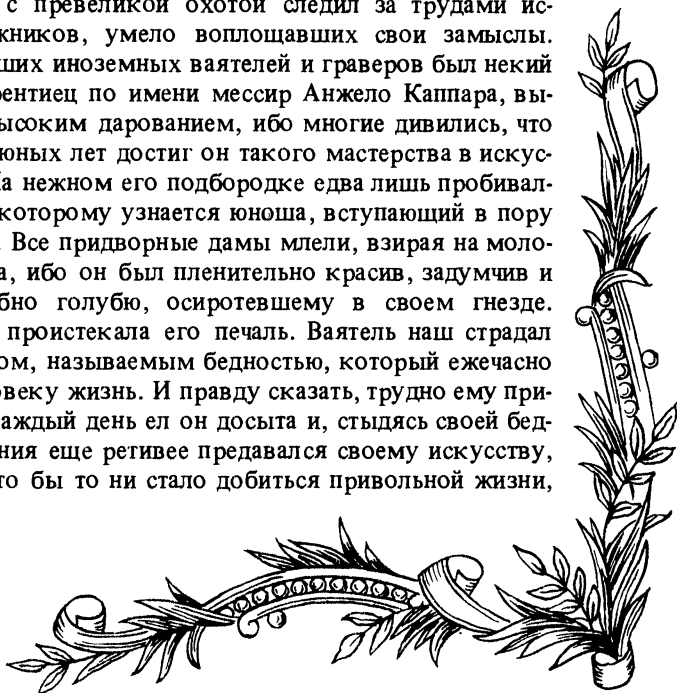


ОТЧАЯНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО



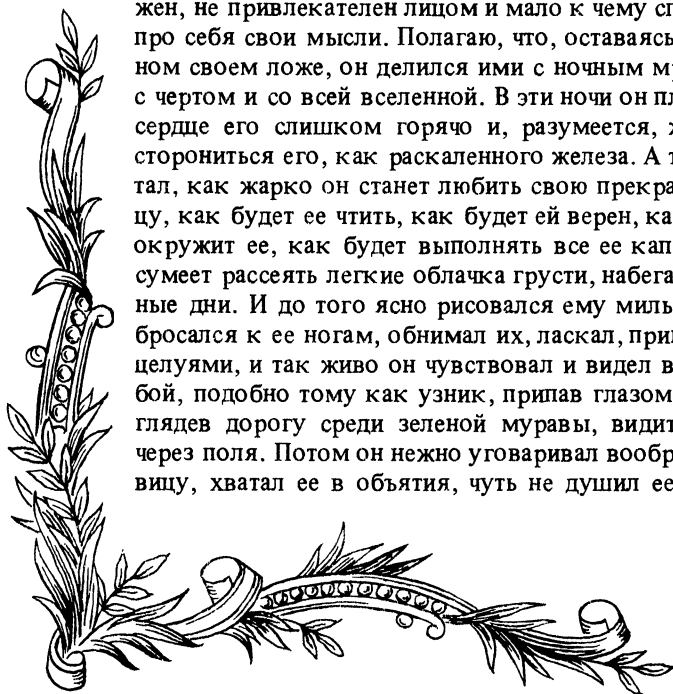
огда королю Карлу VIII* пришла фантазия разукрасить свой Амбуазский замок, то он привез туда итальянских рабочих — каменщиков, ваятелей, живописцев, зодчих, каковые обратили галереи замка в истое творение искусства, но плоды трудов их по небрежению ныне пришли в ветхость.

Итак, королевский двор находился в ту пору в названном живописном краю, и молодой король, по всем известной его склонности, с превеликой охотой следил за трудами искусных художников, умело воплощавших свои замыслы. Среди прибывших иноземных ваятелей и граверов был некий молодой флорентиец по имени мессир Анжело Каппара, выделявшийся высоким дарованием, ибо многие дивились, что на заре своих юных лет достиг он такого мастерства в искусстве ваяния. На нежном его подбородке едва лишь пробивался пушок, по которому узнается юноша, вступающий в пору возмужалости. Все придворные дамы млели, взирая на молодого итальянца, ибо он был пленительно красив, задумчив и грустен, подобно голубю, осиротевшему в своем гнезде. И вот откуда происходила его печаль. Ваятель наш страдал тяжким недугом, называемым бедностью, который ежечасно отравляет человеку жизнь. И правду сказать, трудно ему приходилось, не каждый день ел он досыта и, стыдясь своей бедности, с отчаяния еще ретивее предавался своему искусству, стремясь во что бы то ни стало добиться привольной жизни,



которой нет прекраснее для человека, поглощенного возвышенными трудами. Из тщеславия несчастный Каппара являлся ко двору роскошно одетый, но по юношеской робости он не смел попросить у короля плату за свой труд, а король, видя его в столь великолепном наряде, полагал, что юноша живет в полном достатке. Придворные кавалеры и дамы любовались прекрасными творениями художника, равно как и прекрасным их творцом, но червонцев от того в мошне у ваятеля не прибавлялось. Все, особенно дамы, находили, что природа и так богато его одарила, а юность щедро украсила черными кудрями и светлыми очами, так что красавицы, заглядываясь на него, и не вспоминали о золотых червонцах, а думали лишь о всех его прелестях. И то сказать, даже меньшие преимущества доставили не одному придворному богатые поместья, золото и всякие блага.

Хотя был Анжело совсем юным с виду, ему уже исполнилось двадцать лет, он обладал светлым умом, горячим сердцем, и голова его была полна поэтическими замыслами, высоко уносившими его на крыльях фантазии; но, чувствуя себя униженным, как то бывает с людьми бедными и чрезмерно щепетильными, он отступал в тень, видя преуспевание бесталанных неучей. К тому же, воображая, что он плохо сложен, не привлекателен лицом и мало к чему способен, он таил про себя свои мысли. Полагаю, что, оставаясь один на холодном своем ложе, он делился ими с ночным мраком, с богом, с чертом и со всей вселенной. В эти ночи он плакал о том, что сердце его слишком горячо и, разумеется, женщины будут сторониться его, как раскаленного железа. А то вдруг он мечтал, как жарко он станет любить свою прекрасную избранницу, как будет ее чтить, как будет ей верен, каким вниманием окружит ее, как будет выполнять все ее капризы и искусно сумеет рассеять легкие облачка грусти, набегающие в пасмурные дни. И до того ясно рисовался ему милый образ, что он бросался к ее ногам, обнимал их, ласкал, принимал к ним поцелуями, и так живо он чувствовал и видел все это перед собой, подобно тому как узник, припав глазом к щелке и разглядев дорогу среди зеленой муравы, видит себя бегущим через поля. Потом он нежно уговаривал воображаемую красавицу, хватал ее в объятия, чуть не душил ее, опрокидывал,

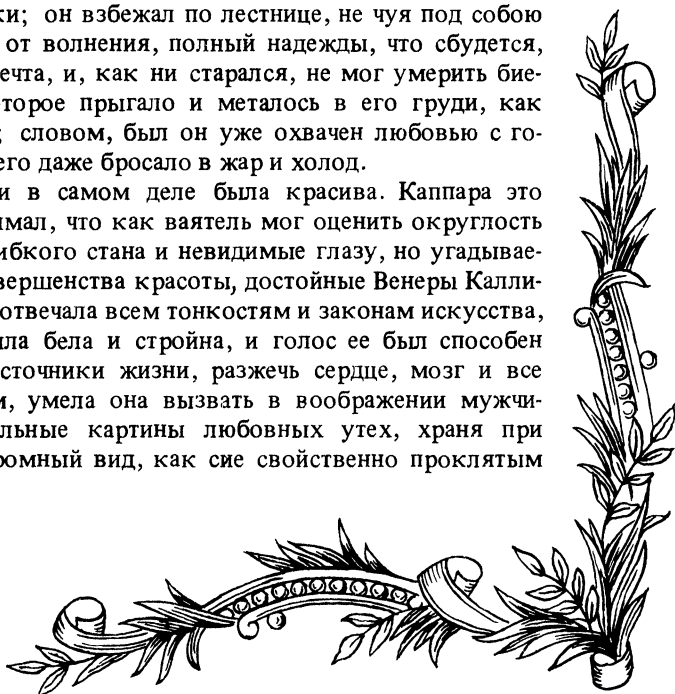


сам ужасаясь собственной дерзости, и от неистовой страсти кусал подушку, простыни, одерживая в своих мечтаниях сладчайшую победу; но насколько смел он был в одиночестве, настолько робел поутру, услышав шорох женского платья. Однако ж, горя огнем любви к воображаемым красавицам, он запечатлевал в мраморе форму прелестной груди, вызывая жажду к сему сочному плоду любви, создавая и многие иные прелести, округлял, полировал, ласкал их своим резцом, отделывал с великим старанием, придавая им изгибы, указующие дивные соблазны, в назидание девственности, дабы в тот же самый день он девственность свою утратил. Любая из придворных дам узнавала себя в этих изображениях красоты, и все они произвели Анжело в ангелы. Он касался их лишь взглядом, но дал себе клятву, что от красавицы, позволившей ему поцеловать ее пальчик, он добьется всего.

Одна из самых знатных дам спросила его как-то, почему он такой скромный, робкий и как случилось, что никому из придворных прелестниц не удалось его приручить. Вслед за тем она любезно пригласила его навестить ее вечером.

Не теряя зря времени, Анжело надушился, купил себе плащ из тисненого бархата на атласной подкладке, взял у приятеля рубаху с пышными рукавами, расшитый камзол и шелковые чулки; он взбежал по лестнице, не чуя под собою ног, задыхаясь от волнения, полный надежды, что сбудется, наконец, его мечта, и, как ни старался, не мог умерить биение сердца, которое прыгало и металось в его груди, как дикая козочка; словом, был он уже охвачен любовью с головы до пят, и его даже бросало в жар и холод.

Дама его и в самом деле была красива. Каппара это тем более понимал, что как ваятель мог оценить округлость плеч и линии гибкого стана и невидимые глазу, но угадываемые тайные совершенства красоты, достойные Венеры Каллипиги. Дама эта отвечала всем тонкостям и законам искусства, притом она была бела и стройна, и голос ее был способен всколыхнуть источники жизни, разжечь сердце, мозг и все прочее. Словом, умела она вызвать в воображении мужчины соблазнительные картины любовных утех, храня при том самый скромный вид, как сие свойственно проклятым дочерям Евы.

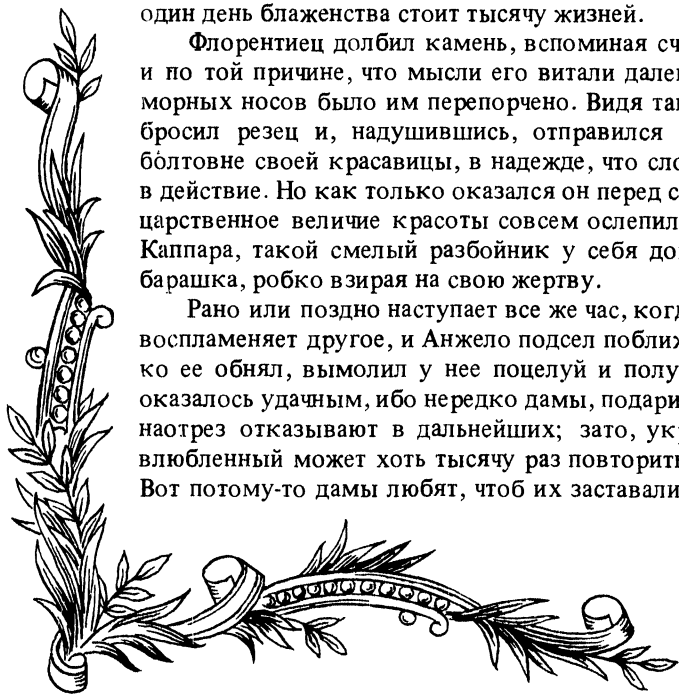


Ваятель наш застал ее сидящей у камина в глубоком кресле, и дама тут же стала болтать весьма непринужденным образом, меж тем как он не смел вымолвить ни слова по-французски, кроме как „да” и „нет”. Не мог он выдать из глотки ни единого звука и не находил ни единой мысли у себя в мозгу; он охотно разбил бы себе голову о край камина, не будь он столь счастлив, внимая словам красавицы, которая играла и резвилась, подобно мушке под лучами солнца.

И так пребывал он в немом любовании, и оба незаметно досидели до полуночи, неспешно углубляясь в цветущую долину любви. В полночь наш юный ваятель, счастливый, отправился домой, рассуждая следующим образом: если благородная дама продержала его у своих юбок битых четыре часа, до глубокой ночи, значит, сухих пустяков не хватает, чтобы она оставила его у себя до утра. Основываясь на подобных послылках, он вывел несколько благоприятных заключений и решил завоевать ее как самую обыкновенную женщину. Он был готов убить всех: супруга ее, ее самое или себя, если не удастся ему изведать хотя бы единый час наслаждения. Он и в самом деле был глубоко уязвлен любовью, и думалось ему, что вся его жизнь — ничтожная ставка в любовной игре, и один день блаженства стоит тысячу жизней.

Флорентиец долбил камень, вспоминая счастливый вечер, и по той причине, что мысли его витали далеко, немало мраморных носов было им перепорчено. Видя такую неудачу, он бросил резец и, надушившись, отправился внимать милой болтовне своей красавицы, в надежде, что слова ее обратятся в действие. Но как только оказался он перед своей королевой, царственное величие красоты совсем ослепило его, и бедный Каппара, такой смелый разбойник у себя дома, обратился в барашка, робко взирая на свою жертву.

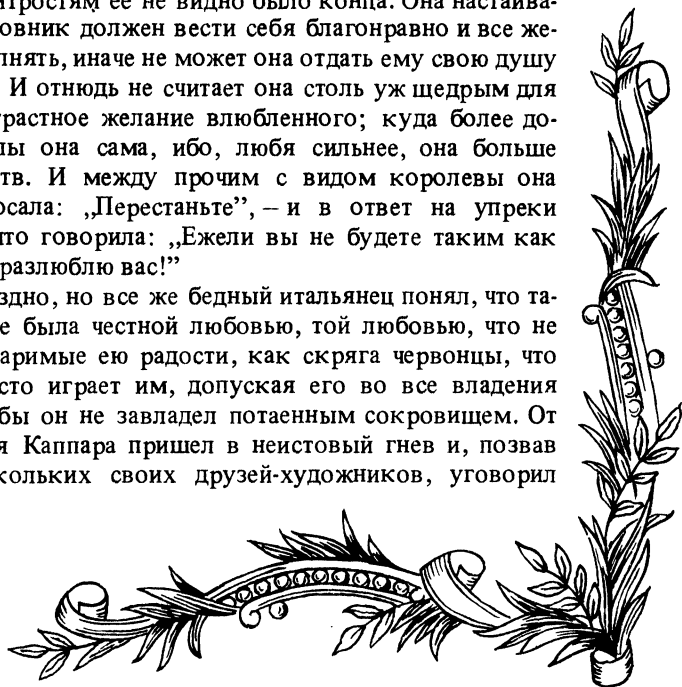
Рано или поздно наступает все же час, когда одно желание воспламеняет другое, и Анжело подсел поближе к даме, крепко ее обнял, вымолвил у нее поцелуй и получил его; начало оказалось удачным, ибо нередко дамы, подарив один поцелуй, наотрез отказывают в дальнейших; зато, укравши поцелуй, влюбленный может хоть тысячу раз повторить свою дерзость. Вот потому-то дамы любят, чтоб их заставляли врасплох. Наш



флорентиец похитил изрядное количество поцелуев, и по все-
му было видно, что дело идет на лад. Но дама всячески затя-
гивала игру и вдруг вскрикнула: „Мой муж идет!”

И вправду хозяин дома вернулся с королевской игры в
мяч. Ваятель поспешно удалился, получив в награду взгляд,
который красноречиво говорил: „Сколь я сожалею о прер-
ванном блаженстве”. В течение целого месяца Анжело только
и жил такими встречами, наслаждался и развлекался ими, но
каждый раз, как бывал он близок к своему счастью, неиз-
менно являлся ненавистный супруг, в ту самую минуту, ко-
торая у дамы следует за прямым отказом и посвящается
смягчению одного разными уловками, милыми проделками,
предназначенными для того, чтобы воскрешать или подогре-
вать любовь. И вот, потеряв терпение, художник решил на-
чинать осаду с первых же минут свидания, рассчитывая одер-
жать победу до появления мужа, которому затянувшаяся ка-
нитель служила лишь на пользу. Но ловкая дама, читая в гла-
зах ваятеля его тайные намерения, затевала с ним ссору, за
коей следовали бесконечные объяснения. Она начинала с при-
творной сцены ревности, в расчете услышать в ответ лестные
дамам проклятия влюбленного. Засим она охлаждала его
гнев нежным поцелуем. А там она принималась что-то ему до-
казывать, и хитростям ее не видно было конца. Она настаива-
ла, что ее любовник должен вести себя благонаравно и все же-
лания ее исполнять, иначе не может она отдать ему свою душу
и свою жизнь. И отнюдь не считает она столь уж щедрым для
себя даром страстное желание влюбленного; куда более до-
стойна похвалы она сама, ибо, любя сильнее, она больше
приносит жертв. И между прочим с видом королевы она
небрежно бросала: „Перестаньте”, — и в ответ на упреки
Каппара сердито говорила: „Ежели вы не будете таким как
мне угодно, я разлюблю вас!”

Хоть и поздно, но все же бедный итальянец понял, что та-
кая любовь не была честной любовью, той любовью, что не
отсчитывает даримые ею радости, как скряга червонцы, что
его дама просто играет им, допуская его во все владения
любви; лишь бы он не завладел потаенным сокровищем. От
сего унижения Каппара пришел в неистовый гнев и, позвав
с собою нескольких своих друзей-художников, уговорил



их совершить нападение на супруга красавицы, когда тот будет возвращаться домой вечером после королевской игры в мяч. Распорядившись таким образом, флорентиец явился в обычный час к своей даме. Когда в самом разгаре были сладостные игры любви, упоительные поцелуи, забава с распущенными и вновь заплетенными косами, когда в порыве страсти кусал он ей руки и даже ушки, одним словом, когда все уже было испытано, за исключением того, что высоко нравственные сочинители наши не без основания называют предосудительным, флорентиец меж двумя особенно жгучими поцелуями спросил:

— Голубка моя, любите ли вы меня больше всего на свете?

— Да, — отвечала она, ибо прелестницам слова недорого стоят.

— Так будьте же моею! — взмолился влюбленный.

— Но муж мой скоро вернется, — возразила дама.

— Значит, иной помехи нет?

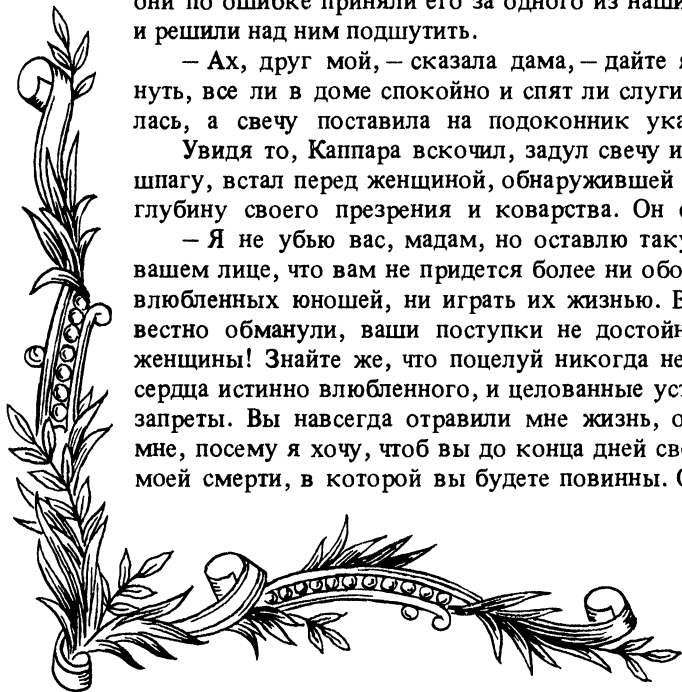
— Нет...

— Мои друзья задержали его на дороге и отпустят лишь тогда, когда в этом окне появится светильник. Ежели супруг ваш пожалуется потом королю, то друзья мои объяснят, что они по ошибке приняли его за одного из наших художников и решили над ним подшутить.

— Ах, друг мой, — сказала дама, — дайте я пойду взглянуть, все ли в доме спокойно и спят ли слуги? — Она поднялась, а свечу поставила на подоконник указанного окна.

Увидя то, Каппара вскочил, задул свечу и, схватив свою шпагу, встал перед женщиной, обнаружившей перед ним всю глубину своего презрения и коварства. Он сказал ей так:

— Я не убью вас, мадам, но оставлю такую отметку на вашем лице, что вам не придется более ни обольщать бедных влюбленных юношей, ни играть их жизнью. Вы меня бессовестно обманули, ваши поступки не достойны порядочной женщины! Знайте же, что поцелуй никогда не изгладится из сердца истинно влюбленного, и целованные уста снимают все запреты. Вы навсегда отравили мне жизнь, она опостылела мне, посему я хочу, чтоб вы до конца дней своих помнили о моей смерти, в которой вы будете повинны. Отныне всякий



раз, как вы взглянете в зеркало, вы увидите и мое лицо рядом со своим.

Он взмахнул шпагой, собираясь отсечь кусочек ее нежной щечки, на которой еще горели его поцелуи.

Но тут дама сказала, что он бесчестен...

— Молчите! — воскликнул он. — Вы твердили, что любите меня больше всего на свете, сейчас вы говорите иное. Каждый вечер вы поднимали меня ступень за ступенью к небесам и вот сегодня одним ударом низвергли меня в ад и надеетесь еще, что ваша женская слабость спасет вас от гнева любовника! Нет!

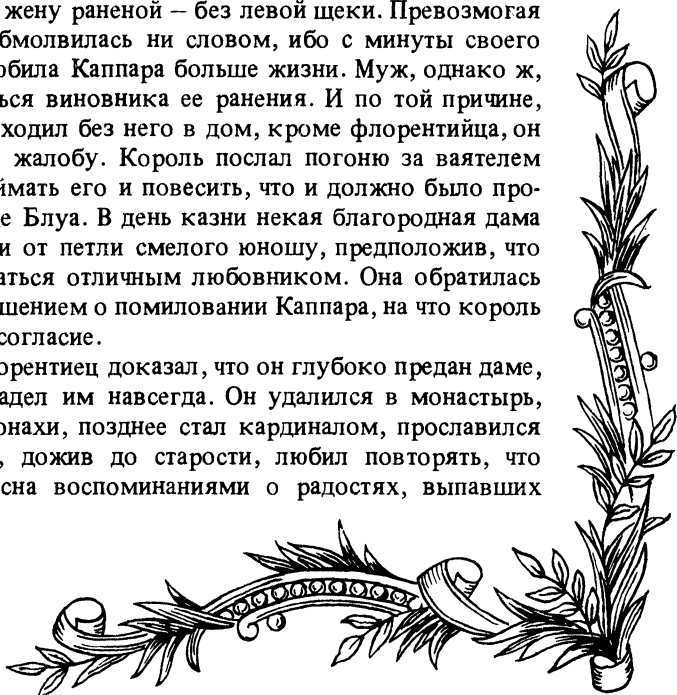
— Мой Анжело, я твоя! — воскликнула дама, сраженная силой его ярости.

А он, отступив от нее на три шага, сказал:

— Ах ты, придворная кукла!.. Пустое сердце! Тебе дороже твоя краса, чем твой возлюбленный, так получай же!

Она побледнела и покорно обратила к нему лицо, ибо поняла, что запоздалая ее любовь не может искупить прежней лжи. Флорентиец нанес ей удар шпаги, как задумал, затем бежал из дома и покинул страну. Муж красавицы, которому так и не пришлось испытать нападения флорентийцев, ибо они увидели свет в окне его дворца, спокойно вернулся домой и нашел жену раненой — без левой щеки. Превозмогая боль, она не обмолвилась ни словом, ибо с минуты своего наказания полюбила Каппара больше жизни. Муж, однако ж, стал доискиваться виновника ее ранения. И по той причине, что никто не заходил без него в дом, кроме флорентийца, он принес королю жалобу. Король послал погоню за ваятелем с приказом поймать его и повесить, что и должно было произойти в городе Блуа. В день казни некая благородная дама пожелала спасти от петли смелого юношу, предположив, что он может оказаться отличным любовником. Она обратилась к королю с прошением о помиловании Каппара, на что король милостиво дал согласие.

Но наш флорентиец доказал, что он глубоко предан даме, чей образ завладел им навсегда. Он удалился в монастырь, постригся в монахи, позднее стал кардиналом, прославился как ученый и, дожив до старости, любил повторять, что жизнь его красна воспоминаниями о радостях, выпавших

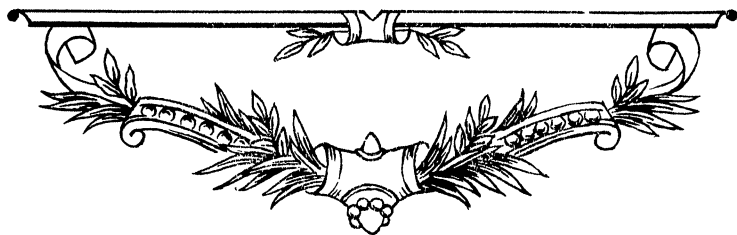


ему в годы бедной и несчастной молодости, когда некая дама подарила ему столько блаженства и столько муки.

Иные рассказывают, что названному Каппара довелось еще раз встретиться со своей дамой, щека коей зажила, и что на сей раз он не ограничился лишь прикосновением к ее юбкам, но я тому не верю, ибо знаю, что сердцем он был благороден и высоко чтил святые восторги истинной любви.

Из всего вышеизложенного никакого поучения нельзя извлечь, разве только то, что бывают в жизни вот такие несчастные встречи, ибо повествование наше истинно от начала до конца. Ежели случилось автору иной раз погрешить против правды, то сей рассказ заслужит ему прощение на соборе влюбленных.



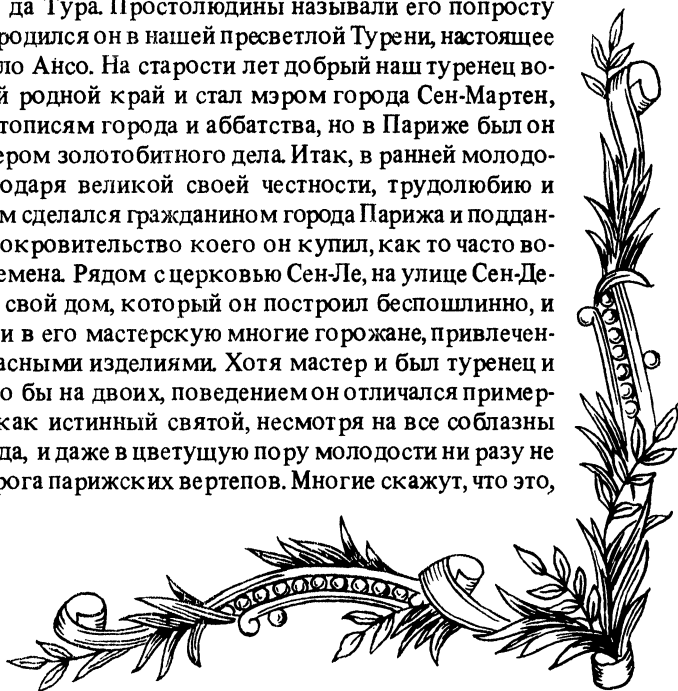


НАСТОЙЧИВОСТЬ В ЛЮБВИ

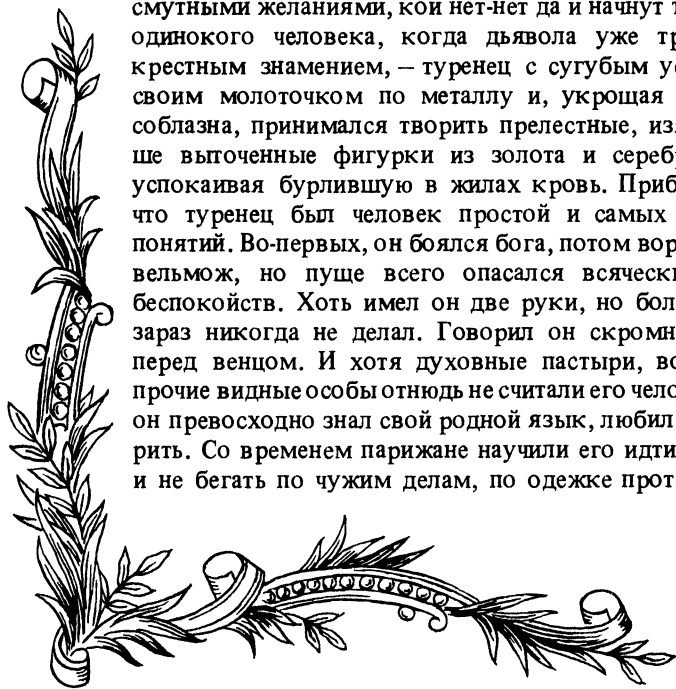


начале тринадцатого века по рождестве нашего божественного спасителя, или около того, в городе Париже произошла любовная история, которой немало дивились все горожане, равно как и королевский двор. Что касается лиц духовного звания, которые сохранили нам память об этом приключении, то из следующего вы узнаете, какое участие приняли они в оном деле.

Героем нашей истории был уроженец города Тура. Простолюдины называли его попросту туренцем, ибо родился он в нашей пресветлой Турени, настоящее же его имя было Ансо. На старости лет добрый наш туренец воротился в свой родной край и стал мэром города Сен-Мартен, если верить летописям города и аббатства, но в Париже был он славным мастером золотобитного дела. Итак, в ранней молодости Ансо благодаря великой своей честности, трудолюбию и иным качествам сделался гражданином города Парижа и подданным короля, покровительство коего он купил, как то часто водилось в те времена. Рядом с церковью Сен-Ле, на улице Сен-Дени, был у него свой дом, который он построил безошлинно, и туда приходили в его мастерскую многие горожане, привлеченные его прекрасными изделиями. Хотя мастер и был туренец и сил его хватило бы на двоих, поведением он отличался примерным. Жил он, как истинный святой, несмотря на все соблазны большого города, и даже в цветущую пору молодости ни разу не переступил порога парижских вертепов. Многие скажут, что это,

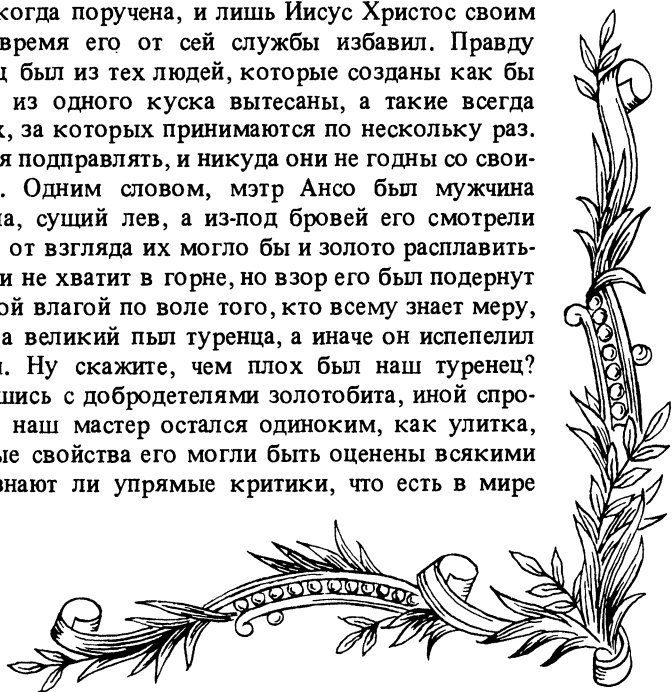


мол, превышает понимание человеческое, которое господь бог даровал нам, дабы могли мы воспринимать веру, поддерживаемую таинствами святой религии; посему является необходимым разобраться получше в причинах целомудрия нашего ювелира. И прежде всего примите во внимание, что пришел он в Париж пешком, по свидетельству старожилов, был беднее Иова и в отличие от прочих туренцев, которые, возгоревшись, тут же гаснут, обладал железным характером и в настойчивости не уступал монаху, решившему отомстить недругу. Будучи подмастерьем, трудился он с превеликим усердием, став мастером, трудолюбие свое умножил, всюду перенимать старался новые приемы ремесла своего, сам придумывал способы искуснее и на пути исканий набрел на многие открытия. Ежегодно запоздалые прохожие, ночной дозор или же бездомные бродяги видели в окне его мастерской тихое сияние лампы и самого неутомимого мастера, который стучал своим молотком, точил, подпиливал, резал, гнул, выпачивал, долбил, со своим подмастерьем, держа двери мастерской на запоре, а слух отверстием. Нужда породила труд, труд породил высокое знание, знание породило богатство. Слушайте же вы, о дети Каина, вы, пожиратели червонцев, зря жизнь проживающие! Если даже и случалось нашему мастеру загораться смутными желаниями, кои нет-нет да и начнут терзать бедного одинокого человека, когда дьявола уже трудно отогнать крестным знамением, — туренец с сугубым усердием стучал своим молоточком по металлу и, укрощая мысль духов соблазна, принимался творить прелестные, изящные, тончайшие выпоченные фигурки из золота и серебра, тем самым успокаивая бурлившую в жилах кровь. Прибавьте к этому, что туренец был человек простой и самых бесхитростных понятий. Во-первых, он боялся бога, потом воров, еще больше вельмож, но пуще всего опасался всяческих передраг и беспокойств. Хоть имел он две руки, но более одного дела зараз никогда не делал. Говорил он скромно, как невеста перед венцом. И хотя духовные пастыри, военные люди и прочие видные особы отнюдь не считали его человеком ученым, он превосходно знал свой родной язык, любил и умел поговорить. Со временем парижане научили его идти своей дорогой и не бегать по чужим делам, по одежке протягивать ножки,

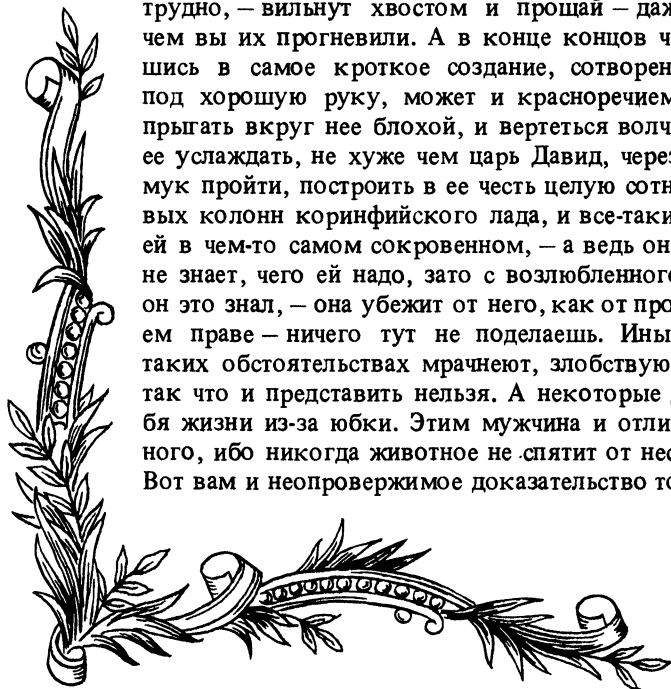


самому не должать и соседу займы не давать, держать ухо востро, не позволять очкам себе втираться, не болтать о том, что делаешь, слово свое всегда держать крепко, зря даже воды не выливать, не быть беспамятным, будто муха, никому не доверять ни своих забот, ни своего кошелька, по сторонам не зевать, а изделия свои продавать дороже, чем самому обходится. Сии правила житейской мудрости помогли ему набраться опыта столько, сколько необходимо, чтобы честно торговать себе на пользу. Что он и делал, никого не обижая. Видя, как живет мэтр Ансо, многие говорили: „Хотел бы я быть на его месте, черт возьми! Даже если б для того пришлось бы мне целый век месить парижскую грязь”. Иной вот этак не прочь стать королем Франции! А ты вот сначала имей такие руки, как у того золотобита были — крепкие, жилистые, волосатые и с такой могучей хваткой, что когда он сжимал кулаки, то самый сильный подмастерье не мог бы и клещами их разжать. Ясно, что если такой молодец захочет что удержать, то уж оно не выпустит. Зубами своими туренец железо мог разжевать, желудок его мог то железо принять, пропустить, кишечник — переварить и выбросить из себя, ничего в пути не повредив. На плечи туренцу можно было бы взвалить земной шар, как то случилось с тем вельможей языческого мира, коему эта забота была некогда поручена, и лишь Иисус Христос своим появлением вовремя его от сей службы избавил. Правду сказать, туренец был из тех людей, которые созданы как бы одним ударом, из одного куска вытесаны, а такие всегда превосходят тех, за которых принимаются по несколько раз. Этих приходится подправлять, и никуда они не годны со своими заплатками. Одним словом, мэтр Ансо был мужчина крепкого закала, сущий лев, а из-под бровей его смотрели такие глаза, что от взгляда их могло бы и золото расплавиться, если пламени не хватит в горне, но взор его был подернут некой прозрачной влагой по воле того, кто всему знает меру, и она охлаждала великий пыл туренца, а иначе он испепелил бы все кругом. Ну скажите, чем плох был наш туренец?

Ознакомившись с добродетелями золотобита, иной спросит, почему же наш мастер остался одиноким, как улитка, когда природные свойства его могли быть оценены всякими и всякой. Но знают ли упрямые критики, что есть в мире

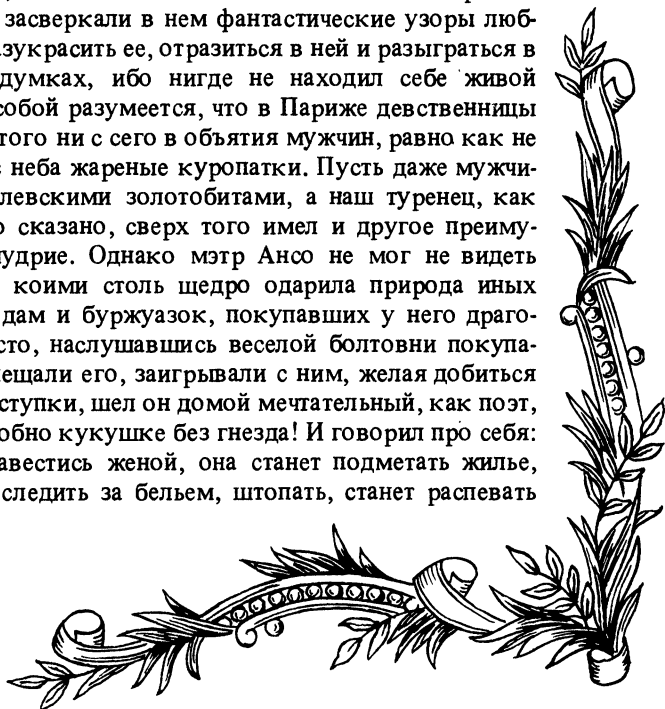


любовь? Нет, наверняка не знают... Влюбленному положено куда-то идти, откуда-то возвращаться, слушать, подстергать, молчать, говорить, то съезжиться, то развернуться, то расти, то сократиться и совсем невидимому стать, угождать, музицировать, каяться, таскаться к черту на рога, лезть из кожи вон, птичье молоко добывать, в ступе воду толочь, вздыхать при луне, ласкать ее кошечку и собачку, дружить с ее друзьями, осведомляться о коликах и ревматизмах ее тетушки и заверять старуху: „У вас отменный вид, да вы нас всех переживете!“ А там пронюхать, что нравится родне, не наступать никому на ноги, не бить посуды, доставать луну с неба, переливать из пустого в порожнее, молоть вздор, лезть в огонь и в воду и, восхищаясь нарядами своей возлюбленной, восклицать: „Чудо как красиво!“ или: „Ах, мадам, как вы прекрасны в сем наряде, честное слово!“ И повторять это на тысячи ладов. Самому напомнить и расфрантиться, как придворному кавалеру. Шутить метко и остро, со смехом претерпевать все страдания, причиняемые дьяволом. Душить в себе свой гнев, обуздывать свой нрав, следовать за божьим перстом и чертовым хвостом. Одаривать мать, одаривать кузину, одаривать служанку, ходить с утра до ночи с самой умильной миной, а ведь известно, что особам женского пола угодить трудно, — вильнут хвостом и прощай — даже не объяснят, чем вы их прогневили. А в конце концов человек, влюбившись в самое кроткое создание, сотворенное всевышним под хорошую руку, может и красноречием ее поразить, и прыгать вокруг нее блохой, и вертеться волчком, и музыкой ее усладить, не хуже чем царь Давид, через тысячу адских мук пройти, построить в ее честь целую сотню всяких чертовых колонн коринфийского лада, и все-таки, если не угодит ей в чем-то самом сокровенном, — а ведь она и сама толком не знает, чего ей надо, зато с возлюбленного требует, чтобы он это знал, — она убежит от него, как от проказы. Она в своем праве — ничего тут не поделаешь. Иные мужчины при таких обстоятельствах мрачнеют, злобствуют, с ума сходят, так что и представить нельзя. А некоторые даже лишают себя жизни из-за юбки. Этим мужчина и отличается от животного, ибо никогда животное не спит от несчастной любви. Вот вам и неопровержимое доказательство того, что у скотов



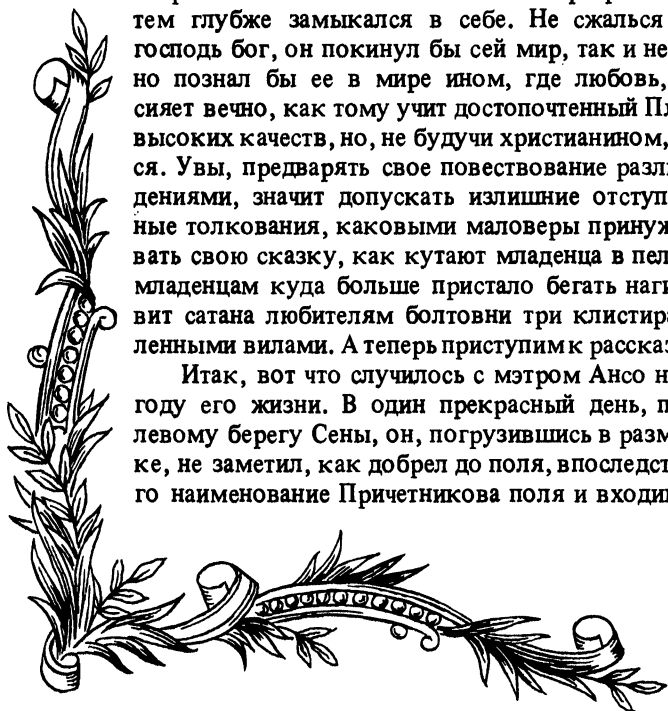
нет души. Итак, влюбленный должен быть и на все руки мастер: он и фокусник, и вояка, и шарлатан, и балагур, вельможа, шут, король, бездельник, монах, простак, кутила, лгун, хвостун, доносчик, пустомеля, вертопрах, волокита, мот, глупец, юродивый; от таких дел отказался Иисус, и, подражая ему, пренебрегают любовью люди благоразумные. Предаваясь этому занятию, уважающие себя мужчины прежде всего вынуждены тратить: время, жизнь, кровь, заветные слова, не считая сердца, души, мозга, до коего бабы жадны превыше меры. И когда они болтают меж собой без умолку, то говорят друг другу: „Если мужчина не отдал мне всего, что имеет, значит он мне ничего не дал”. А бывают и такие гримасницы, что нахмурят бровки и еще недовольны, что ее возлюбленный ради нее расшибся в лепешку: „Что за пустяки, плохо старается!” А все потому, что женщины ненасытны, тиранки и самодурки, все им мало... Закон этот был, есть и будет в силе в городе Париже, где младенцам женского пола при крещении перепадает куда больше соли, нежели в каком-либо другом месте земного шара. Потому они в Париже и лукавы от самого рождения.

А мэтр Ансо у своей плавильной печи плавил серебро, чеканил золото, но никак не мог достаточно возгореться сердцем, чтобы засверкали в нем фантастические узоры любви, не мог он разукрасить ее, отразиться в ней и разыграться в затейливых выдумках, ибо нигде не находил себе живой модели! Само собой разумеется, что в Париже девственницы не падают ни с того ни с сего в объятия мужчин, равно как не сыплются нам с неба жареные куропатки. Пусть даже мужчины будут королевскими золотобитами, а наш туренец, как уже ранее было сказано, сверх того имел и другое преимущество — целомудрие. Однако мэтр Ансо не мог не видеть всех прелестей, коими столь щедро одарила природа иных высокородных дам и буржуазок, покупавших у него драгоценности. И часто, наслушавшись веселой болтовни купательниц, кои улещали его, заигрывали с ним, желая добиться какой-нибудь уступки, шел он домой мечтательный, как поэт, тоскующий подобно кукушке без гнезда! И говорил про себя: „Пора мне обзавестись женой, она станет подметать жилье, готовить обед, следить за бельем, штопать, станет распевать



веселые песенки, будет мучить меня, заставляя исполнять ее прихоти, скажет мне, как все они говорят своим мужьям, когда им приглянулась какая-нибудь безделушка: „Глянь, миленький мой, на эту вещицу — разве не прелесть?!“ И всякий сосед сразу будет узнавать мою жену и думать про меня: „Вот счастливец!“ Затем — все в мыслях — он устраивал свадьбу, ласкал и лелеял свою женушку, рядил ее в роскошные платья, дарил ей золотую цепь, любил ее всю, с головы до ног, предоставляя ее усмотрению все хозяйство, за исключением личных своих сбережений. Поместит он ее в свою спальню наверху. Там хорошие, застекленные рамы, на полу циновки, стены обиты шпалерами; в комнате он поставит великолепный шкаф и кровать необъятной ширины, с витыми колонками и шелковым пологом лимонного цвета, купит прекрасные зеркала. И к дверям своего дома наш ювелир подходил, имея уже десяток ребят от воображаемой жены. Но жена и дети исчезали от постукивания молотка, и Ансо, сам того не замечая, превращал создания своей тоскующей мысли в причудливые рисунки, а любовные мечты воплощал в диковинные безделки, весьма одобряемые покупателями, которые и не подозревали, сколько жен и детей таится в его творениях. И чем больше наш мастер проявлял свой талант, тем глубже замыкался в себе. Не сжался тогда над ним господь бог, он покинул бы сей мир, так и не изведав любви, но познал бы ее в мире ином, где любовь, не зная тлена, сияет вечно, как тому учит достопочтенный Платон — человек высоких качеств, но, не будучи христианином, заблуждавшийся. Увы, предварять свое повествование различными рассуждениями, значит допускать излишние отступления и ненужные толкования, каковыми маловеры принуждают нас укрывать свою сказку, как кутают младенца в пеленки, тогда как младенцам куда больше пристало бегать нагишом. Да поставит сатана любителям болтовни три клистира своими раскаленными вилами. А теперь приступим к рассказу без обиняков.

Итак, вот что случилось с мэтром Ансо на сорок первом году его жизни. В один прекрасный день, прогуливаясь по левому берегу Сены, он, погрузившись в размышления о браке, не заметил, как добрел до поля, впоследствии получившего наименование Причетникова поля и входившего во владе-



ния аббатства Сен-Жермен, а не в университетские владения. Идя своей дорогой, туренец оказался посреди лужка, где ему повстречалась бедно одетая девушка, которая, приняв Ансо по виду за знатного горожанина, поклонилась ему, промолвив: „Спаси вас господь, монсеньор!“ И в девичьем ее голосе прозвучала столь приветливая доброта, что ювелир восхитился сей небесной мелодией, и зародилась в нем любовь к этой девушке, чему все способствовало в ту пору, особенно же мысль о браке, не дававшая ему покоя. Но раздумывая таким образом, он все же прошел мимо девушки, не смея повернуть обратно, ибо был робок, как стыдливая девственница, готовая скорее повеситься на своем поясе, чем развязать его, удовольствия своего ради. И вот когда мэтр Ансо оказался на расстоянии выстрела от девицы, он справедливо рассудил, что человек, принятый еще десять лет тому назад в цех золотых дел мастеров, ставший зажиточным горожанином Парижа и прошедший добрую половину жизненного пути, имеет право заглянуть женщине в лицо, тем паче если воображение его не на шутку разыгралось. Итак, он круто повернул, пошел навстречу девушке и осмелился взглянуть на нее... Она тянула за обрывок веревки тощую свою коровенку, а та щипала траву у самого края придорожной канавы.

— А, милочка, — спросил он, — вы, наверно, очень бедны, раз руки ваши не знают отдыха даже в воскресный день. Разве вы не боитесь попасть в тюрьму?

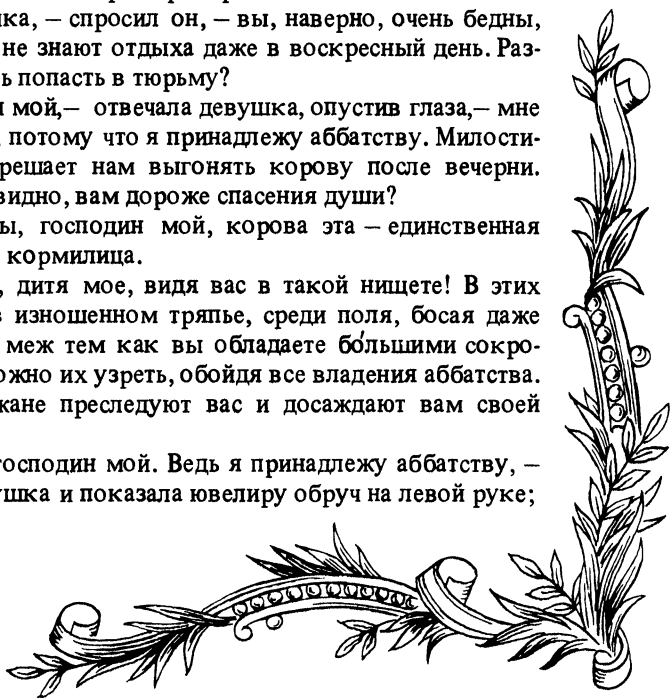
— Господин мой, — отвечала девушка, опустив глаза, — мне нечего бояться, потому что я принадлежу аббатству. Милостивый аббат разрешает нам выгонять корову после вечерни.

— Корова, видно, вам дороже спасения души?

— Вы правы, господин мой, корова эта — единственная наша поилица и кормилица.

— Дивлюсь, дитя мое, видя вас в такой нищете! В этих лохмотьях... в изношенном тряпье, среди поля, босая даже в воскресенье, меж тем как вы обладаете большими сокровищами, чем можно их узреть, обойдя все владения аббатства. Наверно, горожане преследуют вас и досаждают вам своей любовью?

— Ничуть, господин мой. Ведь я принадлежу аббатству, — повторила девушка и показала ювелиру обруч на левой руке;



подобный обруч надевается скоту, пасущемуся в поле, только у девушки был он без колокольчика.

Красавица взглянула на мастера, и глаза ее выражали такое отчаяние, что он остановился, потрясенный. Известно, что сильная сердечная скорбь передается от сердца к сердцу через глаза.

— А что это? — спросил он, решив все узнать от нее самой, и тронул обруч. Хотя на том обруче было изображение герба аббатства, притом довольно выпуклое, у ювелира не было желания рассматривать его.

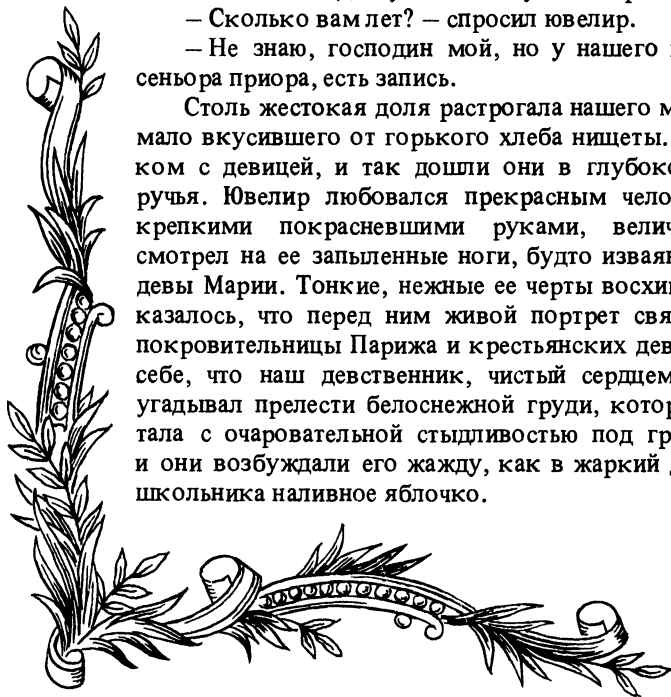
— Господин мой, я дочь крепостного раба, а потому всякий, кто женился бы на мне, даже горожанин Парижа, — тоже станет рабом. Все равно он будет принадлежать аббатству душой и телом. Если бы человек тот сочетался со мною, не женься, то и тут дети считались бы за аббатством. Вот почему я оставлена всеми, брошена, как скотина в поле. Но особенно мне обидно, что, по желанию приора аббатства, и в тот час, когда ему заблагорассудится, меня сведут с таким же крепостным человеком, как и я. И будь я даже не столь безобразна, как сейчас, и полюби меня кто-нибудь всей душой, все равно, увидев на мне вот этот обруч, он убежит прочь, как от черной чумы.

И сказав так, девушка потянула за веревку свою корову.

— Сколько вам лет? — спросил ювелир.

— Не знаю, господин мой, но у нашего владельца, монсьёра приора, есть запись.

Столь жестокая доля растрогала нашего мастера, тоже немало вкусившего от горького хлеба нищеты. Он шел рядышком с девицей, и так дошли они в глубоком молчанье до ручья. Ювелир любовался прекрасным челом девушки, ее крепкими покрасневшими руками, величавой осанкой, смотрел на ее запыленные ноги, будто изваянные для статуи дэвы Марии. Тонкие, нежные ее черты восхищали его, — ему казалось, что перед ним живой портрет святой Женевьевы, покровительницы Парижа и крестьянских девушек. Заметьте себе, что наш девственник, чистый сердцем и помыслами, угадывал прелести белоснежной груди, которые девица прятала с очаровательной стыдливостью под грубым платком, и они возбуждали его жажду, как в жаркий день соблазняет школьника наливное яблочко.



И то сказать, все, что доступно было его взорам, свидетельствовало, что девица эта — чистое сокровище, как и все, впрочем, чем владеют монахи. И чем строже был запрет касаться сего цветка, тем сильнее Ансо томился любовью, и сердце его стучало так сильно, что он слышал его биение.

— У вас отличная корова, — промолвил он.

— Не угодно ли молочка? — ответила крестьянка. — Нынче май жаркий выдался, а до города далеко.

И впрямь небо было синее, без единого облачка, и дышало жаром, как плавильная печь. Все кругом сверкало молодостью — листва, воздух, девушки, юноши. Все пылало, зеленело, благоухало. Простодушное приглашение, сделанное без всякого расчета, ибо никаким золотом не оплатить несказанное очарование доброго слова и скромного взгляда, обращенного на него девицей, растрогало мастера, он пожелал видеть эту рабу королевой и весь Париж у ног ее.

— О нет, милочка, я не хочу молока, я жажду вас и хотел бы иметь разрешение вас выкупить.

— Это невозможно. Видно, до самой смерти я буду принадлежать аббатству. Вот уже много лет мы живем здесь, и деды жили, и внуки здесь будут жить. Подобно несчастным моим предкам, мне суждено жить рабой на земле аббатства, тоже и детям моим, ибо сам монсеньор приор заботится о том, чтоб у нас, крепостных, было потомство.

— Как! — воскликнул туренец. — Неужели не нашелся молодец, который посмел бы ради ваших чудесных глаз купить вам свободу, как я купил себе свободу у короля?

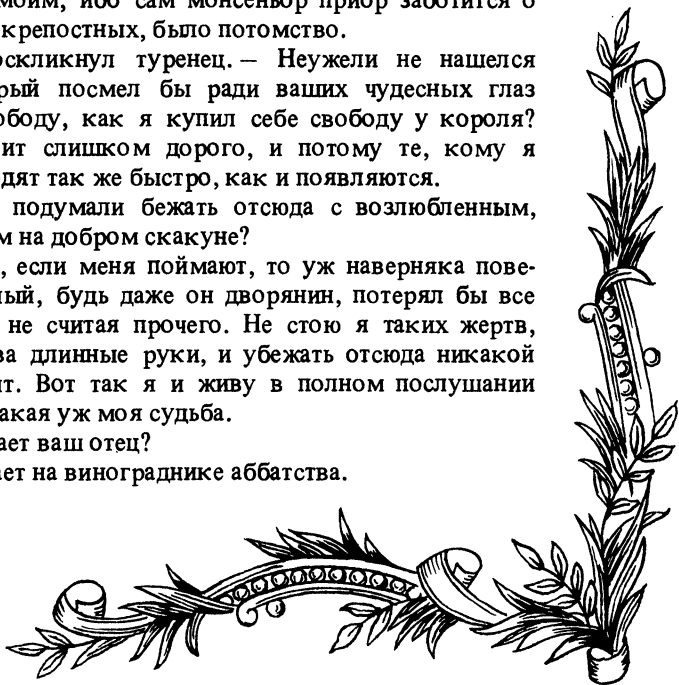
— Воля стоит слишком дорого, и потому те, кому я приглянусь, уходят так же быстро, как и появляются.

— И вы не подумали бежать отсюда с возлюбленным, умчавшись с ним на добром скакуне?

— О мессир, если меня поймают, то уж наверняка повесят, а мой милый, будь даже он дворянин, потерял бы все свои поместья, не считая прочего. Не стою я таких жертв, ведь у аббатства длинные руки, и убежать отсюда никакой прыти не хватит. Вот так я и живу в полном послушании господу, знать такая уж моя судьба.

— А что делает ваш отец?

— Он работает на винограднике аббатства.



— А мать?
— Стирает.
— А как вас зовут?
— У меня нет имени, дорогой мой господин. Отца моего крестили Этьеном, мою мать зовут Этьенна, а я Тьенетта, к вашим услугам.

— Милочка моя! — воскликнул мэтр Ансо. — Никогда в жизни ни одна женщина не нравилась мне так, как вы нравитесь мне, и я верю, что велики сокровища вашего сердца. И по той причине, что вы предстали предо мной в тот самый миг, когда я твердо решил избрать себе подругу жизни, я вижу в том указание небес. Ежели я вам не противен, то прошу считать меня вашим истинным другом.

Тут девушка вновь опустила глаза. Слова свои туренец произнес столь убежденным голосом, столь проникновенно, что Тьенетта залилась слезами.

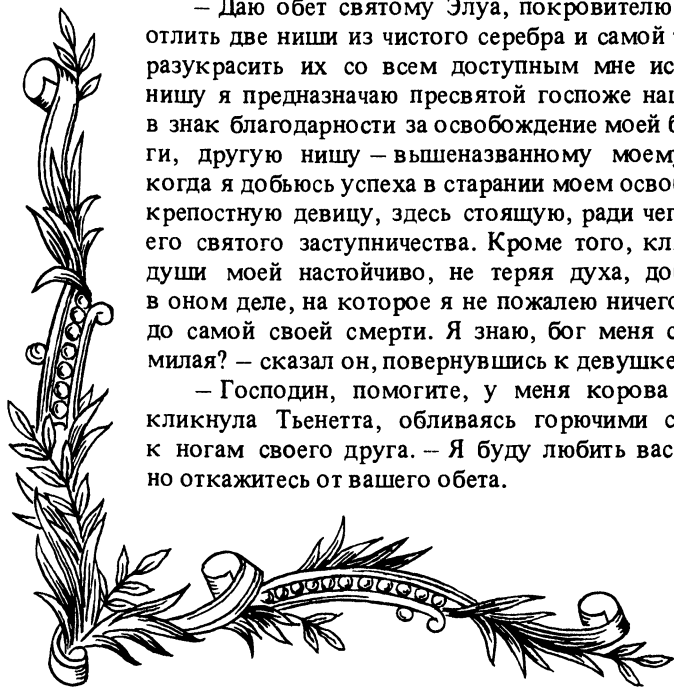
— Нет, господин, — отвечала она, — я стану причиной тысячи ваших огорчений и виновницей вашего несчастья. Для бедной подневольной служанки достаточно нескольких ласковых слов.

— О, вы еще не знаете, дитя мое, с кем вы имеете дело!

Туренец перекрестился и, сложив руки, сказал:

— Даю обет святому Элуа, покровителю всех ювелиров, отлить две ниши из чистого серебра и самой тонкой работы и разукрасить их со всем доступным мне искусством. Одну нишу я предназначаю пресвятой госпоже нашей богородице, в знак благодарности за освобождение моей бесценной супруги, другую нишу — вышеназванному моему покровителю, когда я добьюсь успеха в старании моем освободить Тьенетту, крепостную девицу, здесь стоящую, ради чего я испрашиваю его святого заступничества. Кроме того, клянусь спасением души моей настойчиво, не теряя духа, добиваться успеха в оном деле, на которое я не пожалею ничего и не успокоюсь до самой своей смерти. Я знаю, бог меня слышит... А вы, милая? — сказал он, повернувшись к девушке.

— Господин, помогите, у меня корова убежала! — воскликнула Тьенетта, обливаясь горячими слезами и падая к ногам своего друга. — Я буду любить вас по гроб жизни, но откажитесь от вашего обета.



— Пойдем ловить корову, — ответил мэтр Ансо, поднимая девушку с колен, но еще не смея ее поцеловать, хотя она была к тому расположена.

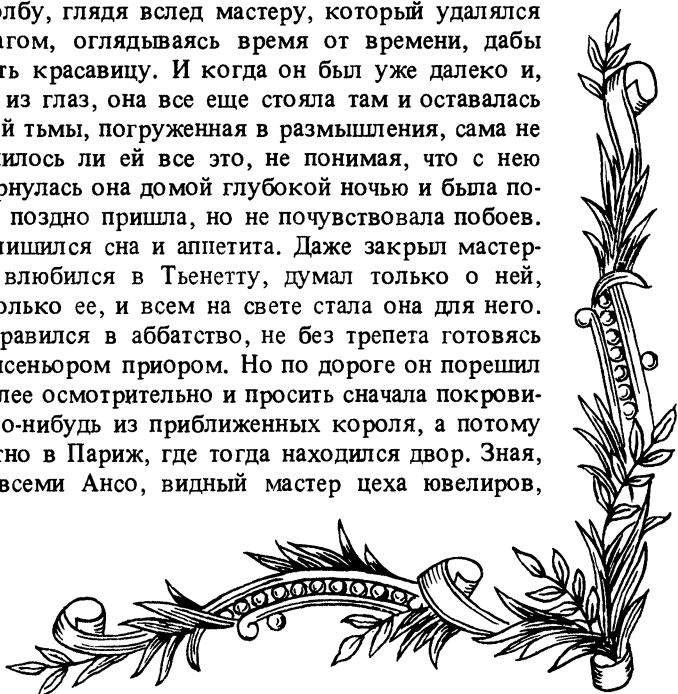
— Меня за это прибьют, — промолвила она.

И вот золотых дел мастер пустился вдогонку за проклятой коровой, которую нимало не трогали любовные излияния. Но вскоре туренец схватил норовистую скотину за рога и крепко держал ее. Еще немного, и он подбросил бы ее на воздух, как соломинку.

— Прощайте, милая. Коли пойдете в город, заходите ко мне, — мой дом рядом с церковью святого Ле. Зовусь я мэтр Ансо, я золотых дел мастер нашего милостивейшего короля Франции, подобно святому Элуа, нашему покровителю. Обещайте мне в будущее воскресенье быть на этом поле; я не премину прийти сюда, меня не остановят ни гроза, ни ливень.

— Добрый мой повелитель! Я перелезу через изгородь, если понадобится. В благодарность я хотела бы стать вашей без всяких помех для вас и не причинять вам никакого ущерба, даже отдав за это блаженство в будущей жизни. А до того часа я буду молиться за вас господу от всей души.

И она осталась стоять на месте неподвижно, подобно каменному столбу, глядя вслед мастеру, который удалялся медленным шагом, оглядываясь время от времени, дабы еще раз увидеть красавицу. И когда он был уже далеко и, наконец, исчез из глаз, она все еще стояла там и оставалась в поле до самой тьмы, погруженная в размышления, сама не зная, не приснилось ли ей все это, не понимая, что с нею произошло. Вернулась она домой глубокой ночью и была побита за то, что поздно пришла, но не почувствовала побоев. Добряк Ансо лишился сна и аппетита. Даже закрыл мастерскую, так он влюбился в Тьенетту, думал только о ней, всюду видел только ее, и всем на свете стала она для него. Наутро он отправился в аббатство, не без трепета готовясь к беседе с монсеньором приором. Но по дороге он порешил действовать более осмотрительно и просить сначала покровительства у кого-нибудь из приближенных короля, а потому вернулся обратно в Париж, где тогда находился двор. Зная, как уважаем всеми Ансо, видный мастер цеха ювелиров,



и как он любим всеми за свои изящные изделия и за учтивое свое обращение, начальник королевского двора обещал влюбленному свое покровительство. Незадолго перед тем Ансо сработал по его просьбе золотую коробочку для сластей, украшенную драгоценными камнями, — чудо ювелирного искусства. Коробочку этот вельможа преподнес в подарок одной придворной даме. Теперь он велел оседлать для мэтра Ансо иноходца, а для себя своего коня, и они тут же отправились в аббатство. Придворный добился аудиенции у монсеньора приора Гюгона де Сенектера, коему уже было девяносто три года. Войдя в залу вместе с ювелиром, в глубоком волнении ожидавшим решения своей участи, придворный попросил приора Гюгона доставить ему приятность, заранее дав обещание исполнить его несложную просьбу. На что аббат, покачивая головой, ответил, что сие было бы посягательством на его верность церковному уставу.

— Выслушайте меня, святой отец, — промолвил вельможа, — наш придворный ювелир воспылал великой любовью к крепостной девице, принадлежащей вашему аббатству, и я ходатайствую перед вами об отпущении на волю оной девицы; со своей стороны я обещаю пойти навстречу любому вашему желанию.

— Кто такая? — спросил аббат мастера.

— Ее зовут Тьенетта, — робко ответил ювелир.

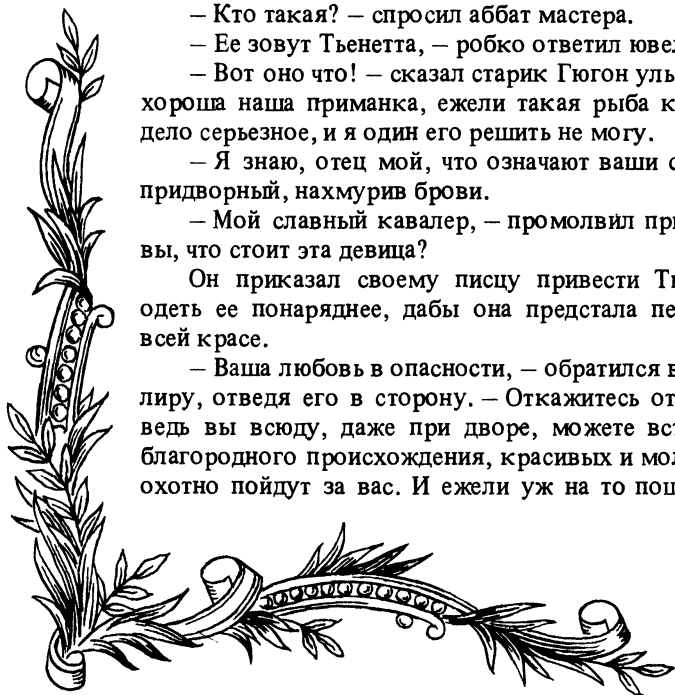
— Вот оно что! — сказал старик Гюгон улыбаясь. — Значит, хороша наша приманка, ежели такая рыба клюнула. Но это дело серьезное, и я один его решить не могу.

— Я знаю, отец мой, что означают ваши слова, — ответил придворный, нахмутив брови.

— Мой славный кавалер, — промолвил приор, — знаете ли вы, что стоит эта девица?

Он приказал своему писцу привести Тьенетту и велел одеть ее понаряднее, дабы она предстала перед гостями во всей красе.

— Ваша любовь в опасности, — обратился вельможа к ювелиру, отведя его в сторону. — Откажитесь от своей прихоти, ведь вы всюду, даже при дворе, можете встретить женщин благородного происхождения, красивых и молодых, каковые охотно пойдут за вас. И ежели уж на то пошло, сам король



поможет вам приобрести дворянское поместье, и со временем ваш род будет причислен к знати. Разве не хватит у вас золота, чтобы стать основателем новой благородной фамилии?

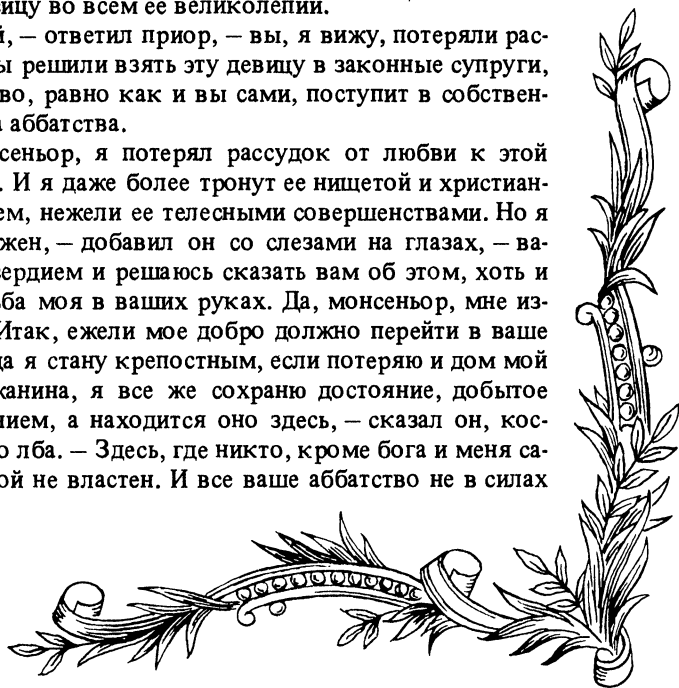
— Не могу, — ответил Ансо, — я дал обещание.

— Тогда добивайтесь выкупа вашей красавицы. Я знаю монахов, ради денег они на все пойдут.

— Монсеньор, — сказал мастер, вновь приблизившись к приору. — Вы облечены великими полномочиями представлять на земле милосердие господне, каковое распространяется на всех несчастных и заключает в себе бесконечное сокроище сострадания к горестям нашим. Я буду поминать вас в своих молитвах денно и нощно и никогда не забуду, что получил свое счастье по щедрости вашей, если вы согласитесь осчастливить меня, отдав мне в законные супруги названную девицу, и не числить детей, рожденных от сего брака, подневольными вашими крепостными. Зато я смастерю для вас дароносицу, столь богато разукрашенную золотом, драгоценными камнями, изображениями крылатых ангелов, что подобной не найдется во всем христианском мире. Ни с чем не сравнимая, она будет радовать взоры ваши и так прославит ваш алтарь, что верующие толпами станут стекаться в аббатство из города, и даже знатные чужеземцы поспешат приехать, дабы узреть дароносицу во всем ее великолепии.

— Сын мой, — ответил приор, — вы, я вижу, потеряли рассудок! Если вы решили взять эту девицу в законные супруги, ваше имущество, равно как и вы сами, поступит в собственность капитула аббатства.

— Да, монсеньор, я потерял рассудок от любви к этой бедной девице. И я даже более тронут ее нищетой и христианским ее сердцем, нежели ее телесными совершенствами. Но я тем паче поражен, — добавил он со слезами на глазах, — вашим жестокосердием и решаюсь сказать вам об этом, хоть и знаю, что судьба моя в ваших руках. Да, монсеньор, мне известен закон. Итак, ежели мое добро должно перейти в ваше владение, когда я стану крепостным, если потеряю и дом мой и права горожанина, я все же сохраню достоинство, добытое трудом и учением, а находится оно здесь, — сказал он, коснувшись своего лба. — Здесь, где никто, кроме бога и меня самого, надо мной не властен. И все ваше аббатство не в силах



оплатить будущие творения, что таятся в моем уме. Вам будет принадлежать все — мое тело, моя жена, мои дети, но ничто и никто не даст вам права на мое достоиние, даже пытки, ибо я крепче самого крепкого железа, и, чем сильнее страдание, тем я терпеливее.

Произнеся эти слова, мэтр Ансо взбешенный спокойствием приора, который, видимо, решил забрать в пользу аббатства дублины просителя, хватил кулаком по дубовой кафедре, и она разлетелась в щепки, будто от удара молота.

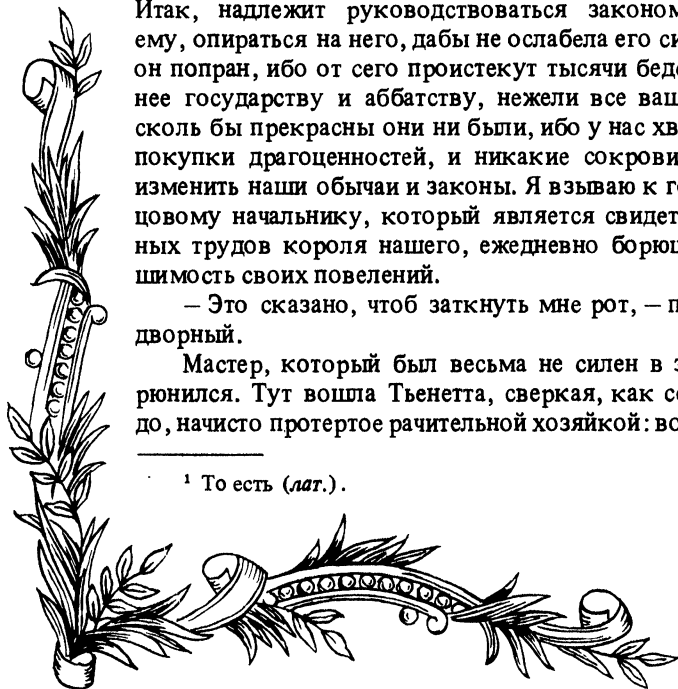
— Вот, монсеньор, какого вы приобретаете слугу, какой мастер, творец несравненных произведений, станет вашим подъяремным волком.

— Сын мой, — ответил приор, — вы нехорошо поступили, разбив мою кафедру и легкомысленно осудив мою душу. Девица принадлежит аббатству, а не мне. Я лишь верный слуга, стоящий на страже прав и обычаев нашего славного монастыря. Прежде чем я разрешу, чтобы из лоно сей жены рождались свободные дети, я обязан получить соизволение господа бога и аббатства. А с тех пор как стоит здесь монастырь, как находятся здесь монахи и крепостные *id est*¹ с незапамятных времен, не было еще случая, чтоб горожанин стал крепостным аббатства, сочетавшись браком с крепостной крестьянкой. Итак, надлежит руководствоваться законом, подчиняться ему, опираться на него, дабы не ослабела его сила и не был бы он попран, ибо от сего произтекут тысячи бедствий; это важнее государству и аббатству, нежели все ваши дароносицы, сколь бы прекрасны они ни были, ибо у нас хватит казны для покупки драгоценностей, и никакие сокровища не в силах изменить наши обычаи и законы. Я взываю к господину дворцовому начальнику, который является свидетелем бесконечных трудов короля нашего, ежедневно борющегося за нарушение своих повелений.

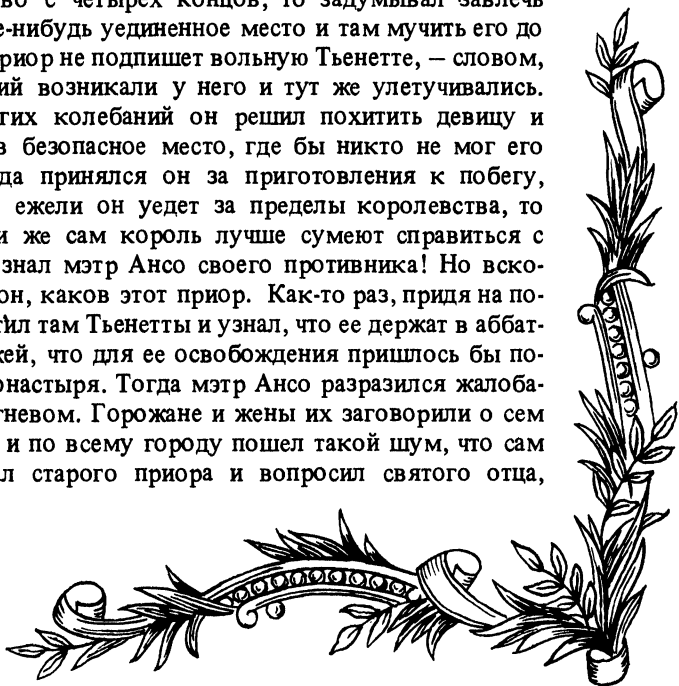
— Это сказано, чтоб заткнуть мне рот, — промолвил придворный.

Мастер, который был весьма не силен в законах, пригнулся. Тут вошла Тьенетта, сверкая, как серебряное блюдо, начисто протертое рачительной хозяйкой: волосы ей убрали

¹ То есть (лат.).



красиво, надели на нее белое шерстяное платье с голубым поясом, изящные туфельки, белые чулки — словом, была она царственно прекрасна и столь благородна в обращении, что наш мастер совсем обомтел от восторга, и даже придворный признался, что никогда не видел такой совершенной красоты. Потом, рассудив, что бедняге Ансо ее лицемерие грозит всяческими опасностями, он поспешил увезти мастера в город и всю дорогу уговаривал хорошенько подумать о своем деле, ибо приор совсем не расположен отпустить такую приманку для ловли богатых горожан и вельмож из парижского садка. Так оно и случилось, капитул сообщил злосчастному влюбленному, что ежели он женится на Тьенетте, то должен будет отдать все свое состояние и свой дом в пользу аббатства и признать крепостным себя и будущих своих детей от сего брака. Но в виде особой милости приор оставлял Ансо его жилище при условии описи всего добра и уплаты ежегодной подати по особому обязательству. Кроме того, ежегодно в течение недели мастер должен был проживать в общей камере, примыкающей к монастырским владениям, дабы подтвердить свое рабское состояние. Мастер, коему каждый встречный и поперечный твердил об упрямстве монахов, понял, что слово аббата непреклонно, и пришел в отчаяние. То он решал подпалить аббатство с четырех концов, то задумывал завлечь приора в какое-нибудь уединенное место и там мучить его до тех пор, пока приор не подпишет вольную Тьенетте, — словом, тысячи фантазий возникали у него и тут же улетучивались. Но после многих колебаний он решил похитить девицу и бежать с ней в безопасное место, где бы никто не мог его достать, и тогда принялся он за приготовления к побегу, рассуждая, что ежели он уедет за пределы королевства, то его друзья или же сам король лучше сумеют справиться с монахами. Не знал мэтр Ансо своего противника! Но вскорости изведal он, каков этот приор. Как-то раз, придя на поле, он не встретил там Тьенетты и узнал, что ее держат в аббатстве под стражей, что для ее освобождения пришлось бы повести осаду монастыря. Тогда мэтр Ансо разразился жалобами, пенями и гневом. Горожане и жены их заговорили о сем происшествии, и по всему городу пошел такой шум, что сам король призвал старого приора и спросил святого отца,

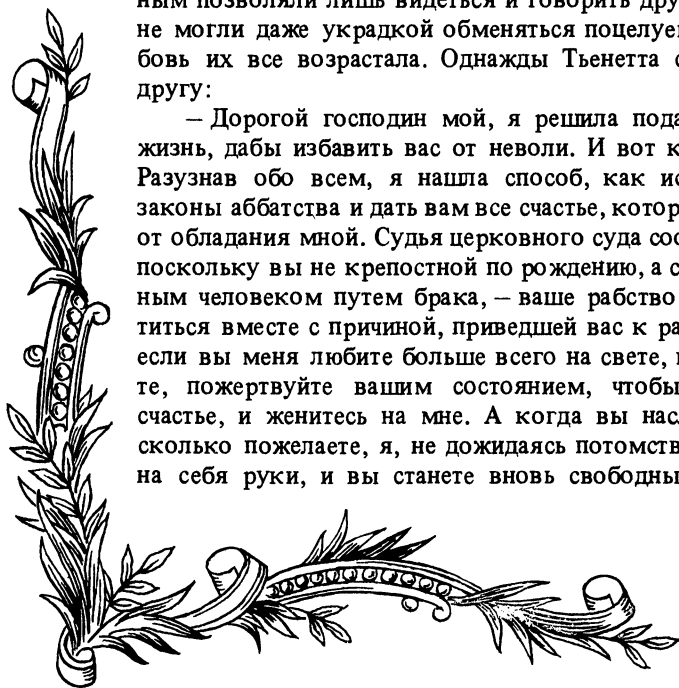


почему он не желает прислушаться к голосу великой любви королевского золотых дел мастера и не следует в делах своих христианскому милосердию.

— Только по той причине, государь, — ответил аббат, — что все законы связаны меж собой, как звенья единой кольчуги, и ежели одно звено выпадает, рушится все. Если б оную девицу взяли у нас против нашей воли, не соблюдая обычая, то вскоре, пожалуй, подданные ваши снимут с вашей головы корону и поднимут по всей стране великие мятежи, дабы уничтожить лесные, дорожные и прочие пошшины, обременяющие народ.

Король прикусил язык. Все ожидали с нетерпением, чем же кончится эта история. И столь велико было всеобщее любопытство, что многие дворяне бились об заклад, что туренец отречется от своей любви, а дамы настаивали на противоположном. Ансо слезно жаловался королеве, что монахи лишили его счастья видеть возлюбленную; ее величество нашла, что это жестоко и возмутительно, и на основании ее обращения к монсеньору туренец получил разрешение ежедневно посещать приемную аббатства, куда приходила и Тьенетта, но всегда в сопровождении старого монаха. И всякий раз она появлялась в роскошном наряде, как знатная дама. Влюбленным позволяли лишь видеться и говорить друг с другом, они не могли даже украдкой обменяться поцелуем, меж тем любовь их все возрастала. Однажды Тьенетта сказала своему другу:

— Дорогой господин мой, я решила подарить вам мою жизнь, дабы избавить вас от неволи. И вот каким образом. Разузнав обо всем, я нашла способ, как искуснее обойти законы аббатства и дать вам все счастье, которое вы ожидаете от обладания мной. Судья церковного суда сообщил мне, что, поскольку вы не крепостной по рождению, а станете крепостным человеком путем брака, — ваше рабство может прекратиться вместе с причиной, приведшей вас к рабству. Посему, если вы меня любите больше всего на свете, как вы говорите, пожертвуйте вашим состоянием, чтобы купить наше счастье, и женитесь на мне. А когда вы насладитесь мной, сколько пожелаете, я, не дожидаясь потомства, сама наложу на себя руки, и вы станете вновь свободны. Таково ваше

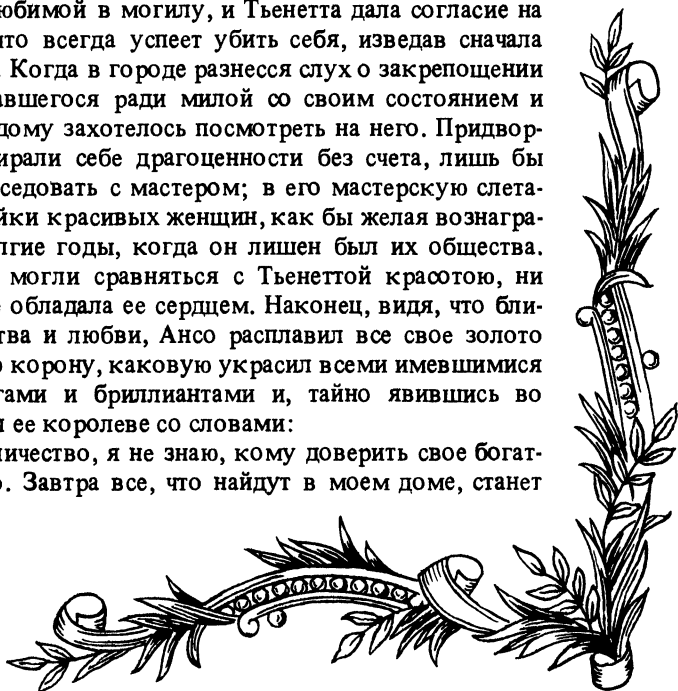


законное право, и на вашей стороне будет сам король, который, говорят, к вам весьма расположен. И, без всякого сомнения, бог простит меня, ибо я приму смерть ради того, чтобы освободить моего повелителя и супруга.

— Моя дорогая Тьенетта! — воскликнул Ансо, — ни слова более, я стану крепостным, и ты будешь жить, и счастье мое продлится до конца дней моих. Никакие цепи не будут для меня слишком тяжелы, если ты будешь рядом со мной. Если не останется у меня ни единого собственного денье, что мне до того? Ведь есть у меня сокровище — твое сердце, и есть у меня единственное блаженство — твоя несравненная прелесть. Я веряю себя покровительству святого Элуа, в надежде, что он смилуется над нами в нашей беде и оградит нас от всяких зол. Итак, я сейчас направляюсь к стряпчему и поручу ему составление нужных бумаг и договоров. По крайней мере, бесценный цветок моей жизни, ты будешь прилично одета, будешь жить в хорошем доме, и служить тебе будут всю твою жизнь, как королеве, ибо господин приор оставляет в нашу пользу часть моих доходов.

Тьенетта, и плача и смеясь, оборонялась от своего счастья и желала умереть, дабы не доводить до неволи свободного человека, но мэтр Ансо шептал ей нежные речи, грозил последовать за любимой в могилу, и Тьенетта дала согласие на брак, решив, что всегда успеет убить себя, изведав сначала радости любви. Когда в городе разнесся слух о закрепощении туренца, расставшегося ради милой со своим состоянием и свободой, каждому захотелось посмотреть на него. Придворные дамы отбирали себе драгоценности без счета, лишь бы подольше побеседовать с мастером; в его мастерскую слетались целые стайки красивых женщин, как бы желая вознаградить его за долгие годы, когда он лишен был их общества. Но если иные могли сравняться с Тьенеттой красотой, ни одна из них не обладала ее сердцем. Наконец, видя, что близится час рабства и любви, Ансо расплавил все свое золото и отлил из него корону, каковую украсил всеми имевшимися у него жемчугами и бриллиантами и, тайно явившись во дворец, передал ее королеве со словами:

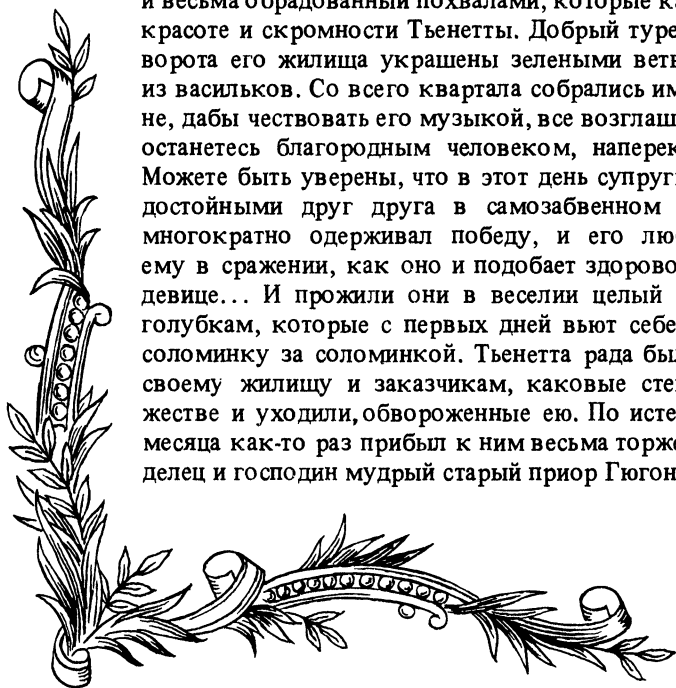
— Ваше величество, я не знаю, кому доверить свое богатство, — вот оно. Завтра все, что найдут в моем доме, станет



добычей проклятых монахов, не пожалевших меня. Соболаговолите принять сей золотой венец. Это слабая благодарность за радость лицемерия моей возлюбленной, испытанную по вашей милости, ибо никакие деньги не стоят единого ее взгляда. Я не знаю, что меня ждет, но ежели мои дети станут когда-нибудь свободны, я поручаю их вашему королевскому великодушию.

— Хорошо сказано, добрый человек, — ответила королева. — Рано или поздно помощь моя понадобится аббатству, и тогда, поверь, я вспомню о тебе.

Несметная толпа собралась в аббатство на свадьбу Тьенетты, которой королева подарила подвенечный наряд, а король дал дозволение носить ежедневно золотые кольца в ушах. Когда прекрасная чета направилась из аббатства к церкви Сен-Ле и к дому Ансо, ставшего теперь рабом, люди в окнах зажигали факелы, чтобы лучше видеть новобрачных. По обе стороны улицы шпалерами стояла толпа, словно при въезде короля в город. Бедный муж выковал себе серебряный обруч и надел его на левую руку в знак своей принадлежности аббатству Сен-Жермен. И что же! Народ кричал сему новому рабу: „Слава, слава!“ — будто новоявленному королю, и мэтр Ансо еле успевал раскланиваться, счастливый, влюбленный и весьма обрадованный похвалами, которые каждый воздавал красоте и скромности Тьенетты. Добрый туренец увидел, что ворота его жилища украшены зелеными ветвями и венками из васильков. Со всего квартала собрались именитые горожане, дабы чествовать его музыкой, все возглашали: „Вы всегда останетесь благородным человеком, наперекор аббатству“. Можете быть уверены, что в этот день супруги показали себя достойными друг друга в samozабвенном поединке. Муж многократно одерживал победу, и его любимая отвечала ему в сражении, как оно и подобает здоровой крестьянской девице... И прожили они в веселии целый месяц, подобно голубкам, которые с первых дней вяют себе гнездо, собирая соломинку за соломинкой. Тьенетта рада была прекрасному своему жилищу и заказчикам, каковые стекались во множестве и уходили, обвороженные ею. По истечении медового месяца как-то раз прибыл к ним весьма торжественно их владеец и господин мудрый старый приор Гюгон и, войдя в дом,



принадлежащий уже не мастеру Ансо, а капитулу, изрек следующее:

— Чада мои, отныне вы свободны, с вас сняты все долги и повинности. И я хочу сказать вам, что с первого же мига был я поражен великой любовью, соединившей ваши сердца. А затем, как только были признаны права аббатства, решил я про себя доставить вам полное счастье, после того как испытая вашу веру в божий промысел. Раскрепощение это ничего не будет вам стоить.

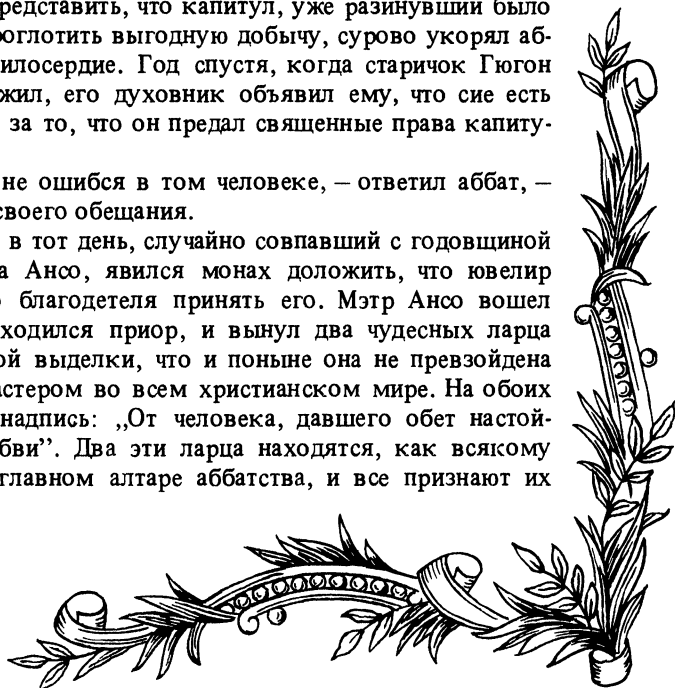
И сказав так, он слегка похлопал супругов по щеке, они же упали на колени, плача от радости, что и не удивительно.

Туренец сообщил своим соседям о благословении и милостях доброго приора Гюгона, и люди со всего квартала высыпали на улицу. Затем мэтр Ансо с великим почетом проводил приора, ведя под уздцы его кобылу до самой заставы Бюсси. Во время этого шествия ювелир, захвативший с собой мешок с деньгами, разбрасывал монеты беднякам и калекам, восклицая: „Милость, милость божия! Да хранит бог приора, да здравствует монсеньор Гюгон!”

По возвращении домой Ансо угостил своих друзей. Он заново сыграл свадьбу, и пировал на ней целую неделю. Можно себе представить, что капитул, уже разинувший было пасть, дабы проглотить выгодную добычу, сурово укорял аббата за его милосердие. Год спустя, когда старичок Гюгон как-то занедужил, его духовник объявил ему, что сие есть небесная кара за то, что он предал священные права капитула и бога.

— Если я не ошибся в том человеке, — ответил аббат, — он не забудет своего обещания.

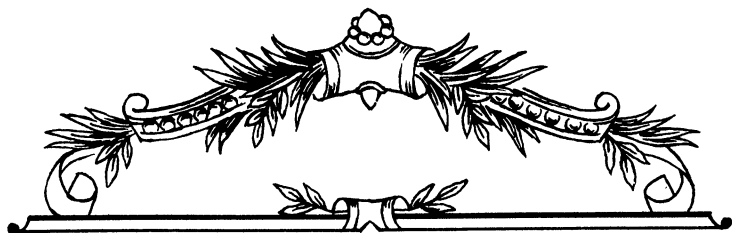
И впрямь, в тот день, случайно совпавший с годовщиной свадьбы мэтра Ансо, явился монах доложить, что ювелир просит своего благодетеля принять его. Мэтр Ансо вошел в зал, где находился приор, и вынул два чудесных ларца такой искусной выделки, что и поныне она не превзойдена ни единым мастером во всем христианском мире. На обоих ларцах была надпись: „От человека, давшего обет настойчивости в любви”. Два эти ларца находятся, как всякому известно, на главном алтаре аббатства, и все признают их



бесценными сокровищами. Добавим, что ювелир пожертвовал на них все, чем располагал, но эти прекрасные творения не только не опустошили его кошелька, а наполнили его до краев, ибо еще больше увеличили его славу и доходы — настолько, что он мог купить себе дворянское звание, обширное поместье и положил начало фамилии Ансо, каковая была весьма почитаема в Турени.

Повествование это учит нас неизменно обращаться к святым и к богу в жизненных затруднениях и настойчиво добиваться того, что является добром. Неоспоримо, что истинная любовь надо всем торжествует, — изречение старое, но автор позволил себе привести его, потому что оно ему весьма по душе.





РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ

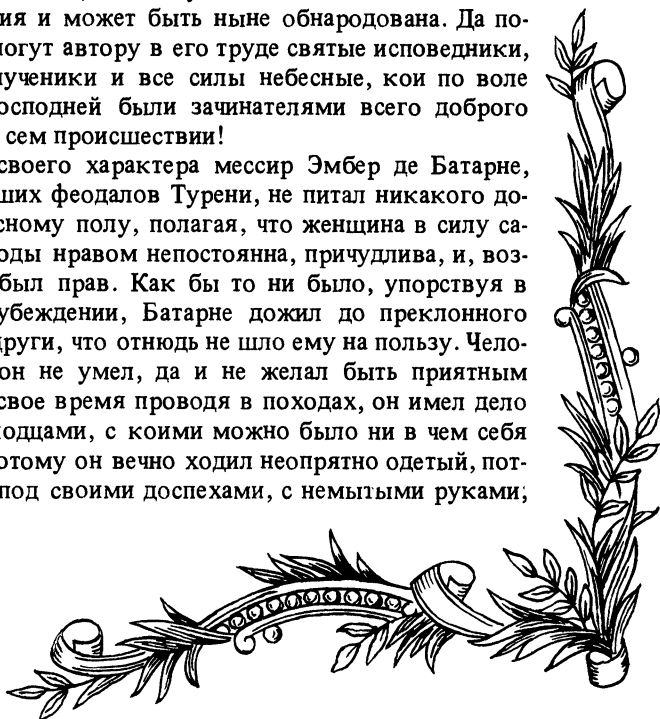
ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК БЕРТА И В ЗАМУЖЕСТВЕ ОСТАВАЛАСЬ ДЕВСТВЕННО-НЕПОРОЧНОЙ



езадолго до первого побега его высочества дофина*, причинившего немалое огорчение добродушному государю нашему Карлу Победителю, в провинции Турень случилась беда в одной благородной семье, после того почти совсем угасшей, — посему весьма печальная сия история и может быть ныне обнародована. Да помогут автору в его труде святые исповедники, мученики и все силы небесные, кои по воле господней были зачинателями всего доброго в сем происшествии!

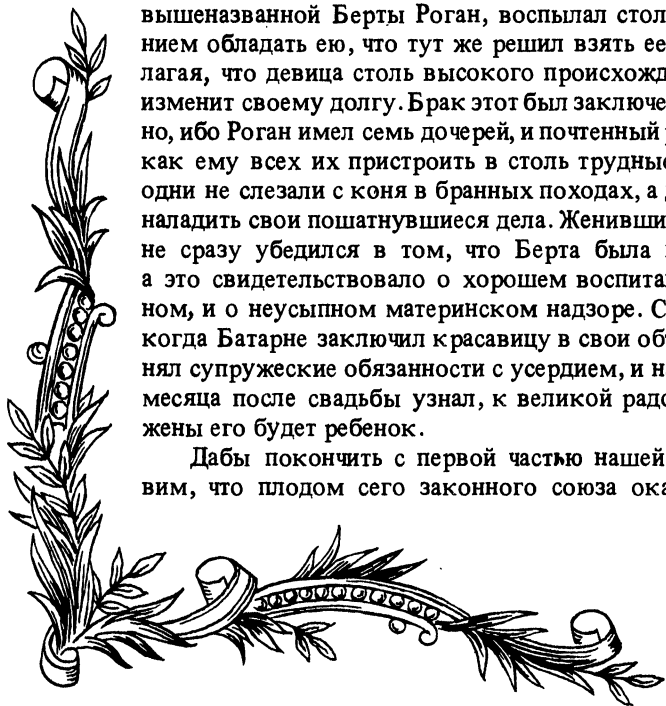
По складу своего характера мессир Эмбер де Батарне, один из знатнейших феодалов Турени, не питал никакого доверия к прекрасному полу, полагая, что женщина в силу самой своей природы нравом непостоянна, причудлива, и, возможно, что он был прав. Как бы то ни было, упорствуя в этом мрачном убеждении, Батарне дожил до преклонного возраста без подруги, что отнюдь не шло ему на пользу. Человек одинокий, он не умел, да и не желал быть приятным ближнему; все свое время проводя в походах, он имел дело со всякими молодцами, с коими можно было ни в чем себя не стеснять. И потому он вечно ходил неопрятно одетый, потный и грязный под своими доспехами, с немывтыми руками;



а лицом смахивал на обезьяну; словом, в том, что касается наружности, был он самый безобразный мужчина во всем христианском мире; но зато сердце, ум и все незримые свойства души были в нем достойны всяческой похвалы. Поверьте, долго пришлось бы странствовать по белу свету посланнику божию прежде, чем он нашел бы воина более стойкого, рыцаря, отличавшегося столь незапятнанной честью, более скупого на слова и более верного долгу, чем Эмбер де Батарне. Те, кому случалось беседовать с ним, утверждали, что он был мудрым в своих суждениях и мог всегда дать добрый совет. Уж не нарочно ли, не в насмешку ль над нами бог вкладывает в человека столько высоких качеств, наделив его отвратительной телесной оболочкой? Когда сеньору де Батарне минуло пятьдесят лет (а на вид можно было дать ему и все шестьдесят), он порешил обзавестись супругой, дабы иметь потомство. И вот, разузнавая, где бы ему найти подходящую для себя невесту, он услышал, как люди превозносят великие достоинства и совершенства одной девицы из дома Роганов, владевшего в ту пору поместьями в Турени; девицу сию звали Бертой.

Приехав в замок Монбазон взглянуть на нее, сеньор Эмбер, очарованный красотой, добродетелями и невинностью вышеуказанной Берты Роган, воспытал столь сильным желанием обладать ею, что тут же решил взять ее себе в жены, полагая, что девица столь высокого происхождения никогда не изменит своему долгу. Брак этот был заключен незамедлительно, ибо Роган имел семь дочерей, и почтенный родитель не знал, как ему всех их пристроить в столь трудные времена, когда одни не слезали с коня в бранных походах, а другие старались наладить свои пошатнувшиеся дела. Женившись, сеньор Батарне сразу убедился в том, что Берта была невинной девой, а это свидетельствовало о хорошем воспитании, ею полученном, и о неусыпном материнском надзоре. С первой же ночи, когда Батарне заключил красавицу в свои объятия, он выполнял супружеские обязанности с усердием, и на исходе второго месяца после свадьбы узнал, к великой радости своей, что у жены его будет ребенок.

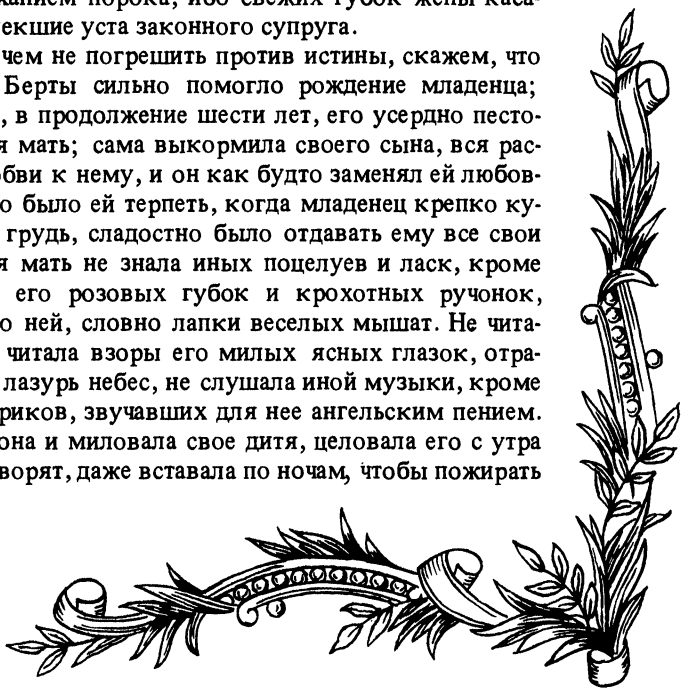
Дабы покончить с первой частью нашей истории, прибавим, что плодом сего законного союза оказался сын — тот



самый Батарне, который стал позднее, милостью короля Людовика XI, герцогом, начальником двора, а затем посланником короля в разных странах Европы и был весьма любим этим грозным государем, коему он оставался предан всей душой. Эту нерушимую верность Батарне-младший наследовал от отца, который с юных лет был крепко привязан к дофину, разделял с ним все превратности его жизни, даже участвовал в его мятежах и был ему столь надежным другом, что по одному слову его согласился бы распять Иисуса Христа; редко вблизи государей и сильных мира сего произрастает цветок такой дружбы.

С первого же дня замужества прекрасная Берта вела себя столь безупречно, что в совместной с нею жизни рассеялись густой туман и черные тучи, омрачавшие в душе сеньора Батарне сияние женской славы. И вот, как то нередко бывает с безбожниками, он в единый миг перешел от неверия к беспредельной вере и предоставил вышеназванной Берте всем распоряжаться в доме, сделал ее полновластной своей госпожой, всесильной владычицей, блюстительницей его чести, хранительницей его почтенных седин и, не задумываясь, сразил бы на месте всякого, кто дерзнул бы сказать хоть одно дурное слово об этом зеркале добродетели, ни в малой мере не замутненном дыханием порока, ибо свежих губок жены касались лишь поблекшие уста законного супруга.

Дабы ни в чем не погрешить против истины, скажем, что благоразумию Берты сильно помогло рождение младенца; денно и нощно, в продолжение шести лет, его усердно пестовала прелестная мать; сама выкормила своего сына, вся растворялась в любви к нему, и он как будто заменял ей любовника. Сладостно было ей терпеть, когда младенец крепко кусал ее нежную грудь, сладостно было отдавать ему все свои помыслы. Юная мать не знала иных поцелуев и ласк, кроме прикосновения его розовых губок и крохотных ручонков, пробегавших по ней, словно лапки веселых мышат. Не читала она книг, а читала взоры его милых ясных глазок, отражавших в себе лазурь небес, не слушала иной музыки, кроме его ребячьих криков, звучавших для нее ангельским пением. Вечно ласкала она и миловала свое дитя, целовала его с утра до вечера и, говорят, даже вставала по ночам, чтобы пожирать



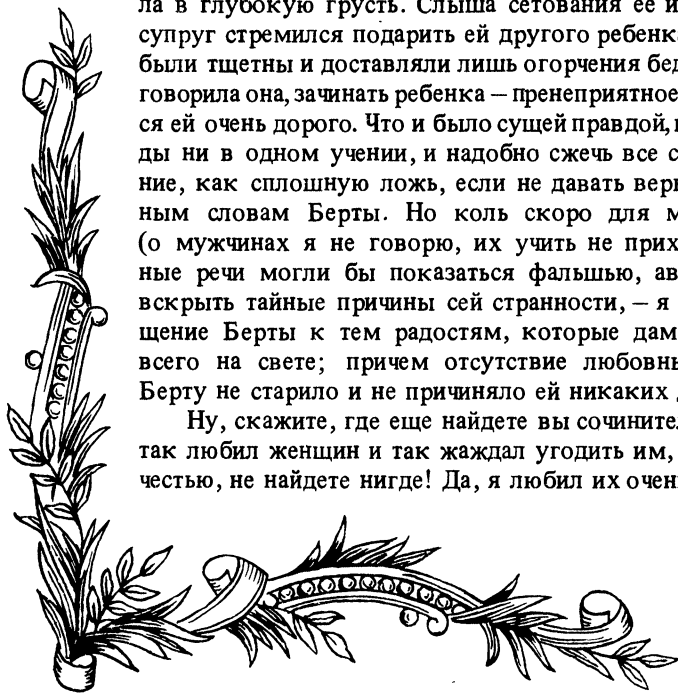
его неумными поцелуями, превращаясь с ним порою сама в малое дитя, воспитывала его по всем правилам прекрасной религии материнства — словом, вела себя, как самая лучшая и счастливейшая мать на свете, не в обиду будь сказано пресвятой деве Марии, коей не требовалось особых усилий для того, чтобы хорошо воспитать нашего спасителя, поскольку он был богом.

Неустанные заботы о ребенке и малая склонность Берты к выполнению брачных обязанностей были весьма на руку престарелому Батарне, который не мог быть особенно щедрым на пиршествах любви и старался бережливо расходовать свои силы в чаянии дожидаться второго ребенка.

По прошествии шести лет матери пришлось передать сына на попечение оруженосцев и других лиц, коим сеньор Батарне поручил дать надлежащее воспитание своему наследнику, чтобы вместе со славным именем и земельными владениями мальчик унаследовал все добродетели, благородство, силу духа и отвагу своего рода.

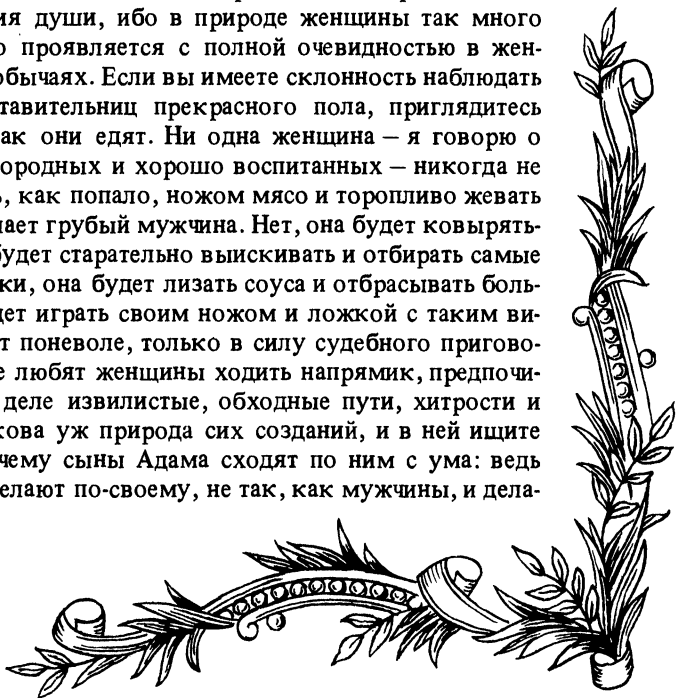
Много слез пролила Берта, у коей отняли ее счастье. Для любвеобильного сердца матери отдать горячо любимого сына в чужие руки и видеть его близ себя всего лишь несколько быстротечных часов значило не иметь его вовсе. И Берта впадала в глубокую грусть. Слыша сетования ее и слезы, добрый супруг стремился подарить ей другого ребенка, но усилия его были тщетны и доставляли лишь огорчения бедной Берте, ибо, говорила она, зачинать ребенка — пренеприятное дело и обходится ей очень дорого. Что и было сущей правдой, или уж нет правды ни в одном учении, и надобно сжечь все священное писание, как сплошную ложь, если не давать веры простосердечным словам Берты. Но коль скоро для многих женщин (о мужчинах я не говорю, их учить не приходится) подобные речи могли бы показаться фальшью, автор постарался вскрыть тайные причины сей странности, — я разумею отвращение Берты к тем радостям, которые дамы любят более всего на свете; причем отсутствие любовных утех ничуть Берту не старило и не причиняло ей никаких душевных мук.

Ну, скажите, где еще найдете вы сочинителя, который бы так любил женщин и так жаждал угодить им, как я? Клянусь честью, не найдете нигде! Да, я любил их очень сильно, хоть и



не столько, сколько мне бы того хотелось, ибо чаще я держу в руках гусиное перо, чем щекочу своими усами женские губки, чтобы заставить их смеяться и невинно болтать в полном со мной согласии. Вот какие дела!

Старик Батарне вовсе не был человеком испорченным, каким-нибудь распутником, знатоком всяких тонкостей. Ему было все равно, как убить своего противника, лишь бы убить, и, схватившись с ним в честном бою, он, ни слова не говоря, разил его, с какой стороны придется. Беспечности в делах смерти соответствовало безразличие Батарне к делам рождения и жизни, к способам изготовления ребенка в заманчивой, хорошо вам известной печи. Храброму вояке были неведомы тысячи разных повадок в любовных делах, сладостная канитель, милые шуточки, прибауточки, расспросы, допросы, колдовство первых ласк — тонкие охапки хвороста, которые подбрасывают в огонь, дабы он сильнее разгорелся, охватывая благоуханные ветки, подобранные прутик за прутиком в вертограде любви, — пустячки, безделки, милый лепет, нежности и веселые забавы/лакомства, которые с такой жадностью съедают вдвоем/облизываясь по-кошачьи от удовольствия, словом, всякие затеи и ухищрения, которые распутники знают, а влюбленные изобретают и которые для дам дороже спасения души, ибо в природе женщины так много кошачьего! Это проявляется с полной очевидностью в женских нравах и обычаях. Если вы имеете склонность наблюдать повадки представительниц прекрасного пола, приглядитесь хорошенько, как они едят. Ни одна женщина — я говорю о женщинах благородных и хорошо воспитанных — никогда не будет кромсать, как попало, ножом мясо и торопливо жевать его, как это делает грубый мужчина. Нет, она будет ковыряться в кушанье, будет старательно выискивать и отбирать самые лакомые крошки, она будет лизать соуса и отбрасывать большие куски, будет играть своим ножом и ложкой с таким видом, словно ест поневоле, только в силу судебного приговора, — до того не любят женщины ходить напрямик, предпочитая в каждом деле извилистые, обходные пути, хитрости и жеманство. Такова уж природа сих созданий, и в ней ищите объяснение, почему сыны Адама сходят по ним с ума: ведь женщины все делают по-своему, не так, как мужчины, и дела-

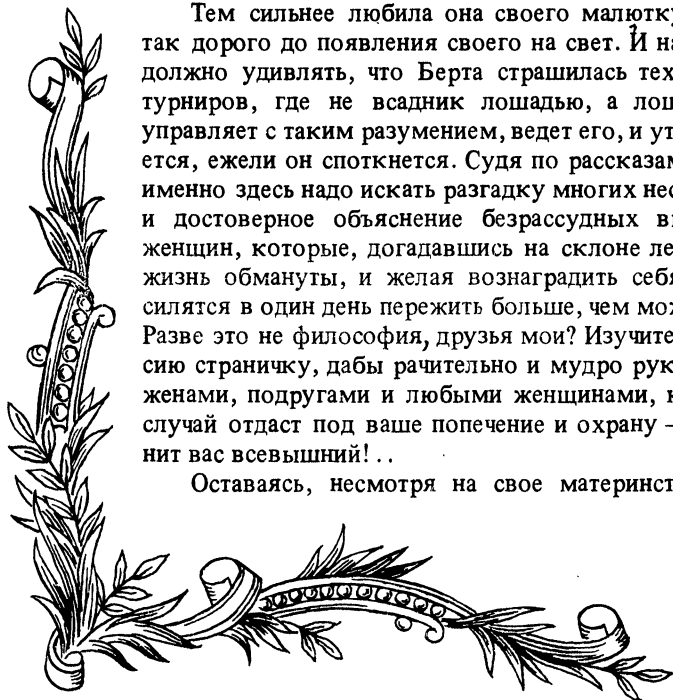


ют, право, неплохо. Вы согласны со мной? Отлично, вашу руку!

Итак, старый вояка Эмбер де Батарне, полный невежда в любовной игре, ворвался в прекрасный сад, именуемый садом Венеры, как врываются в крепость взятую штурмом, не обращая никакого внимания на вопли и слезы ее обитателей, и заронил в этот сад семя жизни, как во мраке ночи пустил бы наугад стрелу из арбалета. Прелестная Берта не привыкла к столь грубому обращению (Дитя! Ей минуло всего пятнадцать лет!) и решила, в простоте и невинности души своей, что к счастью материнства ведет страшный, мучительный и трудный путь. В минуты тяжкого сего испытания она взывала к богу о помощи и твердила про себя молитвы деве Марии, находя удел ее весьма завидным, ибо пречистой приходилось терпеть одного только голубка. Так, не видя в брачных отношениях ничего, кроме доуки, Берта никогда не искала сама близости со своим супругом. А поскольку старик Батарне, как уже говорилось выше, не был особенно силен, то она и жила в одиночестве, как монахиня. Терпеть не могла она мужского общества и совсем не подозревала, что создатель мира сего вложил столько упоительной радости в то, что доставляло ей лишь бесконечные страдания.

Тем сильнее любила она своего малютку, стоившего ей так дорого до появления своего на свет. И нас нисколько не должно удивлять, что Берта страшилась тех увлекательных турниров, где не всадник лошадию, а лошадь всадником управляет с таким разумением, ведет его, и утомляет, и гневается, ежели он споткнется. Судя по рассказам старых людей, именно здесь надо искать разгадку многих несчастных браков и достоверное объяснение безрассудных выходов многих женщин, которые, догадавшись на склоне лет, что были всю жизнь обмануты, и желая вознаградить себя за упущенное, силятся в один день пережить больше, чем может он вместить. Разве это не философия, друзья мои? Изучите же хорошенько сию страничку, дабы рачительно и мудро руководить своими женами, подругами и любыми женщинами, коих нежданный случай отдаст под ваше попечение и охрану — от чего да хранит вас всевышний!..

Оставаясь, несмотря на свое материнство, девственно-

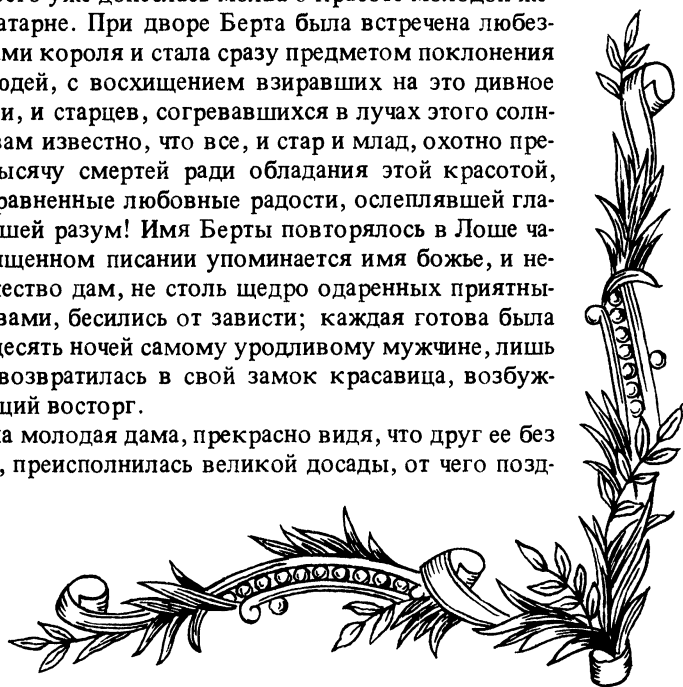


непорочной, Берта в возрасте двадцати одного года была украшением замка, славой своего доброго супруга и гордостью всей Турени. Для Батарне было истинным наслаждением смотреть, как эта девочка ходит взад и вперед по дому, гибкая словно веточка ивы, проворная, как рыбка, наивная, как ее малыш, и вместе с тем такая разумная и рассудительная, что супруг шагу не ступал без ее совета; и впрямь, если природный разум сих небесных созданий ничем не замутнен, он подобен прозрачному хрусталию, который, чуть к нему прикоснутся, издает ясный, чистый звук.

Итак, Берта, о коей у нас идет речь, жила в замке своего супруга, близ города Лош, и не ведала никаких забот, кроме разных хлопот по хозяйству, следуя в этом старинному обычаю добродетельных жен, от коего отступили наши дамы с того времени, как явились во Францию королева Екатерина* и итальянцы, превеликие любители пышных празднеств. Обычаев их придерживался также король Франции, именуемый Франциском Первым, и его преемники, чьи сумасбродства были не менее пагубны для французского государства, чем зловерные дела церковников. Впрочем, это меня не касается.

Случилось так, что супруги Батарне приглашены были королем в город Лош, где Карл VII находился тогда со своим двором, до коего уже донеслась молва о красоте молодой жены сеньора Батарне. При дворе Берта была встречена любезными похвалами короля и стала сразу предметом поклонения и молодых людей, с восхищением взиравших на это дивное яблочко любви, и старцев, согревавшихся в лучах этого солнца. Да будет вам известно, что все, и стар и млад, охотно претерпели бы тысячу смертей ради обладания этой красотой, сулившей несравненные любовные радости, ослеплявшей глаза и помрачавшей разум! Имя Берты повторялось в Лоше чаще, чем в священном писании упоминается имя божье, и несметное множество дам, не столь щедро одаренных приятными достоинствами, бесились от зависти; каждая готова была бы подарить десять ночей самому уродливому мужчине, лишь бы поскорее возвратилась в свой замок красавица, возбуждавшая всеобщий восторг.

И вот одна молодая дама, прекрасно видя, что друг ее без ума от Берты, преисполнилась великой досады, от чего позд-

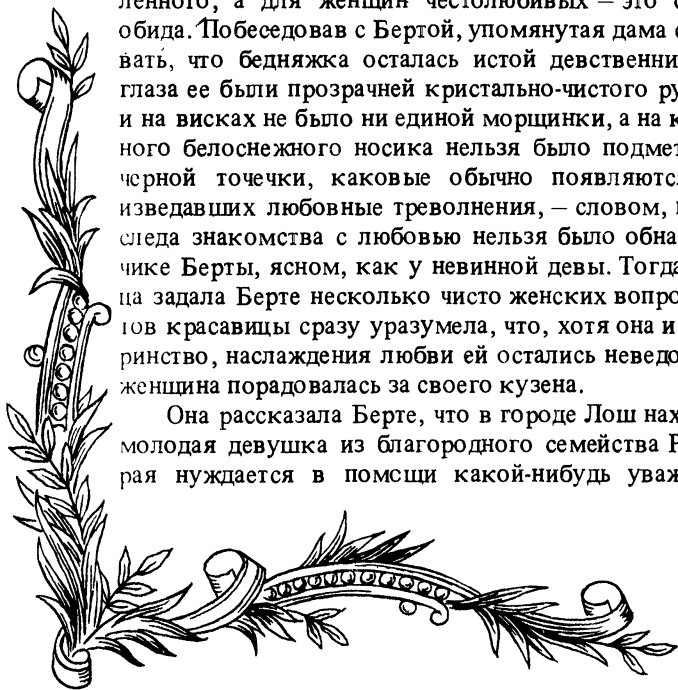


нее проистекли все несчастья жены сеньора Батарне; но отсюда же пришло и ее блаженство — открытие неведомых ей до толе заманчивых стран любви. У вероломной дамы был юный родственник, который сразу признался ей, лишь только увидел Берту, в своем страстном желании обладать ею, говоря, что согласился бы умереть за один месяц такого счастья. Заметьте, что юноша отличался совсем девической красотой, на подбородке его еще не пробивалось ни единого волоска, а голос его был столь мелодичен, что, если бы случилось ему молить о пощаде, даже лютый враг сжалился бы над ним; юноше этому едва минуло двадцать лет.

— Милый кузен, — сказала ему дама, — покиньте залу и отправляйтесь домой, а я приложу все старания, чтоб доставить вам желанное счастье. Только, смотрите, не показывайтесь на глаза ни вашей фее, ни ее повелителю — безобразному павиану, коего по ошибке природы причислили к христианскому миру.

Прекрасный юноша удалился, а коварная дама пошла вертеться как лиса подле Берты, называя ее „мой дружок“, „мое сокровище“, „звезда красоты“, стараясь на тысячи ладов угодить ей и тем вернее отомстить бедняжке, которая, сама того не ведая, отторгла от этой дамы сердце ее возлюбленного, а для женщин честолюбивых — это самая тяжкая обида. Побеседовав с Бертой, упомянутая дама стала подозревать, что бедняжка осталась истой девственницей в любви: глаза ее были прозрачней кристально-чистого ручейка, на лбу и на висках не было ни единой морщинки, а на кончике изящного белоснежного носика нельзя было подметить ни одной черной точки, каковые обычно появляются у женщин, изведавших любовные тревожения, — словом, ни малейшего следа знакомства с любовью нельзя было обнаружить на личике Берты, ясном, как у невинной девы. Тогда предательница задала Берте несколько чисто женских вопросов и из ответов красавицы сразу уразумела, что, хотя она и познала материнство, наслаждения любви ей остались неведомы; и хитрая женщина порадовалась за своего кузена.

Она рассказала Берте, что в городе Лош находится сейчас молодая девушка из благородного семейства Роганов, которая нуждается в помсщи какой-нибудь уважаемой дамы,



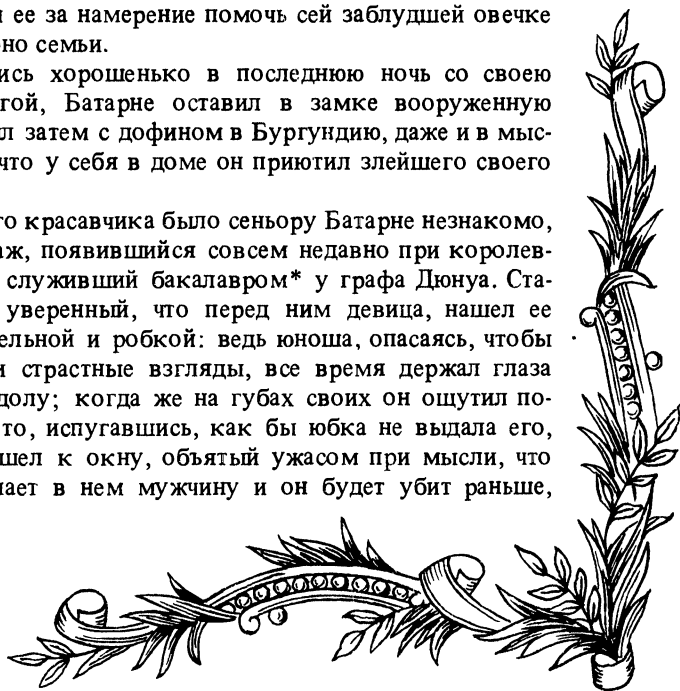
чтобы добиться примирения с сеньором Луи де Роганом; она сказала, что если Берта, божьей милостью, столь же добра, сколь прекрасна, она должна взять эту девицу с собою в замок и, убедившись в ее добронравии, помочь ей сломить упрямство сеньора де Рогана, который отказывается принять ее обратно в свой дом. И Берта безо всякого колебания согласилась помочь девице, ибо уже слыхала о злоключениях бедняжки Сильвии Роган, но была незнакома с нею и полагала, что она живет в чужих краях.

Здесь надобно пояснить, почему Карл VII устроил празднество в честь Батарне. Дело в том, что король, подозревая о замысле дофина бежать в Бургундию, возымел желание отнять у него столь ценного советника, каким был Батарне. Однако старик, верный монсеньору Людовiku, уже успел втихомолку все подготовить к его отъезду.

Итак, сеньор Батарне повез Берту обратно в свой замок; тут она сказала, что захватила с собой из Лоша подругу, и представила ее мужу. Это был вышеупомянутый юноша, переодетый девицей стараниями своей кузины, ревновавшей к Берте и желавшей ее погубить в отместку за ее совершенства. Старик Батарне нахмурился, узнав, что речь идет о Сильвии де Роган, но затем, растроганный добротой Берты, даже похвалил ее за намерение помочь сей заблудшей овечке вернуться в лоно семьи.

Простившись хорошенько в последнюю ночь со своею доброй супругой, Батарне оставил в замке вооруженную стражу и отбыл затем с дофином в Бургундию, даже и в мыслях не имея, что у себя в доме он приютил злейшего своего врага.

Лицо юного красавчика было сеньору Батарне незнакомо, ибо то был паж, появившийся совсем недавно при королевском дворе и служивший бакалавром* у графа Дюнуа. Старик Батарне, уверенный, что перед ним девица, нашел ее весьма почтительной и робкой: ведь юноша, опасаясь, чтобы его не выдали страстные взгляды, все время держал глаза опущенными долу; когда же на губах своих он ощутил поцелуй Берты, то, испугавшись, как бы юбка не выдала его, поспешно отошел к окну, объятый ужасом при мысли, что Батарне признает в нем мужчину и он будет убит раньше,



чем насладится любовью своей милой. Словом, он был несказанно рад (как был бы рад всякий влюбленный на его месте), когда решетка в воротах опустилась и старый сеньор тронулся в путь на своем коне и исчез в полях. За день юноша натерпелся такого страха, что тут же дал обет воздвигнуть на свои средства колонну в Турском соборе за избавление от опасности, с коей было сопряжено его безумное предприятие. И правда, он пожертвовал целых пятьдесят марок серебром, чтобы отблагодарить бога за свое счастье. Но случилось так, что благодарность он принес не богу, а дьяволу, как то будет видно из дальнейших событий, ежели только рассказ пришелся вам по вкусу и вы пожелаете следить дальше за нитью повествования, которое будет сжатым, каким и должна быть всякая хорошая речь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

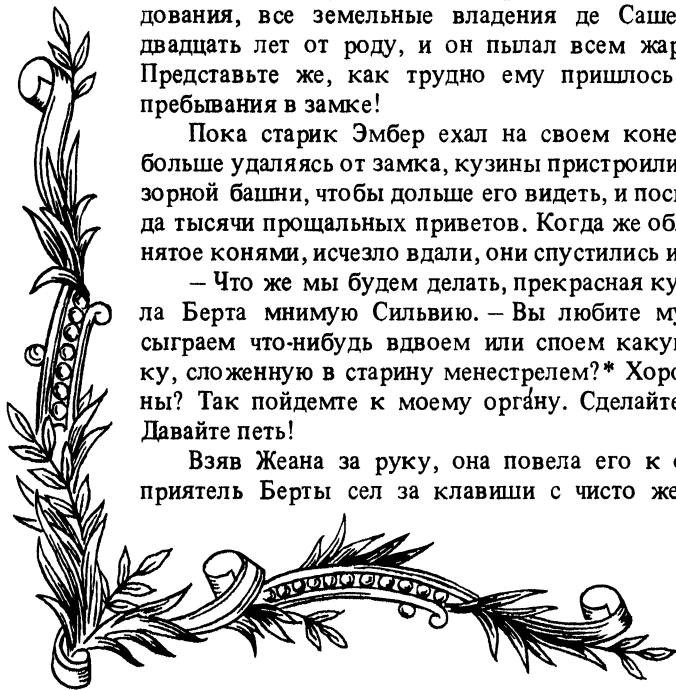
О РАДОСТЯХ И ГОРЕСТЯХ БЕРТЫ, ПОЗНАВШЕЙ ТАЙНЫ ЛЮБВИ

Упомянутый выше бакалавр звался Жеан де Саше и приходился двоюродным братом графу де Монморанси, к которому после смерти Жеана и перешли, согласно закону наследования, все земельные владения де Саше; Жеану было двадцать лет от роду, и он пылал всем жаром молодости. Представьте же, как трудно ему пришлось с первого дня пребывания в замке!

Пока старик Эмбер ехал на своем коне по полям, все больше удаляясь от замка, кузины пристроились на вышке дозорной башни, чтобы дольше его видеть, и посылали ему оттуда тысячи прощальных приветов. Когда же облако пыли, поднятое конями, исчезло вдаль, они спустились и прошли в залу.

— Что же мы будем делать, прекрасная кузина? — спросила Берта мнимую Сильвию. — Вы любите музыку? Хотите, сыграем что-нибудь вдвоем или споем какую-нибудь песенку, сложенную в старину менестрелем?* Хорошо? Вы согласны? Так пойдемте к моему органу. Сделайте это для меня. Давайте петь!

Взяв Жеана за руку, она повела его к органу, и юный приятель Берты сел за клавиши с чисто женской грацией.



— Ах, милая кузина, — воскликнула Берта, когда, взяв несколько аккордов, бакалавр повернул к ней голову, приглашая ее петь вместе. — Ах, милая кузина, взгляд ваших глаз обладает дивной силой и, не знаю почему, волнует меня до глубины души.

— О, кузина, — отвечала коварная Сильвия, — ведь это как раз и погубило меня! Один прекрасный юноша, лорд из заморской страны, сказал мне однажды, что у меня красивые глаза, и стал так страстно их целовать, и поцелуи его показались мне столь сладостными, что я не в силах была противиться...

— Кузина, значит любовь передается через глаза?

— Да, это — кузница, где купидон кует свои стрелы, моя милая Берта, — ответил ее обожатель, мечая своими взорами огонь и пламя.

— Давайте петь, кузина!

Тут они запели, по выбору Жеана, тенсону Кристины Пизанской*, где от первого до последнего слова все дышало любовной страстью.

— Ах, кузина, как сильно и как глубоко звучит ваш голос! Слушая вас, я вся замираю и трепещу.

— Где же вы ощущаете трепет? — спросила мнимая Сильвия.

— Вот здесь, — отвечала Берта, указывая на свою диафрагму, до коей любовные созвучия доходят еще лучше, чем до ушей, ибо диафрагма лежит ближе к сердцу и к тому, что может быть, вне всякого сомнения, названо первым мозгом, вторым сердцем и третьим ухом женщины. Поверьте, что я говорю с самым добрым намерением, имея в виду женскую природу и ничего более.

— Бросим пение, — молвила Берта, — оно меня чересчур волнует; лучше сядемте у окна и будем заниматься до вечера рукодельем.

— О милая Берта, сестра души моей! Я совсем не умею держать в пальцах иголку, — я привыкла себе на погибель пользоваться руками для иных дел!

— Но чем же вы тогда весь день занимались?

— О! Меня нес по течению мощный поток любви, превращающий дни в мгновения, месяцы — в дни, а годы в месяцы.



И ежели бы это длилось вечно, я проглотила бы, как сочную ягоду, даже самую вечность, ибо в любви все свежо и благоуханно, все полно сладости и бесконечного очарования...

Тут приятельница Берты, опустив свои прекрасные глаза, задумалась, и уныние отобразилось на ее лице, словно у женщины, покинутой своим возлюбленным: она грустит по неверному и готова простить ему все измены, лишь бы сердце его пожелало вернуться к той, что была еще недавно предметом его обожания.

— Скажите, кузина, а в браке может возникнуть любовь?

— О нет, — отвечала Сильвия, — ведь в браке все подчиняется долгу, тогда как в любви все делается по свободной прихоти сердца, что как раз и придает особую сладость ласкам, этим благоуханным цветам любви.

— Кузина, оставим такой разговор, он приводит меня в смятение еще больше, чем музыка.

И, поспешно позвав слугу, Берта велела ему привести сына. Мальчик вошел, и Сильвия, увидя его, воскликнула:

— Ах, какая прелесть! Настоящий амур!

И она нежно поцеловала ребенка в лоб.

— Иди ко мне, мое милое дитя, — сказала мать, когда мальчик, подбежав, забрался к ней на колени. — Иди ко мне, моя радость, блаженство мое, единственное мое счастье, чистая жемчужинка, бесценное мое сокровище, венец моей жизни, зорька утренняя и вечерняя, мое сердечко, единственная страсть души моей! Дай мне твои пальчики — я их скупаю; дай мне ушки твои, я хочу легонько их укусить; дай головку твою — я поцелую твои волосики. Будь счастлив, мой цветик родненький, коли хочешь, чтоб я была счастлива!

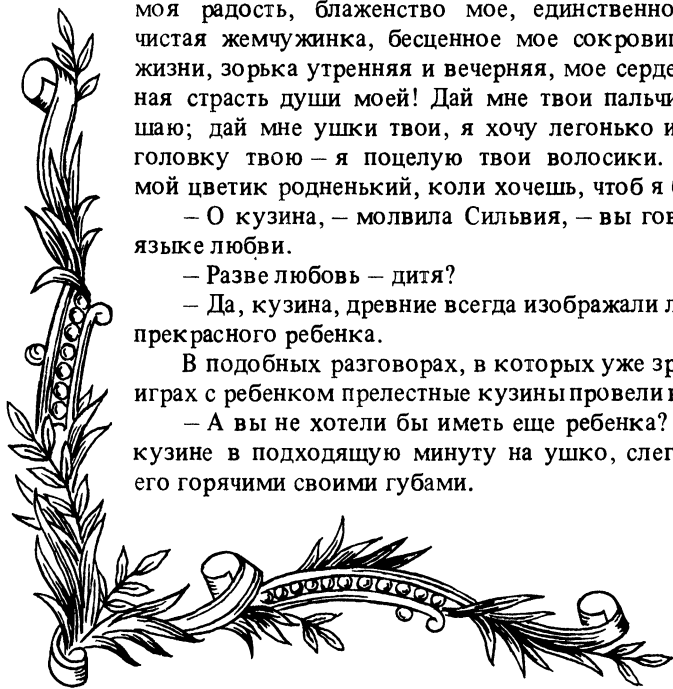
— О кузина, — молвила Сильвия, — вы говорите с ним на языке любви.

— Разве любовь — дитя?

— Да, кузина, древние всегда изображали любовь в образе прекрасного ребенка.

В подобных разговорах, в которых уже зрела любовь, и в играх с ребенком прелестные кузины провели время до ужина.

— А вы не хотели бы иметь еще ребенка? — шепнул Жан кузине в подходящую минуту на ушко, слегка коснувшись его горячими своими губами.



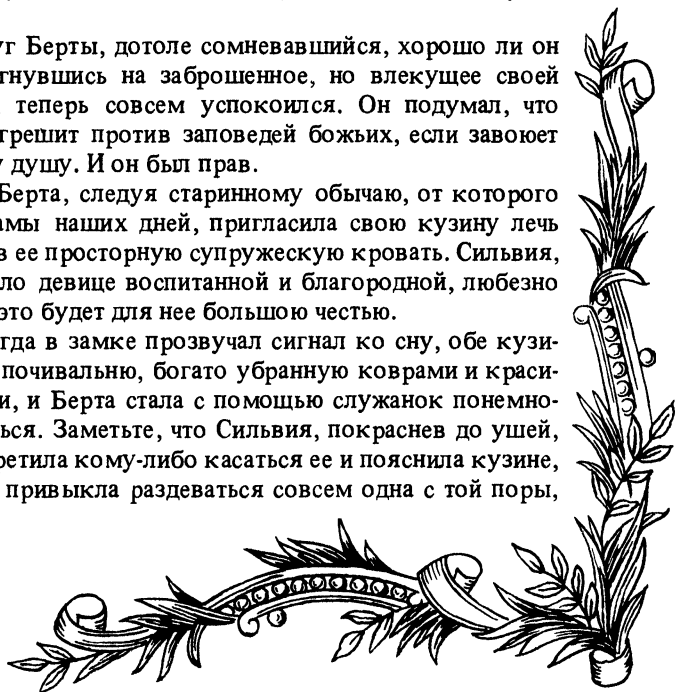
— О Сильвия, конечно, хотела бы! Я согласилась бы сто лет мучиться в аду, лишь бы господь бог даровал мне эту радость! Но, несмотря на все труды, усилия и старания моего супруга, для меня весьма тягостные, мой стан ничуть не полнеет. Увы! Иметь только одного ребенка — это ведь почти то же самое, что не иметь ни одного! Чуть послышится в замке крик, я сама не своя от страха, я боюсь и людей и животных, дрожа за это невинное, дорогое мне существо; меня пугает и бег коней, и взмахи рапиры, и все ратные упражнения, словом, решительно все! Я совсем не живу для себя, я живу только им одним. И мне даже нравятся все эти заботы, ибо я знаю, что, пока я тревожусь, мой сыночек будет жив и здоров. Я молюсь святым и апостолам только о нем! Но, чтобы долго не говорить — а я могла бы говорить о нем до завтра! — скажу просто, что каждое мое дыхание принадлежит не мне, а ему.

С этими словами Берта прижала малютку к своей груди так, как умеют прижимать к себе детей только матери — с той силой чувства, которая, кажется, способна раздавить собственное сердце матери, но ребенку нисколько не причиняет боли. Коли вы сомневаетесь, поглядите на кошку, когда она несет в зубах своих детенышей; никто ведь этому не удивляется.

Юный друг Берты, дотоле сомневавшийся, хорошо ли он сделает, вторгнувшись на заброшенное, но влекущее своей красотою поле, теперь совсем успокоился. Он подумал, что отнюдь не погрешит против заповедей божьих, если завоюет для любви эту душу. И он был прав.

Вечером Берта, следуя старинному обычаю, от которого отказались дамы наших дней, пригласила свою кузину лечь вместе с нею в ее просторную супружескую кровать. Сильвия, как и подобало девице воспитанной и благородной, любезно ответила, что это будет для нее большою честью.

И вот, когда в замке прозвучал сигнал ко сну, обе кузины пошли в опочивальню, богато убранную коврами и красивыми тканями, и Берта стала с помощью служанок понемногу разоблачаться. Заметьте, что Сильвия, покраснев до ушей, стыдливо запретила кому-либо касаться ее и пояснила кузине, что она, мол, привыкла раздеваться совсем одна с той поры,



как ей не услуживает возлюбленный, ибо после ласковых его прикосновений ей стали неприятны женские руки, и что все эти приготовления ко сну приводят ей на память нежные слова и милые шалости, которые выдумывал ее друг при разведении и которыми она тешилась себе на погибель.

Такие речи весьма удивили Берту, и она предоставила кузине читать вечерние молитвы, лежа под пологом на кровати, куда наш юноша, весь объятый любовным пылом, поспешил поскорее юркнуть, радуясь, что мог подглядеть мимоходом дивные прелести хозяйки замка, столь наивной и неиспорченной.

Берта, полагая, что подруга ее замужняя женщина, ни в чем не нарушила своих привычек: она вымыла себе ноги, ничуть не заботясь, видны ли они до колен или выше, обнажила свои нежные плечи и делала вообще все, что делают дамы перед отходом ко сну. Наконец, она подошла к постели, удобно в ней протянувшись и, поцеловав на прощанье свою кузину в губы, удивилась, как они горячи.

— Не больны ли вы, Сильвия? У вас, по-моему, жар?

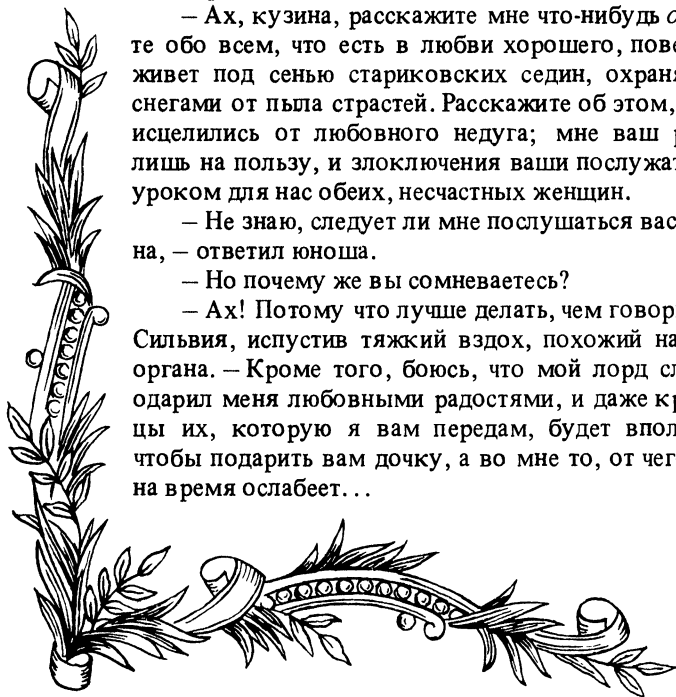
— Я всегда так горю, когда ложусь спать, — ответил Жан. — В этот час мне вспоминаются упоительные ласки, которые выдумывал мой друг, желая доставить мне удовольствие, и которые заставляли меня пылать еще сильнее.

— Ах, кузина, расскажите мне что-нибудь *о нем*! Поведайте обо всем, что есть в любви хорошего, поведайте той, кто живет под сенью стариковских сединок, охраняющих своими снегами от пыла страстей. Расскажите об этом, ведь вы теперь исцелились от любовного недуга; мне ваш рассказ пойдет лишь на пользу, и злоключения ваши послужат спасительным уроком для нас обеих, несчастных женщин.

— Не знаю, следует ли мне послушаться вас, дорогая кузина, — ответил юноша.

— Но почему же вы сомневаетесь?

— Ах! Потому что лучше делать, чем говорить! — отвечала Сильвия, испустив тяжкий вздох, похожий на басовую ноту органа. — Кроме того, боюсь, что мой лорд слишком щедро одарил меня любовными радостями, и даже крохотной частицы их, которую я вам передам, будет вполне достаточно, чтобы подарить вам дочку, а во мне то, от чего родятся дети, на время ослабеет...



— Скажите по совести, — молвила Берта, — а это не будет грехом?

— Напротив, это будет праздником и здесь и на небесах; ангелы прольют на нас свои благоухания и будут улаживать нас райской музыкой.

— Расскажите ясней, кузина, — попросила Берта.

— Если вы желаете знать, — вот как одарял меня радостями мой прекрасный друг!

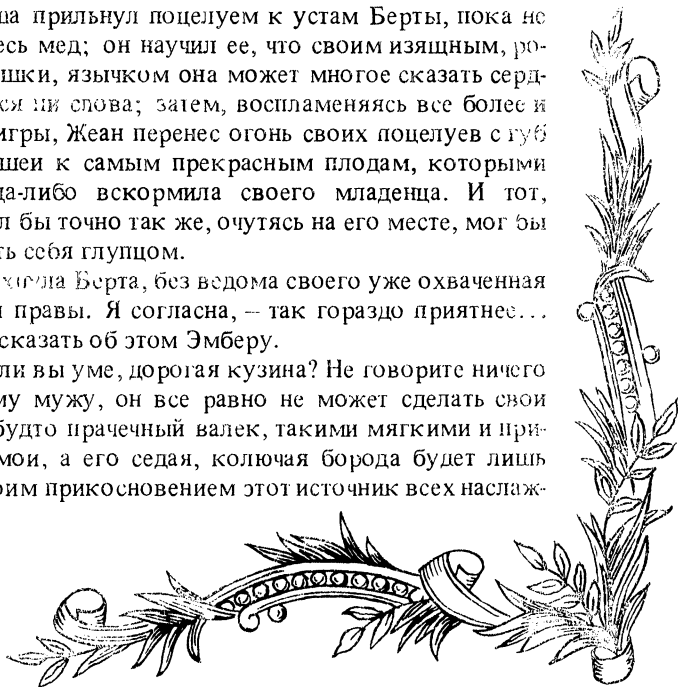
С этими словами Жеан, в порыве нахлынувшей страсти, заключил Берту в свои объятия; озаренная светильником, в белоснежных своих покрывалах, она была на этом греховном ложе прекрасней свадебной лилии, раскрывающей свои девственно белые лепестки.

— Обнимая меня так, как я сейчас обнимаю вас, — продолжал юноша, — он говорил мне голосом более нежным, чем мой: „О Сильвия, ты вечная любовь моя, бесценное мое сокровище, радость дней и ночей моих; ты светлее белого дня, ты милее всего на свете; я люблю тебя больше бога и готов претерпеть за тебя тысячу смертей. Умоляю тебя, подари мне блаженство!“ И он целовал меня, но не так грубо, как целуют мужья, а нежно, как голубь целует свою голубку.

И тут же, чтобы показать, насколько лучше лобзают любовники, юноша прильнул поцелуем к устам Берты, пока не вышел с них весь мед; он научил ее, что своим изящным, розовым, как кошки, язычком она может многое сказать сердцу, не произнося ни слова; затем, воспламеняясь все более и более от этой игры, Жеан перенес огонь своих поцелуев с губ на шею, а от шеи к самым прекрасным плодам, которыми женщина когда-либо вскормила своего младенца. И тот, кто не поступил бы точно так же, очутясь на его месте, мог бы по праву считать себя глупцом.

Ах! — вздохнула Берта, без ведома своего уже охваченная любовью. — Вы правы. Я согласна, — так гораздо приятнее... Надо будет рассказать об этом Эмберу.

— В своем ли вы уме, дорогая кузина? Не говорите ничего вашему старому мужу, он все равно не может сделать свои руки, грубые будто прачечный валеk, такими мягкими и приятными, как мои, а его седая, колючая борода будет лишь оскорблять своим прикосновением этот источник всех наслаж-



дений, эту розу, где таятся все наши помыслы, наше счастье и благополучие, вся любовь наша и вся судьба. Знаете ли вы, что живой цветок требует, чтобы его лелеяли, а не сокрушали, словно катапультой? Я покажу вам сейчас, как нежно обращался со мною англичанин, которого я любила.

И, говоря так, прелестный друг Берты, набравшись храбрости, затеял такую жаркую перестрелку, что бедняжка Берта воскликнула в неистовности души своей:

— О кузина, ангелы прилетели к нам! Пение их так прекрасно, что у меня не хватает силы ему внимать, а потоки света, которые они излучают, так ярки, что глаза мои закрываются. . .

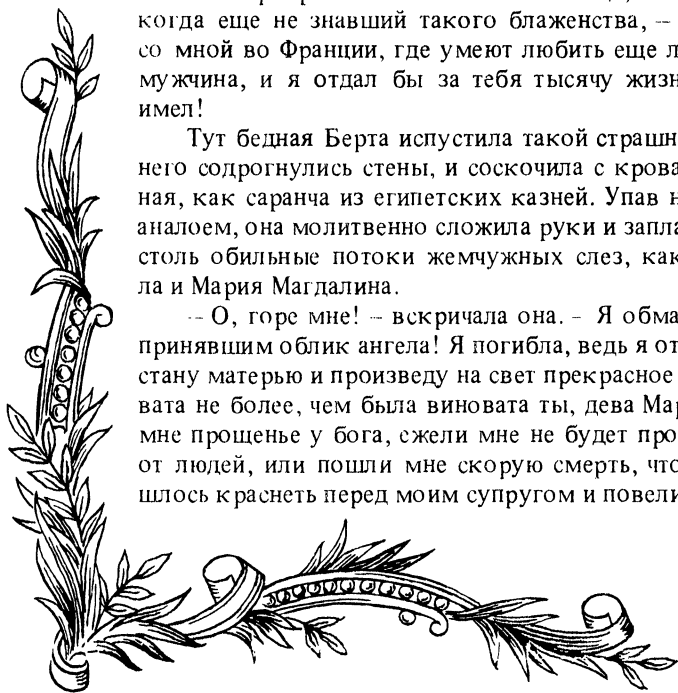
И в самом деле Берта изнемогала под бременем любовных восторгов, звучащих в ней, как самые высокие ноты органа, сиявших, как самая великолепная заря, разливавшихся по ее жилам, как тончайший мускус; они разрешили в ней все узлы жизни, чтобы дать жизнь плоду любви, возникающему в материнском лоне при столь бурном волнении, с которым ничто на свете сравниться не может. Берте казалось, что она вознеслась на небеса, до того было ей хорошо; очнувшись от райского сна в объятиях Жеана, она воскликнула:

— Ах, зачем я вышла замуж не в Англии!

— О прекрасная моя повелительница, — сказал Жеан, никогда еще не знавший такого блаженства, — ты соединилась со мною во Франции, где умеют любить еще лучше; ведь я — мужчина, и я отдал бы за тебя тысячу жизней, если бы их имел!

Тут бедная Берта испустила такой страшный крик, что от него содрогнулись стены, и соскочила с кровати, стремительная, как саранча из египетских казней. Упав на колени перед аналоем, она молитвенно сложила руки и заплакала, проливая столь обильные потоки жемчужных слез, каких не проливали Мария Магдалина.

— О, горе мне! — вскричала она. — Я обманута дьяволом, принявшим облик ангела! Я погибла, ведь я отлично знаю, что стану матерью и произведу на свет прекрасное дитя, но я виновата не более, чем была виновата ты, дева Мария. Вымоли же мне прощение у бога, сжали мне не будет прощения на земле от людей, или пошли мне скорую смерть, чтобы мне не пришлось краснеть перед моим супругом и повелителем!



Услышав, что Берта не сказала ничего дурного о нем, и сильно озадаченный горьким ее рассказом после столь упительных игр любви, Жан поднялся с кровати; но лишь только Берта услышала, что ее архангел Гавриил зашевелился, она тотчас вскочила на ноги и обратила к нему свое заплаканное лицо и глаза, пылавшие священным гневом, что делало их еще прекраснее.

— Если вы приблизитесь на один только шаг ко мне, — воскликнула она, — я сейчас же лишу себя жизни!

И она схватила кинжал. Тогда Жан, у которого разрывалось сердце при виде ее страданий, воскликнул:

— Не тебе, а мне надобно умереть, дорогая, прекрасная моя подруга, которую я люблю так, как никто и никогда не будет любить ни одну женщину в мире.

— Если б вы и вправду так сильно меня любили, то не стали бы причинять мне столько страданий, — ведь я готова скорей умереть, чем навлечь на себя упреки своего супруга.

— Вы готовы умереть? — спросил Жан.

— Да, конечно! — отвечала она.

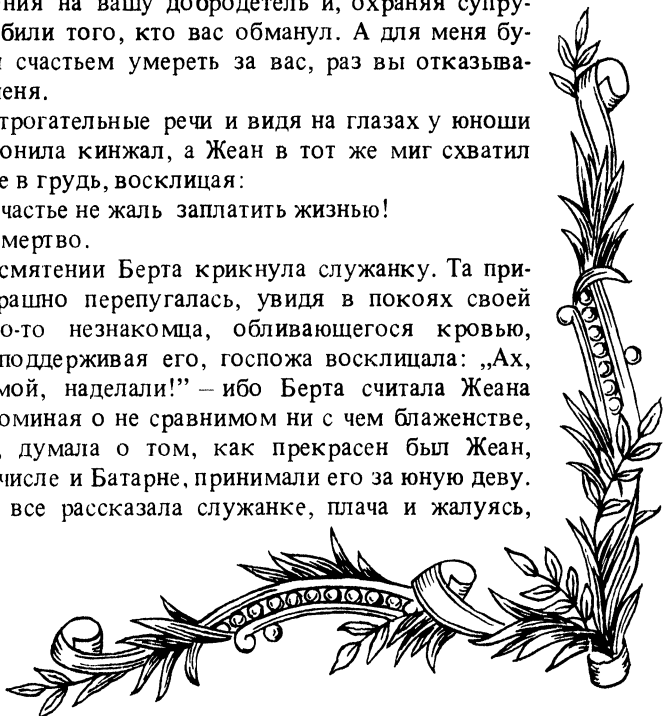
— Но если я сам нанесу себе тысячу ран и погибну здесь, вы получите прощение от мужа. Вы скажете ему, что защищались от покушения на вашу добродетель и, охраняя супружескую честь, убили того, кто вас обманул. А для меня будет величайшим счастьем умереть за вас, раз вы отказываетесь жить для меня.

Слыша эти трогательные речи и видя на глазах у юноши слезы, Берта уронила кинжал, а Жан в тот же миг схватил его и вонзил себе в грудь, восклицая:

— За такое счастье не жаль заплатить жизнью!

И он упал замертво.

В великом смятении Берта крикнула служанку. Та пришла и тоже страшно перепугалась, увидя в покоях своей госпожи какого-то незнакомца, обливающегося кровью, и слыша, как, поддерживая его, госпожа восклицала: „Ах, что вы, друг мой, наделали!“ — ибо Берта считала Жана мертвым и, вспоминая о не сравнимом ни с чем блаженстве, ею испытанном, думала о том, как прекрасен был Жан, если все, в том числе и Батарне, принимали его за юную деву. В отчаянье она все рассказала служанке, плача и жалуясь,



что теперь у нее на душе будет не только жизнь ребенка, но и смерть отца.

Услыша такие слова, несчастный юноша попытался закрыть глаза, но тщетно: блеснули на мгновение лишь узкие полоски белков.

— Сударыня, не надо плакать! Не будем терять рассудок от горя, — молвила служанка. — Подумаем лучше, как спасти этого прекрасного рыцаря. Вот что, я сбегаю сейчас за Фалоттой, чтобы не посвящать в вашу тайну никакого лекаря или врача. Фалотта — колдунья, и в угоду вам она будет рада совершить чудо: старуха так хорошо залечит эту рану, что и следы от нее не останутся!

— Беги! — сказала Берта. — Я отблагодарю тебя за твое усердие. Проси, чего хочешь.

Но прежде всего госпожа и служанка решили, никому ничего не говоря о происшедшем, укрыть Жеана от посторонних глаз. Служанка отправилась тут же, ночью, за Фалоттой, и Берта сама проводила ее до потайного хода, потому что страже было запрещено поднимать решетку без особого распоряжения госпожи. Вернувшись в опочивальню, Берта нашла своего прекрасного друга без сознания от потери крови, которая, не переставая, текла из его раны. Тут Берта склонилась к нему и коснулась устами кровавой струйки, думая о том, что Жеан пролил свою кровь ради нее.

Охваченная глубоким волнением пред лицом столь великой любви и страхом за жизнь милого юноши, вестника наслаждений, Берта поцеловала его и перевязала рану, омывая ее слезами, умоляя Жеана не умирать и обещая горячо любить его, лишь бы он остался жив. Заметьте, что видя огромную разницу между стройным, безбородым, цветущим юношей и волосатым, желтым, морщинистым стариком Эмбером, хозяйка замка все больше опьянялась любовью. При сравнении этом ей снова и снова вспоминались только что пережитые восторги любви. И от этих воспоминаний поцелуи ее становились столь сладостными, что к Жеану вернулось сознание, взгляд его прояснился, он уже мог различать Берту и слабым голосом попросил у нее прощения. Но она запретила раненому разговаривать, пока не придет Фалотта. Все это время они только молча смотрели друг на друга, и хотя в глазах



Берты светилось лишь сострадание, при подобных обстоятельствах сострадание весьма схоже с любовью.

Горбучью Фалотту называли ведьмой и сильно подозревали, что она летает на шабаш верхом на помеле, как это водится у ведьм. Иные даже собственными своими глазами видели, как она седлает помело в своей конюшне, а конюшней ведьмам, как известно, служит дымовая труба. Сказать правду, Фалотта знала многие тайные средства и умела оказывать в некоторых случаях столь важные услуги и дамам и кавалерам, что могла в полном спокойствии доживать свой век, зная, что помирать она будет не на охапке соломы, а на пуховой перине, ибо она накопила уйму денег, на зависть всем лекарям, утверждавшим что она торгует ядами, — что и было, как вы увидите из дальнейшего, сухой правдой.

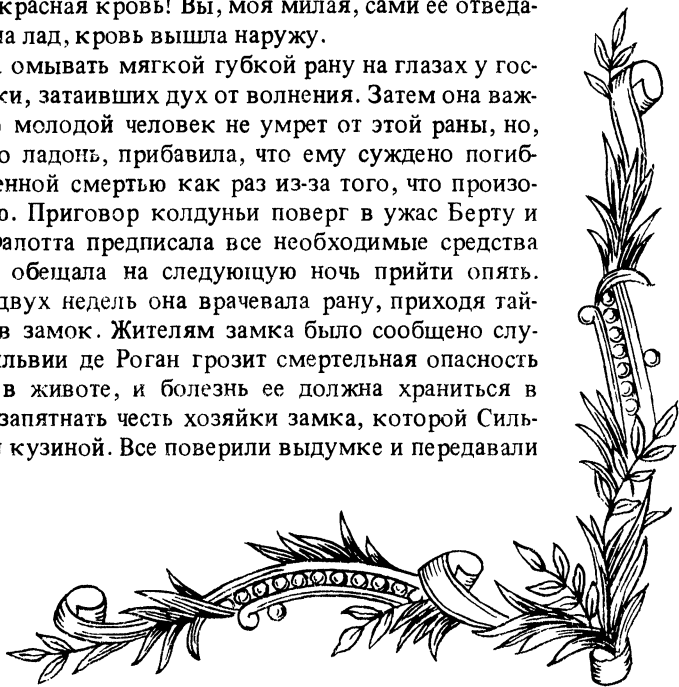
Служанка и Фалотта, усевшись вдвоем на одну лошадь, так торопились, что день едва еще брезжил, когда они прибыли в замок. Войдя в спальню госпожи, старая колдунья спросила:

— Ну, что у вас стряслось, дети мои?

Таково было всегдашнее, несколько грубоватое обращение старухи с большими людьми, которые в ее глазах оставались малыми ребятами. Нацепив свои очки, она весьма умело осмотрела рану и сказала:

— Экая прекрасная кровь! Вы, моя милая, сами ее отведали. Все пойдет на лад, кровь вышла наружу.

И она стала омыwać мягкой губкой рану на глазах у госпожи и служанки, затаивших дух от волнения. Затем она важно заявила, что молодой человек не умрет от этой раны, но, поглядев на его ладонь, прибавила, что ему суждено погибнуть насильственной смертью как раз из-за того, что произошло этой ночью. Приговор колдуньи поверг в ужас Берту и ее служанку. Фалотта предписала все необходимые средства для лечения и обещала на следующую ночь прийти опять. Так в течение двух недель она врачевала рану, приходя тайком по ночам в замок. Жителям замка было сообщено служанкой, что Сильвии де Роган грозит смертельная опасность из-за опухоли в животе, и болезнь ее должна храниться в тайне, дабы не запятнать честь хозяйки замка, которой Сильвия приходится кузиной. Все поверили выдумке и передавали ее из уст в уста.



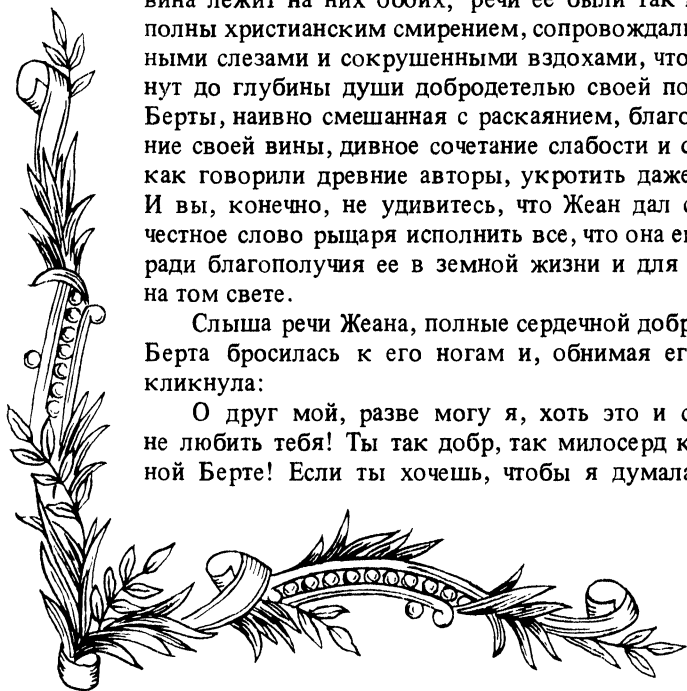
Добрые люди могут подумать, что опасным было ранение. Ничуть не бывало, — опасным оказалось выздоровление, ибо чем больше сил набирался Жеан, тем меньше их становилось у Берты. Под конец она стала до того слаба, что уже сама готова была броситься в тот рай, куда ее вознес Жеан. Короче говоря, с каждым часом она любила его все больше.

Но и посреди сладостных утех ее все время герзало беспокойство от страшного предсказания Фалотты, мучил жгучий стыд за свой проступок против религии и страх перед супругом, коему Берта вынуждена была, наконец, написать, что она от него понесла и подарит ему ребенка к его приезду; но эта ложь была для нее бременем куда более тяжким, чем ребенок, шевелившийся у нее под сердцем. В продолжение всего дня, когда она писала это лживое письмо, бедняжка старалась не встречаться с милым своим другом и заливалась горячими слезами.

Видя, что Берта его избегает, хотя до тех пор они были неразлучны, как огонь и охваченные огнем дрова, Жеан подумал, что она разлюбила его, и тоже стал горевать. Вечером Берта, тронутая слезами Жеана, все набегавшими на его глаза, как он ни вытирал их, поведала ему о причине своей грусти, о своей тревоге за будущее и рассказала, какая великая вина лежит на них обоих; речи ее были так прекрасны, так полны христианским смирением, сопровождались столь обильными слезами и сокрушенными вздохами, что Жеан был тронут до глубины души добродетелью своей подруги. Любовь Берты, наивно смешанная с раскаянием, благородное признание своей вины, дивное сочетание слабости и силы могли бы, как говорили древние авторы, укротить даже лютого тигра. И вы, конечно, не удивитесь, что Жеан дал своей любимой честное слово рыцаря исполнить все, что она ему прикажет, — ради благополучия ее в земной жизни и для спасения души на том свете.

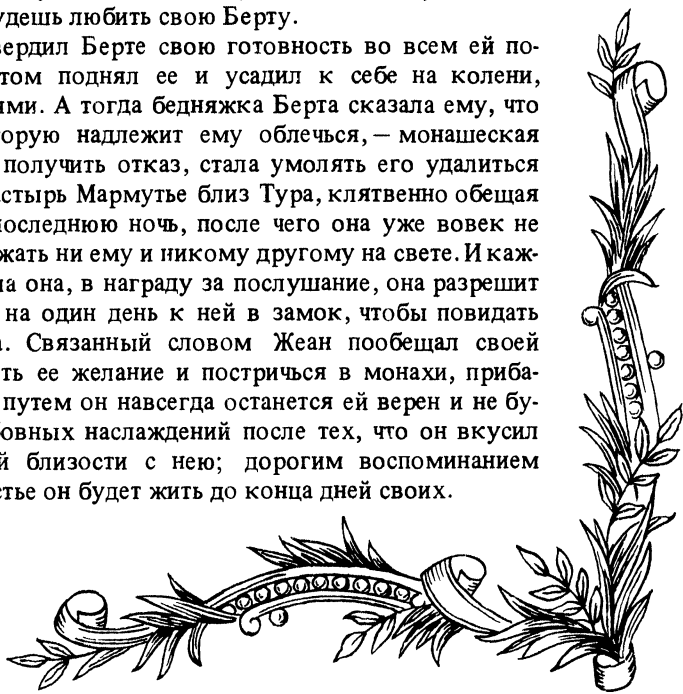
Слыша речи Жеана, полные сердечной доброты и доверия, Берта бросилась к его ногам и, обнимая его колени, воскликнула:

О друг мой, разве могу я, хоть это и смертный грех, не любить тебя! Ты так добр, так милосерд к своей несчастной Берте! Если ты хочешь, чтобы я думала о тебе всегда



с самой нежной любовью и остановила поток жгучих своих слез, источник коих столь мил моему сердцу (и в доказательство она позволила возлюбленному сорвать поцелуй с ее уст), если ты хочешь, чтобы воспоминание о наших небесных радостях, пении ангелов и благоуханной любви никогда не было для меня тягостным, а, напротив, утешало меня в дни печали, сделай то, что повелела совершить пресвятая дева, когда я умоляла ее просветить меня и прийти на помощь в моей беде. Она предстала передо мной во сне, и я поведала ей, какими ужасными, неутолимыми муками стану я терзаться, дрожа за своего младенца, которого я ощущаю под сердцем, и за истинного его отца, который будет всецело отдан во власть оскорбленного им человека и может искупить свое отцовство, лишь претерпев насильственную смерть, как то предсказала, заглянув в будущее, Фалотта. И тогда пресвятая дева, ласково улыбаясь, сказала мне, что святая церковь дарует нам прощение наших грехов, если мы будем следовать ее велениям, и что надо самому подвергнуть себя адским мукам, очищая душу свою от скверны, а не дожидаться, когда нас покарает небесный гнев. Затем она указала святым своим перстом на тебя, вернее на Жеана, во всем подобного тебе, но носящего ту одежду, в какую ты должен будешь облечься, еслилюбишь и вечно будешь любить свою Берту.

Жеан подтвердил Берте свою готовность во всем ей повиноваться, потом поднял ее и усадил к себе на колени, осыпая поцелуями. А тогда бедняжка Берта сказала ему, что одежда, в которую надлежит ему облечься, — монашеская ряса, и, боясь получить отказ, стала умолять его удалиться от мира в монастырь Мармутье близ Тура, клятвенно обещая подарить ему последнюю ночь, после чего она уже вовек не будет принадлежать ни ему и никому другому на свете. И каждый год, сказала она, в награду за послушание, она разрешит ему приходить на один день к ней в замок, чтобы повидать своего ребенка. Связанный словом Жеан пообещал своей милой исполнить ее желание и постричься в монахи, прибавив, что таким путем он навсегда останется ей верен и не будет искать любовных наслаждений после тех, что он вкусил в божественной близости с нею; дорогим воспоминанием о недолгом счастье он будет жить до конца дней своих.

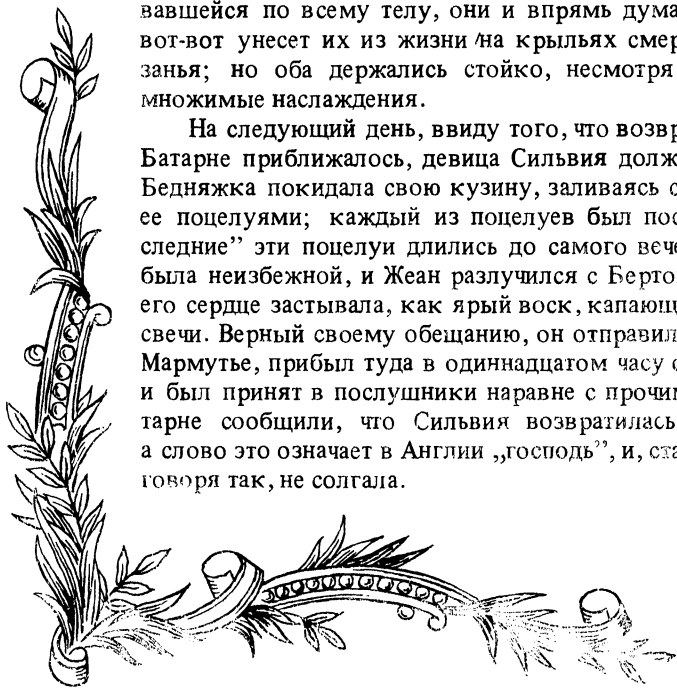


В ответ на нежные его речи Берта сказала, что, как бы ни был велик ее грех, какую бы кару ей ни готовил всевышний, она согласна все претерпеть ради тех минут блаженства, когда она думала, что принадлежит не обыкновенному смертному, но ангелу небесному.

И вот они снова возлегли на то ложе, где зародилась их любовь; они хотели сказать последнее прости всем прекрасным ее цветам. Надо полагать, сам купидон участвовал в этом празднестве, ибо еще никогде на земле женщина не испытывала подобного блаженства и не наслаждался так ни один мужчина.

Истинной любви всегда свойственно согласие, в силу которого чем больше дает один, тем больше получает другой, подобно тому, как математические величины могут при известных условиях умножаться до бесконечности. Для людей, не обладающих ученостью, мысль эту можно пояснить тем явлением, какое наблюдается в покоях, убранных венецианскими зеркалами, где можно видеть тысячи отражений одного и того же предмета. Вот так же в сердцах двух влюбленных расцветают бесчисленные розы блаженства, заставляя их изумляться, как в нежайшей глубине может вмещаться столько радостей. Берте и Жеану хотелось, чтобы ночь эта была последней в их жизни, и, замирая в истоме, сладко разливавшейся по всему телу, они и впрямь думали, что любовь вот-вот унесет их из жизни на крыльях смертоносного лобзания; но оба держались стойко, несмотря на бесконечно множимые наслаждения.

На следующий день, ввиду того, что возвращение сеньора Батарне приближалось, девица Сильвия должна была уехать. Бедняжка покидала свою кузину, заливаясь слезами, осыпая ее поцелуями; каждый из поцелуев был последним, и „последние“ эти поцелуи длились до самого вечера. Но разлука была неизбежной, и Жеан разлучился с Бертой, хотя кровь в его сердце застывала, как ярый воск, капающий с пасхальной свечи. Верный своему обещанию, он отправился в монастырь Мармутье, прибыл туда в одиннадцатом часу следующего дня и был принят в послушники наравне с прочими. Сеньору Батарне сообщили, что Сильвия возвратилась к „милорду“, а слово это означает в Англии „господь“, и, стало быть, Берта, говоря так, не солгала.

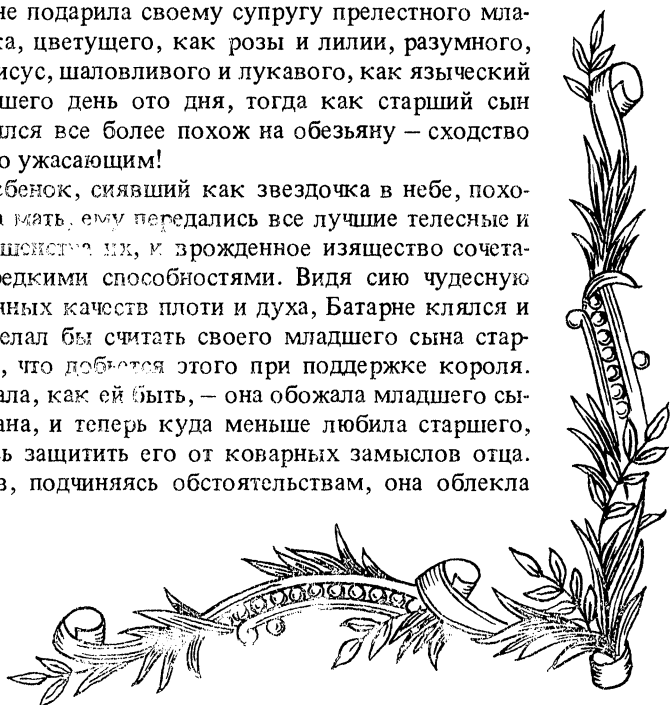


Радость законного супруга, когда по приезде он увидел Берту в свободном платье (стан ее так располнел, что она уже не могла носить пояса), усугубляла мученья бедняжки Берты, не умевшей притворяться и обманывать; после всякого лживого слова она бросалась в свою опочивальню к аналою и, заливаясь кровавыми слезами, слала мольбы святым угодникам божьим, вручая им свою судьбу; и так страстно взывала она к небу, что господь услышал ее, ибо он слышит все — и шум камней, перекачиваемых волной, и горькие стенания бедняков, и полет мухи в воздухе. Не забывайте этого, иначе вы, пожалуй, не поверите тому, что произошло. Дело в том, что всеперчитель повелел архангелу Михаилу обратить для этой кающейся грешницы в крошечный ад пребывание ее на земле, дабы после смерти она беспрепятственно могла вступить в рай. И вот святой Михаил спустился с небес к вратам адовым и отдал во власть дьяволу три человеческих души, слитых воедино; он возвестил дьяволу, что ему дозволено мучить сих несчастных до скончания их дней, — и архангел указал ему на Берту, Жеана и на их дитя. Дьявол, который, по воле божьей, является князем зла, ответил, что он не преминет исполнить сие повеление неба.

А на земле жизнь меж тем шла своим чередом. Красавица Берта Батарне подарила своему супругу прелестного младенца — мальчика, цветущего, как розы и лилии, разумного, как младенец Иисус, шаловливого и лукавого, как языческий Амур, хорошевшего день ото дня, тогда как старший сын Батарне становился все более похож на обезьяну — сходство его с отцом было ужасающим!

Младший ребенок, сиявший как звездочка в небе, походил на отца и на мать, ему передались все лучшие телесные и духовные совершенства их, и врожденное изящество сочеталось в нем с редкими способностями. Видя сию чудесную гармонию отменных качеств плоти и духа, Батарне клялся и божился, что желал бы считать своего младшего сына старшим, и заявлял, что добьется этого при поддержке короля.

Берта не знала, как ей быть, — она обожала младшего сына, ребенка Жеана, и теперь куда меньше любила старшего, хотя и старалась защитить его от коварных замыслов отца. В конце концов, подчиняясь обстоятельствам, она облекла



свою совесть панцирем лжи и думала, что с прошлым все кончено, ибо целых двенадцать лет протекло безо всякой помехи, ежели не считать сомнений, отравлявших порой ее счастье. Каждый год, по уговору, монах из Мармутье, неведомый никому, кроме служанки, приходил на целый день в замок повидаться с сыном, хотя Берта много раз просила своего друга отказаться от этого права. Но Жан говорил, указывая на ребенка:

— Ты видишь его что ни день круглый год, а я только один раз в году.

И бедная мать не находила слов для возражения.

За несколько месяцев до последнего восстания дофина Людовика против отца его и короля мальчику пошел двенадцатый год, и, казалось, ему суждено было стать ученым человеком, так преуспевал он во всех науках. Никогда еще старик Батарне не чувствовал себя столь счастливым отцом; он решил взять младшего сына с собой ко двору в Бургундию, где герцог Карл* обещал создать для его любимца положение, коему могли бы позавидовать даже принцы крови, ибо герцог Бургундский всегда благоволил к людям, одаренным высоким разумом.

Видя, что в семье Батарне все идет мирно и гладко, дьявол решил, что пришла пора сотворить зло: он взял да и сунул свой хвост в полную чашу сего благоденствия, дабы поприхоти своей возмутить его и разрушить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

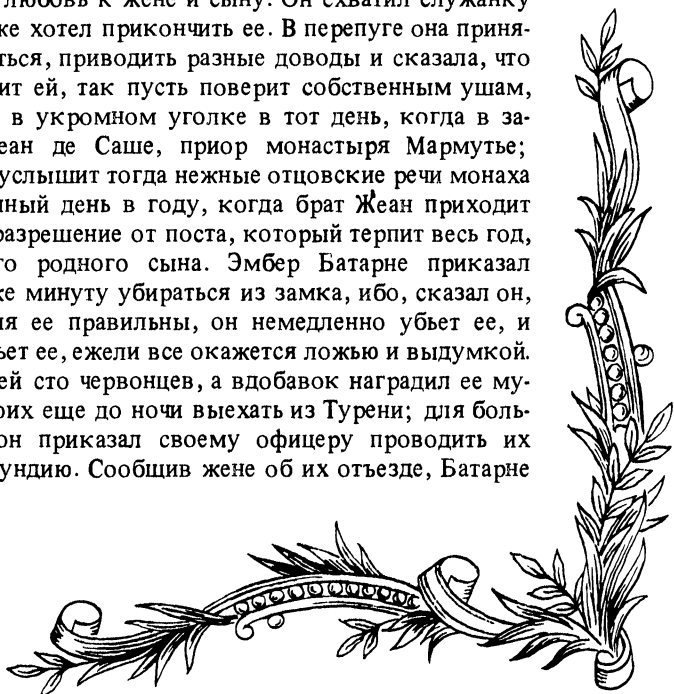
О СТРАШНОЙ КАРЕ, ПОСТИГШЕЙ БЕРТУ, О ТОМ, КАК БЕРТА ИСКУПИЛА СВОЙ ГРЕХ И УМЕРЛА ПРОЩЕННОЙ

Служанка Берты, дожив до тридцати пяти лет, вдруг влюбилась по уши в одного из солдат сеньора Батарне и была столь глупа, что позволила ему ухватить два-три хлебца из своей печи; вскоре во чреве ее выросла естественная опухоль, которую балагуры в тех краях называют „девятимесячной водяной“. Бедняжка попросила добрую свою госпожу походить за нее перед сеньором, чтобы он заставил соблазнителя покрыть грех перед алтарем. Берте без особого



труда удалось получить согласие своего супруга, и служанка была весьма довольна. Старый вояка, всегда непреклонно суровый, призвал виновника к себе на суд, хорошенько пробрав его и, угрожая виселицей, приказал жениться на обольщенной служанке, на что тот и согласился, дорожа больше своей головой, чем покоем. Затем сеньор Батарне призвал к себе провинившуюся служанку и, для поддержания чести своего дома, долго читал ей наставления, уснащая свою речь звучными эпитетами и крепкой бранью, так что бедняжка стала опасаться, как бы ее вместо замужества не бросили в тюрьму. Она подумала, что таким способом госпожа хочет отделаться от нее, дабы похоронить тайну рождения своего любимого сына. И вот, когда старая обезьяна Батарне выкрикивал обидные слова, вроде того, что „надо быть безумным, чтобы терпеть у себя в доме распутную девку”, она вдруг заявила, что он, наверно, сам ума лишился, ибо собственная его жена уже давно предается распутству, и притом с монахом, что для воина должно быть всего оскорбительнее.

Вспомните самую сильную грозу, какую вам приходилось видеть в жизни, и вы получите лишь слабое представление о неистовой ярости, овладевшей стариком Батарне, который был поражен в самое чувствительное место своей души, где жила любовь к жене и сыну. Он схватил служанку за горло и тут же хотел прикончить ее. В перепуге она принялась оправдываться, приводить разные доводы и сказала, что коли он не верит ей, так пусть поверит собственным ушам, пусть спрячется в укромном уголке в тот день, когда в замок придет Жан де Саше, приор монастыря Мармутье; сеньор Батарне услышит тогда нежные отцовские речи монаха в тот единственный день в году, когда брат Жан приходит сюда получить разрешение от поста, который терпит весь год, и обнять своего родного сына. Эмбер Батарне приказал служанке сию же минуту убираться из замка, ибо, сказал он, ежели обвинения ее правильны, он немедленно убьет ее, и точно так же убьет ее, ежели все окажется ложью и выдумкой. Тут же он дал ей сто червонцев, а вдобавок наградил ее мужем, обязав обоих еще до ночи выехать из Турени; для большей верности он приказал своему офицеру проводить их немедленно в Бургундию. Сообщив жене об их отъезде, Батарне



сказал, что служанка эта — испорченная тварь, и он счел разумным ее прогнать, что подарил он ей сто червонцев, а для ее дружка нашел место при бургундском дворе. Берта удивилась, узнав, что служанки нет больше в замке и что та уехала, не простившись с нею, своей госпожой; но она не сказала о том ни слова.

Вскоре у нее появились новые заботы и опасения, ибо у мужа ее стали обнаруживаться некие странности: он то и дело приглядывался к своим сыновьям, сравнивал, находил сходство с собою у старшего сына и не видел ни одной своей черты у младшего, коего он так любил: и нос, и лоб, и все прочее были у мальчика совсем иными, чем у Батарне.

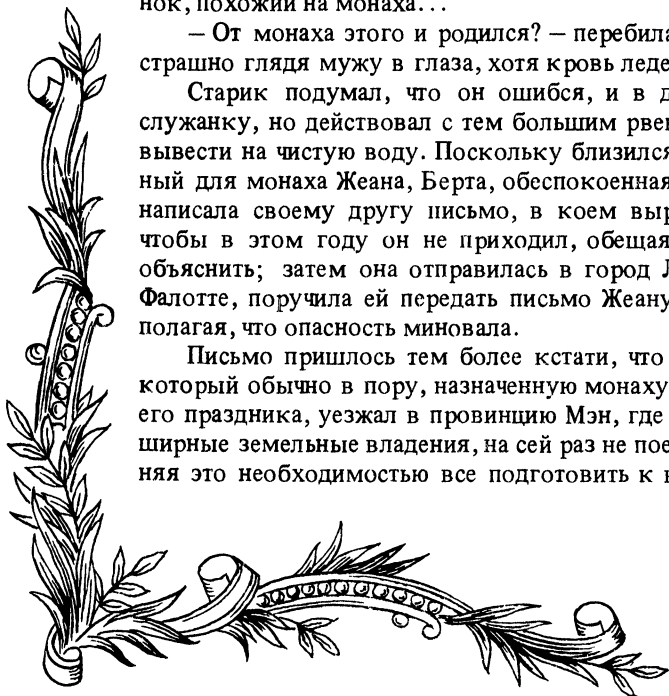
— Он весь в меня, — сказала однажды Берта в ответ на его намеки. — Разве вы не знаете, что в добрых семьях дети всегда бывают похожи то на отца, то на мать, а иной раз и на обоих вместе, ибо мать свои жизненные силы сливает с жизненными силами отца? Умные люди уверяют даже, что им приходилось видеть детей, у которых не было ни одной черты, сходной с отцом или матерью, и они говорят, что тайны сии ведомы только господу богу.

— Ого, какой вы стали ученой, мой друг! — отвечал ей Батарне. — А я вот, по своему невежеству, полагаю, что ребенок, похожий на монаха...

— От монаха этого и родился? — перебила его Берта, бесстрашно глядя мужу в глаза, хотя кровь леденела в ее жилах.

Старик подумал, что он ошибся, и в душе проклинал служанку, но действовал с тем большим рвением, решив все вывести на чистую воду. Поскольку близился день, назначенный для монаха Жеана, Берта, обеспокоенная словами мужа, написала своему другу письмо, в коем выражала желание, чтобы в этом году он не приходил, обещая потом все ему объяснить; затем она отправилась в город Лош к горбунье Фалотте, поручила ей передать письмо Жеану и успокоилась, полагая, что опасность миновала.

Письмо пришлось тем более кстати, что сеньор Батарне, который обычно в пору, назначенную монаху для ежегодного его праздника, уезжал в провинцию Мэн, где у него были обширные земельные владения, на сей раз не поехал туда, объясняя это необходимостью все подготовить к восстанию, задуман-



манному дофином Людовиком против своего отца. (Как известно, король был потрясен тем, что сын поднял на него оружие, и вскоре скончался от горя.) Приведенная мужем причина была столь основательна, что у бедняжки Берты совсем исчезла тревога, лишавшая ее сна по ночам.

Но вот в условленный день приор, как всегда, появился в замке. Увидев его, Берта побледнела и спросила:

— Разве ты не получил письма?

— Какого письма? — с удивлением сказал Жеан.

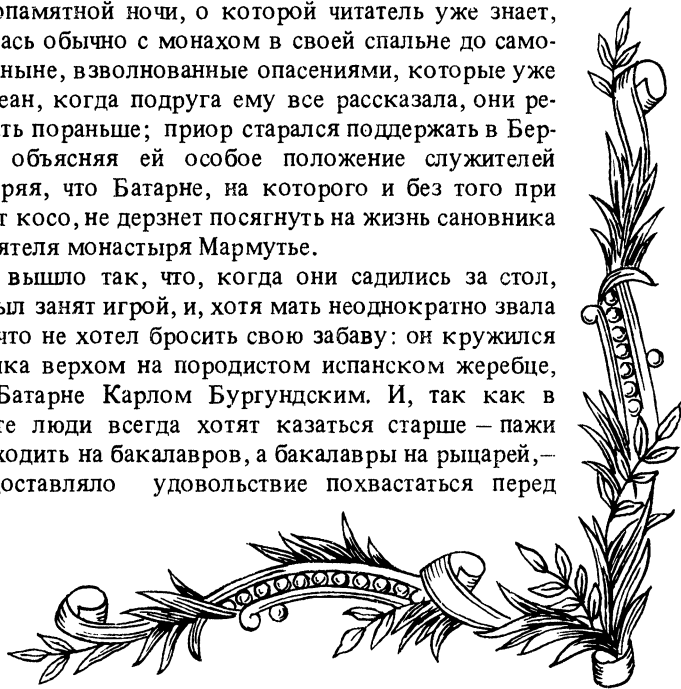
— Значит, мы все погибли — и ребенок, и ты, и я! — воскликнула Берта.

— Почему? — спросил приор.

— Не знаю, — отвечала Берта, — знаю только то, что пришел наш последний день.

Тут она спросила у своего горячо любимого сына, где находится сейчас сеньор Батарне. Мальчик ответил, что отца вызвали нарочным в Лош, и вернется он лишь к вечеру. Услыхав об этом, Жеан хотел, вопреки настояниям своей подруги, еще побыть с нею и с милым своим сыном, уверяя, что не может произойти никакого несчастья: ведь двенадцать лет благополучно протекли со дня появления на свет их ребенка. В те дни, когда они праздновали годовщину событий той достопамятной ночи, о которой читатель уже знает, Берта оставалась обычно с монахом в своей спальне до самого ужина. Но ныне, взволнованные опасениями, которые уже разделял и Жеан, когда подруга ему все рассказала, они решили пообедать пораньше; приор старался поддержать в Берте бодрость, объясняя ей особое положение служителей церкви и уверяя, что Батарне, на которого и без того при дворе смотрят косо, не дерзнет посягнуть на жизнь сановника церкви, настоятеля монастыря Мармутье.

Случайно вышло так, что, когда они сажались за стол, мальчик их был занят игрой, и, хотя мать неоднократно звала его, он ни за что не хотел бросить свою забаву: он кружился по двору замка верхом на породистом испанском жеребце, подаренном Батарне Карлом Бургундским. И, так как в юном возрасте люди всегда хотят казаться старше — пажи стремятся походить на бакалавров, а бакалавры на рыцарей, — мальчугану доставляло удовольствие похвастаться перед



своим другом монахом, какой он стал большой: он поднимал своего жеребца в галоп, и тот скакал по двору, как блоха по простыне, а мальчик сидел в седле крепко, словно опытный, старый вояка.

— Оставь его, дорогая моя, пусть себе тешится! — молвил монах, обращаясь к Берте. — Из непослушных детей часто выходят люди сильные духом.

Берта едва прикасалась к еде, ибо сердце у нее все больше щемило от смутной тревоги. А Жеан, лишь только он проглотил несколько кусочков кушанья, ощутил жжение в желудке и терпкий, вяжущий вкус во рту; монах был человек ученый, и сразу же у него возникло подозрение, что Батарне подсыпал им отравы.

Раньше, чем он уверился в этом, Берта уже отведала пиши. Внезапно монах сдернул со стола скатерть, сбросил все, что на ней было, в очаг и поделился с Бертой своим подозрением. Берта возблагодарила пресвятую деву за то, что сын их так увлекся своей забавой.

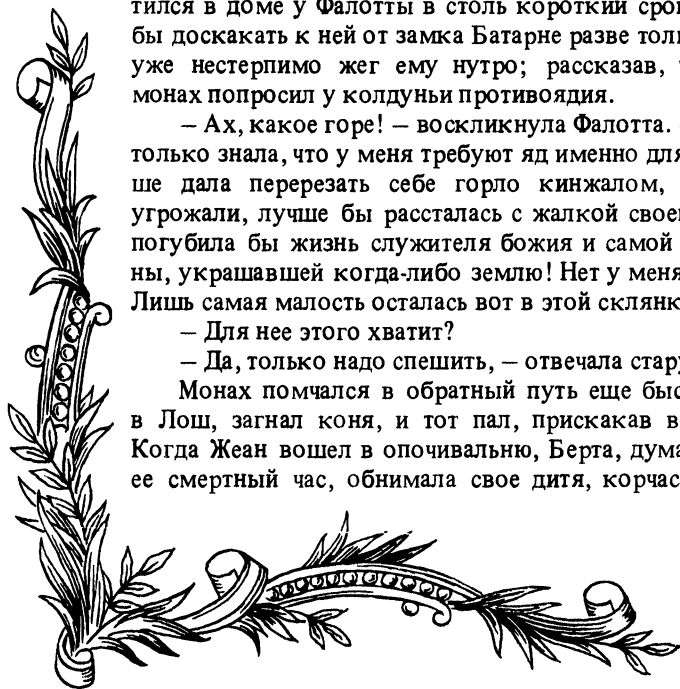
Ничуть не растерявшись, припомнив те времена, когда он был еще пажом, Жеан бросился во двор, снял сына с коня, вскочил в седло и, вонзая изо всех сил каблуки в бока жеребца, помчался по полям с быстротою падающей звезды; он очутился в доме у Фалотты в столь короткий срок, в какой мог бы доскакать к ней от замка Батарне разве только дьявол. Яд уже нестерпимо жег ему нутро; рассказав, что случилось, монах попросил у колдуньи противоядия.

— Ах, какое горе! — воскликнула Фалотта. — Да ежели б я только знала, что у меня требуют яд именно для вас, я бы лучше дала перерезать себе горло кинжалом, которым мне угрожали, лучше бы рассталась с жалкой своей жизнью, а не погубила бы жизнь служителя божия и самой милой женщины, украшавшей когда-либо землю! Нет у меня противоядия! Лишь самая малость осталась вот в этой склянке.

— Для нее этого хватит?

— Да, только надо спешить, — отвечала старуха.

Монах помчался в обратный путь еще быстрее, чем ехал в Лош, загнал коня, и тот пал, прискакав во двор замка. Когда Жеан вошел в опочивальню, Берта, думая, что пришел ее смертный час, обнимала свое дитя, корчась от мук, как



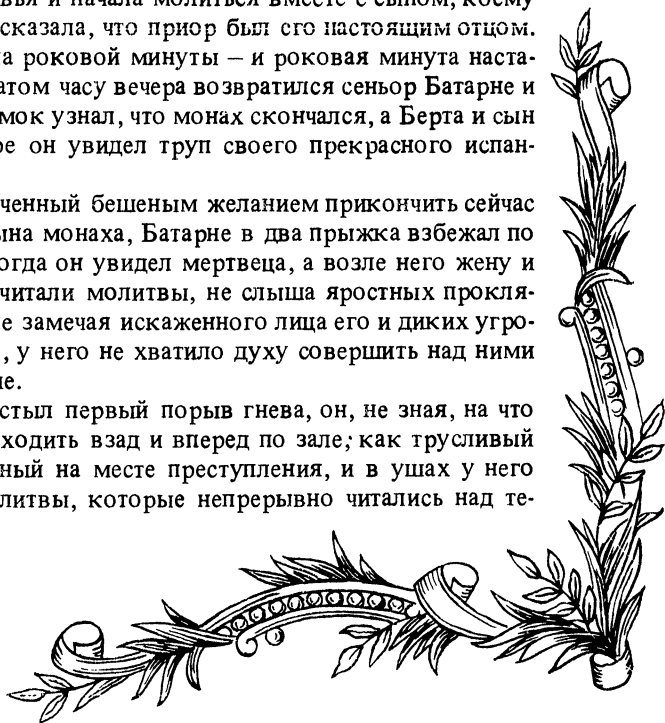
ящерица на огне; но она не испустила ни единого крика, ибо забывала о собственных страданиях при мысли о том ужасном будущем, какое ожидает ее ребенка, отданного на произвол разъяренного Батарне.

— Вот, выпей скорее это! — сказал ей монах. — А моя жизнь уже спасена.

У Жеана хватило мужества произнести эти слова, не изменившись в лице, хотя он чувствовал, что смерть уже сжимает когтями его сердце. Лишь только Берта выпила противоядие, приор упал мертвым, едва успев поцеловать сына и устремив на свою подругу последний взгляд, полный любви. Берта похолодела, как мрамор, и оцепенела от ужаса при виде бездыханного тела Жеана, распростертого у ее ног; она стояла, крепко сжимая руку своего сына; мальчик заливался слезами, у нее же самой глаза были сухи, как дно Черного моря, когда Моисей вел по нему евреев, и ей казалось, что под веками ее пересыпаются раскаленные песчинки. Молитесь за нее, милосердные души, ибо еще ни одна женщина не пережила таких жестоких мучений, как Берта, когда она догадалась, что Жеан спас ее ценою своей собственной жизни. С помощью сына она перенесла на кровать тело усопшего, а сама встала у изголовья и начала молиться вместе с сыном, коему она только тут сказала, что приор был его настоящим отцом. Так она ожидала роковой минуты — и роковая минута настала; в одиннадцатом часу вечера возвратился сеньор Батарне и при въезде в замок узнал, что монах скончался, а Берта и сын живы; во дворе он увидел труп своего прекрасного испанского жеребца.

Тогда, охваченный бешеным желанием прикончить сейчас же и Берту и сына монаха, Батарне в два прыжка взбежал по лестнице; но когда он увидел мертвеца, а возле него жену и сына, которые читали молитвы, не слыша яростных проклятий Батарне и не замечая искаженного лица его и диких угрожающих жестов, у него не хватило духу совершить над ними черное злодеяние.

Когда же остыл первый порыв гнева, он, не зная, на что решиться, стал ходить взад и вперед по зале; как трусливый убийца, пойманный на месте преступления, и в ушах у него все звучали молитвы, которые непрерывно читались над те-

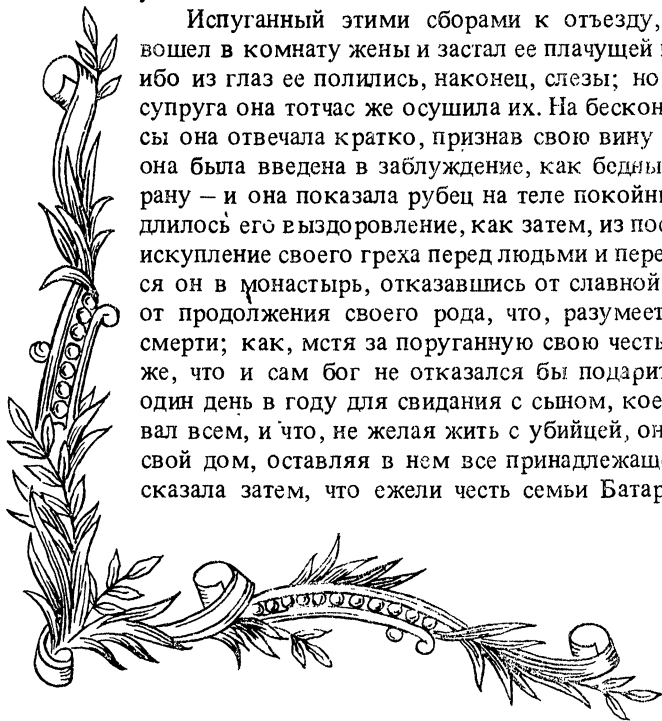


лом монаха. Так, в слезах, в стенаниях и молениях прошла вся ночь.

Утром, по распоряжению госпожи, одна из служанок отправилась в Лош купить для Берты одежду, какую носили тогда благородные вдовы, а несчастному сыну ее — небольшую лошадь и полное рыцарское вооружение. Батарне был немало удивлен, узнав об этом; он велел позвать к себе жену и сына монаха, но ни мальчик, ни мать не откликнулись на его зов и стали поспешно облекаться в одежды, купленные для них служанкой. Той же служанке Берта приказала свести все счета по дому и составить опись всех платьев своей госпожи, жемчугов, бриллиантов и прочих драгоценностей, как то обычно делается при отречении вдовы от своих прав. Берта велела внести в список даже свою сумку для раздачи милостыни, дабы все было сделано как положено и не было упущено никакой мелочи.

Слух об этих приготовлениях тотчас разнесся по замку; все поняли, что хозяйка решила их покинуть. Скорбь и смятение охватили все сердца, они овладели душой даже маленького поваренка, появившегося в замке всего неделю назад и заливавшегося ныне слезами, так как и ему Берта уже успела сказать ласковое слово.

Испуганный этими сборами к отъезду, старик Батарне вошел в комнату жены и застал ее плачущей над телом Жеана, ибо из глаз ее полились, наконец, слезы; но при виде своего супруга она тотчас же осушила их. На бесконечные его вопросы она отвечала кратко, признав свою вину и рассказав, как она была введена в заблуждение, как бедный паж нанес себе рану — и она показала рубец на теле покойника, — как долго длилось его выздоровление, как затем, из послушания ей и во искупление своего греха перед людьми и перед богом, удалился он в монастырь, отказавшись от славной жизни рыцаря и от продолжения своего рода, что, разумеется, еще тяжелее смерти; как, мстя за поруганную свою честь, она решила все же, что и сам бог не отказался бы подарить этому монаху один день в году для свидания с сыном, коему он пожертвовал всем, и что, не желая жить с убийцей, она покидает ныне свой дом, оставляя в нем все принадлежащее ей добро; она сказала затем, что ежели честь семьи Батарне запятнана, то



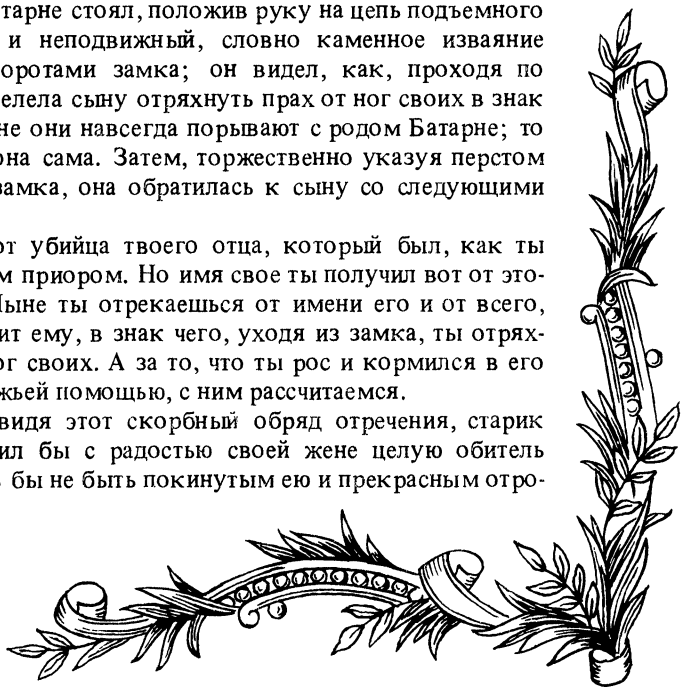
не она, а он, супруг ее, виновник сего позора, ибо, после того как произошло несчастье, она все уладила как нельзя лучше; наконец, Берта прибавила, что она дала обет скитаться по горам и долам вместе с сыном, пока не будет искуплено полностью ее прегрешение, а она знает, как его искупить.

Бледная и полная достоинства, произнесла Берта эти трогательные слова, а затем взяла дитя свое за руку и вышла из дому, одетая в глубокий траур и ослепительно прекрасная, прекраснее Агари*, уходящей от патриарха Авраама, и столь величественная, что, когда она проходила мимо, все обитатели замка преклоняли колена и, молитвенно сложив руки, зывали к ней, словно к богоматери. И было жалости достойно видеть, как позади всех, словно преступник, ведомый на казнь, шагал старик Батарне и плакал, ибо он сознал свою вину и впал в отчаяние.

Берта не хотела слушать никаких увещаний. Уныние, овладевшее всеми, было столь велико, что мост оказался опущенным, и Берта ускорила шаг, дабы поскорее выйти из замка, опасаясь, как бы внезапно мост снова не подняли; но никто не помышлял об этом, так были все удручены и растеряны. Берта села у края рва, откуда был виден весь замок, обитатели коего со слезами на глазах умоляли ее остаться. Бедняга Батарне стоял, положив руку на цепь подъемного моста, немой и неподвижный, словно каменное изваяние святого над воротами замка; он видел, как, проходя по мосту, Берта велела сыну отряхнуть прах от ног своих в знак того, что отныне они навсегда порывают с родом Батарне; то же сделала и она сама. Затем, торжественно указуя перстом на владельца замка, она обратилась к сыну со следующими словами:

— Дитя, вот убийца твоего отца, который был, как ты знаешь, бедным приором. Но имя свое ты получил вот от этого человека. Ныне ты отрекаешься от имени его и от всего, что принадлежит ему, в знак чего, уходя из замка, ты отряхнул прах от ног своих. А за то, что ты рос и кормился в его доме, мы, с божьей помощью, с ним рассчитаемся.

Слыша и видя этот скорбный обряд отречения, старик Батарне простил бы с радостью своей жене целую обитель монахов, лишь бы не быть покинутым ею и прекрасным отро-



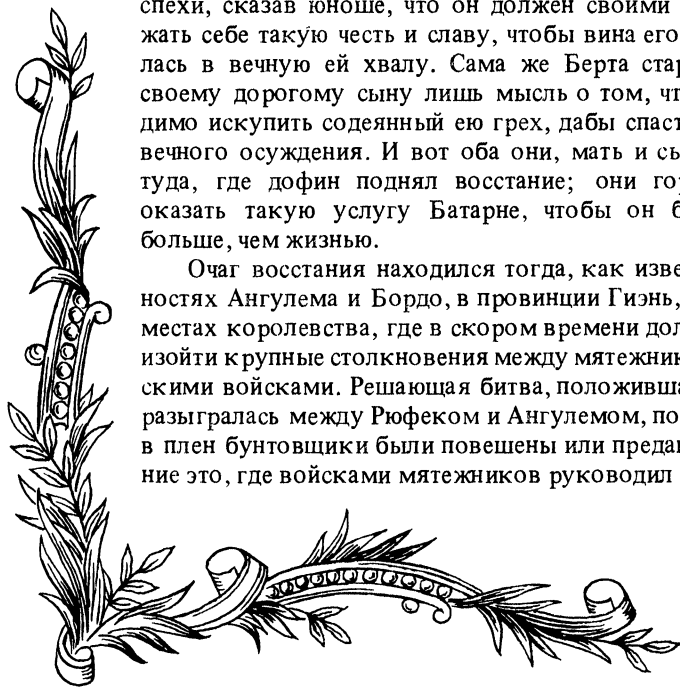
ком, обещавшим стать гордостью его дома. Поникнув головой, стоял он возле натянутой цепи моста.

— Что, дьявол, — ты торжествуешь?! — воскликнула Берта, совсем не ведая, какое участие принимал на самом деле дьявол во всем происходящем. — Но да помогут мне в сей лютой беде всевышний, святые мученики и архангелы, коим я так усердно молилась!

И внезапно сердце Берты преисполнилось утешением, ниспосланным ей самим небом: в поле, на повороте дороги, показались хоругви монастыря Мармутье и послышались церковные песнопения, словно зазвучали ангельские голоса. Монахи, до которых дошла весть о злодейском убийстве их любимого приора, двинулись торжественной процессией за его телом в сопровождении церковного суда. Завидя их, сеньор Батарне едва успел со своими людьми бежать из замка через потайной ход; он направился тотчас же к дофину Людовику, бросив все на произвол судьбы.

Насчастливая Берта, сидя на лошади позади сына, отправилась в Монбазон проститься со своим отцом; она сказала ему, что не в силах пережить постигшего ее удара; как ни старались родные ее утешить, успокоить ее душу, — все было тщетно. Старый Роган подарил своему внуку прекрасные доспехи, сказав юноше, что он должен своими подвигами стяжать себе такую честь и славу, чтобы вина его матери обратилась в вечную ей хвалу. Сама же Берта старалась внушить своему дорогому сыну лишь мысль о том, что ныне необходимо искупить содеянный ею грех, дабы спасти ее и Жеана от вечного осуждения. И вот оба они, мать и сын, направились туда, где дофин поднял восстание; они горели желанием оказать такую услугу Батарне, чтобы он был им обязан больше, чем жизнью.

Очаг восстания находился тогда, как известно, в окрестностях Ангулема и Бордо, в провинции Гизнь, и еще в других местах королевства, где в скором времени должны были произойти крупные столкновения между мятежниками и королевскими войсками. Решающая битва, положившая конец войне, разыгралась между Рюфеком и Ангулемом, после чего взятые в плен бунтовщики были повешены или преданы суду. Сражение это, где войсками мятежников руководил старик Батарне,



произошло в ноябре месяце, то есть примерно полгода спустя после убийства приора.

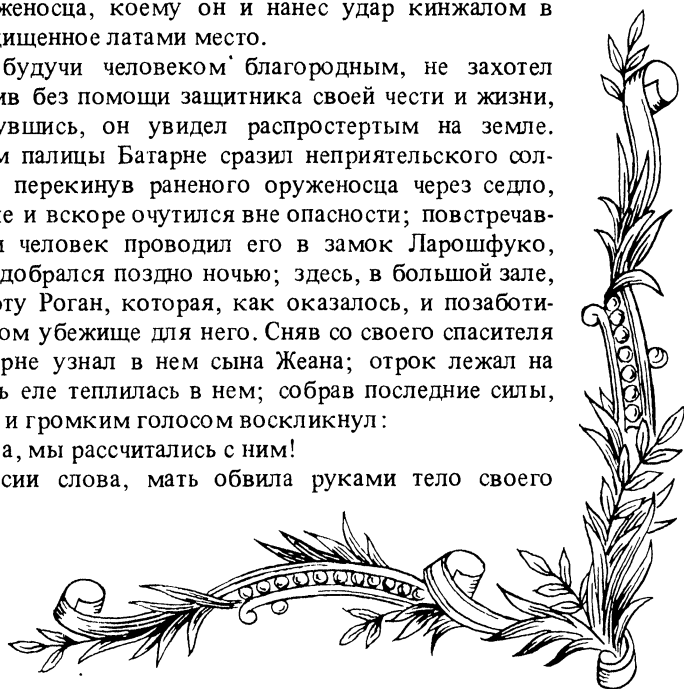
Барону в то время стало известно, что участь его решена и он будет обезглавлен, как первый советник дофина. И вот, когда войска его отступали, старик внезапно увидал, что его окружили шесть неприятельских воинов и стараются взять его в плен. Тут он понял, что его хотят схватить живьем, дабы судить в королевском суде, обесчестить его имя и отнять все достояние. Бедняга предпочитал погибнуть, лишь бы спасти своих людей и сохранить для сына свои владения; он защищался, как лев. Солдаты, видя, что, несмотря на перевес в числе, не могут его одолеть (трое из них пали), вынуждены были усилить напор, даже рискуя убить Батарне. Они обрушились на него все вместе, сразив двух оруженосцев Батарне и его паж.

И вдруг в минуту смертельной для Батарне опасности примчался какой-то неизвестный оруженосец с гербом Роганов на доспехах, ринулся молнией на нападавших и с громким кличем: „Да хранит всевышний род Батарне!“, уложил на месте двоих солдат. На третьего, уже схватившего старика Батарне, он кинулся с такою силой, что солдату пришлось выпустить пленника из рук и обернуть свое оружие против безвестного оруженосца, коему он и нанес удар кинжалом в грудь, в незащищенное латами место.

Батарне, будучи человеком благородным, не захотел бежать, оставив без помощи защитника своей чести и жизни, коего, оглянувшись, он увидел распростертым на земле. Одним ударом палицы Батарне сразил неприятельского солдата, а затем, перекинув раненого оруженосца через седло, ускорил в поле и вскоре очутился вне опасности; повстречавшийся в пути человек проводил его в замок Ларошфуко, куда Батарне добрался поздно ночью; здесь, в большой зале, он нашел Берту Роган, которая, как оказалось, и позаботилась о надежном убежище для него. Сняв со своего спасителя доспехи, Батарне узнал в нем сына Жеана; отрок лежал на столе, и жизнь еле теплилась в нем; собрав последние силы, он обнял мать и громким голосом воскликнул:

— Матушка, мы рассчитались с ним!

Услышав сии слова, мать обвила руками тело своего

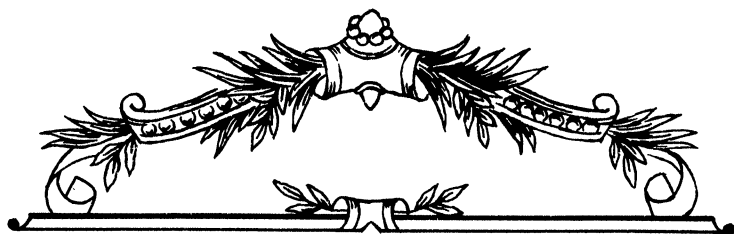


сына, зачатого ею в любви, и души их соединились навеки: Берта скончалась от горя. Что ей было теперь прощение и раскаяние мессира Батарне?

Столь необычное злосчастье сократило дни жизни бедняги сенешала, и не довелось ему лицезреть вступление на престол милостивого короля Людовика XI. Старик сделал вклад на ежедневную мессу в церкви Ларошфуко, где похоронил он вместе, в одной могиле, прах матери и сына, и воздвигнул огромную гробницу, на коей в эпитафии, начертанной полатыни, многими похвалами была почтена их жизнь.

Из повести сей можно извлечь поучение, для повседневной жизни весьма полезное, ибо здесь показано, что высокородным старцам должно быть весьма учтивыми с возлюбленными своих жен. А сверх того сей рассказ учит, что все дети — благо, ниспосылаемое нам самим господом богом, и над ними отцы их, мнимые или настоящие, не имеют права жизни и смерти, каковой бесчеловечный закон существовал некогда в языческом Риме, но совсем не пристал христианам, ибо все мы — чада божии.





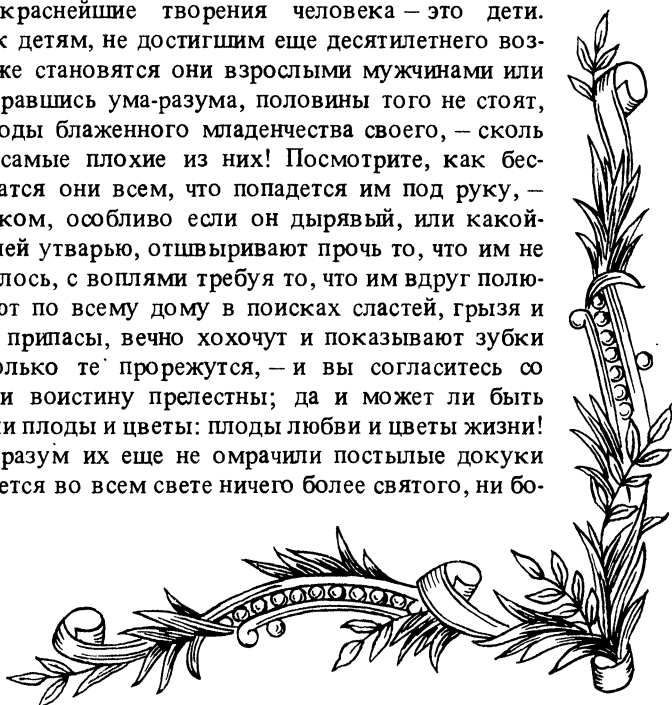
НАИВНОСТЬ



лянусь крепким пурпуровым гребнем моего петуха и подбитой алым атласом черной туфелькой моей милой! Клянусь ветвистыми украшениями, произрастающими на лбу достойных рогоносцев, и священной добродетелью их жен! Прекраснейшее творение человека — отнюдь не поэмы, не великолепные картины, не звучная музыка, не замки, не статуи, как бы ни были искусно они изваяны, не парусные или весельные галеры, — нет, наипрекраснейшие творения человека — это дети.

Приглядитесь к детям, не достигшим еще десятилетнего возраста, ибо позже становятся они взрослыми мужчинами или женами, и, набравшись ума-разума, половины того не стоят, что стоили в годы блаженного младенчества своего, — сколь хороши даже самые плохие из них! Посмотрите, как бесхитростно тешатся они всем, что попадется им под руку, — старым башмаком, особенно если он дырявый, или какой-нибудь домашней утварью, отшвыривают прочь то, что им не по душе пришлось, с воплями требуя то, что им вдруг полюбилось, рыскают по всему дому в поисках сладостей, грызя и уничтожая все припасы, вечно хохочут и показывают зубки свои, лишь только те прорежутся, — и вы согласитесь со мною, что дети воистину прелестны; да и может ли быть иначе — ведь они плоды и цветы: плоды любви и цветы жизни!

И откуда разум их еще не омрачили постылые докуки жизни, не найдется во всем свете ничего более святого, ни бо-



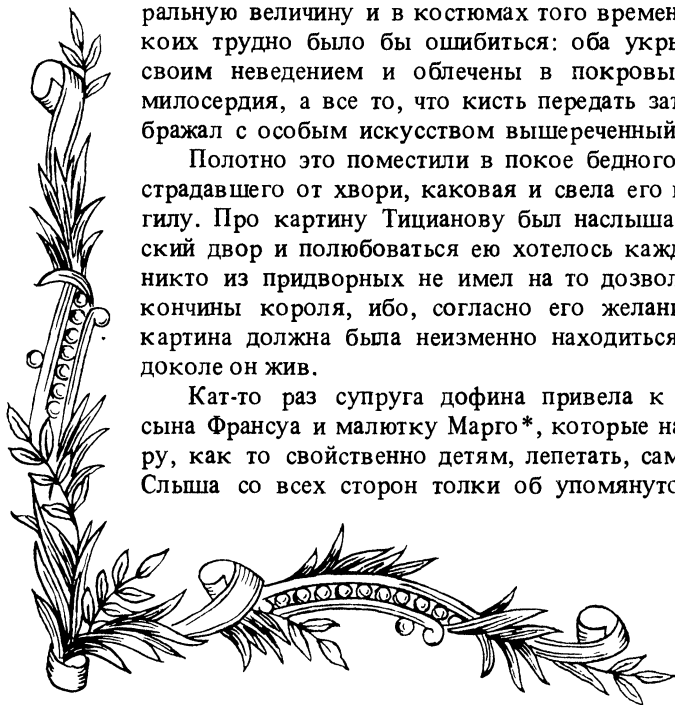
лее забавного, чем детский лепет, являющий собой верх наивности. Сие неоспоримо, как дважды два — четыре. Никто не слышал, чтобы взрослый человек сказал наивное словцо с простодушием ребенка, ибо в наивности взрослого всегда почувствуешь хоть крупицу умысла, когда как наивность ребенка чиста и безгрешна, как сама мать-природа, что и будет показано в нашем повествовании.

Королева Екатерина была тогда еще супругой дофина, и, желая угодить королю, свекру своему, прикованному злым недугом к постели, она преподносила ему время от времени в дар картины итальянских мастеров, зная, что король питает к ним великое пристрастие, будучи другом синьора Рафаэля Урбинского, синьора Приматиччио* и Леонардо да Винчи, коим посылал он значительные суммы.

И вот однажды она получила от своих родных (у них имелись лучшие полотна упомянутых выше художников, ибо герцог Медичи правил в ту пору Тосканой) бесценное творение одного венецианца по имени Тициан, художника императора Карла V, весьма к нему благоволившего. На картине изображены были Адам и Ева в тот самый час, когда господь бог благословляет их на блаженное пребывание в райских кущах. Были прародители наши написаны в натуральную величину и в костюмах того времени, относительно коих трудно было бы ошибиться: оба укрыты были лишь своим неведением и облечены в покровы божественного милосердия, а все то, что кисть передать затрудняется, изображал с особым искусством вышереченный синьор Тициан.

Полотно это поместили в покое бедного короля, тяжело страдавшего от хвори, каковая и свела его вскорости в могилу. Про картину Тицианову был наслышан весь французский двор и полюбоваться ею хотелось каждому; однако ж никто из придворных не имел на то дозволения вплоть до кончины короля, ибо, согласно его желанию, упомянутая картина должна была неизменно находиться в его покоях, доколе он жив.

Кат-то раз супруга дофина привела к королю своего сына Франсуа и малютку Марго*, которые начинали в ту пору, как то свойственно детям, лепетать, сами не ведая что. Слыша со всех сторон толки об упомянутом изображении



Адама и Евы, они стали докучать матери, прося, чтобы та взяла их с собой посмотреть картину. И ввиду того, что малюткам уже доводилось не раз забавлять старого короля, супруга дофина вняла их просьбам и привела к деду.

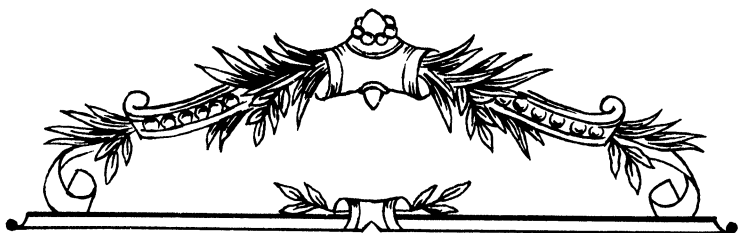
— Вы желали видеть Адама и Еву, наших прародителей, вот они! — молвила она и, оставив детей в великом изумлении перед картиной синьора Тициана, сама села у изголовья короля, умиленно взиравшего на своих внучат.

— А кто из них Адам? — спросил Франсуа, толкая локтем свою сестрицу Маргариту.

— Глупенький! — отвечала девочка. — Как же можно это узнать, раз они не одеты!

Этот ответ, приведший в великий восторг страждущего короля и мать, был сообщен королевой Екатериной в одном из посланий ее во Флоренцию. Никем из писателей он доныне еще не был предан гласности. Так пускай же сохранится он, как цветочек, на страницах этих сказок, хоть и нет в нем никакого озорства. А назидание отсюда можно извлечь лишь одно: дабы слушать милый детский лепет, надобно создавать детей.





ЗАМУЖЕСТВО КРАСАВИЦЫ ИМПЕРИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК ГОСПОЖА ИМПЕРИЯ САМА ЗАПУТАЛАСЬ В СИЛКИ, КОИМИ СВОИХ ЛЮБЕЗНЫХ ГОЛУБЕЙ УЛОВЛЯЛА



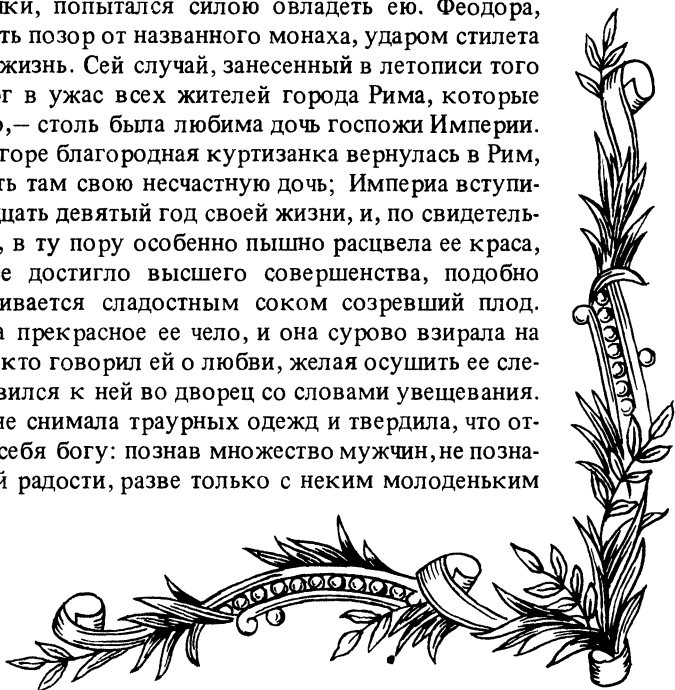
Красавица Империя, рассказ о которой столь славно открывает книгу наших рассказов, будучи красой и гордостью своего времени, по окончании Констанцского собора вынуждена была поселиться в городе Рима по той причине, что кардинал Рагузский любил ее до умопомрачения и не пожелал расстаться с нею. Этот распутник был весьма тароват и подарил Империи великолепный дворец в вышеназванном городе Рима. Как раз в то время имела она несчастье понести от кардинала. Каждому ведомо, что Империя разрешилась от бремени дочерью, столь прелестной, что сам папа сказал благосклонно, что надлежит наречь младенца Феодорой, что означает „дар божий”. Так и нарекли дитя, миловидностью своею приводившее всех в удивление. Кардинал отказал ей все свое имущество, а Империя поселила дочь в роскошном своем дворце, сама же бежала из города Рима, как из проклятого места, где рождаются на свет дети и где чуть было не повредили изяществу тонкого ее стана и иным ее совершенствам, как-то: стройной талии, безупречным линиям спины, нежным округлостям и изгибам, вознесшим ее над всеми иными христианскими женщинами, как вознесен папа римский



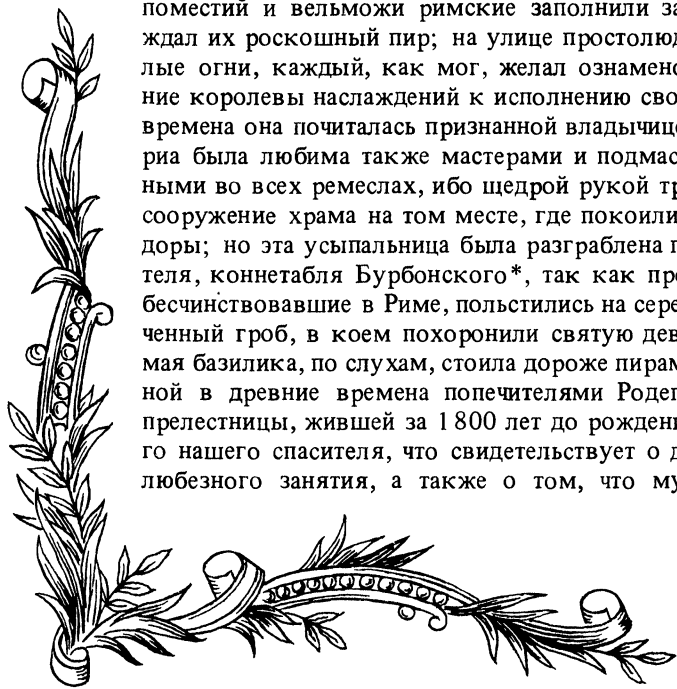
над всеми христианами мира. Однако ж все любовники Империи знали, что с помощью одиннадцати лекарей из Падуи, семи знахарей из Павии и пяти хирургов, вызванных из разных концов страны ко времени разрешения от бремени, ее краса была спасена от возможного ущерба. Иные даже утверждали, что после родов стала она еще прекраснее, приобретя утонченность и необычайную белизну кожи. Некий прославленный врач Салернской школы даже написал по этому поводу книгу, доказывая, что всякая женщина должна родить однажды, дабы сохранить здоровье, свежесть и красоту. Из сего ученого труда читатели могли уяснить себе, что лучшие прелести Империи видели только избранные ее поклонники, а таковых было немного, ибо она не брала труда разоблачаться ради ничтожных немецких принцев, которых именovala просто. „мои маркграфы, мои бургграфы, герцоги и курфюрсты“, как командир говорит: „мои солдаты“.

Каждому известно, что когда прелестной Феодоре минуло восемнадцать лет, она решила искупить молитвами грешную жизнь своей матери, удалиться от мира и пожертвовать все свое состояние обители святой Клары. С этой целью отправилась она к некоему кардиналу, и этот последний склонил ее приступить к исповеди. Пастырь, соблазненный красотой своей овечки, попытался силою овладеть ею. Феодора, не желая принять позор от названного монаха, ударом стилета пресекла свою жизнь. Сей случай, занесенный в летописи того времени, поверг в ужас всех жителей города Рима, которые объявили траур,— столь была любима дочь госпожи Империи.

В великом горе благородная куртизанка вернулась в Рим, дабы оплакивать там свою несчастную дочь; Империя вступила тогда в тридцать девятый год своей жизни, и, по свидетельству очевидцев, в ту пору особенно пышно расцвела ее краса, все естество ее достигло высшего совершенства, подобно тому, как наливается сладостным соком созревший плод. Скорбь осенила прекрасное ее чело, и она сурово взирала на того дерзкого, кто говорил ей о любви, желая осушить ее слезы. Сам папа явился к ней во дворец со словами увещевания. Однако ж она не снимала траурных одежд и твердила, что отныне посвятит себя богу: познав множество мужчин, не познала она истинной радости, разве только с неким молоденьким



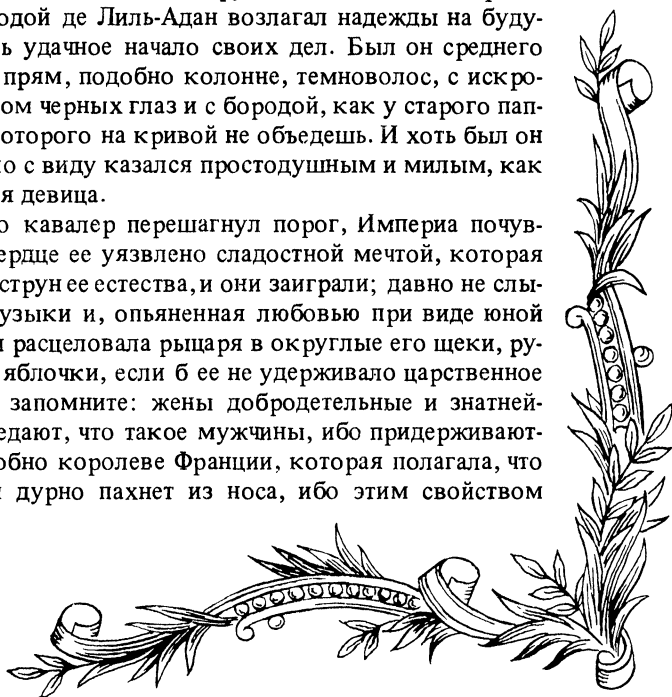
монашском, которого она возлюбила, как ангела, да и тот обманул ее; бог же никогда не обманет. Намерение Империи ввергло многих в великую грусть, ибо она была отрадой всех знатных римлян. Встретившись случайно на улице, выпрашивали они друг у друга: „А что слышно о госпоже Империи? Ужели мир лишится любви?“ Иные послы донесли своим государям об этом прискорбном случае. Сам император римский* весьма огорчился по той причине, что в течение одиннадцати недель был в любовном обхождении с ней и покинул ее только ради дальнего похода, но и поныне продолжал любить ее, как самую драгоценную часть своего тела, а сие, как уверял он, вопреки мнению придворных, было око, ибо лишь око могло обнять разом всю милую его сердцу Империю. Видя ее отчаяние, папа римский повелел выписать из Испании лекаря и привести его к красавице; врач этот, уснащая свою речь латинскими и греческими словами, весьма ловко и глубокомысленно доказал, что слезы и огорчения вредят красоте и что чрез врата страдания приходят к нам морщины. Его мнение, подтвержденное особами, искушенными в ученых словопрениях на соборе кардиналов, имело следствием то, что после вечерни того же дня дворец Империи открыл свои двери. Молодые кардиналы, посланники иноземных государств, владельцы крупных поместий и вельможи римские заполнили залы дворца, где ждал их роскошный пир; на улице простолюдины жгли веселые огни, каждый, как мог, желал ознаменовать возвращение королевы наслаждений к исполнению своих дел, ибо в те времена она почиталась признанной владычицей любви. Империя была любима также мастерами и подмастерьями, искусными во всех ремеслах, ибо щедрой рукой тратила деньги на сооружение храма на том месте, где покоились останки Феодоры; но эта усыпальница была разграблена по смерти предателя, коннетабля Бурбонского*, так как проклятые войки, бесчинствовавшие в Риме, польстились на серебряный позолоченный гроб, в коем похоронили святую девуцу. Воздвигаемая базилика, по слухам, стоила дороже пирамиды, сооруженной в древние времена попечителями Родепы — египетской прелестницы, жившей за 1800 лет до рождения божественного нашего спасителя, что свидетельствует о древности одного любезного занятия, а также о том, что мудрые египтяне,



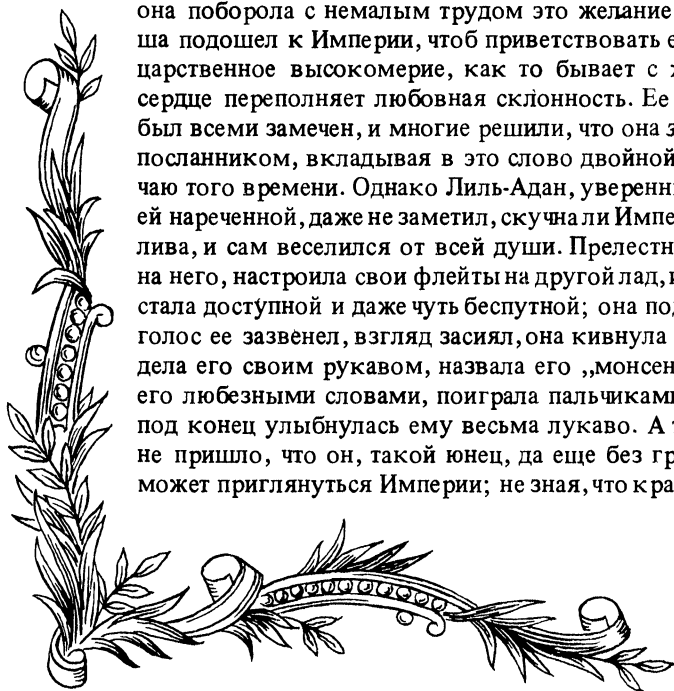
не скупясь, оплачивали наслаждения и что все в этом мире идет на убыль, если ныне в Париже на улице Пти-Эле каждый за гроши может найти себе красоту по своему вкусу. Не мерзость ли это?

Никогда не была столь прекрасна госпожа Империа, как в первый вечер праздника после долгого своего траура. Принцы, кардиналы и прочие твердили, что она достойна поклонения всего мира, который и был представлен на ее празднике посланниками от многих стран, чем было подтверждено, что власть красоты признана повсеместно. Посол французского короля, младший отпрыск дома де Лиль-Адан, явился с опозданием и, никогда ранее не видев Империю, пришел, любопытствуя посмотреть на нее. Де Лиль-Адан, красивый рыцарь, пользовался особым расположением короля Франции, при дворе которого он и нашел себе милую — девицу Монморанси, дочь дворянина, чьи земли граничили с поместьем де Лиль-Адан. Будучи младшим сыном, жених не имел никаких средств, и король по милости своей послал его в герцогство Миланское с поручением, которое молодой рыцарь столь разумно исполнил, что вслед за сим последовало и другое: он послан был в Рим для ускорения неких переговоров, которые историки подробно описали в своих трудах. Итак, не имея гроша за душой, молодой де Лиль-Адан возлагал надежды на будущее, видя столь удачное начало своих дел. Был он среднего роста, статен и прям, подобно колонне, темноволос, с искрометным взглядом черных глаз и с бородой, как у старого папского легата, которого на кривой не объедешь. И хоть был он весьма хитер, но с виду казался простодушным и милым, как смешливая юная девица.

Как только кавалер перешагнул порог, Империа почувствовала, что сердце ее уязвлено сладостной мечтой, которая коснулась всех струн ее естества, и они заиграли; давно не слышала она их музыки и, опьяненная любовью при виде юной красы, так бы и расцеловала рыцаря в округлые его щеки, румяные, словно яблочки, если б ее не удерживало царственное величие. Итак, запомните: жены добродетельные и знатнейшие дамы не ведают, что такое мужчины, ибо придерживаются одного, подобно королеве Франции, которая полагала, что у всех мужчин дурно пахнет из носа, ибо этим свойством



отличался король. Но столь искушенная куртизанка, как Империа, не ошибалась в мужчинах, ибо перевидала их на своем веку изрядное число. В укромном ее приюте любой забывал, что есть на свете стыд, как не знает стыда одержимый похотью неразумный пес, не различающий даже кровного родства; любой являл себя таким, каким он был от природы, мысля, что все равно суждено им вскоре расстаться. Нередко сетовала она на свое ярмо и говорила, что от усад страдала больше, чем иные от бедствий. Такова была изнанка ее жизни. Притом случалось, что любовник, помогаясь ее, выкладывал в уплату за одну ночь столько золотых дукатов, что лишь вычному мулу было поднять под силу такой груз, а иной гуляка, которого отвергала Империа, готов был перерезать себе глотку. Итак, праздником для Империи было почувствовать вновь молодое желание, склонившее ее некогда к ничтожному монашеску, о чем говорилось в начале наших повестей. Но так как с той счастливой поры прошло много лет, то любовь в возрасте более зрелом сильнее охватила ее и была подобна огню, ибо тут же дала себя знать. Империа ощутила жесточайшую боль, точно кошка, с которой живьем сдирают шкуру; и ей захотелось тут же броситься к юноше, схватить его, подобно коршуну, и устремиться со своей добычей к себе в опочивальню, но она поборола с немалым трудом это желание. Когда же юноша подошел к Империи, чтоб приветствовать ее, она выказала царственное высокомерие, как то бывает с женщинами, чье сердце переполняет любовная склонность. Ее надменный вид был всеми замечен, и многие решили, что она *занята* молодым посланником, вкладывая в это слово двойной смысл, по обычаю того времени. Однако Лиль-Адан, уверенный в любви своей нареченной, даже не заметил, скучнели Империа, или приветлива, и сам веселился от всей души. Прелестница же, досадуя на него, настроила свои флейты на другой лад, из неприступной стала доступной и даже чуть беспутной; она подошла к юноше, голос ее зазвенел, взгляд засиял, она кивнула ему головой, задела его своим рукавом, назвала его „монсензор”, забросала его любезными словами, поиграла пальчиками в его ладони и под конец улыбнулась ему весьма лукаво. А тому и в голову не пришло, что он, такой юнец, да еще без гроша в кармане, может приглянуться Империи; не зная, что красота его стала ей



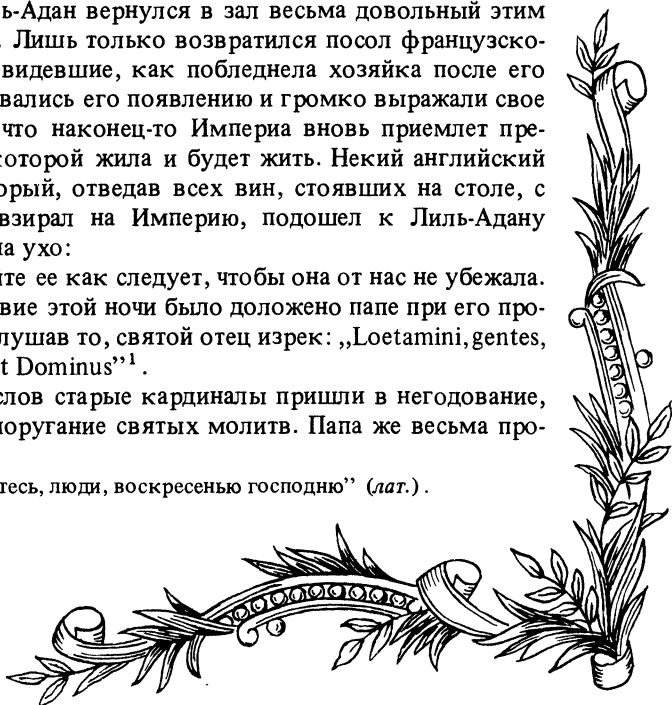
дороже всех земных сокровищ, он не попался в расставленные тенета и стоял посреди зала, спесиво подбоченясь. Видя, как тщетны все ее ухищрения, Империя почувствовала гнев, и сердце ее загорелось жарким пламенем. Ежели вы сомневаетесь в том, значит вы не знаете, каково было ремесло Империи, ведь после многих лет жизни куртизанки можно было ее сравнить с печью, в которой отгорело столько веселых огней и столько накопилось смолы, что одной спички было достаточно, чтоб запылала она ярким огнем, тогда как раньше сотни вязанок чуть тлели в ней да чадили. Итак, горела она в ужасном огне, остудить который мог лишь поток любви. А младший отпрыск де Лиль-Аданов покинул зал, ничего не заметив. В отчаянии от такого пренебрежения Империя потеряла рассудок, в голове у нее помутилось, и она послала искать его по всем галереям. Ни разу в жизни до этого не проявила она подобной слабости ни ради короля, ни ради самого папы, ни ради императора, и высокая цена за ее тело проистекала из того рабства, в котором она держала мужчину; и чем ниже сгибала его, тем выше поднималась сама. Итак, первая служанка госпожи Империи, она же первая проказница из всей ее челяди, шепнула юному гордецу, что его, наверное, ждет много приятного, ибо госпожа Империя угостит его самыми нежными ухищрениями любви. Де Лиль-Адан вернулся в зал весьма довольный этим приключением. Лишь только возвратился посол французского двора, все, видевшие, как побледнела хозяйка после его ухода, возрадовались его появлению и громко выражали свое удовольствие, что наконец-то Империя вновь приемлет прелесть любви, которой жила и будет жить. Некий английский кардинал, который, отведав всех вин, стоявших на столе, с вождением взирав на Империю, подошел к Лиль-Адану и шепнул ему на ухо:

— Вздуйте ее как следует, чтобы она от нас не убежала.

Происшествие этой ночи было доложено папе при его пробуждении. Выслушав то, святой отец изрек: „*Loetamini, gentes, quoniam surrexit Dominus*”¹.

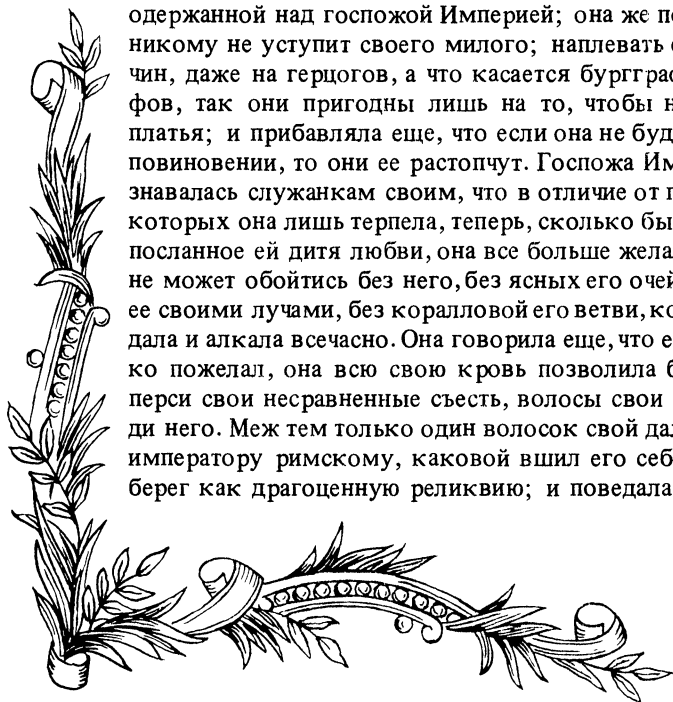
От таких слов старые кардиналы пришли в негодование, увидев в них поругание святых молитв. Папа же весьма про-

¹ „Возрадуйтесь, люди, воскресенью господню” (лат.).



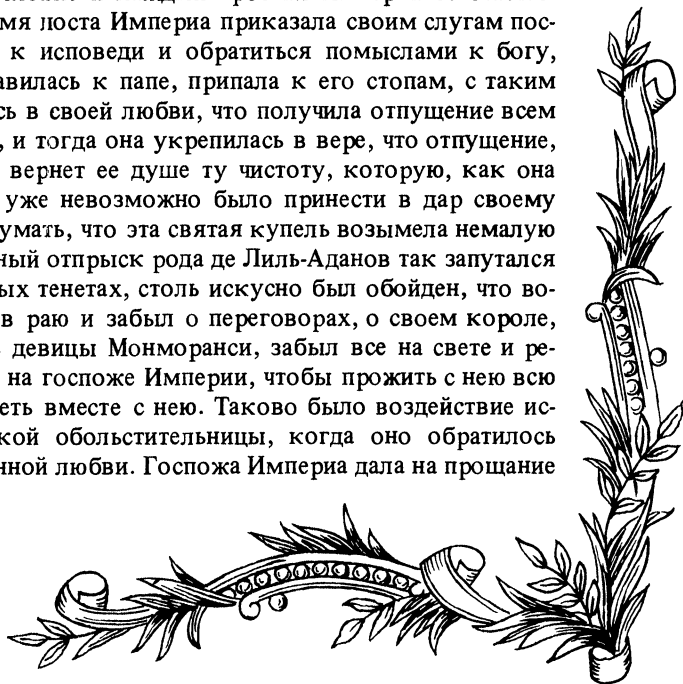
гневался на них и не преминул упрекнуть, что хотя они и добрые христиане, да плохие политики. Он же рассчитывает-де на помощь куртизанки, чтоб приручить императора Священной Римской империи*, и потому осыпает ее неумеренной лестью.

И когда померкли огни в залах, где на полу валялись золотые кубки и где охмелевшие гости заснули на коврах, Империя удалилась в свою опочивальню, ведя за руку своего милого избранника; ликуя, признавалась она, что, когда охватило ее влечение, готова она была броситься наземь перед ним, как покорное животное, чтоб растоптал он ее, если б того пожелал. А он тем временем снял свои одежды и возлег на ложе, точно у себя дома; увидя то, Империя, путаясь в наспех сброшенных покрывах, горя нетерпением, взбежала по ступенькам к ложу и предалась наслаждению с таким неистовством, что служанки ее весьма удивились, ибо знали, как благородно, не в пример прочим, их госпожа ведет себя в постели. А вслед за ними удивлялась вся округа, что любовники не покидали своего ложа в течение девяти дней, вкушая превыше всякой меры наипревосходнейшим образом пищу, питье и все утех любви. Империя поведала своим служанкам, что обрела сущего феникса любви, ибо возрождался он с каждым разом. Не только по Риму, но и по всей Италии разнесся слух о победе, одержанной над госпожой Империей; она же похвалялась, что никому не уступит своего милого; наплевать ей на всех мужчин, даже на герцогов, а что касается бургграфов и маркграфов, так они пригодны лишь на то, чтобы нести шлейф ее платья; и прибавляла еще, что если она не будет держать их в повиновении, то они ее растопчут. Госпожа Империя еще признавалась служанкам своим, что в отличие от прочих мужчин, которых она лишь терпела, теперь, сколько бы она ни лелеяла посланное ей дитя любви, она все больше желала его нежить и не может обойтись без него, без ясных его очей, ослепляющих ее своими лучами, без коралловой его ветви, которой она жаждала и алкала всечасно. Она говорила еще, что если бы он только пожелал, она всю свою кровь позволила бы ему выпить, перси свои несравненные съесть, волосы свои отрезала бы ради него. Меж тем только один волосок свой дала она доброму императору римскому, каковой вшил его себе в воротник и берег как драгоценную реликвию; и поведала она также, что



истинная ее жизнь началась лишь с той достопамятной ночи, ибо в объятиях Вилье де Лиль-Адана она трепещет от наслаждения, так что кровь ее приливает трижды к сердцу за краткое время, нужное мухе, чтоб слюбиться с другой. Услышав все это, немало мужей огорчилось. При первом же своем выходе из дому госпожа Империя сказала римским дамам, что лишит себя жизни, если молодой рыцарь покинет ее, и что тогда, подобно царице Клеопатре, не замедлит она дать скорпиону или ехидне ужалить себя. И под конец объявила весьма решительно, что отныне и навсегда она распрощалась со своими безумствами и докажет, что есть на свете добродетель, отрекшись от всей полноты своей власти ради вышеназванного Вилье де Лиль-Адана, которому она предпочтет стать служанкой, чем властвовать над всем христианским миром. Английский кардинал тщился убедить папу, что, ежели единая любовь к одному лишь мужчине завладела сердцем женщины, созданной на утеху всем и каждому, — это низкое преступление и разврат и что папе-де следует запретить этот брак, ибо он оскорбляет все благородное общество.

Но любовь бедняжки Империи, которая искренне сожалела о своих горестных заблуждениях, была столь трогательна, что смягчила сердца даже самых беспутных кутил, оттого и замолкло злословие и каждый простил Империи ее счастье. Как-то во время поста Империя приказала своим слугам поститься, пойти к исповеди и обратиться помыслами к богу, сама же отправилась к папе, припала к его стопам, с таким усердием каясь в своей любви, что получила отпущение всем своим грехам, и тогда она укрепилась в вере, что отпущение, данное папой, вернет ее душе ту чистоту, которую, как она понимала, ей уже невозможно было принести в дар своему другу. Надо думать, что эта святая купель возымела немалую силу, ибо бедный отпрыск рода де Лиль-Аданов так запутался в расставленных тенетах, столь искусно был обойден, что вообразил себя в раю и забыл о переговорах, о своем короле, забыл любовь девицы Монморанси, забыл все на свете и решил жениться на госпоже Империи, чтобы прожить с нею всю жизнь и умереть вместе с нею. Таково было воздействие искусства великой обольстительницы, когда оно обратилось на благо истинной любви. Госпожа Империя дала на прощание

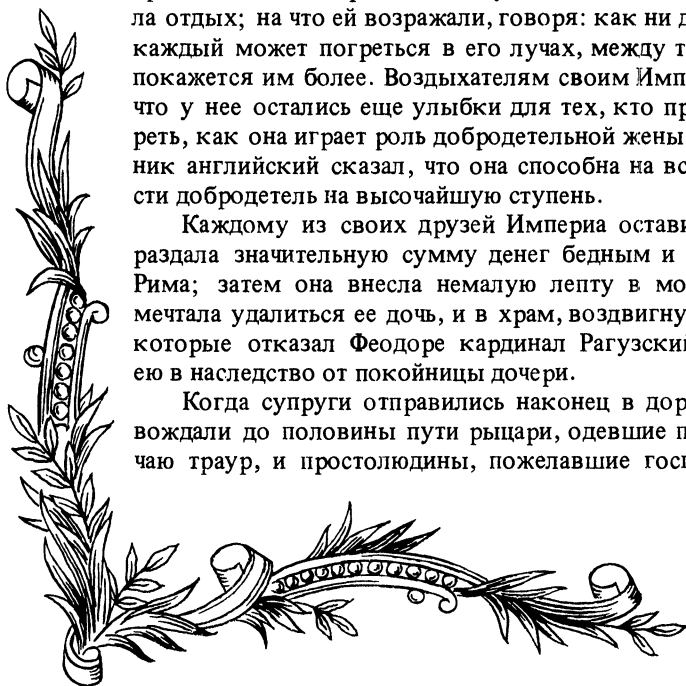


королевское пиршество для своих голубков и голубчиков в высокосторжественный день бракосочетания, на которое съехались все итальянские принцы.

В народе говорили, что у невесты миллион золотом. И хотя велико было ее богатство, никто не осуждал де Лиль-Ада-на, а, наоборот, каждый поздравлял его, видя, что ни Империя, ни юный ее супруг нимало не пеклись о своих несметных сокровищах, ибо их занимало лишь сокровище любви, и помышляли они только о нем. Сам папа благословил их союз, сказав, сколь благодно видеть блудницу, обратившуюся к богу стезею брака. Итак, в последнюю ночь, когда все увидели, что царица красоты станет отныне просто хозяйкой замка во Франции, многие вздохнули о веселых днях, полуночных пирах, маскарадах, о забавах и о тех упоительных минутах, когда каждый открывал ей свое сердце; словом, они сожалели о всех радостях, которыми одаряла их восхитительнейшая из женщин, и она казалась им еще более прелестной, чем в весеннюю пору своей жизни, ибо сердце ее переполнял, чрезмерный пыл и она сияла, как солнце. Многие сокрушались, что она возымела плачевную прихоть сделаться на закате дней своих честной женщиной; этим последним госпожа де Лиль-Адан шутливо отвечала, что после двадцати четырех лет, проведенных в стараниях всех услаждать, она честно заслужила отдых; на что ей возражали, говоря: как ни далеко солнце, каждый может погреться в его лучах, между тем как она не покажется им более. Воздыхателям своим Империя ответила, что у нее остались еще улыбки для тех, кто приедет посмотреть, как она играет роль добродетельной жены. И тут посланник английский сказал, что она способна на все, даже возвести добродетель на высочайшую ступень.

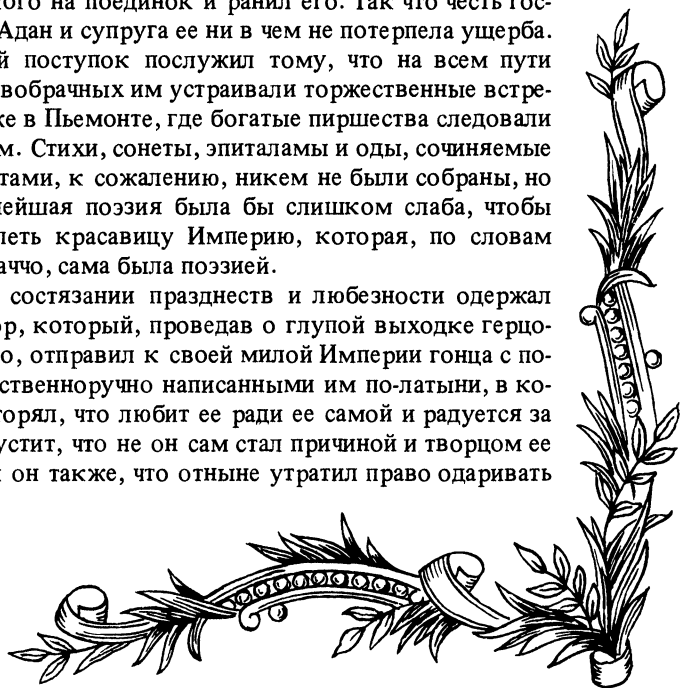
Каждому из своих друзей Империя оставила подарки и раздала значительную сумму денег бедным и сирым города Рима; затем она внесла немалую лепту в монастырь, куда мечтала удалиться ее дочь, и в храм, воздвигнутый на деньги, которые отказал Феодоре кардинал Рагузский, полученные ею в наследство от покойницы дочери.

Когда супруги отправились наконец в дорогу, их сопровождали до половины пути рыцари, одевшие по такому случаю траур, и простолюдины, пожелавшие госпоже Империи



премного счастья, ибо она бывала сурова только с вельможами, а к бедным была неизменно добра. Красавица Империя, всеми признанная королева любви, была встречена празднествами во всех городах Италии, куда дошла весть о ее обращении: каждый жаждал увидеть столь любящих друг друга супругов, что является случаем редким. Иные владетельные принцы принимали при своем дворе счастливую чету, считая долгом оказать почет женщине, отрекшейся от своей власти над всеми сердцами ради того, чтобы стать добродетельной женой. Однако ж среди принцев нашелся один злоречивый — то был монсеньор герцог Феррарский, который сказал Лиль-Адану, что его великое богатство недорого ему стоило. После этой обиды Империя показала, сколь благородно ее сердце: все деньги, полученные от милых ее голубков, она пожертвовала на украшение храма святой Марии, что в городе Флоренции; а герцог д'Эсте, хвалившийся, что он отстроит храм вопреки скудости своих доходов, стал предметом насмешек; брат же его, кардинал, тоже строго его осудил. Империя сохранила только личное свое состояние и то, что от великих своих щедрот пожаловал ей император ради их дружбы, когда расстался с ней; впрочем, все это составляло немалое богатство. Молодой Лиль-Адан вызвал названного герцога Феррарского на поединок и ранил его. Так что честь госпожи де Лиль-Адан и супруга ее ни в чем не потерпела ущерба. Рыцарский сей поступок послужил тому, что на всем пути следования новобрачных им устраивали торжественные встречи, особенно же в Пьемонте, где богатые пиршества следовали одно за другим. Стихи, сонеты, эпиграммы и оды, сочиняемые в их честь поэтами, к сожалению, никем не были собраны, но и наипрекраснейшая поэзия была бы слишком слаба, чтобы достойно воспеть красавицу Империю, которая, по словам мессира Боккаччо, сама была поэзией.

Но в сем состязании празднеств и любезности одержал верх император, который, проведав о глупой выходке герцога Феррарского, отправил к своей милой Империи гонца с посланиями, собственноручно написанными им по-латыни, в которых он повторял, что любит ее ради ее самой и радуется за нее, хоть и грустит, что не он сам стал причиной и творцом ее счастья; писал он также, что отныне утратил право одаривать

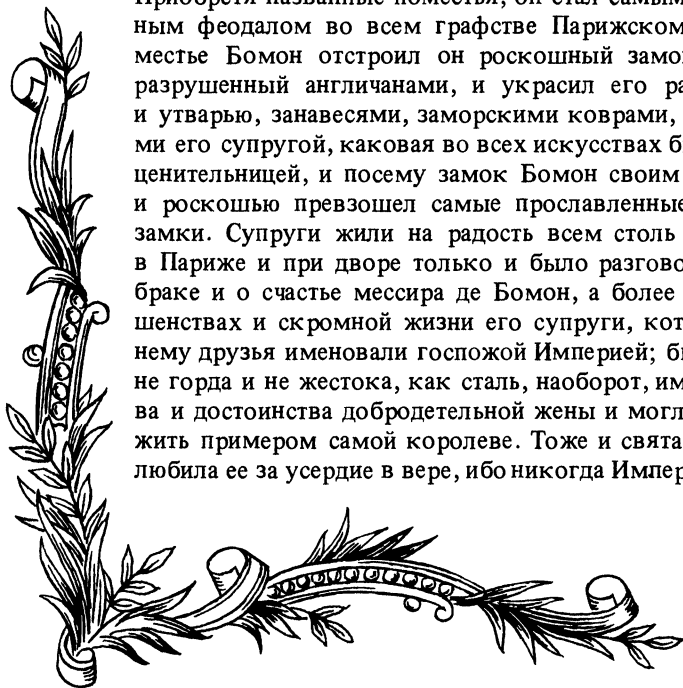


ее, но, ежели король Франции примет ее не слишком радушно, он почтет за честь принять отпрыск рода де Лиль-Аданов в Священную Римскую империю и даст ему любое княжество, которое рыцарь выберет из всех его владений. На что красавица Империя приказала ответить, что она хорошо знает, как щедр и великодушен император, однако ж, даже если пришлось бы ей снести во Франции тысячу оскорблений, она твердо решила окончить там свои дни.

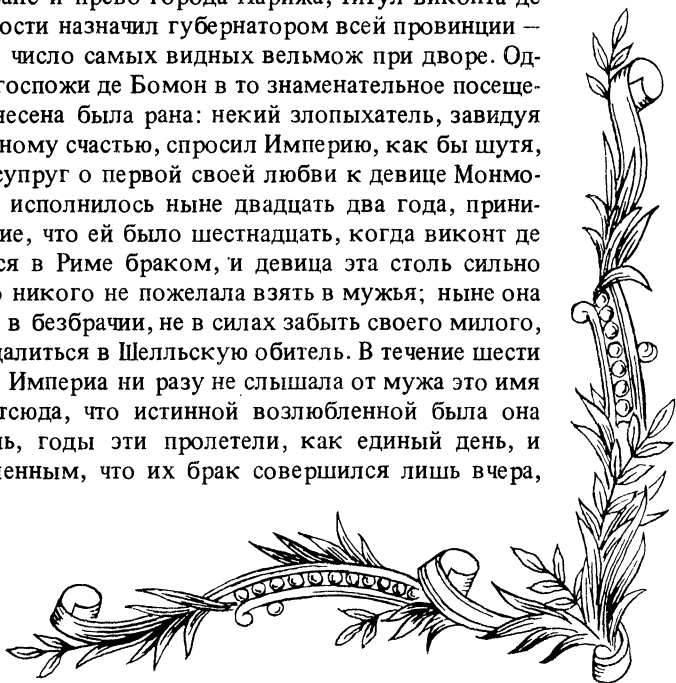
ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЗАМУЖЕСТВО ИМПЕРИИ

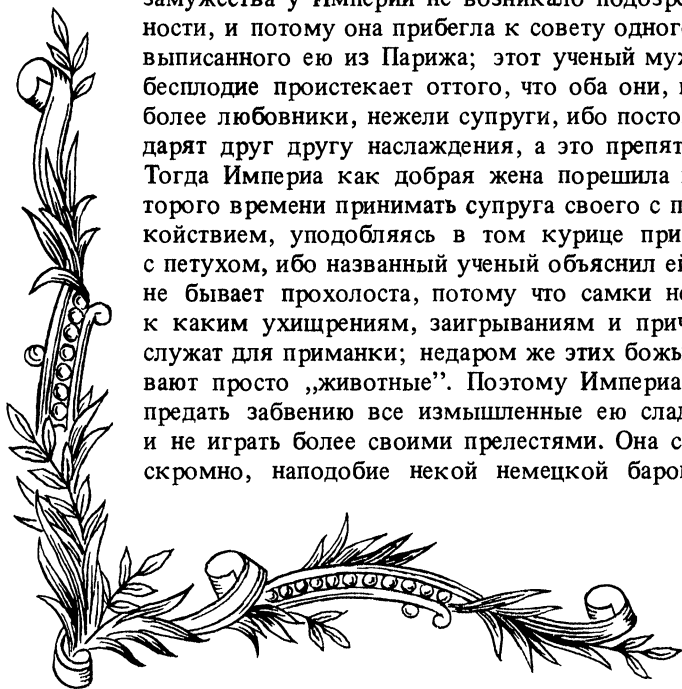
Не зная, что за жизнь ее ждет, госпожа де Лиль-Адан не пожелала показываться при дворе и поселилась в окрестностях Парижа, где супруг поместил ее в превосходном доме, купив графское поместье Бомон, что дало повод к толкам и пересудам по той причине, что фамилия эта упоминается в наипрекраснейшей книге досточтимого господина Рабле. Де Лиль-Адан-младший приобрел также владение дворян Нуа-Антель, лесные угодья Гарнель, Сен-Мартен и другие земли, смежные с поместьем Лиль-Адан, где жил его старший брат, Вилье. Приобретая названные поместья, он стал самым могущественным феодалом во всем графстве Парижском. В своем поместье Бомон отстроил он роскошный замок, наполовину разрушенный англичанами, и украсил его разной мебелью и утварью, занавесями, заморскими коврами, приобретенными его супругой, каковая во всех искусствах была претонкой ценительницей, и посему замок Бомон своим великолепием и роскошью превзошел самые прославленные в те времена замки. Супруги жили на радость всем столь счастливо, что в Париже и при дворе только и было разговоров, что об их браке и о счастье мессира де Бомон, а более всего о совершенствах и скромной жизни его супруги, которую по-прежнему друзья именовали госпожой Империей; была она отнюдь не горда и не жестока, как сталь, наоборот, имела все качества и достоинства добродетельной жены и могла в том послужить примером самой королеве. Тоже и святая церковь возлюбила ее за усердие в вере, ибо никогда Империя не забывала



господа; по ее словам, она смолоду не обходила церковно-служителей, и не раз бывали у нее шашни с аббатами, епископами, кардиналами, кои окропляли ее святой своей водой и за пологом кровати давали отпущение грехов, радея о спасении ее души. Добрая слава об Империи привела в Бовуази, что по соседству с Бомон, самого короля; пожелав увидеть это несказанное чудо в облике прекрасной жены, он оказал честь мессиру де Бомон, остановившись у него в замке; в течение трех дней шла королевская охота, в которой участвовала и королева со всем двором. И сам король, не менее, чем королева и все придворные, был восхищен госпожой Империей, и за приветливое обхождение ее провозгласили совершенством любезности и красоты. И первым король, а вслед за ним королева и каждый присутствующий поспешили осыпать поздравлениями де Лиль-Адана, избравшего себе столь прекрасную жену. Своею скромностью Империя достигла больше, нежели добилась бы она надменностью; ее пригласили ко двору и просили бывать всюду, куда бы она ни пожелала прибыть,— столь велико было обаяние ее большого сердца и ее великой любви к супругу. И то сказать, под покровом добродетели прелесть этой женщины приобрела еще большее очарование. Король пожаловал Лиль-Адану должность наместника Иль-де-Франс и прево города Парижа, титул виконта де Бомон и вскорости назначил губернатором всей провинции — так он вошел в число самых видных вельмож при дворе. Однако ж сердцу госпожи де Бомон в то знаменательное посещение короля нанесена была рана: некий злопыхатель, завидуя этому безоблачному счастью, спросил Империю, как бы шутя, поведал ли ей супруг о первой своей любви к девице Монморанси, которой исполнилось ныне двадцать два года, принимая во внимание, что ей было шестнадцать, когда виконт де Бомон сочетался в Риме браком, и девица эта столь сильно его любила, что никого не пожелала взять в мужья; ныне она угасает, томясь в безбрачии, не в силах забыть своего милого, и собирается удалиться в Шелльскую обитель. В течение шести лет замужества Империя ни разу не слышала от мужа это имя и заключила отсюда, что истинной возлюбленной была она сама. И впрямь, годы эти пролетели, как единый день, и мнилось влюбленным, что их брак совершился лишь вчера,

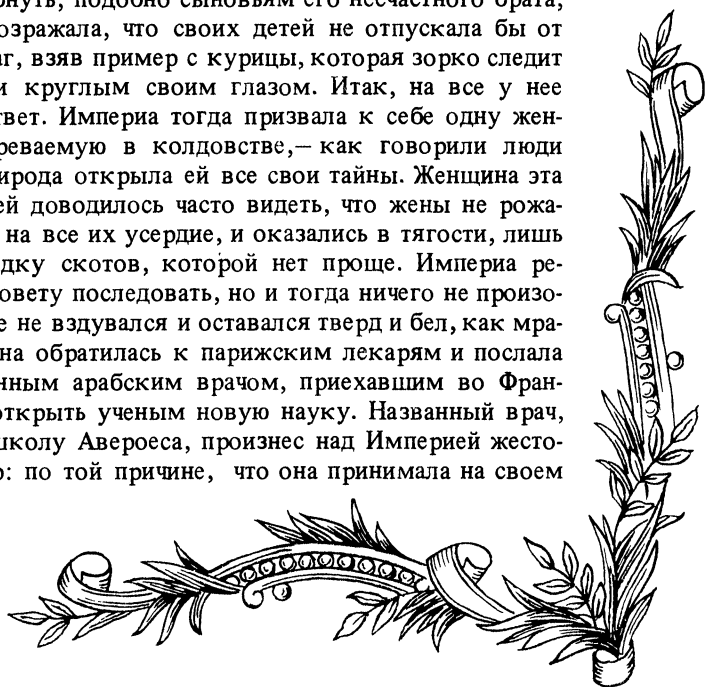


и каждая ночь для них была брачной ночью, и если графу случалось отбыть ненадолго по какому-либо делу, он грустил, расставаясь с женой, и тосковал, не видя ее, так же, как и она страдала, не видя его. Король, крепко любивший графа, однажды сказал ему слово, будто шипом вонзившееся в его сердце: „Имеешь ли ты детей?“ На что Бомон ответил так, словно ему в кровавую язву вложили перст: „Государь, у брата моего есть потомство, следовательно, род наш имеет продолжателей“. Но случилось, что оба сына его брата погибли злой смертью: один упал с коня на турнире, другого унес недуг. Старший де Лиль-Адан столь скорбел об этой утрате, что вскоре и сам умер с горя, так сильно любил он своих сыновей. Следствием сего оказалось, что графство Бомон, земли Гарнель, Сен-Мартен, Нуантель и ближайшие поместья с принадлежащими им лесами приобщены были к феоде Лиль-Аданов, и младший Лиль-Адан стал старшим в роде. К тому времени супруге его минуло сорок пять лет, и она была еще способна произвести потомство, ибо сохранила свою свежесть и гибкость мышц, однако она не зачинала. И видя, что роду их грозит угаснуть, она решила во что бы то ни стало подарить своему супругу младенца, который носил бы славное имя Лиль-Аданов. Ни разу в течение семи лет замужества у Империи не возникало подозрения в беременности, и потому она прибегла к совету одного лекаря, тайно выписанного ею из Парижа; этот ученый муж сказал, что ее бесплодие происходит оттого, что оба они, и она и супруг, более любовники, нежели супруги, ибо постоянно в избытке дарят друг другу наслаждения, а это препятствует зачатию. Тогда Империя как добрая жена порешила в течение некоторого времени принимать супруга своего с превеликим спокойствием, уподобляясь в том курице при ее соединении с петухом, ибо названный ученый объяснил ей, что в природе не бывает прохолоста, потому что самки не прибегают ни к каким ухищрениям, заигрываниям и причудам, которые служат для приманки; не даром же этих божьих тварей называют просто „животные“. Поэтому Империя дала обещание предать забвению все измышленные ею сладостные забавы и не играть более своими прелестями. Она стала вести себя скромно, наподобие некой немецкой баронессы, которая

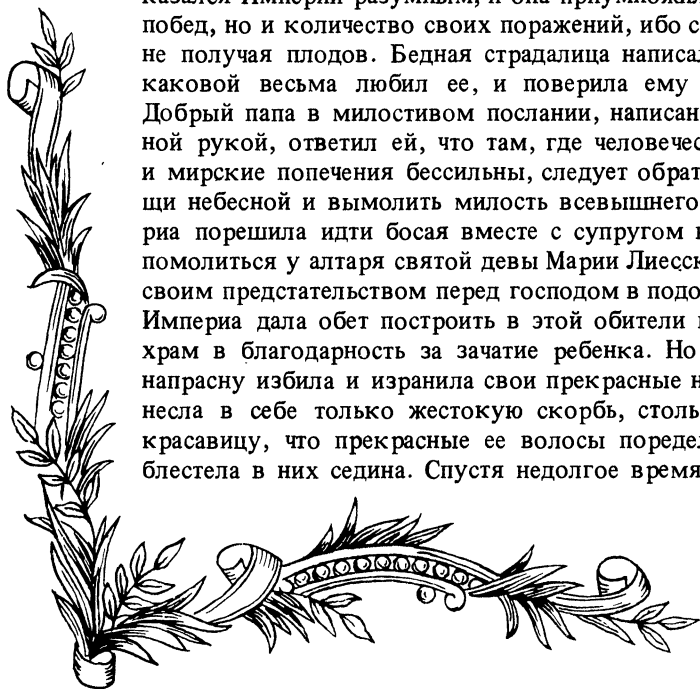


до того неподвижна и холодна была, что ее супруг, не распознав, что она преставилась, возлег с нею на ложе, после чего несчастному барону пришлось отправиться в Рим молить у папы отпущение греха, а святой отец издал знаменитый указ, в коем он обращался к женщинам Франции и наставлял их двигаться слегка, будучи на супружеском ложе, чтоб такой грех больше не повторялся. Несмотря на примерное свое поведение, госпожа Империя не зачала и впала оттого в великую печаль.

Вскоре стала она замечать, как грустит подчас ее муж, и подглядела, как он украдкой плачет, горюя, что любовь их не приносит плода. Отныне супруги смешали свои слезы, ибо в их совершенном браке все было общее, и ничего они не таили друг от друга, так что мысль одного становилась мыслью другого. Когда Империи случилось увидеть ребенка какого-нибудь бедняка, она приходила в отчаяние и целый день не могла найти покоя. Видя скорбь любимой супруги, Лиль-Адан приказал, чтоб дети не попадались на глаза госпоже Империи, и, обращая к ней слова утешения, говорил, что дети часто идут путями зла, на что она отвечала, что дитя, рожденное ими, столь любящими друг друга, было бы самым прекрасным на свете. Он говорил, что их ребенок мог бы погибнуть, подобно сыновьям его несчастного брата, на что она возражала, что своих детей не отпускала бы от себя ни на шаг, взяв пример с курицы, которая зорко следит за цыплятами круглым своим глазом. Итак, на все у нее был готов ответ. Империя тогда призвала к себе одну женщину, подозреваемую в колдовстве, — как говорили люди сведущие, природа открыла ей все свои тайны. Женщина эта сказала, что ей доводилось часто видеть, что жены не рожали, несмотря на все их усердие, и оказались в тягости, лишь переняв повадку скотов, которой нет проще. Империя решила этому совету последовать, но и тогда ничего не произошло, живот ее не вздувался и оставался тверд и бел, как мрамор. Вновь она обратилась к парижским врачам и послала за прославленным арабским врачом, приехавшим во Францию, желая открыть ученым новую науку. Названный врач, прошедший школу Авероеса, произнес над Империей жестокий приговор: по той причине, что она принимала на своем



ложе множество мужчин, покоряясь всем их прихотям, как она имела обыкновение поступать, творя свое ремесло куртизанки, она раз и навсегда погубила в себе некие грозди, к коим мать наша природа прикрепляет яйцо, которое после оплодотворения созревает в утробе матери, и при разрешении от бремени вылупливается из него детеныш; то бывает у всех млекопитающих, доказывается сие тем, что нередко новорожденный тащит за собой и свою скорлупу. Подобное объяснение всем показалось нелепым, скотским, бессмысленным, противоречащим святому писанию, каковое утверждает величие человека, созданного по образу и подобию божью, а также противоречащим установленным учениям, а следовательно, здравому разуму и истине. Парижские ученые подняли такие речи на смех, и арабскому лекарю пришлось оставить Медицинскую школу, где с тех пор имя Авероеса, коего он чтит, не упоминалось. А все стольные знахари, к которым втайне обращалась Империя, толковали ей, что она может смело идти тем путем, каким шла, раз она в те дни, когда жила для любви, родила кардиналу Рагузскому дочь Феодору. Способность рожать сохраняется у женщины, пока естество ее подчинено влиянию луны, и супругам следует лишь усилить старания. Такой совет показался Империи разумным, и она приумножила число своих побед, но и количество своих поражений, ибо срывала цветы, не получая плодов. Бедная страдальца написала тогда папе, каковой весьма любил ее, и поверила ему свою скорбь. Добрый папа в милостивом послании, написанном собственной рукой, ответил ей, что там, где человеческая мудрость и мирские попечения бессильны, следует обратиться к помощи небесной и вымолить милость всевышнего. Тогда Империя порешила идти босая вместе с супругом в город Лиесс помолиться у алтаря святой девы Марии Лиесской, известной своим предстательством перед господом в подобных случаях. Империя дала обет построить в этой обители великолепный храм в благодарность за зачатие ребенка. Но она лишь напрасну избила и изранила свои прекрасные ножки, она понесла в себе только жестокую скорбь, столь истерзавшую красавицу, что прекрасные ее волосы поредели и даже заблистала в них седина. Спустя недолгое время возможность



материнства у Империи иссякла, отчего стали донимать ее некие жаркие испарения, выделяющиеся из гипохондрических органов, и пожелтела белая ее кожа. Ей минуло тогда сорок девять лет, жила она в своем замке де Лиль-Адан, с каждым днем худея, как прокаженная на больничной койке. Бедняжка отчаивалась, тем более что Лиль-Адан по-прежнему любил ее, был неизменно добр к ней, хоть она и не исполнила своего долга жены по той причине, что в течение многих лет слишком часто уступала желанию мужчин, и теперь, следуя собственному ее презрительному изречению, стала ни на что не годной, как старая утварь в хозяйстве.

Как-то вечером, когда особенно тяжело было у нее на сердце, она, вздохнув, сказала:

— Увы, наперекор церкви, королю, наперекор всему, госпожа де Лиль-Адан осталась все той же скверной Империей.

Она едва могла сдержать ярость, глядя на супруга, находившегося в цвете лет, обладающего всем, о чем мог он мечтать: богатством, милостью короля, безмерной любовью жены, лишь одному ему даримыми несравненными уладами; и при всем том недоставало ему, главе знатного рода, лишь одного: увидеть свое потомство. Чем больше она об этом думала, тем больше желала умереть, вспоминая, как был он добр и снисходителен к ней, не исполнившей своего долга жены, не родившей ему ребенка и уже не могущей родить. Скрыв свою печаль глубоко в сердце, она решилась принести жертву, достойную великой любви; и прежде чем осуществить свое геройское намерение, удвоила она любовь свою, прилежней прежнего стала холить свою красоту, следовала наставлениям ученых, желая сохранить ее во всем блеске, в чем и преуспела.

В то время дворянину Монморанси, наконец, удалось склонить свою дочь к замужеству, и повсюду шли толки о предстоящем ее браке с неким дворянином Шатильоном. Однажды госпожа Империя, отослав своего мужа на охоту, сама отправилась за три мили в соседнее поместье Монморанси, где обитала тогда вышеназванная девица. Подъехав к воротам, Империя вошла в сад и велела слуге оповестить молодую госпожу, что некая незнакомая дама прибыла по весьма неотложному делу и просит принять ее. Весьма смущенная

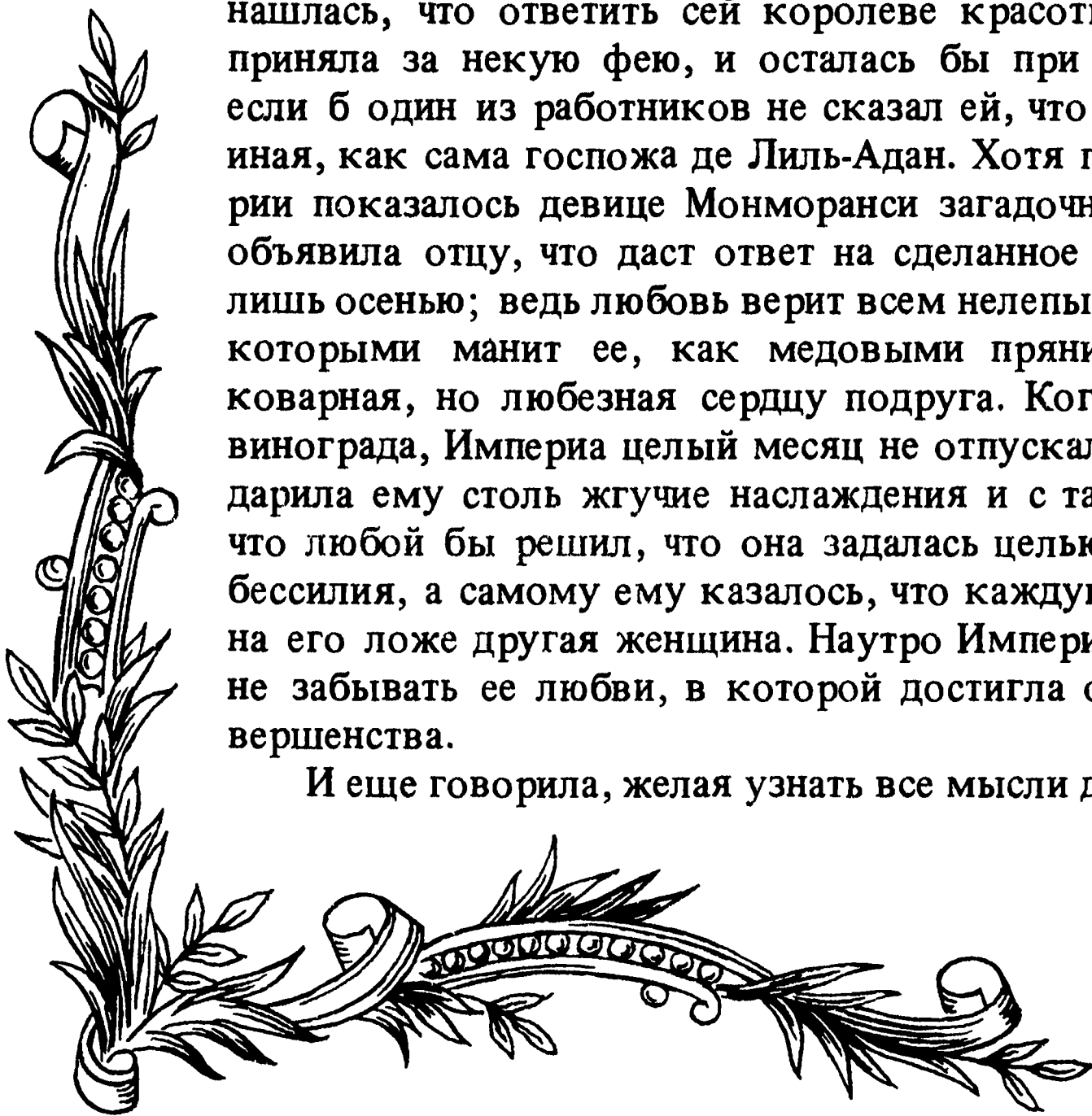


словами слуги, который пространно доложил о красоте и любезном обхождении незнакомки, а также о пышной ее свите, девица Монморанси поспешила спуститься в сад, где и встрети-
лась со своей соперницей, которая и в самом деле была ей незнакомка.

— Дорогая моя,— проговорила несчастная Империя, обли-
ваясь слезами при виде девицы, столь же юной и прекрасной,
какой и она была когда-то,— вас принуждают выйти замуж за
господина Шатильона, хотя вы любите графа Бомона. Но верь-
те моему пророчеству и запомните: тот, кого вы любите, из-
менил вам лишь потому, что попал в тенета, в каких и ангел
запутался бы, и он освободится от своей старой жены прежде,
чем листья спадут с деревьев. А тогда ваша верная любовь
будет увенчана цветами. Итак, найдите в своем сердце твер-
дость, откажитесь от предложенного вам замужества, и вы
найдете счастье с любимым. Поклянитесь мне крепко любить
графа, самого благородного из мужчин, никогда не огорчай-
те его, умолите его передать вам все тайны любви, открытые
ему госпожой Империей, ибо, следуя им, для вас, такой юной,
нетрудно будет изгладить из памяти его воспоминание о ста-
рой женщине.

Девица Монморанси, пораженная подобными речами, не
нашлась, что ответить сей королеве красоты, которую она
приняла за некую фею, и осталась бы при том убеждении,
если б один из работников не сказал ей, что дама эта не кто
иная, как сама госпожа де Лиль-Адан. Хотя посещение Импе-
рии показалось девице Монморанси загадочным, однако она
объявила отцу, что даст ответ на сделанное ей предложение
лишь осенью; ведь любовь верит всем нелепым обольщениям,
которыми манит ее, как медовыми пряниками, надежда,
коварная, но любезная сердцу подруга. Когда начался сбор
винограда, Империя целый месяц не отпускала от себя мужа,
дарила ему столь жгучие наслаждения и с такой щедростью,
что любой бы решил, что она задалась целью довести его до
бессилия, а самому ему казалось, что каждую ночь приходит
на его ложе другая женщина. Наутро Империя просила мужа
не забывать ее любви, в которой достигла она высшего со-
вершенства.

И еще говорила, желая узнать все мысли друга:



— Бедный мой Лиль-Адан, мы с тобой неразумно поступили! Двадцатилетний юноша женился на старухе, которой тогда было под сорок.

На что отвечал он, что был весьма счастлив, что многие завидовали ему, и ни одной девушке не сравниться с ней, и пусть она состарится, ему милы будут даже ее морщины, и уверял, что и в могиле она будет прекрасна и ее косточки для него дороги.

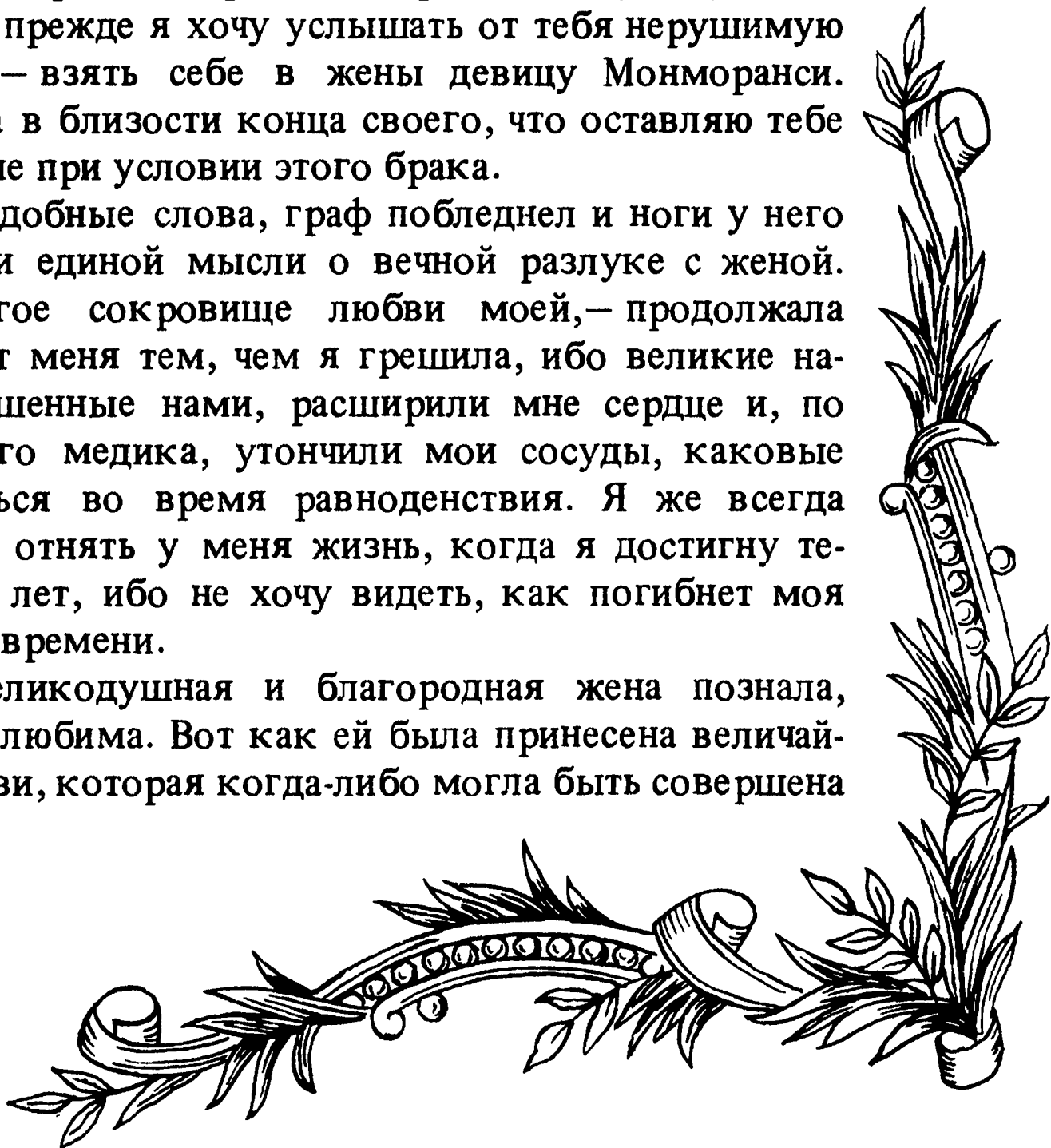
Слыша такие ответы, исторгавшие слезы из ее глаз, она однажды утром лукаво заметила, что девица Монморанси весьма хороша собой и до сих пор хранит ему верность. На эти речи Лиль-Адан ответил, что она огорчает его, напомнив ему единственную вину, которую он за собой знает, а именно: измена слову, данному первой своей милой. Но ведь любовь к ней Империя сама погасила в его сердце. Выслушав это чистосердечное признание, она крепко обняла друга и прижала к себе, тронутая его прямою, ибо другой на его месте был бы разгневан.

— Дорогой друг мой,— промолвила она,— вот уже несколько дней, как я страдаю от боли, сжимающей мое сердце; это сжатие еще в юные годы угрожало мне смертью, приговор этот подтвердил и арабский врач. Если уж суждено мне умереть, то прежде я хочу услышать от тебя нерушимую клятву рыцаря — взять себе в жены девицу Монморанси. И я так уверена в близости конца своего, что оставляю тебе все мое состояние при условии этого брака.

Услышав подобные слова, граф побледнел и ноги у него подкосились при единой мысли о вечной разлуке с женой.

— Да, дорогое сокровище любви моей,— продолжала она,— бог карает меня тем, чем я грешила, ибо великие наслаждения, вкушенные нами, расширили мне сердце и, по словам арабского медика, утончили мои сосуды, каковые должны порваться во время равноденствия. Я же всегда молила господу отнять у меня жизнь, когда я достигну теперешних моих лет, ибо не хочу видеть, как погибнет моя красота от руки времени.

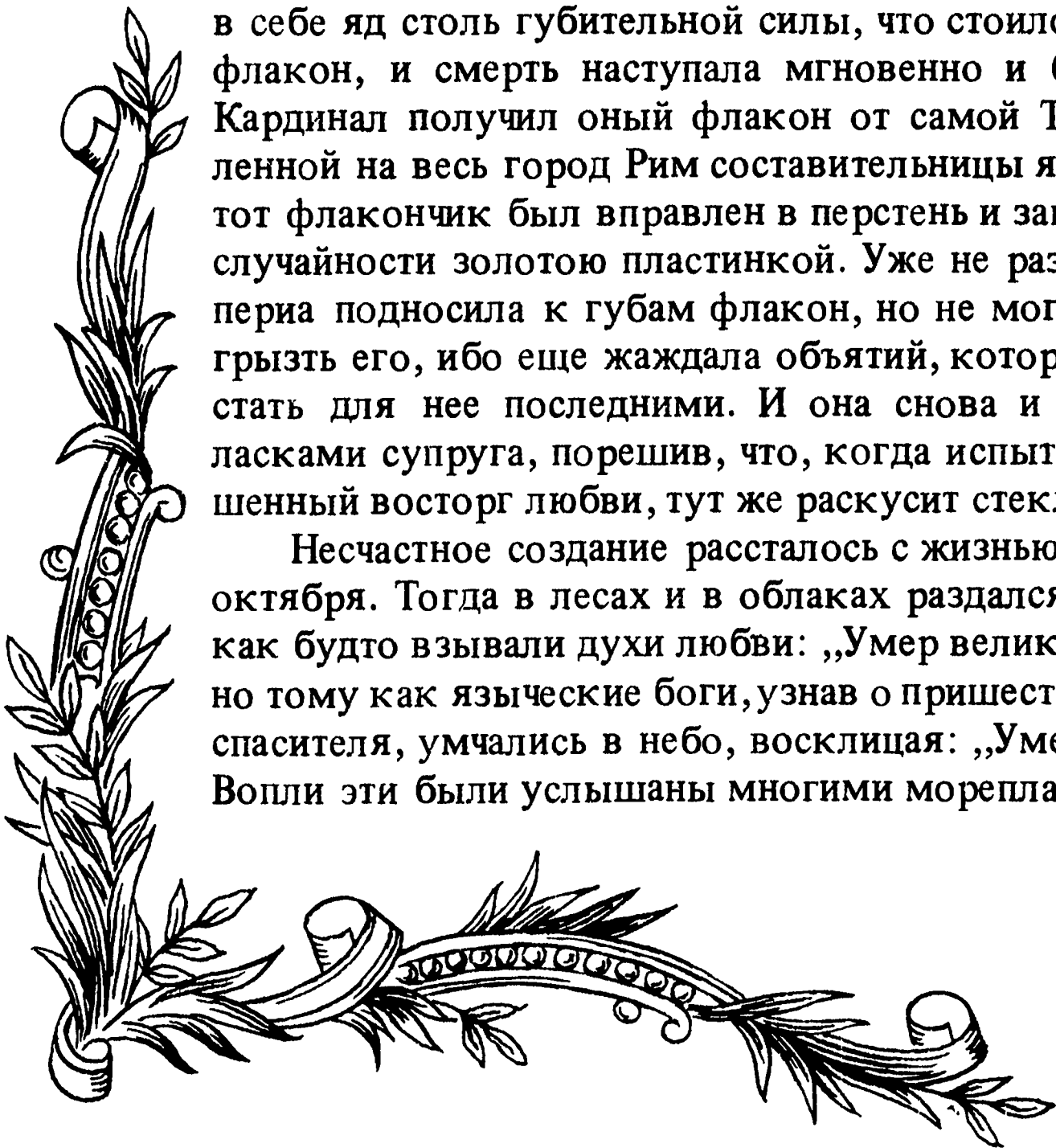
И тогда великодушная и благородная жена познала, сколь она была любима. Вот как ей была принесена величайшая жертва любви, которая когда-либо могла быть совершена



на земле. Ей ли не были ведомы упоительные, сладостные игры любви, нежные ласки, на которые она не скупилась, все обольстительные утехи супружеского ложа, так что бедный Лиль-Адан предпочел бы умереть, нежели лишиться любовных лакомств, которыми она его щедро баловала. И в ответ на ее признание, что в любовном исступлении сердце ее разобьется, супруг бросился к ногам Империи и сказал, что ради сохранения ей жизни он никогда более не станет домогаться ее объятий, ибо счастлив уже одним лицезрением, одним присутствием, и всю свою отраду полагает отныне в нежном поцелуе и прикосновении к краю ее платья. Она же, обливаясь слезами, отвечала ему, что охотнее отдаст свою жизнь, чем потеряет хоть единый цветок от куста роз, и что она желает погибнуть, как и жила, ибо, к счастью своему, умеет, если ей необходимо, привлечь к себе на ложе мужчину, не потратив для того даже одного слова.

Здесь надо сказать, что Империя получила драгоценный подарок от вышеназванного кардинала, и свой дар этот блудодей именовал кратко: „*In articulo mortis*”, что означает: „На случай смерти”. Простите мне три этих латинских слова, но так говорил сам кардинал. То был флакон из тонкого венецианского стекла, размером не крупнее боба, и заключал он в себе яд столь губительной силы, что стоило лишь раскусить флакон, и смерть наступала мгновенно и без всяких мук. Кардинал получил оный флакон от самой Тофаны, прославленной на весь город Рим составительницы ядов. Стекланный тот флакончик был вправлен в перстень и защищен от всякой случайности золотой пластинкой. Уже не раз злосчастная Империя подносила к губам флакон, но не могла решиться разгрызть его, ибо еще жаждала объятий, которые должны были стать для нее последними. И она снова и снова упивалась ласками супруга, порешив, что, когда испытает самый совершенный восторг любви, тут же раскусит стекло.

Несчастное создание рассталось с жизнью в ночь на первое октября. Тогда в лесах и в облаках раздался крик, стенания, как будто взывали духи любви: „Умер великий Нок!”, подобно тому как языческие боги, узнав о пришествии в мир нашего спасителя, умчались в небо, восклицая: „Умер великий Пан!” Вопли эти были услышаны многими мореплавателями в Эгей-



ском море, и сие событие упоминается в трудах одного из отцов церкви.

Госпожа Империя на смертном одре была пощажена тлением, столь милостив был создатель, желая сохранить образ безупречной красоты. Говорят, что румянец не сходил с ее щек, ибо осенял ее своими пылающими крыльями дух наслаждения, с плачем склоняясь над ее ложем. По повелению скорбевшего супруга все облеклись в траур; и нимало не подозревал он, что умерла Империя, дабы освободить его от бесплодной жены; лекарь же бальзамировщик не открыл ему истинной причины ее смерти. Великодушное это деяние открылось де Лиль-Адану через шесть лет после его брака с мадемуазель Монморанси, когда простушка поведала ему о посещении госпожи Империи. Несчастный Лиль-Адан впал в глубокую тоску и вскоре умер, будучи не в силах забыть те радости любви, которые не умела воскресить его незадачливая супруга, и это доказывает справедливость суждения тех времен, будто Империя никогда не умрет в том сердце, где она царила.

Учит же это нас тому, что истинную добродетель постигают только те, кто против нее грешил, ибо среди самых добродетельных жен, как бы мы ни превозносили сих благочестивых особ, вряд ли нашлась бы хоть одна, которая решилась бы пожертвовать, подобно Империи, своей жизнью ради любви.



ПРИМЕЧАНИЯ

В начале 1830-х годов Бальзак задумал написать серию рассказов в духе эпохи Возрождения. В письме к Ганской от 26 октября 1834 года, рассказывая о грандиозном плане будущей „Человеческой комедии“, Бальзак писал: „А на устоях этого дворца я, добрый малый и шутник, начерчу огромную арабеску „Ста озорных рассказов““.

В этом замысле Бальзака увлекала проблема стиля: рассказы представляли собою своего рода ювелирную работу, дававшую ему отдых от напряженного труда по созданию „Человеческой комедии“. Но прежде всего в этих рассказах сказался глубокий интерес автора к эпохе Возрождения.

Величайший представитель французского гуманизма Франсуа Рабле был одним из самых любимых писателей Бальзака. В 1837 году, представляя роман „Сельский врач“ на соискание Монтионовской премии Академии наук, Бальзак собирался в случае получения премии употребить ее на сооружение памятника своему любимому писателю с надписью: „Рабле, моему учителю — Оноре де Бальзак“.

В письме к Ганской от 23—27 октября 1833 года он писал: „Ангел мой, чтобы читать „Невольный грех“ и получить от этого удовольствие, надо обладать сердцем столь же чистым, как твое. Это жемчужина наивности. Но, дорогая, ты проявила большую отвагу. Боюсь, что теперь ты уже меньше любишь меня. Нужно настолько хорошо знать нашу народную литературу, великую, величественную литературу XV века, искрящуюся талантом, такую непосредственную, полную острых словечек, которые в то время еще не были опорочены, — что я боюсь за себя“.

В духе этой литературы, с такой любовью охарактеризованной Бальзаком, и написаны „Озорные рассказы“.

Перед писателем стояла сложная задача: воссоздать духовный мир людей позднего Средневековья и эпохи Возрождения, притом осуществить это средствами языка того времени; „Озорные рассказы“ не просто „исторические повести“, а произведения, якобы написанные в XV—XVI веках.

Бальзаку удалось избежать той искусственности, которая нередко сопутствует подобной стилизации. Он настолько глубоко проник в мировоззрение и психологию как героев, так и мнимых авторов этих рассказов, что создал вполне органическое произведение, остающееся и по сие время непревзойденным шедевром.

„Озорные рассказы“ написаны в духе того времени, когда рушились средневековые представления об исконной греховности человека, о его беспомощности и зависимости от воли небес, о необходимости подавлять влечение к радостям жизни ради блаженства в будущем мире. Гуманисты провозгласили человека самым ценным, что есть на земле, они призывали к безграничному развитию всех заложенных в человеке способностей.

Этим жизнеутверждающим мировоззрением и проникнуты „Озорные рассказы“, они полны жизнерадостности, безудержного раблезианского смеха и упоения жизнью.

В некоторых рассказах „озорное“ тесно переплетается с трогательным, грустным и даже трагическим. Самые „рискованные“ и потешные положения ведут иной раз к событиям, раскрывающим глубокую человечность героев. Примером может служить Брюин, старик из рассказа „Невольный грех“, воспринимаемый сначала как чисто комическая фигура, а затем вызывающий наше сочувствие своей глубокой и искренней любовью.

Книга Бальзака должна была состоять из ста рассказов; это соответствовало бы традиции, утвержденной еще „Декамероном“ Боккаччо (XIV век) и продолженной во Франции сборником „Сто новых новелл“ (XV век), „Гептамероном“ Маргариты Наваррской (сер. XVI века; сборник остался незаконченным) и другими.

К сожалению, Бальзак, отвлеченный множеством новых замыслов, не осуществил своего намерения: им написано только 33 рассказа (не считая набросков).

По мысли автора, они должны были выходить „десятками”. Первый десяток появился в свет в 1832 году (рассказ „Красавица Империя” был напечатан раньше, в июне 1831 года, в журнале „Ревю де Пари”); второй десяток был издан в 1833 году (один рассказ этого десятка появился немного ранее в периодическом издании); третий десяток — в 1837 году (рассказ „Настойчивость любви” был напечатан в журнале „Эроп литерер” в сентябре 1833 года).

В пятый десяток должны были войти „подражания” авторам позднейшего времени — вплоть до XVIII века. Один из этих рассказов („Пряха”), написанный в духе сказок Шарля Перро (1628—1703), был напечатан вскоре после смерти Бальзака в журнале „Ревю де Пари” (октябрь 1851 года).

Сам Бальзак очень ценил свои „Озорные рассказы”. В одном из писем к Ганской он писал: „Если Вы не любите рассказов Лафонтена и Боккаччо, если Вы не восторгаетесь Ариосто, — не беритесь за мои „Озорные рассказы”, хотя они — лучший залог моей будущей славы”. В другом письме он говорит: „Повторяю тебе: если и останется что-нибудь после меня, так это „Рассказы”. Человек, который создаст сотню таких рассказов, не умрет”.

Бальзак преуменьшает здесь значение своего труда в целом, но в высокой оценке „Озорных рассказов” он, безусловно, прав.

Стр. 3. *Констанцский собор* был созван католической церковью в 1414 году в г. Констанце-на-Рейне и продолжался до 1418 года.

Стр. 5. *Электор* (буквально „избиратель”) — титул десяти немецких владетельных князей, имевших право участвовать в выборах императора.

Стр. 6. *Папа Иоанн*. — Иоанн XXIII был избран на папский престол в 1410 году небольшим числом кардиналов, остальные же признавали папою Бенедикта XIII. Приехав в Констанц и убедившись в том, что он не может рассчитывать на поддержку большинства, Иоанн решил бежать, но был схвачен и лишен сана.

Стр. 9. *Гипокрас* — сладкое вино, приправленное корицей.

Стр. 13. *Три притязателя на папский престол*. — Григорий XII после длительного сопротивления сложил с себя сан в мае 1415 года. Иоанн XXIII был низложен Констанцским собором в мае 1415 года, а авиньонский „антипапа” Бенедикт XIII — в июне 1417 года.

Стр. 14. *Коклюшем* называлась в XIV и XV веках опасная эпидемическая болезнь.

Стр. 15. *Красная шляпа* — головной убор кардиналов.

Стр. 20. *Филипп II Август* — французский король с 1180 по 1223 год.

Сенешал — в данном случае судья, вершивший правосудие именем короля.

Стр. 21. *Бальи* — в средние века королевский чиновник, исполнявший обязанности судьи и сборщика податей; кроме того, он был уполномочен принимать жалобы подданных на феодалов.

Стр. 24. *Битва под Акр*. — Акр — город в Сирии, на берегу Средиземного моря; во время крестовых походов несколько раз переходил из рук в руки. В данном случае имеется в виду взятие Акра крестоносцами в 1191 году.

Стр. 37. *Феод* — в средние века земельное владение, которое вассал получал от своего сеньора.

Стр. 58. *Пенитенциарий* — священник, которому предоставлено право отпускать особо тяжкие преступления.

Стр. 60. *Силен* — в греческой мифологии воспитатель Вакха.

Зефир — юноша с крыльями бабочки; был у древних римлян олицетворением легкого прохладного ветерка.

Стр. 68. ...*арманьяки бесчинствуют*... — Имеются в виду распри двух феодальных партий: арманьяков — сторонников герцога Орлеанского, во главе которых после убийства герцога стоял граф д'Арманьяк, и бургиньонов, сторонников герцога Бургундского (XV в.).

Стр. 70. *Ситэ* (буквально „город”) — остров на р. Сене, древнейшая часть Парижа.

Стр. 72. *Капитул* — совет священнослужителей при монастыре или соборе.

Стр. 74. *Коннетабль* — до 1627 года главнокомандующий французской армией.

Карл VI — французский король с 1380 по 1422 год.

Стр. 76. *Бегство из Ланьи герцога Бургундского* — эпизод из распри между бургиньонами и арманьяками.

Стр. 78. *Иоанн Бесстрашный* — герцог Бургундский (1371–1419), сын Филиппа Смелого, глава партии бургиньонов.

Стр. 101. *Ариосто*, Лодовико (1474–1533) — крупнейший итальянский поэт эпохи Возрождения.

Стр. 103. Заглавие новеллы не вполне соответствует французскому оригиналу — „*Le Succube*”. Согласно средневековой демонологии, суккубом назывался демон, вступающий в плотское общение с мужчиной, в отличие от инкуба — демона, вступающего в общение с женщиной.

Стр. 106. *Безант* — византийская золотая монета, получившая широкое распространение в Европе в эпоху крестовых походов.

Стр. 151. *Карл VIII* — французский король с 1483 по 1498 год.

Амбуазский замок — в городе Амбуазе, около Тура; в этом замке Карл VIII родился, и здесь же он умер.

Стр. 179. *Побег его высочества дофина*. — Людовик XI (1423–1483), будучи дофином, принимал участие в мятежах против своего отца Карла VII и вынужден был искать убежища у герцога бургундского Филиппа, при дворе которого он и прожил до своего восшествия на престол в 1461 году.

Стр. 185. *Королева Екатерина*. — Екатерина Медичи, дочь Лоренцо Медичи, была в 1533 году выдана замуж за сына французского короля Франциска I, будущего Генриха II, с нею приехала из Италии многочисленная свита.

Стр. 187. *Бакалавр* — в средние века юноша знатного рода, еще не посвященный в рыцари.

Стр. 188. *Менестрель* — в средние века поэт, состоящий на службе у какого-нибудь феодала, в отличие от странствующих поэтов, которые на юге Франции (в Провансе) назывались трубадурами, а на севере — труверами.

Стр. 189. *Тенсона* — в средние века так назывались стихотворения, написанные в форме диалога двух поэтов.

Кристина Пизанская — французская поэтесса, родом итальянка (1363 — ок. 1431).

Стр. 202. *Герцог Карл* (Карл Смелый) — герцог Бургундский с 1467 по 1477 год, злейший враг французского короля Людовика XI.

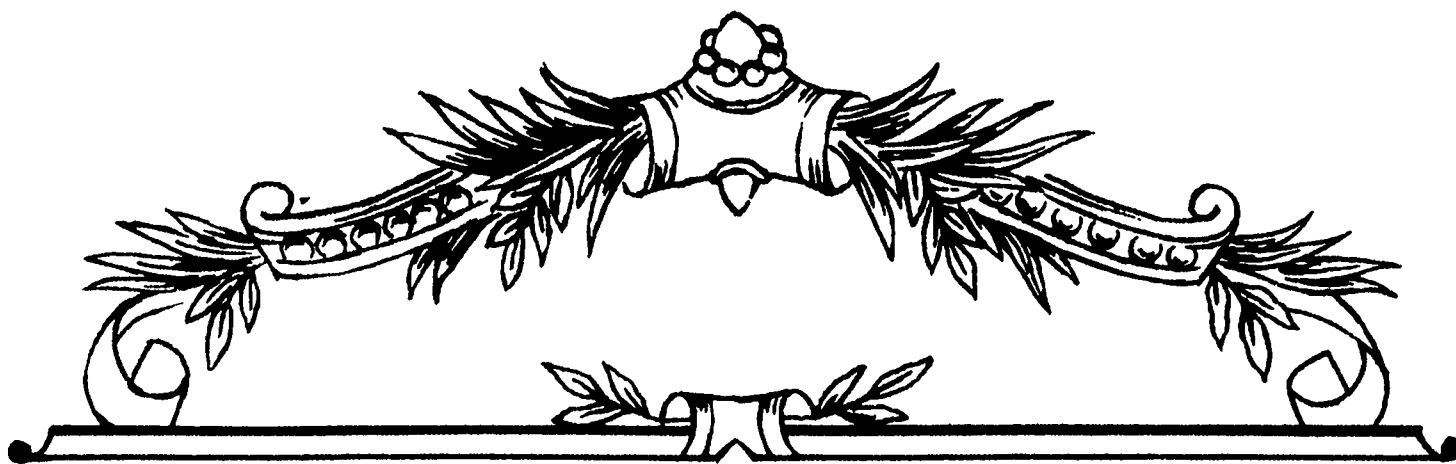
Стр. 209. *Агарь* — в Библии рабыня Авраама, изгнанная из дома его женой Саррой.

Стр. 214. *Приматиччо*, Франческо (ок. 1504–1571) — живописец, архитектор и ваятель болонской школы, с 1531 года работал во Франции по приглашению короля Франциска I.

Франсуа и Марго — дети Генриха II и Екатерины Медичи; *Франсуа* (Франциск II), женившийся на Марии Стюарт, стал французским королем в 1559 году, но в следующем году умер в возрасте шестнадцати лет. *Марго* (Маргарита, 1553–1615) была выдана в 1572 году за Генриха Наваррского, будущего французского короля Генриха IV (1589–1610). Перу Маргариты принадлежат мемуары и стихотворения (не следует смешивать ее с Маргаритой Наваррской, сестрой Франциска I, писательницей-гуманисткой, автором сборника новелл „Гептамерон”).

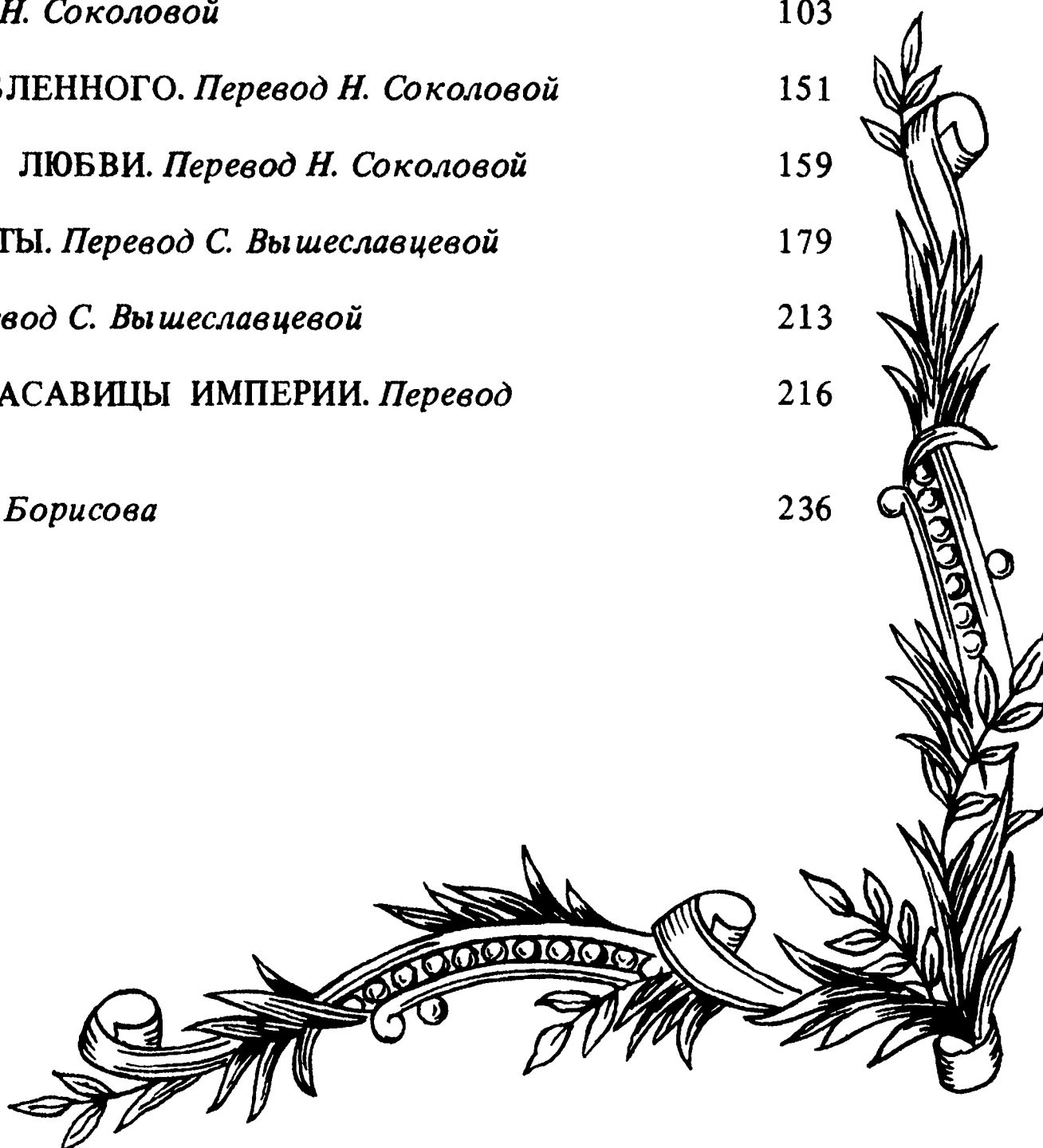
Стр. 218. *Император римский*. — С 962 г. германские короли, захватившие Сев. Италию, стали именовать себя императорами Священной Римской империи германской нации; императоры короновались в Риме.

Коннетабль Бурбонский — Коннетабль Бурбон (1490–1527) перешел на службу к испанскому королю и германскому императору Карлу V и воевал против Франции.



СОДЕРЖАНИЕ

КРАСАВИЦА ИМПЕРИА. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	3
НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	19
НАСЛЕДНИК ДЬЯВОЛА. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	56
ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ. <i>Перевод С. Вышеславцевой</i>	74
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВОЗГЛАС. <i>Перевод С. Вышеславцевой</i>	92
ВЕДЬМА. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	103
ОТЧАЯНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	151
НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБВИ. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	159
РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ. <i>Перевод С. Вышеславцевой</i>	179
НАИВНОСТЬ. <i>Перевод С. Вышеславцевой</i>	213
ЗАМУЖЕСТВО КРАСАВИЦЫ ИМПЕРИИ. <i>Перевод Н. Соколовой</i>	216
Примечания <i>А. Борисова</i>	236



Литературно-художественное издание

Оноре БАЛЬЗАК

ОЗОРНЫЕ РАССКАЗЫ

Редактор *Л. Н. Захаров*
Переплет художника *Б. Н. Осенчакова*
Художественный редактор *Д. Д. Некрасова*
Технический редактор *З. Е. Маркова*
Корректор *Л. С. Александрова*
Операторы *И. Б. Каспарова, О. А. Морозова*

Издание подготовлено к печати с использованием
наборно-печатающей техники
в Санкт-Петербургском отделении
издательства „Химия”

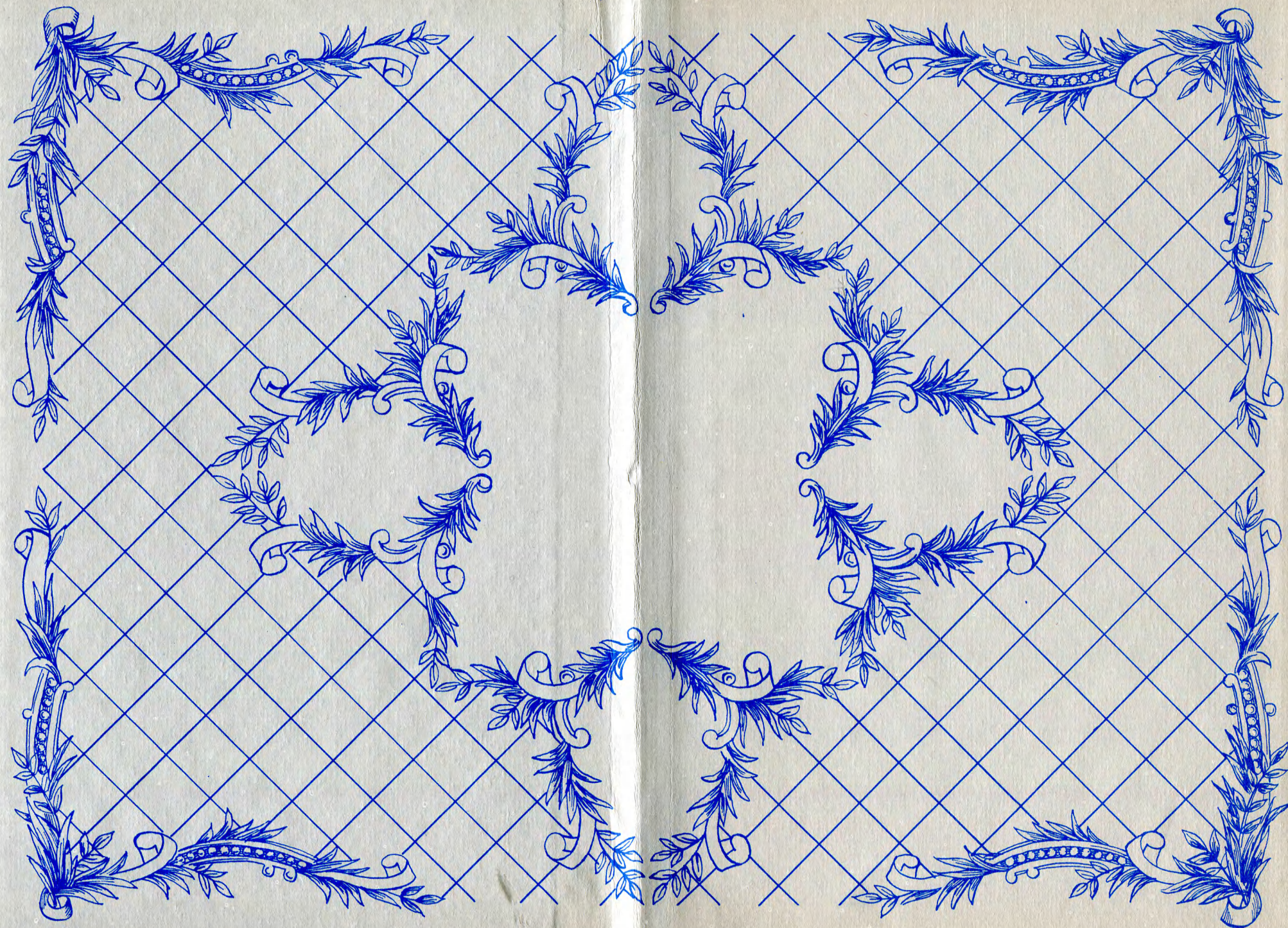
ИБ № 2956

Подписано в печать 15.02.93. Формат бумаги 60 × 88¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,55.
Усл. кр.-отт. 14,79. Уч.-изд. л. 15,48. Тираж 75000. Зак. 79
Цена договорная.

Санкт-Петербургское отделение
издательства „Химия”
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28.
Тел. коммерческой группы (812) 312—10—63.

Государственная типография № 4 г. Санкт-Петербурга
Министерства печати и информации Российской Федерации.
191126. Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 14.





Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeniy-new
(апрель 2014)